Дэвид Герберт Лоуренс



Сыновья и любовники

Сыновья и любовники
Дэвид Герберт Лоуренс

Аннотация
Дэвид
Герберт Лоуренс. •. СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ
Часть первая
1. Первые супрежеские годы Морелов
2. Рождение Пола и еще одно сражение
3. Отход от Морела — сраженье за Уильяма
4. Юные годы Пола
5. Пол бросается в жизнь
6. Смерть в семье
Часть вторая
7. Юношеская любовь
8. Любовный поединок
9. Поражение Мириам
10. Клара
11. Испытание Мириам
12. Страсть
13. Бакстер Доус
14. Освобождение
15. Брошенный

Аннотация

Роман «Сыновья и любовники» (Sons and Lovers, 1913) — первое серьёзное произведение Дэвида Герберта Лоуренса, принесшее молодому писателю всемирное признание, и в котором критика усмотрела признаки художественного новаторства. Эта книга стала своего рода этапом в творческом развитии автора: это третий его роман, завершенный перед войной, когда еще не выкристаллизовалась его концепция человека и искусства, это книга прощания с юностью, книга поиска своего пути в жизни и в литературе, и в то же время это роман, обеспечивший Лоуренсу славу мастера слова, большого художника. Важно то, что в этом произведении синтезированы как традиции английского романа XIX века, так и новаторские открытия литературы XX века и это проявляется практически на всех уровнях произведения.

Перевод с английского Раисы Облонской.

Дэвид Герберт Лоуренс

•

СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ

Часть первая

1. Первые супрежеские годы Морелов

«Низинный» вырос на месте «Преисподней». Так называлась улочка, состоящая из крытых соломой, кособоких домишек на берегу ручья, при Гринхиллской дороге. Жили тут углекопы, что работали неподалеку в небольших шурфах с подъемниками. Ручей прятался средь черной ольхи, почти вовсе не пострадавшей от близости шахт, откуда ослики, устало бредущие вокруг ворота, вытаскивали уголь на поверхность. И повсюду окрест рассыпаны были эти шурфы, иные выработанное еще во времена Карла II, и немало углекопов и осликов копошилось в земле, точно муравьи, оставляя среди полей и лугов несуразные бугры и небольшие черные проплешины. И домишки этих углекопов, сгрудившиеся то там, то тут по два, по три, а то и вытянувшиеся в улочку, вместе со стоящими на отшибе фермами и жилищами чулочников, образовали поселок Бествуд.

Потом, лет шестьдесят назад, все вдруг переменилось. Мелкие шурфы исчезли под натиском шахт, принадлежащих финансовым тузам. В Ноттингемшире и Дербишире обнаружились

большие залежи угля и железной руды. Родилось акционерное общество Карстон, Уэйт и К°. При чрезвычайном волнении собравшихся лорд Палмерстон официально открыл первую шахту Компании в Спини-парк.

Примерно в ту же пору пресловутую «Преисподнюю», о которой с годами пошла дурная слава, сожгли дотла и таким образом избавились от всяческой грязи.

Карстон, Уэйт и Кь увидели, что дело оказалось прибыльное, и в долинах ручьев вокруг Селби и Наттола стали закладывать новые копи, так что скоро работа шла уже в шести шахтах. От Наттола по высокой насыпи среди леса протянулась железная дорога, мимо развалин небольшого картезианского монастыря, мимо родника Робин Гуда, к Спини-парку, потом к Минтону, — к большой шахте среди пшеничных полей, от Минтона через обработанные поля в долине к Банкер-хилл, а там разветвлялась и уходила на север, к Беттерли и Селби, откуда уже видны Крич и холмы Дербишира; шесть шахт, точно черные шляпки гвоздей, вбитых то там, то здесь, и соединила петля тонкой цепочки — железной дороги.

Чтоб было где разместиться множеству углекопов, Компания построила Квадраты, четырех-

угольники домов среди холмов Бествуда, а потом в долине ручья, на месте «Преисподней», возвела «Низинный».

«Низинный» состоял из шести кварталов шахтерских домиков — два ряда, по три квартала в каждом, точно домино, на котором шесть очков, и в каждом квартале двенадцать домиков. Оба ряда расположились у подножья довольно крутого склона, и оттуда, по крайней мере из окон мезонинов, видно было, как противоположная сторона долины полого поднимается к Селби.

Домики сами по себе были солидные и очень славные. Идешь — и всюду палисадники, и в нижней, теневой части поселка, в них примулы, аврикулы и камнеломка, а в верхней, солнечной, — гвоздика турецкая и обыкновенная; у каждого домика ясные окошки, и крылечко, и невысокая живая изгородь из бирючины, и окошки мезонинов. Но так оно снаружи — к улице у всех шахтерских жен обращены нежилые гостиные. А жилая комната, она же кухня, в глубине дома, окнами на зады поселка, на жалкий огород и на выгребную яму за ним. А между рядами домов, между протянувшимися из конца в конец выгребными ямами — узкая улочка, где играют дети, судачат женщины, курят мужчины. Так что

хоть и был «Низинный» так хорошо построен и так славно выглядел, истинные условия жизни были там совсем неприглядные, ведь жизнь-то шла в кухнях, а кухни выходили на эту чумазую улочку выгребных ям.

Миссис Морел переезжала из Бествуда в «Низинный» безо всякого удовольствия — он простоял к тому времени уже двенадцать лет и лучшие его дни миновали. Но выбора у нее не было. Хорошо хоть дом ей достался самый последний в ряду, в верхней части поселка, а значит, соседи только с одной стороны, а с другой — лишний клочок земли под огород. И поселившись в крайнем доме, она слыла среди здешних женщин чуть ли не аристократкой — ведь за дома, стоящие среди других домов, арендная плата была пять шиллингов в неделю, а за ее дом — пять с половиной. Но это превосходство не очень-то ее утешало.

Миссис Морел было тридцать один год, и замуж она вышла восемь лет назад. Небольшого росточка, хрупкая, но с решительной осанкой, она от первого знакомства с жительницами «Низинного» как-то съежилась. Переехала она в июле, а в сентябре должна была родить своего третьего.

Муж ее был углекоп. Они не прожили в своем новом доме еще и месяца, как наступил праздник,

открылась ярмарка. Она знала, Морел, конечно же, не упустит случая повеселиться. В понедельник, в день ярмарки, он ушел спозаранку. Дети были страшно возбуждены. Семилетний Уильям умчался сразу же после завтрака, ему не терпелось порыскать среди балаганов. Энни, которой было всего пять, он с собой не взял, и она все утро хныкала, просилась туда же. Миссис Морел хлопотала по хозяйству. С соседями она еще толком не познакомилась и не знала, кому доверить девчушку. Пришлось пообещать ей, что они отправятся после обеда.

Уильям прибежал в половине первого. Этот живой светловолосый веснушчатый мальчонка слегка смахивал на датчанина или норвежца.

— Мам, пообедать можно? — воскликнул он, прямо в шапке вбегая в дом. — Она начнется в полвторого, мне один дяденька сказал.

— Пообедаешь сразу как будет готово, — ответила мать.

— А еще не готово? — воскликнул он, сердито уставясь на нее синими глазами. — Тогда побегу без обеда.

— И думать не смей. Обед будет готов через пять минут. Еще только половина первого.

— Там все начнется, — чуть не плача крикнул

мальчуган.

— Ничего страшного, даже если и начнется, — сказала мать. — Теперь только половина первого, у тебя еще целый час.

Сынишка стал торопливо накрывать на стол, и все трое тотчас уселись. Они ели пудинг с джемом, и вдруг Уильям вскочил со стула и замер. В отдалении послышалось побрякиванье запущенной карусели, затрубил рожок. С исказившимся лицом мальчик посмотрел на мать.

— Вот видишь! — сказал он и кинулся к вешалке за шапкой.

— Пудинг прихвати… еще только пять минут второго, выходит, ошибся ты… два пенни свои забыл, — одним духом прокричала мать.

Вконец разогорченный, мальчик вернулся, схватил монетку и, ни слова не сказав, выбежал вон.

— Хочу на ярмарку, на ярмарку, — захныкала Энни.

— Да уж пойдешь, маленькая плакса, ишь как вся сморщилась, — сказала мать.

И попозже устало побрела со своей девочкой вдоль живой изгороди вверх по холму. Сено с полей уже убрали, и на стерню выпустили скот. Было тепло, мирно.

Миссис Морел не нравились такие праздники. Здесь крутились две упряжки деревянных коней, одна с помощью пара, другую водил по кругу пони; вертели ручки трех шарманок, слышался треск одиночных пистолетных выстрелов, оглушала трещотка торговца кокосовыми орехами, громко скликали охотников поиграть в «тетку Салли», владелица кинетоскопа хриплым голосом зазывала поглядеть диковинные картинки. Мать увидала своего сына — он стоял подле балагана со львом Уоллесом и упоенно глазел на изображения этого знаменитого льва, который убил негра и оставил на всю жизнь калеками двух белых. Она не стала мешать сыну и пошла купить ириску для Энни. Но скоро Уильям уже стоял перед ней, отчаянно взбудораженный.

— Ты ж не сказала, что придешь… тут столько всего, правда?.. этот лев, он убил трех человек… я свои два пенса потратил… вот, погляди.

Он вытащил из кармана две рюмочки для яиц, на обеих нарисовано по мускусной розе.

— Я их выиграл вон в том киоске, загнал шарики в ямки. Я их за два кона получил… полпенни за кон… вот, погляди, на них мускусные розочки. Мне их хотелось.

Это ему для нее хотелось, поняла мать.

— Гм! — сказала она довольная. — Они и вправду милые.

— Возьми, а то вдруг я разобью.

Сейчас, когда пришла мать, в нем все так и бурлило, и он потянул ее по ярмарке, показывая все подряд. Потом у кинетоскопа она объяснила ему, что значит каждая картинка, получился прямо рассказ, и мальчик слушал как завороженный. Он не отходил от нее ни на шаг. Так и льнул к ней, переполненный мальчишеской гордостью за мать. Ведь в своей черной шляпке и накидке она казалась настоящей леди, не то что другие. Встречая знакомых женщин, миссис Морел им улыбалась. А когда устала, спросила сынишку:

— Ну как, пойдем домой или еще побудешь?

— Уже уходишь! — воскликнул мальчик, и такой упрек выразился у него на лице.

— Уже? Да ведь пятый час, как я понимаю.

— Ну почему, почему ты уходишь? — жалобно протянул Уильям.

— Если тебе не хочется уходить, останься, — сказала мать.

И вместе со своей девчушкой не спеша пошла прочь, а сын смотрел ей вслед, огорченный до глубины души и все-таки не в силах расстаться с ярмаркой. Проходя мимо трактира «Луна и

звезды», миссис Морел услышала громкие мужские голоса, до нее донесся запах пива, и она прибавила шаг, подумала, что и ее муж, должно быть, там.

Около половины седьмого вернулся сын, теперь уже усталый, бледный и какой-то приунывший. Сам того не понимая, он был удручен, оттого что отпустил мать одну. Стоило ей уйти, и ярмарка перестала его радовать.

— А папа приходил? — спросил он.

— Нет, — отвечала мать.

— Он пиво разносит в «Луне и звездах». Я видел через дырки в железных ставнях, он рукава закатал.

— Ха! — сердито воскликнула мать. — Он без денег. И будет рад, если сможет даром выпить, пусть даже ничего больше не получит.

Скоро стало смеркаться, миссис Морел не могла больше шить, и она поднялась и подошла к порогу. Все вокруг было пронизано праздничным неугомонным возбуждением, которое наконец передалось и ей. Она вышла в садик. Возвращались домой с ярмарки женщины, ребятишки прижимали к груди кто белого барашка с зелеными ногами, кто деревянного коня. Изредка, нагрузившись под завязку, нетвердыми шагами

проходил мужчина. А то мирно шествовал во главе семейства примерный супруг. Но чаще женщины шли без мужей, только с детьми. В сгущающихся сумерках сплетничали на углах домоседки, сложив руки под белыми фартуками.

Миссис Морел стояла одна, но ей было не привыкать. Сын и дочурка спят наверху, значит, похоже, дом здесь, у нее за спиной, в целости-сохранности. Но ожидающееся прибавление семейства угнетало. Жизнь казалась безотрадной — ничего хорошего уже не ждет ее в этом мире, по крайней мере пока не вырос Уильям. Да, ничего ей не остается, кроме безотрадного долготерпенья — пока не выросли дети. А детей что ждет! Не вправе она заводить третьего. Не хочет она его. Отец подает пиво в пивной, лишь бы самому напиться допьяна. Она презирает его — и прикована к нему. Новое дитя ей не по силам. Если б не Уильям и Энни, у нее опустились бы руки в этой борьбе с нищетой, уродством, убожеством.

Слишком она сейчас отяжелела, на улицу не выйти, но и оставаться в доме невмоготу, и она вышла в палисадник. Было жарко, нечем дышать. Она вглядывалась в будущее, и при мысли о том, что ждет впереди, ей казалось, ее похоронили заживо.

Крохотный палисадник окружали кусты бирючины. Миссис Морел постояла там в надежде, что запах цветов, красота угасающего вечера утешат ее. Напротив крохотной калитки была приступка, ведущая на холм, к высокой живой изгороди меж пламенеющих на закате скошенных лугов. Высоко в небе переливался, трепетал свет. Но вот уже померкли луга, землю и живые изгороди объяла сумеречная дымка. Темнело, и из-за холма поднялось красное сиянье, доносились, теперь уже слабее, отзвуки ярмарочной суеты.

Иногда в провале тьмы, обозначившем тропинку между живыми изгородями, пошатываясь, брел домой мужчина. Какой-то парень припустился бегом по крутому у подножья склону холма и, споткнувшись о приступку, с шумом грохнулся наземь. Миссис Морел вздрогнула. А он поднялся, зло, но и жалобно ругаясь, будто это приступка виновата, что он ушибся.

Неужто и дальше все так и будет, подумала миссис Морел, и с этой мыслью пошла в дом. Нет, ничего не изменится в ее жизни, она уже начинала это понимать. Такой далекой кажется юность, и трудно представить, что это она, тяжело ступающая сейчас по двору в «Низинном», десять лет назад так легко бежала по молу в Ширнессе.

— У меня-то что общего с этим? — спросила она себя. — У меня-то что общего со всем этим? Даже и с ребенком, которого я ношу! Сдается мне, сама я совсем не в счет.

Бывает, жизнь вцепится в человека, влечет его за собой, творит его судьбу, и, однако, эта судьба кажется неправдоподобной, будто дурной сон.

— Я жду, — сказала себе миссис Морел. — Жду, а тому, чего жду, может, и не бывать.

Она прибрала в кухне, зажгла лампу, помешала уголь в очаге, собрала на завтра стирку и замочила. Потом села за шитье. Проходил час за часом, и размеренно сновала взад-вперед иголка. Иной раз женщина вздохнет, утомившись, переменит позу. И все думает, думает, как лучше распорядиться тем, что ей дано, — ради детей.

В половине двенадцатого вернулся муж. Щеки над черными усами пунцовые, так и лоснятся. Голова покачивается. Сразу видно, очень собой доволен.

— Вон чего! Вон чего! Поджидаешь меня, лапушка? А я Энтони помогал, и сколько, думаешь, он заплатил? Паршивые полкроны, и ни гроша больше…

— Он считает, ты остальное получил пивом, — резко сказала она.

— А я не получил… не получил. Ты мне верь. Я нынче совсем чуток выпил, верно тебе говорю. — Теперь в голосе его зазвучала нежность: — Глянь, я те какой пряничек принес, а ребятишкам вон орех кокосовый. — Он положил на стол круглый пряник и обросший волосками кокос. — Нет, видать, спасиба ни в жисть не дождешься, верно я говорю?

Не желая с ним ссориться, жена взяла кокос и потрясла, проверяя, есть ли в нем молоко.

— Орех что надо, не сумлевайся. Мне Бил Ходжкисон дал. «Бил, — говорю, — на что тебе три ореха-то? Может, дашь один для моего мальца и девчонки?» А он говорит: «Как не дать, Уолтер, дружище, бери, какой глянулся». Ну я и взял, спасибо ему сказал. Трясти-то у него на глазах не стал, а он говорит: «Ты погляди, Уолт, хорош ли орех взял». Так что я уж знал, орех первый сорт. Золотой он парень, Бил Ходжкисон, золотой!

— Пьяному ничего не жаль, — сказала миссис Морел, — а вы оба с ним напились.

— Да что это ты говоришь, лапушка моя, кто напился? — возразил Морел. Был он до крайности доволен собой, а все оттого, что весь день помогал в «Луне и звездах». И сейчас болтал, не закрывая рта.

Миссис Морел, безмерно усталая, раздосадованная его болтовней, поспешила уйти спать, а он все ворошил угли в очаге.

Миссис Морел была родом из старой добропорядочной семьи горожан, славных сторонников Независимых, которые воевали на стороне полковника Хатчинсона и остались неколебимыми конгрегационалистами. В пору, когда в Ноттингеме разорилось множество предпринимателей, связанных с производством кружев, обанкротился и ее дед. Отец ее, Джордж Коппард, был механик — рослый, красивый, заносчивый, он гордился своей белой кожей и голубыми глазами, но еще того более своей неподкупностью. Гертруда хрупкой фигуркой походила на мать. Но гордый и непреклонный нрав унаследовала от Коппардов.

Джордж Коппард мучительно терзался своей бедностью. Он работал старшим механиком в доках Ширнесса. Миссис Морел, Гертруда, была его второй дочерью. Она пошла вся в мать и ее больше всех любила; но унаследовала коппардовские ясные голубые непокорные глаза и высокий лоб. Она помнит, как ненавистна была ей властная манера отца в обращении с ее кроткой, веселой, добросердечной матерью. Помнит, как бегала по

молу в Ширнессе и отыскивала корабль, который ремонтируют под началом отца. Помнит, как однажды побывала в доках и рабочие баловали ее и расхваливали на все лады, потому что была она милая и притом гордая девчушка. Помнит чудаковатую старушку-учительницу в частной школе, у которой она была помощницей и которой так любила помогать. И она до сих пор хранит Библию, которую ей подарил Джон Филд. В девятнадцать лет она обычно возвращалась из церкви с Джоном Филдом. Был он сыном состоятельного коммерсанта, учился в колледже в Лондоне, и ему предстояло заняться коммерцией.

Ей навсегда запомнилось то сентябрьское воскресенье, когда после полудня они сидели вдвоем под вьющимся виноградом в саду за домом ее отца. Солнце пробивалось сквозь просветы между листьями, и солнечные блики образовали прихотливый узор, словно на них обоих накинули кружевной шарф. Иные листья были совсем желтые, будто плоские желтые цветы.

— Не шевелись! — воскликнул он. — Подумай, никак не пойму, какие у тебя волосы! Яркие, как медь и золото, и красные, будто пламенеющая медь, а где коснулось солнце, золотые пряди. Надо же, и это называется шатенка. Твоя мама

говорит, они мышиного цвета.

Гертруда взглянула в его заблестевшие глаза, но ясное лицо ее едва ли выдало обуявшую ее радость.

— Но ты говоришь, ты коммерцию не любишь, — продолжала она.

— Не люблю. Терпеть не могу! — с жаром воскликнул он.

— И предпочел бы стать священником, — это прозвучало почти умоляюще.

— Да. Предпочел бы, если б думал, что из меня получится выдающийся проповедник.

— Тогда почему ж тебе не стать… не стать, кем хочешь? — в голосе ее прозвучал вызов. — Будь я мужчиной, меня бы ничто не остановило.

Она гордо вскинула голову. И Джон Филд даже оробел.

— Но отец такой упрямый. Он решил определить меня по коммерческой части, и он поставит на своем.

— Но ведь ты мужчина! — воскликнула Гертруда.

— Этого еще недостаточно, — хмурясь, отвечал Джон, смущенный и беспомощный.

Теперь, в Низинном, среди хлопот по хозяйству, уже имея кой-какое представление о том,

что значит быть мужчиной, она понимала, что просто быть мужчиной и вправду недостаточно.

В двадцать лет из-за слабости здоровья она уехала из Ширнесса. Отец увез семью на родину, в Ноттингем. А отец Джона Филда разорился; и сын отправился учительствовать в Норвуд. Она ничего о нем не знала, пока наконец два года спустя не навела справки. Оказалось, он женился на своей квартирной хозяйке, сорокалетней вдове, у которой была кое-какая земля.

И однако миссис Морел по сей день хранит подарок Джона — Библию. Теперь она не назвала бы его мужчиной… Что ж, она отлично поняла, что ему дано, а что нет. И она хранит эту Библию, и нетронутой хранит в сердце память о нем. До конца своих дней, тридцать пять лет, она о нем ни разу не заговорила.

Двадцати трех лет она на рождественской вечеринке познакомилась с молодым человеком из Эроушвелли. Морелу было тогда двадцать семь. У него была хорошая осанка, держался он прямо и молодцевато. Его черные волнистые волосы к тому же еще блестели и черная роскошная борода явно никогда не знала бритвы. Щеки румяные, а красный влажный рот особенно приметен оттого, что Морел много и заразительно смеялся. И смех

редчайший — глубокий и звонкий. Гертруду Коппард он совершенно очаровал. Был он так ярок, так полон жизни, такой услужливый и милый со всеми, так естественно звучали в его голосе комические нотки. У ее отца было отлично развито чувство юмора, да только сатирического. А у этого человека он другой: мягкий, немудреный, сердечный, какой-то веселящий.

Сама она была иного склада. Имела пытливый, восприимчивый ум и с огромным удовольствием, с интересом слушала других. Была она мастерица разговорить человека. Любила пофилософствовать и считалась девушкой весьма мыслящей. А всего больше ей нравилось беседовать с каким-нибудь хорошо образованным человеком о религии, философии или политике. Такая радость ей выпадала нечасто. И приходилось довольствоваться рассказами людей о себе, находить отраду в этом.

Была она небольшого роста, хрупкого сложения, с высоким лбом и шелковистыми прядями каштановых кудрей. Голубые глаза смотрели на мир прямо, целомудренно и испытующе. Руки были красивые, в Коппардов. Платья она носила неброские. Предпочитала темно-голубой шелк со своеобразной отделкой из серебристых фестонов.

Фестоны да тяжелая брошь витого золота служили единственными украшениями. Была она еще совсем нетронута жизнью, глубоко набожна и исполнена милого чистосердечия.

Глядя на нее, Уолтер Морел словно таял от восхищения. Ему, углекопу, она представлялась истинной леди, загадочной и чарующей. Когда она разговаривала с ним, ее южный выговор, ее великолепный английский язык приводили его в трепет. Она приглядывалась к нему. Он хорошо танцевал, танец был словно его радостным естеством. Его дед, французский беженец, женился на буфетчице англичанке… если только это можно назвать браком. Гертруда смотрела на молодого углекопа, когда он танцевал, — и было в его движениях некое волшебство, едва уловимое ликованье, смотрела на его лицо, расцветающее румянцем под копной черных волос и разно смеющееся, когда он наклонялся над своей партнершей, кто бы она ни была. Удивительный человек, никогда она такого не встречала. Образцом мужчины ей казался отец. А Джордж Коппард, с гордой осанкой, красивый и довольно язвительный, разительно отличался от этого углекопа; всем книгам Джордж предпочитал книги богословские и подобие симпатии испытывал к

единственному человеку — апостолу Павлу, был неизменно суров с подчиненными, а со знакомыми насмешлив и пренебрегал чувственными удовольствиями. Сама Гертруда не без презренья относилась к танцам, не испытывала к ним ни малейшей склонности и не давала себе труда научиться даже простейшему «Роджеру». Как и отец, была она пуританка, возвышенна в мыслях и воистину строга в поведении. И оттого смугло-золотистая мягкость чувственного пламени жизни, что исходила от Морела, точно от пламени свечи, которую не подавляли и не гасили ни мысль, ни душевный настрой, как у нее самой, казалось ей удивительной, непостижимой.

Он подошел и склонился над ней. По всему ее телу разлилось тепло, точно она выпила вина.

— Ну пойдемте же, станцуем, — ласково пригласил он. — Этот танец ведь совсем легкий. Мне страсть охота поглядеть, как вы танцуете.

Она уже говорила ему, что танцевать не умеет. Глядя, как смиренно он ждет, она улыбнулась. Улыбка у нее была прелестная. И так его тронула, что он совсем потерял голову.

— Нет, я не буду танцевать, — мягко отказалась она. И слова ее прозвучали отчетливо и звонко.

Не думая, что делает, — чутье нередко под-

сказывало ему, как вернее поступить, — он сел рядышком, почтительно наклонился.

— Но зачем же вам пропускать танец, — с укором сказала Гертруда.

— Да нет, не желаю я этот, не по мне он.

— А меня, однако, пригласили.

Он от души рассмеялся.

— А ведь верно. Вот вы со мной и расправились.

Теперь, в свою очередь, рассмеялась она.

— Непохоже, что с вами так уж легко справиться, — сказала она.

— Я будто поросячий хвостик, никак не расправлюсь, сам не знаю, как скручусь да выкручусь, — он громко и весело рассмеялся.

— И ведь вы углекоп! — удивленно воскликнула она.

— Да. Десяти лет в шахту спустился.

Она взглянула на него и сочувственно и недоверчиво.

— Десяти лет! Но, наверно, было очень тяжело?

— Так ведь скоро привыкаешь. Живешь будто мышь, а ночью выскакиваешь поглядеть, что на белом свете делается.

— Я словно сразу ослепла, — нахмурясь, сказала Гертруда.

— Будто крот! — рассмеялся он. — А у нас и впрямь есть ребята, ну будто кроты. — Он вытянул вперед голову совсем как крот, который вслепую вынюхивает, выискивает дорогу. — А все одно двигаются! — простодушно заверил он. — Ты и не видывала. Дай срок, сведу тебя вниз, сама поглядишь.

Гертруда посмотрела на него со страхом. Ей внезапно открылась новая сторона жизни. Ей представилась жизнь углекопов, сотни мужчин тяжко трудятся под землей, а вечером выходят на поверхность. Какой же он замечательный. Каждый день рискует жизнью, и так весело. В своем бесхитростном смирении она взглянула на него чуть ли не с благоговением.

— А может, не желаешь? — с нежностью спросил он. — А то, глядишь, перепачкаешься.

С тех пор, как она стала взрослой, никто никогда не обращался к ней на «ты».

На следующее Рождество они поженились, и первые три месяца она была совершенно счастлива, и еще полгода тоже были счастливые.

Морел дал обет не пить и носил голубую ленту общества трезвенников — он любил покрасоваться. Жили они, как думала Гертруда, в его собственном доме. Был он небольшой, но доволь-

но удобный и вполне мило обставлен солидной добротной мебелью, которая вполне подходила ее бесхитростной натуре. Соседки были ей изрядно далеки, а мать и сестры Морела только что не потешались над ее благородными манерами. Но она могла прекрасно обходиться без них, был бы рядом муж.

Иногда, наскучив разговорами о любви, она пыталась всерьез открыть ему душу. И видела: он слушает уважительно, но не понимает. Это убивало ее стремление к большей душевной близости, и временами ее охватывал страх. Иногда вечерами им овладевало беспокойство, и она понимала, ему недостаточно просто быть подле нее. И радовалась, когда он находил себе какие-нибудь дела по дому.

У него были поистине золотые руки — чего только он не мог сделать или починить. И она, бывало, говорила:

— Как же мне нравится кочерга твоей матушки — такая маленькая, изящная.

— Да неужто? Так ведь это я смастерил, лапушка… могу и тебе сделать.

— Что ты говоришь! Она же стальная!

— А хоть бы и так! Сделаю и тебе вроде нее, может, даже и такую.

Ей не докучал беспорядок, стук молотка, шум. Зато муж был занят и счастлив.

Но однажды, на седьмом месяце их брака, она чистила его выходной пиджак и нащупала в грудном кармане какие-то бумаги, ее вдруг взяло любопытство, она вынула их и прочла. Сюртук, в котором венчался, он носил очень редко, да и бумаги прежде не вызывали у нее любопытства. Это оказались счета на их мебель, до сих пор не оплаченные.

— Послушай, — сказала она вечером, после того как муж вымылся и пообедал, — я нашла это в кармане твоего свадебного сюртука. Ты еще не заплатил по этим счетам?

— Нет. Не поспел.

— Но ты же говорил, все оплачено. Давай я схожу в субботу в Ноттингем и рассчитаюсь. Не нравится мне сидеть на чужих стульях и есть за неоплаченным столом.

Морел молчал.

— Дашь мне свою банковскую книжку?

— Дать-то дам, а что толку?

— Я думала, ты… — начала она. Он говорил, у него отложена изрядная сумма. Но что толку задавать вопросы. Горечь, негодование охватили ее, и она сурово замкнулась в себе.

Назавтра она отправилась к свекрови.

— Это ведь вы покупали Уолтеру мебель? — спросила она.

— Ну, я, — с вызовом ответила она.

— Сколько ж он дал вам на нее денег?

Свекровь возмутилась до глубины души.

— Восемьдесят фунтов, если тебе уж так надобно знать, — ответила она.

— Восемьдесят фунтов! Значит, за нее должны еще сорок два фунта!

— Чего ж теперь сделаешь?

— Но куда ушли все деньги?

— А на все, должно, есть бумаги, ты поищи… да еще десять фунтов он должен мне, и шесть фунтов у нас тут ушло на свадьбу.

— Шесть фунтов! — эхом отозвалась Гертруда Морел. Да это просто чудовищно, ее отец так потратился на свадьбу, а в доме родителей Уолтера проели и пропили еще шесть фунтов, да притом за его счет!

— А сколько Уолтер вложил в свои дома? — спросила Гертруда.

— В свои дома… какие-такие дома?

У Гертруды даже губы побелели. Он говорил, что дом, в котором они живут, и соседний тоже его собственность.

— Я думала, дом, в котором мы живем… — начала она.

— Мои это дома, обои, — сказала свекровь. — И заложенные они. Я плачу проценты по закладной, а на чего другое у меня денег нет.

Гертруда сидела молча, с побелевшими губами. Сейчас она уподобилась своему отцу.

— Значит, нам следует платить вам за аренду, — холодно сказала она.

— Уолтер мне платит, — ответила мамаша.

— Сколько же? — спросила Гертруда.

— Шестьдесят шесть в неделю, — ответствовала мамаша.

Дом того не стоил. Гертруда выпрямилась, вскинула голову.

— Тебе вон как повезло, — поддела ее свекровь, — об деньгах у мужа голова болит, а ты можешь жить припеваючи.

Молодая ничего на это не ответила.

Мужу она мало что сказала, но обходиться с ним стала по-другому. В гордой, благородной душе ее что-то окаменело.

Наступил октябрь, и все ее мысли были о Рождестве. Два года назад на Рождество она с ним познакомилась. В прошлое Рождество вышла за него замуж. В это Рождество родит ему дитя.

— Вы вроде не танцуете, миссис Морел? — спросила ее ближайшая соседка в октябре, когда только и разговору было, что об открытии танцевальных классов в гостинице «Кирпич и черепица» в Бествуде.

— Нет… танцы никогда меня не привлекали, — ответила она.

— Чудно! И надо же, а за такого вышла. Хозяин-то ваш самый знаменитый танцор.

— А я и не знала, что он знаменитый, — засмеялась миссис Морел.

— Ага, еще какой знаменитый! Как же, больше пяти годов заправлял танцевальными классами в клубе «Шахтерский герб».

— Вот как?

— Ну да, — сказала другая. — Каждый вторник, и четверг, и субботу там, бывало, яблоку негде упасть… и уж миловались там, все говорят.

От таких разговоров тошно и горько становилось миссис Морел, а наслушалась она их предостаточно. Поначалу соседки ее не щадили, потому что, хотя и не ее это вина, а была она им неровня.

Морел стал возвращаться домой довольно поздно.

— Они теперь работают допоздна, верно? —

сказала она своей прачке.

— Да сдается мне, как обыкновенно. А только после работы норовят пива хлебнуть у Эллен, а там пойдут разговоры разговаривать, вот время и проходит. Глядишь, обед и простыл… ну, так им и надо.

— Но мистер Морел спиртного в рот не берет.

Прачка выпустила из рук белье, глянула на миссис Морел, но так ничего и не сказала и опять принялась стирать.

Родив сына, Гертруда Морел тяжело захворала. Морел за ней преданно ухаживал, очень преданно. А ей вдали от родных было отчаянно одиноко. Одиноко было и с ним, при нем чувство это становилось только острей.

Мальчик родился маленький, хрупкий, но быстро выправлялся. Был он такой хорошенький, с темно-золотистыми кудряшками и темно-голубыми глазами, которые постепенно светлели и стали серыми. Мать души в нем не чаяла. Он явился на свет, когда горечь разочарования давалась ей особенно тяжело, когда подорвана оказалась вера в жизнь и на душе было безрадостно и одиноко. Она не могла наглядеться на свое дитя, и отец ревновал.

Кончилось тем, что миссис Морел стала пре-

зирать мужа. Всю свою любовь она обратила на ребенка, а от отца отвернулась. Он же перестал замечать ее, собственный дом утратил для него прелесть новизны. Тряпка он, с горечью сказала себе Гертруда Морел. Идет на поводу сиюминутного чувства. Не может твердо держаться чего-то одного. Только и умеет пускать пыль в глаза.

И между мужем и женой началась война — жестокая, беспощадная, которая кончилась лишь со смертью одного из них. Жена добивалась, чтобы он взял на себя обязанности главы семьи, чтобы выполнял свой долг. Но слишком он был непохож на нее. Он был натурой сугубо чувственной, а жена старалась обратить его в человека нравственного, человека добродетельного и религиозного. Она пыталась заставить его смело смотреть в лицо жизни. А ему это было невтерпеж, приводило его в ярость.

Малыш был еще крохой, а отец стал совсем неуправляем, ненадежен. Стоило ребенку чуть провиниться, и отец накидывался на него с бранью. И чуть что давал волю своим шахтерским ручищам. В такие минуты миссис Морел начинала ненавидеть мужа, ненавидела не день и не два, и он уходил из дому и напивался, только ее это уже не трогало. Но, когда он возвращался, она

безжалостно его язвила.

Из-за этой их отчужденности он иной раз, сознательно или бессознательно, грубо ее оскорблял, чего прежде не сделал бы.

Уильяму был всего год, и такой он стал хорошенький, что мать им гордилась. Жила она теперь в скудости, но ее сестры наряжали мальчика. И с густыми кудрями, в белой шапочке с развевающимся страусовым пером и в белом пальтишке он был ее утехой. Однажды воскресным утром миссис Морел лежала и прислушивалась — внизу отец болтал с малышом. Потом задремала. Когда она сошла вниз, в камине пылал огонь, было жарко, кое-как накрыт стол к завтраку, у камина в своем кресле сидел Морел, несколько смущенный, а между его колен стоял малыш, остриженный как овца — головенка такая смешная, круглая, — и озадаченно смотрел на нее, а газета, расстеленная на каминном коврике, усыпана была мириадами завитков, пламенеющих в отблесках пламени точно лепестки бархатцев.

Миссис Морел замерла. То было ее первое дитя. Она побелела, не в силах вымолвить ни слова.

— Как он тебе нравится? — с неловким смешком спросил Морел.

Она сжала кулаки, подняла и пошла на него.

Морел отшатнулся.

— Убить тебя мало, убить! — сказала она. И поперхнулась от ярости, все еще с поднятыми кулаками.

— Нечего девчонку из него делать, — испуганно сказал Морел, пригнув голову, чтоб не встретиться с ней взглядом. Ему было уже не до смеха.

Мать смотрела, как он обкорнал ее малыша. Она обняла наголо обстриженную головенку и стала гладить и ласкать ее.

— Ох, мой маленький! — голос изменял ей. Губы задрожали, лицо исказилось, она обхватила мальчика, спрятала лицо у него на плече и мучительно зарыдала. Она была из тех женщин, которые не способны плакать, которым это так же нестерпимо, как мужчине. Каждое рыдание будто с трудом вырывали у нее из груди.

Морел сидел, уперев локти в колени, так стиснул руки, даже костяшки побелели. Чуть ли не оглушенный, кажется, не в силах перевести дух, он безотрывно смотрел в огонь.

Но вот рыдания стихли, мать успокоила малыша и убрала со стола. Газету, усыпанную кудряшками, она оставила на каминном коврике. Муж наконец поднял ее и сунул поглубже в огонь. Миссис Морел хозяйничала, сжав губы,

молча. Морел был подавлен. С несчастным видом слонялся по дому, и каждая трапеза была для него в этот день пыткой. Жена разговаривала с ним вежливо, ни словом не помянула, что он натворил. Но он чувствовал, что-то между ними решилось окончательно.

Позже она сказала, что вела себя глупо, рано или поздно мальчика все равно надо было постричь. В конце концов даже заставила себя сказать мужу, мол, вполне можно было это сделать и тогда, когда ему вздумалось разыграть парикмахера. Но и она, и Морел знали, из-за его поступка что-то в ней круто изменилось. Случай этот она помнила до конца своих дней, — никогда еще ничто не причинило ей такой душевной боли.

Это проявление мужской грубости пробило брешь в ее любви к Морелу. Прежде, яростно сражаясь с ним, она волновалась, уж не теряет ли она его. Теперь ее не волновало больше, любит он ее, нет ли — он стал ей чужим. И жить стало легче.

Однако миссис Морел по-прежнему воевала с мужем. По-прежнему в ней силен был высоко нравственный дух добродетели, унаследованный от нескольких поколений пуритан. Теперь в ней говорила впитанная с молоком матери набожность, и в отношениях с мужем она доходила чуть

ли не до фанатизма, потому что любила его, по крайней мере любила прежде. Если он грешил, она терзала его. Если пил, лгал, нередко вел себя как отъявленный трус, а случалось, и плутовал, она безжалостно его бичевала.

На беду, она слишком была с ним несхожа. Не могла она удовольствоваться тем малым, что было ему дано; он нужен был ей таким, каким по ее понятиям следовало быть. И вот, стремясь сделать его благороднее, чем он способен был быть, она губила его. Себя она ранила, бичевала до рубцов и шрамов, но все ее достоинства оставались при ней. К тому же у нее были дети.

Морел пил, и немало, хотя не больше многих других углекопов, притом только пиво, так что, хотя это и отражалось на его здоровье, особого вреда ему не причиняло. Конец недели был у него любимое время для загула. Каждую пятницу, субботу и воскресенье он весь вечер, до самого закрытия, сидел в «Гербе углекопа». В понедельник и вторник он с большой неохотой уходил из пивной не позднее десяти. В среду и четверг иногда проводил вечера дома, а если уходил, то всего на часок. Работу же из-за выпивки никогда не пропускал.

Но хотя работник он был на редкость надеж-

ный, платили ему все меньше и меньше. Он болтал лишнее, давал волю языку. Начальство было ему ненавистно, и он вовсю честил штейгеров.

— Нынче утром приходит к нам в забой десятник и говорит, — рассказывал он в пивной Палмерстона. — «Нет, говорит, Уолтер, так не годится. Это разве стойки?» А я ему, мол: «Чего зря болтать? Чем тебе стойки не поглянулись?» А он: «Так не пойдет, говорит, у тебя свод не сегодня завтра рухнет». А я ему: «Так ты стань вон на глыбу да своей головой и подопри». Ну, он взбеленился, озлел, ругается, а ребята гогочут. — У Морела явно была актерская жилка. Он отлично изображал самодовольного десятника, который пытался скрипуче выговаривать слова по всем правилам, а не на местный лад. «Я, говорит, этого не потерплю, Уолтер. Кто в деле разбирается лучше, я или ты?» А я ему: «Почем мне знать, Элфрид, много ли ты смыслишь. Только и умеешь, что в постель да из постели».

Так Морел без конца развлекал своих собутыльников. И кое-что из его рассказов было правдой. Штейгер мало в чем разбирался. Мальчишками они с Морелом росли рядом и, хоть недолюбливали друг друга, давно так или иначе друг с другом

свыклись. Но вот россказней в пивной Элфрид Чарлзуорт своему сверстнику не прощал. И хоть тот был умелый углекоп и когда женился, иной раз получал добрых пять фунтов в неделю, со временем забои, в которые его ставили, оказывались все хуже и хуже, уголь в них залегал тонким слоем, вырубать его было трудно и неденежно.

К тому же летом на шахтах наступает затишье. В яркие солнечные дни мужчины часто разбредаются по домам уже в десять, одиннадцать, двенадцать часов. У устья выработки не видно пустых вагонеток. И женщины, по утрам выбивая о забор каминные коврики, смотрят с окрестных холмов вниз, считают, сколько платформ тащит по долине паровоз. А дети, возвращаясь в обед из школы, глядят на шахты, видят, что колесо на главном стволе не крутится, и говорят:

— На Минтоне пошабашили. Отец, должно, дома.

И на все лица будто тень ложится — на женские, на детские и на мужские, ведь в конце недели получка будет жалкая.

Морел обычно давал жене тридцать шиллингов в неделю на все про все: на арендную плату, еду, одежду, на взносы в общество взаимопомощи, на страховку и на докторов. Иногда,

расщедрившись, давал тридцать пять. Но куда чаще, напротив, ограничивался двадцатью пятью. Зимой, если углекопу доставался хороший забой, он мог заработать пятьдесят, а то и пятьдесят пять шиллингов в неделю. Тогда он бывал рад и счастлив. Вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье давал себе волю, спускал порой и целый соверен. И из таких деньжищ едва ли уделял детям лишний пенни, фунта яблок и то им не покупал. Все шло на выпивку. В плохие времена он зарабатывал меньше, зато не так часто напивался, и миссис Морел, бывало, говорила:

— Пожалуй, даже лучше, когда денег в обрез, ведь когда он при деньгах, нет у меня ни минуты покоя.

Если он получал сорок шиллингов, он оставлял себе десять, из тридцати пяти оставлял себе пять, из тридцати двух — четыре, из двадцати восьми — три, из двадцати четырех — два, из двадцати — полтора, из восемнадцати — один шиллинг, из шестнадцати — шестипенсовик. Он никогда не отложил ни гроша, и жене тоже не давал такой возможности; больше того, ей даже иногда приходилось платить его долги; не за выпитое пиво — эти долги с женщин никогда не спрашивали, — но за канарейку, которую ему вздумалось купить,

или за щегольскую трость.

Во время ярмарки Морел работал плохо, и миссис Морел выбивалась из сил, чтобы отложить на роды. Горько ей было думать, что она, измученная, сидит дома, а он меж тем развлекается и сорит деньгами. Праздничных дней было два. Во вторник Морел поднялся чуть свет. Настроение у него было отличное. Спозаранку, еще и шести не было, она услыхала, как он, насвистывая, спускается по лестнице. Насвистывал он всегда премило, весело и мелодично. И чаще всего церковные гимны. Мальчиком он пел в церковном хоре, голос у него был очень хорош, и он исполнял сольные партии в Саутуэллском соборе. Только по его утреннему свисту и можно было это представить.

Лежа в постели, жена прислушивалась, как он на скорую руку что-то мастерит в огороде, пилит, прибивает, и звенит, переливается его свист. И всякий раз, когда ранним ярким утром он вот так радовался на свой мужской лад, а дети еще спали и сама она еще лежала в постели, на душе у нее становилось тепло и покойно.

В девять, когда дети, еще босые, играли на диване, а мать умывалась, Морел, кончив плотничать, вошел в дом, рукава сорочки закатаны,

жилет нараспашку. С черной волнистой шевелюрой и пышными черными усами он был еще очень недурен. Лицо, пожалуй, чересчур румяное и чуть ли не капризное. Но сейчас он был весел. И пошел прямо к раковине, где умывалась жена.

— Вот ты где! — раскатился по дому его голос. — Поди отсюда, дай мне сполоснуться.

— Можешь и подождать, пока я кончу, — сказала жена.

— Вот еще! А если не погожу?

Благодушная угроза эта позабавила миссис Морел.

— Тогда поди умойся в лохани с теплой водой.

— Чего ж, это можно, чумичка ты моя.

Говоря так, он постоял, поглядел на нее, потом отошел, чтоб дать ей домыться.

При желании он и теперь еще мог выглядеть хоть куда. Обычно, выходя из дому, он обертывал шею шарфом. А вот сейчас принялся всерьез наводить глянец. Со вкусом отдувался и полоскался, потом поспешно кинулся к зеркалу в кухне и, склонясь, — уж очень низко оно висело, — так старательно расчесал на пробор влажные черные волосы, что миссис Морел даже досада взяла. Он пристегнул отложной воротничок, надел черный галстук-бабочку и парадный костюм. Теперь

он глядел щеголем, не столько оттого, что прифрантился, сколько благодаря бессознательному умению блеснуть своей внешностью.

В половине десятого за ним зашел его приятель Джерри Порди. Джерри был закадычный друг Морела, а миссис Морел его недолюбливала. Был он высокий, тощий, с лисьей физиономией, и глаза, казалось, совсем без ресниц. Он гордо выступал, осторожно неся голову, будто она держалась на ломкой деревянной пружине. По натуре он был человек холодный и расчетливый. Само великодушие, когда уж хотел быть великодушным, он, казалось, души не чаял в Мореле и на свой лад опекал его.

Миссис Морел терпеть его не могла. Она помнила его жену — та умерла от чахотки и под конец так яростно возненавидела мужа, что, если он входил к ней в комнату, у нее начинала идти кровь горлом. Но, похоже, ни то, ни другое Джерри не смущало. И теперь старшая, пятнадцатилетняя дочь хозяйничала в его нищем доме и заботилась о двух младших детях.

— Бессердечный скряга! — говорила о нем миссис Морел.

— Отродясь не видал, чтоб Джерри скряжничал, — возражал Морел. — Широкий парень,

отродясь щедрей человека не видал, — вот он, по-моему, какой.

— Это он с тобой щедрый, а своим детям, бедняжкам, каждый грош жалеет, — не соглашалась миссис Морел.

— Бедняжкам! Это почему ж такое они бедняжки, интересно?

Но когда речь заходила о Джерри, миссис Морел оставалась непреклонной.

А предмет их спора был уже тут как тут — его голова на тощей шее показалась над кухонной занавеской. Он поймал взгляд миссис Морел.

— Доброго утречка, хозяйка! Сам дома?

— Да… дома.

Не дожидаясь приглашения, Джерри вошел и остановился у порога. Сесть она ему не предложила, и он так и стоял, невозмутимо утверждая права мужчин и мужей.

— Денек что надо, — сказал он миссис Морел.

— Да.

— На дворе красота… — прогуляться сейчас красота.

— Собираетесь прогуляться? — спросила миссис Морел.

— Да. Хотим прогуляться в Ноттингем, — был ответ.

— Хм!

Мужчины поздоровались, оба с явным удовольствием, однако Джерри держался свободно и уверенно, Морел же довольно скованно — в присутствии жены боялся слишком явно выказывать радость. Но резво, мигом зашнуровал башмаки. Им предстояло пройти пешком, полями десять миль до Ноттингема. Поднявшись из Низинного на холм, они весело вступили в утро. В «Луне и звездах» выпили по первому стаканчику и двинулись дальше, к «Старому местечку». Потом долгие пять миль предстояло терпеть жажду до «Бычьего источника», до желанной пинты доброго горького пива. Но по дороге они еще посидели с косарями, у которых бутыль была полна, так что, когда завиднелся город, у Морела слипались глаза. Город раскинулся перед ними, дымясь в полдневном мареве, он поднимался по холму, и шпили, громады фабричных корпусов, трубы скрывали с юга его вершину. На последнем лужке Морел улегся под дубом и крепко проспал больше часу. А когда проснулся и они двинулись дальше, почувствовал, что хмель еще не выветрился.

Они пообедали в «Луговине» у сестры Джерри, потом отправились в «Пирушку», где так и бурлили всевозможные азартные игры. Морел

никогда не играл в карты, ему казалось, они обладают какой-то таинственной злой силой, — «бесовские картинки» называл он их! Но он знал толк в кеглях и в домино. И принял вызов одного ньюаркца, пожелавшего сразиться в кегли. Все, кто был в длинном зале старой пивной, тут же разделились, одни ставили на Морела, другие на его противника. Морел скинул сюртук. Джерри держал шапку с деньгами. За столами с них не спускали глаз. Кое-кто поднялся с кружкой в руках. Морел хорошенько примерился к большому деревянному шару, метнул. Кегли развалились, он выиграл полкроны и теперь оказался при деньгах.

К семи часам два приятеля порядком нагрузились. Поездом 7:30 они покатили домой.

Во второй половине дня в Низинном стало невыносимо. Все, кто был в это время в поселке, высыпали из домов. Женщины, с непокрытыми головами, в белых фартуках, собравшись по две-по три, судачили в проулках. Мужчины, отдыхая между выпивками, сидели на корточках и толковали о своем. Воздух был спертый, в сухом зное ослепительно блестели шиферные крыши.

Миссис Морел пошла с маленькой дочкой на луг, к речушке, всего в каких-нибудь двухстах

ярдах от дома. Вода живо бежала по камням и черепкам. Мать и малышка облокотились о перила старого мостика для овец и смотрели, что делается вокруг. Вверх по течению, у глубокой заводи на другом конце луга, подле желтой воды мелькали голые мальчишечьи тела, изредка освещенная солнцем фигурка, блестя, стремглав проносилась над темнеющими неподвижными травами. Миссис Морел знала, Уильям тоже у заводи, и ее не отпускал страх — как бы не утонул. Энни играла у высокой живой изгороди, подбирала ольховые шишки, она их называла черной смородиной. С малышки ни на минуту нельзя было спускать глаз, да еще и мухи одолевали.

В семь миссис Морел уложила детей. И некоторое время сидела и шила.

Когда Уолтер Морел и Джерри вернулись в Бествуд, оба сразу повеселели: уже не грозила поездка по железной дороге и теперь можно было достойным образом закончить этот замечательный день. Они зашли в пивную Нелсона с чувством удовлетворения, какое испытываешь после долгих странствий.

Назавтра предстоял рабочий день, и мысль об этом омрачала настроение мужчин. К тому же у большинства уже кончились деньги. Кое-кто,

покачиваясь, уныло брел домой, выспаться перед завтрашней работой. Под их заунывное пение миссис Морел вошла в дом. Вот уже девять часов, десять, а дружков все нет. Слышно было, поодаль на крылечке, какой-то гуляка громко тянет «Веди нас, путеводный свет». Миссис Морел неизменно возмущалась, что пьяным, когда расчувствуются, приходит охота петь этот гимн.

— Мог бы и «Женевьевой» обойтись, — сказала она.

Кухню наполнял запах кипящих трав и шишек хмеля. На подставке в камине в большой черной кастрюле что-то неторопливо булькало. Миссис Морел взяла большую глиняную миску, щедро насыпала в нее рафинаду и, поднатужившись, перелила туда кипящую жидкость из кастрюли.

В эту минуту вошел Морел. У Нелсона он был на зависть весел, но по дороге домой помрачнел. Он не вовсе преодолел досаду и огорчение, оттого что, напившись, заснул на лугу; и на пути к дому его стала мучить нечистая совесть. Он сам не понимал, что зол. Но едва ощутил, что садовая калитка не поддается, пнул ее ногой и сломал щеколду. Когда он вошел, миссис Морел как раз выливала из кастрюли настой трав. Качнувшись, Морел задел стол. Чаша с горячей смесью накре-

нилась. Миссис Морел отскочила.

— Боже милостивый! — воскликнула она. — Прийти домой пьяным!

Она вдруг вышла из себя.

— Может, скажешь, ты не пьян! — в сердцах бросила она.

Она поставила кастрюлю и стала размешивать сахар в пиве. Морел тяжело опустил руки на стол, свирепо выпятил челюсть.

— Может, скажешь, ты не пьяный, — повторил он. — Ишь чего выдумала, сучка паршивая.

И он опять вздернул подбородок, свирепо глядя на жену.

— На что другое денег нету, а на выпивку нашлись.

— Я нынче, считай, сущие гроши потратил, — сказал Морел.

— На гроши так не напьешься, — возразила она. И вдруг придя в ярость, закричала: — А если тебя угощал твой любезный Джерри, так лучше б он о своих детях подумал, им деньги нужней.

— Вранье, вранье. Заткнись, баба.

Они разругались не на шутку. В пылу схватки каждый забыл про все на свете, кроме ненависти к другому. Миссис Морел разгорячилась, была взбешена не меньше мужа. И так шло, пока он не

назвал ее лгуньей.

— Нет! — крикнула она, выпрямившись, у нее перехватило дыхание. — Ты не смеешь так меня называть… да такого презренного лгуна, как ты, свет не видал. — Она чуть не задохнулась, с трудом выговорила последние слова.

— Это ты лгунья! — заорал он, стуча кулаком по столу. — Ты, ты лгунья!

Она сжала кулаки, вся напряглась. И крикнула:

— Из-за тебя в доме мерзко!

— Тогда убирайся… это мой дом! Убирайся! — завопил Морел. — Это я приношу в дом деньги, не ты. Мой это дом, не твой. Убирайся вон… убирайся!

— Я бы рада, — воскликнула она, вдруг разрыдавшись от собственного бессилия. — Да если б не дети, я бы и ушла, ушла бы давным-давно, пока был еще только один ребенок. — И так же вдруг осушив слезы, яростно крикнула: — Думаешь, это я из-за тебя остаюсь… думаешь, из-за тебя я осталась бы хоть на минуту?

— Так убирайся вон! — вне себя заорал Морел. — Вон!

— Нет! — она взглянула ему прямо в лицо. — Нет, — громко сказала она. — Не бывать по-твое-

му, не все будет по-твоему. У меня на руках дети. Право слово, — она засмеялась, — хороша я буду, если доверю их тебе.

— Вон! — хрипло выкрикнул он, подняв кулак. Он боялся ее. — Вон!

— Я бы с радостью. Господи, да если б я могла уйти от тебя, я бы только веселилась, да, веселилась, — сказала она в ответ.

Он метнулся к ней, выпятив челюсть, лицо воспаленное, глаза налиты кровью, схватил за плечи. Она в страхе закричала, попыталась вырваться. Чуть опомнясь, тяжело дыша, он грубо пихнул ее к двери, вытолкнул за порог на улицу, рывком, с грохотом запер дверь на засов. Потом вернулся в кухню, рухнул в кресло, голова, лопаясь от прихлынувшей крови, повисла меж колен. Усталый, пьяный, он постепенно погрузился в оцепенение.

В эту августовскую ночь высоко в небе стояла великолепная луна. Под ее ярким белым светом разгоряченную гневом миссис Морел обдало холодом, страх охватил ее взволнованную душу. Несколько минут потрясенная женщина беспомощно глядела на крупные сверкающие листья ревеня подле двери. Потом тяжело перевела дух. И, дрожа всем телом, пошла по дорожке, а под

сердцем шевельнулось потревоженное дитя. Она все не могла прийти в себя; машинально перебрала в уме только что разыгравшуюся сцену, опять к ней вернулась; иные фразы, иные мгновенья каленым железом обжигали душу; и всякий раз, как она снова представляла себе этот последний час, каленым железом било по тому же месту, навек выжигая клеймо, к наконец боль выгорела дотла и миссис Морел опомнилась. Должно быть, прошло с полчаса. Теперь она вновь осознала, что ее окружает ночь. В страхе огляделась по сторонам. Оказалось, она забрела в сад за домом и бродит взад и вперед по дорожке мимо кустов черной смородины, растущих вдоль длинной ограды. Сад был узкой полоской земли, и колючая живая изгородь отделяла его от пересекающей улицу дороги.

Миссис Морел торопливо прошла в палисадник, что был теперь словно огромный залив белого света, прямо в лицо ей с высоты светила луна, лунный свет низвергался с высящихся перед нею холмов, заливал долину, в которой примостился поселок Низинный, и едва ее не ослепил. Тяжело дыша и всхлипывая после перенесенного напряжения, она вновь и вновь бормотала про себя:

— Надоело! Надоело!

Что-то она ощутила рядом. С трудом встряхнулась и посмотрела, что же это коснулось ее сознания. В лунном свете покачивались высокие белые лилии, и воздух полон был их ароматом, будто чьим-то присутствием. Миссис Морел судорожно вздохнула. Потрогала лепестки больших бледных цветов и вздрогнула. Казалось, они вытягиваются в лунном свете. Она осторожно сунула руку в белую чашечку и в лунном свете едва разглядела на пальцах золотой след. Она наклонилась, хотела рассмотреть желтую пыльцу, но все было смутно. Тогда она глубоко вдохнула аромат. И ей чуть не сделалось дурно.

Миссис Морел оперлась о садовую калитку и, глядя на улицу, глубоко задумалась. Она не знала, о чем думает. Чувствовала лишь, что ее подташнивает, и помнила про свое дитя, и, подобно аромату лилии, сама растворялась в сверкающем бледном воздухе. Немного погодя и дитя вместе с ней растворилось в этой чаше лунного света, и она покоилась там заодно с холмами, и лилиями, и домами, и они плыли все вместе будто в забытьи.

Очнувшись, она почувствовала, что устала и хочет спать. Вяло огляделась; купы белых флоксов

походили на кусты, покрытые беленым холстом; ночной мотылек ударился о них и отлетел в другой конец садика. Следя за ним взглядом, миссис Морел стряхнула с себя сон. Струи влажного, острого аромата флоксов взбодрили ее. Она прошла по дорожке, помедлила у куста белых роз. Они пахли нежно и бесхитростно. Она потрогала белые сборки цветов. Свежий запах и мягкая прохлада листьев напомнили о раннем утре, о солнечном свете. Она так их любила. Но сейчас она устала и хотелось спать. В этом таинственном мире вне стен дома она чувствовала себя потерянной.

Не слышно было ни звука. Видно, детей ссора не разбудила, или они успели снова уснуть. С грохотом пересек долину поезд в трех милях отсюда. Ночь такая огромная, незнакомая, и нет ей, извечной, ни конца, ни края. Из серебристо-серой сумрачной мглы доносятся слабые, хриплые звуки: неподалеку скрип коростеля, шум поезда, будто вздох, в отдалении возгласы мужчин.

Унявшееся было сердце опять забилось чаще, миссис Морел торопливо пошла по дорожке к черному ходу. Тихонько подняла щеколду, оказалось, дверь еще на засове, заперта, чтоб она не могла войти. Она негромко постучала, подожда-

ла, опять постучала. Как бы не разбудить детей или соседей. Он, должно быть, спит и проснется не вдруг. Огнем жгло — скорей бы попасть в дом. Она уцепилась за ручку двери. Как холодно стало, можно ведь простыть, и это в ее теперешнем-то положении!

Она покрыла голову и плечи фартуком и опять торопливо пошла в сад, к окну кухни. Облокотясь на подоконник, она только и сумела увидать из-под шторы раскинутые на столе руки мужа и между ними черную голову. Он спал, уткнувшись лицом в стол. Что-то в его позе заставило жену ощутить, как она от всего устала. Свет в кухне медно-красный, значит, лампа коптит. Миссис Морел забарабанила в окно, громче, громче. Того и гляди разобьется стекло. А муж не просыпался.

После этих напрасных попыток миссис Морел бросило в дрожь — слишком был холоден камень, да и усталость навалилась. В вечном страхе из-за еще не рожденного ребенка она гадала, как бы согреться. Прошла к сараю, там лежал старый половик, позавчера она снесла его туда, чтоб отдать старьевщику. Она накинула половик на плечи. Был он теплый, хотя и перепачканный. И она стала ходить взад-вперед по садовой дорожке, время от времени заглядывала под штору, стучала в

окно и уговаривала себя, что в конце концов он проснется, уж слишком у него неудобная поза.

Но вот спустя час она опять негромко застучала в окно, стучала долго. Постепенно звук этот дошел до Морела. Когда, отчаявшись, она перестала барабанить по стеклу, она увидела, что муж шевельнулся, потом, не открывая глаз, поднял голову. Сильно бьющееся сердце пробудило его сознание. Миссис Морел требовательно застучала в окно. Он проснулся. Мигом сжал кулаки, глаза яростно сверкнули. Он ничуть не испугался. Окажись тут хоть двадцать грабителей, он не рассуждая сразился бы с ними. Он в ярости огляделся, недоуменно, но готовый к схватке.

— Отвори, Уолтер, холодно, — сказала жена.

Кулаки его разжались. До него дошло, что он натворил. Голова опустилась, лицо стало угрюмое, замкнутое. Она увидела, как он заторопился к двери, услышала, как лязгнул засов. Морел дернул задвижку. Дверь отворилась — и вот вместо тускло-желтого света лампы перед ним серебристо-серая ночь. Он поспешно отступил.

Когда миссис Морел вошла в дом, он уже почти бежал к лестнице. Торопясь скрыться прежде чем войдет жена, он наскоро содрал с шеи пристежной воротничок, и тот валялся на полу с

лопнувшими петлями. Ее это рассердило.

Согревшись, она успокоилась. От усталости обо всем позабыла, бродила по дому, делала те нехитрые дела, с которыми прежде не успела управиться, собрала мужу завтрак, сполоснула бутылку, которую он брал с собой в шахту, положила рабочую одежду к огню, чтоб согрелась, поставила к ней рабочие башмаки, достала чистый шарф, сумку для еды, два яблока, пошуровала в очаге и поднялась в спальню. Морел уже крепко спал. Тонкие черные брови его были подняты в горестном недоумении, щеки запали, уголки рта угрюмо опущены, он словно говорил: «Плевать мне, кто ты и что ты, все равно сделаю по-своему».

Миссис Морел и смотреть на него не надо было, все слишком хорошо знакомо. Расстегивая перед зеркалом брошь, она слабо улыбнулась — оказалось, все лицо у нее в желтой пыльце лилий. Она смахнула пыльцу и наконец легла. Некоторое время в мозгу что-то вспыхивало, мерцало, но она уснула еще до того, как муж наконец проспался.

2. Рождение Пола и еще одно сражение

После недавней стычки Уолтер Морел несколько дней был смущен и пристыжен, но скоро вновь обрел свое задиристое безразличие. Однако уверенности в нем поубавилось. Он даже как-то съежился и выглядел уже не таким крупным и внушительным. Дородностью он не отличался, и, когда утратил уверенную, горделивую осанку, казалось, вместе с гордостью и внутренней силой дала усадку и его плоть.

Но теперь он понимал, как тяжела жене работа по дому, и, подгоняемый сочувствием, возникшим из раскаяния, спешил ей на помощь. Из шахты он стал сразу возвращаться домой и вечерами никуда не уходил, но в пятницу не выдержал. Однако уже к десяти вернулся лишь слегка навеселе.

Завтрак он готовил себе сам. Он привык вставать рано, времени было в избытке, и не в пример многим углекопам не требовал, чтобы жена поднималась в шесть. Просыпался в пять, а то и раньше, тут же вставал и шел вниз. Когда жене не спалось, она ждала этой минуты, чтобы немного полежать в мире и покое. По-настоящему отды-

хала она, только когда его не было дома.

Он спустился вниз в сорочке, натянул шахтерские штаны, которые на ночь оставляли у очага, чтоб они были теплые. В очаге всегда горел огонь, миссис Морел не давала ему угаснуть. И поутру первым делом слышен бывал стук кочерги о решетку — это Морел разбивал остатки угля, чтобы вскипел наконец чайник, заранее налитый и стоявший на полке над огнем. Чашка, нож, вилка — все необходимое, кроме еды, ждало его на столе, на газете. Теперь он достал завтрак, заварил чай, подоткнул под двери половики, чтоб не было сквозняка, разложил большой огонь и сел — можно было целый час предаваться радости. Он подцепил вилкой ломтик бекона, поджарил на огне и толстым ломтем хлеба поймал стекающие капли жира; потом положил бекон на хлеб, складным ножом нарезал большие куски, налил в блюдце чай и почувствовал себя счастливым. Семейные трапезы никогда не доставляли ему такого удовольствия. Он терпеть не мог вилку; это современное новшество еще не вошло в обиход простого народа. Морел предпочитал орудовать складным ножом. К тому же в одиночестве он в холодную погоду часто ел и пил, сидя на низенькой скамеечке, прислонясь спиной к теплой

трубе, поставив тарелку на каминную решетку, а чашку прямо на каменную плиту. А потом читал вечернюю газету, то, что мог из нее прочесть, с трудом складывая слова. И еще он предпочитал даже среди бела дня сидеть с опущенными шторами и при свече — таков был шахтерский обычай.

Без четверти шесть он вставал, отрезал два толстых ломтя хлеба, мазал маслом и укладывал в белую коленкоровую сумку. В жестяную фляжку наливал чай. Холодный чай без молока и без сахара — вот питье, которое он предпочитал в шахте. Потом, сняв рубашку, натягивал шахтерскую фуфайку, жилет из плотной фланели с большим вырезом у шеи и с короткими рукавами, как у женской сорочки.

Потом с чашкой чаю поднимался в спальню, к жене, оттого что она была нездорова или оттого, что так ему вздумалось.

— Я принес тебе чашечку чаю, лапушка, — говорил он.

— Ну, напрасно, ведь ты знаешь, я этого не люблю, — отвечала она.

— Выпей, и враз опять уснешь.

Жена брала чашку. Ему приятно было, что она взяла чай и пьет маленькими глотками.

— Даю голову на отсечение, ты не положил

сахару, — говорила она.

— Вот еще… большущий кусище — обиженно отвечал он.

— Чудеса, — и она опять принималась пить маленькими глоточками.

Распущенные волосы очень ее красили. Ему нравилось, когда она вот так ворчала на него. Он опять на нее глянул и, никак не простясь, пошел прочь. Обычно он брал с собой в шахту всего два ломтя хлеба с маслом, а яблоко или апельсин в придачу — это было уже лакомство. Ему нравилось, когда жена клала что-нибудь такое в его сумку. Он повязал шею шарфом, надел большие тяжелые башмаки, куртку с большим карманом для сумки и фляжки с чаем и вышел на по-утреннему свежий воздух, затворив, но не заперев за собою дверь. Он любил ранним утром шагать через поля. Подходил к устью шахты, часто с веточкой в зубах, которую выдернул из живой изгороди, и потом жевал весь день, чтоб в шахте у него не пересыхало во рту, и так же легко у него было на душе, как когда шел полями.

Со временем, когда до жениных родов оставалось совсем недолго, он перед работой на свой небрежный лад наводил порядок в доме, выгребал золу, подметал. Потом, очень собой

довольный, поднимался в спальню.

— Ну вот, я все прибрал. Теперь весь день знай отдыхай, только и делов, что книжки читать.

И хоть и раздосадованная, жена не могла удержаться от смеха.

— А обед сварится сам собой? — говорила она в ответ.

— Ну, насчет обеда не знаю.

— Когда б его не было, знал бы.

— Да уж, видать, так, — отвечал он, уходя.

Немного погодя она шла вниз, там оказывалось прибрано, но грязно. Она не давала себе передышки, пока не наведет чистоту; потом выносила мусор в яму для золы. Миссис Керк, соседка, поджидавшая, когда она выйдет, старалась в ту же минуту пройти к своей угольной яме. И оттуда окликала через деревянный забор:

— А вы все не угомонитесь?

— Да уж, — суховато отвечала миссис Морел. — Ничего не поделаешь.

— Хоуза не видали? — донесся через дорогу голос крохотной женщины. То была миссис Энтони, черноволосая нескладная коротышка, она всегда носила плисовые платья в обтяжку.

— Я не видела, — отозвалась миссис Морел.

— Ну что б ему прийти. У меня уже полно гото-

вого, и, сдается мне, я слыхала его колокольчик.

— Слушайте! Вот и он, в том краю.

Обе женщины посмотрели вдоль улицы. В конце поселка стоял человек в допотопной таратайке, наклонясь над желтоватыми узлами какого-то тряпья, а вокруг теснились женщины, протягивали к нему руки, и у иных в руках были узлы. Миссис Энтони держала охапку некрашеных желтоватых чулок.

— Я на этой неделе десять дюжин сделала, — с гордостью сказала она миссис Морел.

— Тц-тц, — другая соседка даже прищелкнула языком. — И откуда только вы время берете?

— Э, да если расстараешься, время найдется, — сказала миссис Энтони.

— Нет, не знаю, как вы поспеваете, — сказала миссис Морел. — И сколько вы получите за них за все?

— Два с половиной пенса за дюжину пар.

— Да я лучше буду голодать, чем стану корпеть над дюжиной пар за два с половиной пенса, — сказала миссис Морел.

— Ну, не знаю, — сказала миссис Энтони. — Сколько ни есть, а заработаешь.

Хоуз двигался в их сторону, позванивал колокольчиком. Женщины стояли в калитках,

перекинув через руку приготовленные чулки. Хоуз, простой малый, шутил с ними, старался их обсчитать, стращал. Миссис Морел, надменно вскинув голову, пошла в глубь своего двора.

В Низинном так повелось, что если соседке требовалась помощь соседки, она совала кочергу в камин и стучала в заднюю стенку, а так как камины примыкали друг к другу задними стенками, в соседнем доме раздавался громкий стук. Однажды утром миссис Керк замешивала тесто для пудинга и чуть не подскочила — в камине послышались громкие удары. Как была — руки в муке — она кинулась к ограде.

— Миссис Морел, вы стучали?

— Будьте добры, миссис Керк.

Миссис Керк перелезла через ограду и бегом кинулась в дом миссис Морел.

— Что, милая, как вы себя чувствуете? — озабоченно спросила она.

— Пора позвать миссис Бауэр, — сказала миссис Морел.

Миссис Керк вышла во двор и резким, пронзительным голосом закричала:

— Эгги… Эгги!

Зов разнесся из конца в конец Низинного. Наконец выбежала Эгги и была послана за миссис

Бауэр, а миссис Керк, махнув рукой на пудинг, осталась возле соседки.

Миссис Морел легла в постель. Миссис Керк позвала Энни и Уильяма к себе обедать. Толстая миссис Бауэр вразвалку ходила по дому и по-хозяйски распоряжалась.

— Порубите холодного мяса хозяину на обед и приготовьте ему яблочный пудинг, — сказала миссис Морел.

— Уж нынче-то может и без пудинга обойтись, — сказала миссис Бауэр.

Обычно Морел не спешил на площадку рудничного двора, чтобы пораньше подняться из шахты. Кое-кто оказывался там еще до четырех, до свистка, означавшего окончание работы; но Морел, чей небогатый забой был теперь милях в полутора от площадки, работал, как правило, до тех пор, пока его напарник не прекращал работу, тогда и он тоже кончал. Однако нынче ему не работалось. Он находился в безопасной выработке и в два часа, при слабом свете свечи, глянул на часы, в половине третьего опять. Он врубался в выступ скалы, который преграждал путь к завтрашнему участку. Садился на корточки или опускался на колени и с силой ударял кайлом о камень — «У-ух… у-хх!»

— Пошабашим, приятель? — крикнул работающий рядом Баркер.

— Пошабашим? Ни в жисть! — проворчал Морел.

И опять взмахнул кайлом. Хоть и устал.

— Нудная работенка, — сказал Баркер.

Но Морел был слишком зол, ему стало невтерпеж и не до разговоров. Изо всех сил он наносил удары, врезался в скалу.

— Да брось, Уолтер, — сказал Баркер. — Обождет до завтра, нечего тебе надрываться.

— Завтра я и пальцем не притронусь к этой сволочной скале, Израиль! — крикнул Морел.

— Не хочешь — не надо, кто другой дорубает, — сказал Израиль.

Но Морел знай ударял кайлом.

— Эй вы… кончай! — прокричали углекопы, уходя из соседнего забоя.

Морел все ударял кайлом.

— Может, еще догонишь меня, — сказал Баркер, уходя.

Когда тот скрылся и Морел остался один, он совсем осатанел. Выступ скалы он так и не одолел. Столько сил потратил сгоряча, что впал в неистовство. Мокрый от пота, он встал, кинул наземь кайло, напялил куртку, задул свечу, взял

лампу и пошел. По главному проходу, покачиваясь, удалялись огни углекопов. Слышался глухой гул многих голосов. То был долгий, тяжкий путь под землей.

Морел присел на площадке рудничного двора, где с плеском падали крупные капли воды. Множество углекопов, шумно переговариваясь, ожидали своей очереди подняться из шахты. Когда обращались к Морелу, он отвечал коротко, неприветливо.

— Дождик идет, приятель, — сказал старик Джайлз, узнавший это от кого-то сверху.

Одно хорошо: в кладовке для ламп Морел хранил свой старый любимый зонтик. Наконец он встал в клеть — и вот он уже наверху. Сдал лампу, взял зонт, который когда-то купил на аукционе за полтора шиллинга. С минуту помедлил у шахты, глядя в поля; все затянуло серой пеленой дождя. Стояли платформы, полные мокрого блестящего угля. Вода стекала по бортам вагонеток по белым буквам «К.У. и Компания». Не обращая внимания на дождь, углекопы серой унылой толпой брели вдоль железной дороги через поля. Морел раскрыл зонт, и приятно было слышать, как барабанит по нему дождь.

По дороге до самого Бествуда тяжело шагали

углекопы, вымокшие, серые, грязные, но красные рты не закрывались ни на минуту — не умолкал оживленный разговор. В одной группе шел и Морел, но не говорил ни слова. Шел и досадливо хмурился. Многие заходили в трактиры — к «Принцу Уэлльскому» или к «Эллен». Недовольство, владевшее Морелом, удержало его от искушения, и он устало тащился под нависавшими над оградой парка промокшими деревьями, а потом по грязи Гринхиллской дороги.

Миссис Морел лежала в постели, прислушивалась к дождю и к шагам углекопов, идущих из Минтона, к их голосам, к хлопанью калитки, когда они поднимались на приступку и уходили в поле.

— В кладовке за дверью стоит пиво, — сказала она. — Хозяин захочет пить, если не зайдет в трактир.

Но было уже поздно, должно быть, он заглянул по дороге выпить — ведь льет дождь. Что ему за дело до ребенка ли, до нее?

Рождение ребенка всякий раз давалось ей тяжело.

— Кто? — спросила она едва живая.

— Мальчик.

И это ее утешило. Мысль, что она дает жизнь

мужчинам, согревала душу. Она взглянула на дитя. Голубоглазый, с густыми белокурыми волосами, до чего ж хорош. Горячая волна любви поднялась в ней, несмотря на все муки. Он лежал рядом с ней в постели.

Ни о чем не подозревая, Морел, усталый и сердитый, брел по садовой дорожке. Он закрыл зонт, поставил его в раковину, потом сунул в кухню тяжелые башмаки. В дверях появилась миссис Бауэр.

— Ну, ей сейчас хуже некуда. Мальчиком разрешилась.

Морел охнул, положил пустую сумку и жестяную фляжку на полку, вернулся в чулан, повесил куртку, потом вышел и опустился на свой стул.

— Выпить найдется? — спросил он.

Повитуха пошла в кладовку. Хлопнула пробка. Неодобрительно пристукнув кружкой, она поставила пиво на стол перед Морелом. Он отхлебнул, перевел дух, утер концом шарфа свои большие усы, еще хлебнул, перевел дух и откинулся на спинку стула. Повитуха не стала больше ничего ему говорить. Поставила перед ним обед и пошла наверх.

— Это хозяин пришел? — спросила миссис Морел.

— Я подала ему обед, — ответила миссис Бауэр.

Морел выложил руки на стол, посидел так, — недовольный, что миссис Бауэр не постелила для него скатерть и поставила не большую мелкую тарелку, а маленькую, потом принялся за еду. Его ничуть не трогало сейчас, что жена больна, что у него появился еще один сын. Слишком он устал; хотелось пообедать, хотелось посидеть, положив руки на стол, и не по душе ему было, что в доме крутится миссис Бауэр. И огонь в очаге не радовал — слишком был мал.

Он поел, посидел еще двадцать минут, потом расшуровал большой огонь в очаге. Потом, как был в одних носках, нехотя пошел наверх. Нелегко сейчас увидеть жену, а он так устал. Лицо у него было черное, в грязных подтеках от пота. Фуфайка теперь высохла, впитав грязь. На шее болтался грязный шерстяной шарф. Так он вошел и остановился в ногах кровати.

— Ну как ты, а? — спросил он.

— Все обойдется, — ответила жена.

— Гм!

Он стоял в растерянности, не зная, что еще сказать. Он так устал, и это беспокойство было ему ни к чему, он совсем не знал, на каком он свете.

— Она сказала… малец, — с запинкой произ-

нес он.

Жена отогнула простыню и показала дитя.

— Благослови его Бог! — пробормотал Морел. И она засмеялась, оттого что сказано это было механически — он пытался изобразить отцовские чувства, которых в ту минуту вовсе не испытывал.

— Теперь уходи, — сказала она.

— Пойду, лапушка, — отвечал он и повернулся к двери.

Отпущенный на свободу, он теперь захотел поцеловать ее, но не осмелился. Ей, пожалуй, тоже хотелось бы этого, но не могла она заставить себя подать ему знак. Она лишь облегченно вздохнула, когда он вышел, оставив за собою слабый запах угольной пыли.

Каждый день миссис Морел навещал приходский священник. Мистер Хитон был молод и очень беден. Жена его умерла первыми родами, и в пасторском доме он жил один. Он получил в Кембридже степень бакалавра гуманитарных наук, был очень робок и никудышный проповедник. Миссис Морел души в нем не чаяла, и он очень доверял ей. Когда она была здорова, он часами с ней разговаривал. Он и стал крестным отцом малыша.

Иногда священник оставался выпить чаю с миссис Морел. Тогда она пораньше стелила скатерть, доставала свои лучшие чашки с тонким зеленым ободком и надеялась, что Морел вернется не слишком рано; в такие дни она даже была не против, чтоб он посидел в пивной. Ей всегда приходилось готовить два обеда — по ее мнению, детям следовало особенно сытно поесть среди дня, а Морел обедал в пять. И вот, пока она месила тесто для пудинга или чистила картошку, мистер Хитон держал дитя и, не спуская с нее глаз, обсуждал с ней свою ближайшую проповедь. Идеи у него были странные, причудливые, и миссис Морел с присущим ей здравым смыслом возвращала его на землю. Сегодня они обсуждали брак в Кане Галилейской.

— Когда в Кане Иисус превратил воду в вино, это означает, что обычная жизнь, даже кровь вступивших в брак мужа и жены, каковая прежде была бездушной как вода, исполнилась Духа и стала вином, ибо, когда нисходит любовь, весь склад души человека меняется, исполняется Святого духа, и даже самый облик его, можно сказать, меняется.

А миссис Морел слушала и думала: «Ах, бедняга, его молодая жена умерла, вот он и обращает

любовь в Святой дух».

Они уже наполовину осушили первую чашку чая, и тут послышался стук скинутых шахтерских башмаков.

— Боже милостивый! — невольно воскликнула миссис Морел.

У священника лицо стало испуганное. Вошел Морел. Злость в нем кипела. Он кивнул, поздоровался с пастырем, а тот встал, хотел обменяться рукопожатием.

— Да нет, — сказал Морел, показывая руку, — видали, какая пятерня! Кому охота пожимать такую руку? Работаешь кайлом да лопатой, вот грязь и въелась.

Священник вспыхнул от смущения и опять сел. Миссис Морел поднялась, достала дымящуюся кастрюлю. Морел снял куртку, пододвинул к столу свое кресло и тяжело опустился в него.

— Устали? — спросил священник.

— Устал? А еще бы, — отозвался Морел. — Вам-то невдомек, каково устать, как я устал.

— Конечно, — согласился священник.

— А вот гляньте сюда, — сказал углекоп, показывая на плечи своей фуфайки. — Сейчас она малость подсохла, а все равно еще мокрая от пота, будто тряпка. Пощупайте.

— Господи! — воскликнула миссис Морел. — Не хочет мистер Хитон щупать твою грязную фуфайку.

Священник опасливо протянул руку.

— А должно, и впрямь не хочет, — сказал Морел. — Но так ли, эдак ли, это все из меня выходит. И всякий день то же, насквозь мокрая. Найдется у тебя что выпить, жена, человек ведь из шахты пришел, весь задубел.

— Ты все пиво уже выпил, сам знаешь, — сказала миссис Морел, наливая ему чай.

— А еще достать негде? — И, поворотясь к священнику, продолжал: — В глотке-то пересохло от пыли, ей вся шахта набита, приходит человек домой — не выпить никак нельзя.

— Безусловно, нельзя, — сказал священник.

— А ведь выпить-то редко когда дадут.

— Есть вода… и чай есть, — сказала миссис Морел.

— Вода! Водой глотку не прочистишь.

Он налил себе полную чашку чаю, подул, всосал его весь через свои большие черные усы и вздохнул. Потом опять налил полную чашку и поставил на стол.

— Скатерть испачкаешь! — воскликнула миссис Морел, ставя чашку на тарелку.

— Человек такой приходит усталый, ему не до скатерти, — сказал Морел.

— Очень жаль! — язвительно сказала жена.

В комнате стоял запах мяса, овощей и шахтерской одежды.

Морел наклонился к священнику, густые длинные усы его топорщились, рот казался особенно красным на черном лице.

— Мистер Хитон, — заговорил он. — Человек весь день проторчал в черной яме, долбал в забое уголь, и… и это будет потверже здешней стены…

— Нечего плакаться, — вмешалась миссис Морел.

Когда у мужа появлялся слушатель и он начинал ныть и искать сочувствия, он был ей ненавистен. Уильям, державший малыша на руках, с мальчишеским пылом ненавидел отца за фальшивую чувствительность и за нелепое обхождение с матерью. Энни никогда не любила отца, она просто его избегала.

Священник ушел, и миссис Морел посмотрела на скатерть.

— Ну и грязища! — сказала она.

— А ты что ж думаешь, раз у тебя пастор чаи распивает, я, значит, и руки на стол не клади, — рявкнул Морел.

В обоих накипала злость, но жена промолчала. Заплакало дитя, миссис Морел сняла с решетки кастрюлю, нечаянно стукнула Энни по голове, девочка захныкала, и Морел заорал на нее. В разгар скандала Уильям поднял глаза на висящее над камином застекленное изречение и отчетливо прочитал вслух: «Благослови наш дом, Господи!»

И тут миссис Морел, которая пыталась успокоить плачущее дитя, вскочила, кинулась к сыну, отхлестала по щекам, крикнув при этом:

— А ты-то чего ради встреваешь?

И села, и начала смеяться, пока по щекам не потекли слезы; Уильям лягнул табуретку, на которой сидел, а Морел проворчал:

— Не пойму, с чего тебя разбирает.

Однажды вечером, вскоре после того, как у них был пастор, не в силах владеть собой после очередной выходки мужа, миссис Морел взяла Энни и малыша и вышла из дому. Перед тем Морел наподдал Уильяму нагой, и мать ввек ему этого не забудет.

Она перешла по овечьему мостику, пересекла край луга и направилась к крикетному полю. Луга, казалось, слились воедино с ярким вечерним светом и тихонько перешептывались с водой, шум которой доносился издали от мельничной

запруды. На крикетном поле она села на скамью под черной ольхой и оказалась Лицом к лицу с вечером. Точно море света, раскинулось пред нею зеленое крикетное поле, большое, ровное и плотное. Дети играли в голубоватой тени беседки. Высоко в нежно сотканном небе грачи с криком возвращались домой. Длинной дугой спускались они в золотом мареве, с криком сбивались в стаю и, точно черные хлопья, кружились в медленном вихре над темной купой деревьев, встающей посреди пастбища.

Несколько джентльменов упражнялись на поле, миссис Морел слышала удары биты о шар, а то вдруг громкие мужские голоса; потом игроки в белом молча перемещались по зеленому полю, на котором уже сгущались сумерки. В стороне, у фермы, скирды с одной стороны были освещены, с другой смутно синели. Повозка со снопами, казавшаяся совсем маленькой, покачивалась в угасающем желтом свете.

Солнце садилось. В ясные вечера дербиширские холмы рдели, освещенные красным закатом. Миссис Морел смотрела, как солнце скользит вниз в сияющих небесах, и на западе они алеют, словно весь жар перелился туда, а над головой у нее безупречно синий купол. За полем на миг

огненно вспыхнули среди темной листвы ягоды рябины. В углу оставленного под паром поля как живые стояли копны, и представилось, будто они кланяются; уж не станет ли ее сын Иосифом? Закатный багрянец розово отражался на востоке. Большие скирды на склоне холма, что еще недавно выступали в слепящем свете, уже остыли.

То была для миссис Морел одна из тех тихих минут, когда мелкие докуки забываются и ничто не заслоняет ей красоту мира, и хватает покоя и силы увидеть себя самое. Порой совсем рядом рассекала воздух ласточка. Порой подходила Энни, приносила в горсти ольховые шишки. Малыш шебуршился на материнских коленях, пытался поймать руками свет.

Миссис Морел поглядела на него. Рождения его она страшилась, точно несчастья, оттого, какое чувство стала испытывать к мужу. И сейчас непривычное чувство вызывало у нее дитя. На сердце такая тяжесть, словно мальчик родился больным или уродом. Но, похоже, он совсем здоров. Вот только как-то странно хмурит брови и странно тяжел его взгляд, будто малыш пытается понять что-то такое, что его мучает. Глядя в темные невеселые глаза мальчика, она ощущала на сердце тяжкий груз.

— Он у вас так глядит… будто думает о чем-то… больно грустный, — как-то сказала миссис Керк.

Мать смотрела на дитя, и вдруг тяжесть растворилась в нестерпимой печали. Она склонилась над ним, и тотчас из самого ее сердца на глаза набежали слезы. Малыш поднял пальчики.

— Маленький мой! — тихонько воскликнула она.

И в этот миг где-то в сокровенной глубине души почувствовала, что и сама она и ее муж виноваты перед ним.

Малыш смотрел на нее. У него такие же голубые глаза, как и у нее, но взгляд тяжелый, неотступный, точно ему открылось что-то, потрясшее его душу.

Хрупкое дитя лежало у нее на руках. Глубокие голубые глаза, что всегда глядели на нее не мигая, казалось, извлекали на свет Божий самые сокровенные ее мысли. Она уже не любит мужа, и не хотела она этого ребенка, и вот он лежит у нее на руках и ухватился за ее сердце. Будто пуповина, соединявшая с нею его беззащитное тельце, до сих пор не порвана. Горячая волна любви к сынишке нахлынула на нее. Она прижала его к лицу, к груди. Всеми силами, всем сердцем воздаст она ему за то, что произвела

на свет нелюбимого. Тем сильней будет любить его теперь, когда он родился, окружит его своей любовью. От этих ясных, знающих глаз ей больно и страшно. Неужели он все о ней знает? Неужели, лежа у нее под сердцем, он вслушивался в нее? Не упрек ли в его взгляде? Боль и страх пронизывали все ее существо.

Опять она увидела красное солнце на кромке холма напротив. И порывисто подняла малыша.

— Смотри! — сказала она. — Смотри, хороший мой!

Почти с облегчением протянула она ребенка к малиновому, неспокойному солнцу. И он поднял кулачок. Потом опять прижала к груди, стыдясь своего порыва возвратить его туда, откуда он появился.

Если останется в живых, каков-то он вырастет… что из него будет? — подумала она.

Тревожно ей было.

— Назову его «Пол», — вдруг сказала она и сама не знала, почему.

Немного погодя она пошла домой. Прозрачная тень укрыла густо-зеленый луг, пригасила свет.

Как она и думала, дома было пусто. Но к десяти Морел вернулся, и хотя бы этот день закончился мирно.

В последнее время Уолтер Морел то и дело раздражался по пустякам. Казалось, работа его изматывала. Дома он ни с кем не разговаривал по-людски. Если огонь в камине горел недостаточно ярко, он выходил из себя; он ворчал из-за обеда; стоило детям расшуметься, он так на них орал, что возмущенная мать еле сдерживалась, а дети начинали его ненавидеть.

В пятницу он к одиннадцати не вернулся домой. Малыш был нездоров, неспокоен, плакал, если его клали в колыбель. Миссис Морел, до смерти замученная и еще не оправившаяся после родов, еле владела собой.

— Хоть бы этот несносный пришел, — устало сказала она про себя.

Малыш наконец уснул у нее на руках. И у нее не хватило сил его уложить.

— Но когда бы он ни вернулся, я слова не скажу. А то выйду из себя. Не стану ничего говорить. Но если он что-нибудь натворит, мне не сдержаться, — прибавила она.

Услышав шаги мужа, она вздохнула, словно ей стало невтерпеж. В отместку ей он изрядно выпил. Он вошел, а она стояла, склонясь над ребенком, не хотела видеть мужа. Но ее точно огнем ожгло, когда, проходя, он покачнулся,

задел за кухонный шкафчик, так что посуда задребезжала, и, чтоб не упасть, схватился за ручки кастрюли. Он повесил шапку и куртку, вернулся и пристально и зло смотрел со стороны, как жена сидела, склонясь над ребенком.

— Что ж это, в доме и еды никакой нету? — свысока, будто прислугу, спросил он. Иной раз спьяну он подражал манерному городскому выговору. В такие минуты он бывал особенно противен миссис Морел.

— Ты сам знаешь, что в доме есть, — так холодно, что это прозвучало бесстрастно, сказала она.

Он стоял и свирепо смотрел на нее, в лице его не дрогнул ни один мускул.

— Я спросил вежливо и жду вежливого ответа, — манерно произнес он.

— И дождался, — сказала она, все не глядя на него.

Он опять кинул на нее злобный взгляд. И прошел нетвердой походкой. Одной рукой облокотился о стол, другой рывком дернул ящик — хотел взять нож, чтоб отрезать хлеба. Ящик не поддался — оттого, что дернул он вбок. В сердцах он рванул ящик, и тот вылетел, грохнулся на пол, и ложки, вилки, ножи, множество всяких металлических мелочей со звоном и лязгом рассыпалось по кир-

пичному полу. Ребенок вздрогнул, передернулся.

— Ты что делаешь, пьяный дурак, неуклюжий? — крикнула мать.

— А ты сама б достала этот проклятый нож. Встала бы да услужила мужу, как все женщины.

— Услужи тебе… услужи? — крикнула жена. — Жди, как же.

— А я тебя выучу. Будешь как миленькая мне услужать, да-да, будешь услужать…

— Нипочем, мой милый. Скорей услужу бездомной собаке.

— Чего… чего?

Он пытался сунуть ящик на место. При последних словах жены круто обернулся. Лицо багровое, глаза налиты кровью. Он молча, с угрозой глядел на нее в упор.

— Пф! — тотчас презрительно фыркнула она.

Ящик упал, больно резнул по голени, и, не успев подумать, Морел запустил им в жену.

Плоский ящик углом ударил ее в бровь, грянулся в камин. Оглушенная, женщина покачнулась, чуть не упала с кресла-качалки. И нестерпимо тошно ей стало до самой глубины души; она крепко прижала дитя к груди. Несколько мгновений миновало, и вот она справилась с собой. Малыш жалобно плакал. Левая бровь у матери сильно

кровоточила. Голова кружилась, она посмотрела на ребенка, увидела капли крови на белом одеяльце; но он хотя бы остался невредим. Стараясь сохранить равновесие, она повела головой, и кровь потекла ей в глаз.

Уолтер Морел как стоял, так и остался стоять, одной рукой опирался на стол, лицо у него было озадаченное. Уверившись, что кое-как держится на ногах, он, пошатываясь, подошел к жене, взялся за спинку ее кресла, чуть не опрокинул ее при этом; и, наклонясь над нею и все пошатываясь, сказал озабоченно и удивленно:

— Неужто тебя задело?

Опять его качнуло, того гляди упадет на малыша. Из-за случившегося он еще хуже держался на ногах.

— Уйди, — сказала жена, стараясь сохранить присутствие духа.

Морел икнул.

— Ну-ка… ну-ка я погляжу, — сказал он и опять икнул.

— Уйди! — крикнула она.

— Ну-ка… ну-ка я погляжу, лапушка.

От него разило спиртным, нетвердая рука бестолково тянула спинку качалки.

— Уйди, — сказала жена и слабо оттолкнула

его.

Он стоял, с трудом сохраняя равновесие, оторопело глядел на нее. Она собрала все силы, поднялась, прижала ребенка к плечу. Отчаянным усилием воли, двигаясь будто во сне, прошла к мойке и с минуту промывала глаз холодной водой; но слишком кружилась голова. Боясь упасть в обморок, вся дрожа, она вернулась к качалке. Бессознательно она прижимала к груди дитя.

Морел, обеспокоенный, ухитрился засунуть ящик на место и теперь, на коленях, непослушными руками подбирал рассыпавшиеся ложки.

Ее бровь все кровоточила. Наконец Морел встал и, вытягивая шею, подошел к жене.

— Что ж он тебе сделал, лапушка? — жалобно, униженно спросил он.

— Можешь посмотреть, — ответила она.

Он наклонился вперед, для надежности упершись руками в колени. Вглядывался, рассматривал рану. Она отстранилась от его лица с черными усищами, отвернулась как могла дальше. Он смотрел на нее, бесстрастную и холодную как камень, с крепко сжатым ртом, и худо ему было от слабости своей и безнадежности. Видел, как капля крови падает на тоненькие, блестящие волосы ребенка, и мрачно отворачивался. И

опять завороженно следил, как темная тяжелая капля висит в блестящем облаке и срывается с паутинки. Еще одна капля упала. Пожалуй, вся головенка намокнет. Он следил завороженный, чувствуя, как просачивается кровь, и под конец мужество ему изменило.

— А каково ребенку? — только и сказала ему жена. Но от ее тихого напряженного голоса он еще ниже опустил голову. Она смягчилась. — Достань мне из среднего ящика вату, — сказала она.

Спотыкаясь, Морел послушно пошел и принес вату, жена подержала ее перед огнем и приложила ко лбу, а дитя так и лежало у нее на коленях.

— Теперь твой чистый шарф.

Он опять пошарил в ящике, порылся и принес узкий красный шарф. Она взяла его, дрожащими пальцами стала обвязывать голову.

— Дай я завяжу, — униженно сказал он.

— Сама справлюсь, — отвечала она. Все сделала и пошла наверх, наказав ему поворошить угли, чтоб не погас огонь, и запереть дверь.

Утром миссис Морел сказала:

— Я ударилась о щеколду в угольном сарае, доставала кочергу, а свеча погасла.

Двое ее детишек смотрели на нее большими испуганными глазами. Они ничего не сказали,

но их беспомощно приоткрытые губы говорили о неосознанной трагедии потрясенных детских душ.

В этот день Морел пролежал в постели до самого обеда. Он не думал о том, что натворил накануне вечером. Едва ли он вообще о чем-то думал, уж во всяком случае не об этом. Будто угрюмый пес, лежал он и маялся. Больней всего он ударил самого себя, и самую глубокую рану нанес себе — ведь он никогда ни слова ей не скажет, не выдаст своего горя. Он попытался увильнуть от случившегося. Она сама виновата, сказал он себе. Однако ничто не могло заглушить внутренний голос, который казнил его, ржавчиной въедался в душу, и заглушить его могла только выпивка.

Ему казалось, не хватает ему пороху на то, чтобы встать с постели, или сказать слово, или просто шевельнуться, он только и мог лежать бревно бревном. Да еще отчаянно трещала голова. День был субботний. К полудню Морел поднялся, взял в кладовке какой-то еды, сжевал, не поднимая головы, потом надел башмаки и ушел, а в три вернулся чуть под мухой, успокоенный, и тотчас опять залег в постель. В шесть вечера встал, попил чаю и сразу ушел.

В воскресенье все повторилось: до полудня

лежал в постели, до половины третьего засиделся в «Гербе Палмерстона», дома пообедал и опять в постель; и все молчком. В четыре, когда миссис Морел поднялась в спальню, чтобы надеть воскресное платье, он крепко спал. Она пожалела бы его, скажи он хоть два слова — «Прости, жена». Но нет, он уверял себя, что это она во всем виновата. И таким образом сам себя наказал. Она не стала с ним заговаривать. В чувствах своих они зашли в тупик, но жена была сильнее.

Семья села пить чай. Все вместе к столу собирались только по воскресеньям.

— А отец не встанет? — спросил Уильям.

— Пускай лежит, — сказала мать.

Ощущение несчастья нависло над всем домом. Дети вдыхали отравленный воздух, и безотрадно им было. Они приуныли, не знали, что делать, во что играть.

Как только Морел проснулся, он встал с постели. Это было свойственно ему всю жизнь. Ему не терпелось что-то делать. Нудное безделье два утра подряд душило его.

Когда он спустился, было около шести. На этот раз он вошел смело, от болезненной уязвимости и следа не осталось. Его уже не смущало, что семья думает и чувствует.

Для чая все стояло на столе. Уильям читал вслух «Детский альманах», Энни слушала и без конца спрашивала «почему?». Едва дети заслышали тяжелые даже в одних носках шаги отца, они смолкли и, когда он вошел, съежились. А ведь он всегда был к ним снисходителен.

Грохнув стулом, он в одиночестве сел за стол. Ел и пил нарочито шумно. Никто с ним не заговаривал. Когда он вошел, жизнь семьи затаилась, ушла в себя, стихла. Но отчуждение его уже не смущало.

Едва покончив с чаем, он поспешно встал, готовый уйти. Именно эта поспешность, стремление вырваться из дома сильней всего досаждали миссис Морел. Она слышала, как он со вкусом плещется в холодной воде, как торопливо скребет по тазу стальная расческа, когда он мочит волосы, и с отвращением закрывала глаза. Он наклонился, стал завязывать шнурки, и в его движениях было такое животное удовольствие, что это еще больше отдалило его от всего сдержанного, настороженного семейства. Он всегда бежал сражений с самим собой. Даже в глубине души неизменно оправдывал себя. «Не скажи она то-то и то-то, и ничего бы такого не случилось, — говорил он. — Сама лезла на рожон».

Пока он собирался, дети напряженно застыли. И вздохнули с облегчением, когда он ушел.

Морел рад был закрыть за собой дверь. Дождило. Тем уютней будет в «Гербе Палмерстона». В предвкушении он торопливо зашагал по вечерней улице. Мокрые шиферные крыши Низинного казались черными. Дороги, и всегда темные от угольной пыли, сейчас покрывала черная грязь. Он торопился. Из окон пивной клубился пар. Мокрые ноги шлепали по проходу. Но было тепло, хоть и душно, стоял гул голосов, пахло пивом и куревом.

— Чего пить будешь, Уолтер? — крикнул кто-то, едва Морел показался в дверях.

— Э, Джим, дружище, ты откуда взялся?

Мужчины освободили ему место, тепло приняли в свою компанию. Он был рад. Через минуту-другую отпустило чувство ответственности, стыд, тревога, и вот он вполне готов весело провести вечерок.

В среду Морел оказался без гроша. Жены он страшился. Обидев ее, он теперь испытывал к ней неприязнь. В этот вечер он не знал, куда себя девать, — в пивную не пойдешь, не с чем, уже и так изрядно задолжал. И вот пока жена сидела в палисаднике с малышом, он стал шарить в верх-

нем ящике кухонного шкафа, где она держала кошелек, нашел его, раскрыл. Внутри полкроны, две монетки по полпенса да шестипенсовик. Он взял шестипенсовик, аккуратно положил кошелек на место и вышел из дому.

Назавтра миссис Морел хотела заплатить зеленщику, открыла кошелек, чтоб взять шестипенсовик, и сердце у нее упало. Потом она села и подумала: «А был ли там шестипенсовик? Может, я его потратила? Или оставила где-нибудь еще?»

Она была совершенно выбита из колеи. Обыскала весь дом. И чем больше думала, тем ясней становилось, что деньги взял муж. У нее только и было денег, что в кошельке. Невыносимо, что он мог взять их тайком. Так уже бывало дважды. В первый раз она не подумала, что он виноват в пропаже, но в конце недели он подложил недостающий шиллинг в кошелек. И тогда она поняла, что деньги брал он. Во второй раз он их не вернул.

На сей раз ее терпение лопнуло. Когда муж пообедал — а пришел он домой рано, — она сказала ему холодно:

— Ты вчера вечером взял у меня из кошелька шестипенсовик?

— Я?! — он изобразил оскорбленную невин-

ность. — Ничего я не брал. Сроду не видал твоего кошелька.

Но ясно было — он лжет.

— Да ты ж знаешь, что взял, — негромко сказала она.

— Говорят тебе, не брал! — заорал Морел. — Опять ко мне цепляешься, а? Нет, хватит с меня.

— Только я отвернусь, ты крадешь у меня из кошелька шестипенсовик.

— Я тебе этого не спущу, — сказал он, вне себя отшвырнув стул. Торопливо пошел умыться, потом решительно отправился наверх. Скоро он спустился, уже одетый, с большим узлом в огромном синем клетчатом платке.

— Жди теперь, когда меня увидишь, — сказал он.

— Скорей, чем мне захочется, — отвечала она; и тут Морел со своим узлом затопал вон из дома. Она сидела и не могла унять дрожь, но сердце до краев было полно презренья. Что делать, если он уйдет на какую-нибудь другую шахту, станет там работать и свяжется с другой женщиной? Но нет, где ему, слишком хорошо она его знает. И уж в этом она вполне уверена. Но все равно тревога терзала душу.

— Где наш папка? — спросил Уильям, придя

из школы.

— Он сказал, что от нас убежал, — отвечала мать.

— Куда?

— Да кто ж его знает. Увязал свои пожитки в синий платок и сказал, что не вернется.

— Что ж мы станем делать? — вскрикнул мальчик.

— Да не бойся, никуда он не денется.

— А вдруг не вернется? — со слезами спросила Энни.

И вместе с Уильямом она забилась в угол дивана, они сидели там и плакали. А миссис Морел рассмеялась.

— Дурачки вы мои! — воскликнула она. — Еще нынче вечером его увидите.

Но дети были безутешны. Смеркалось. Миссис Морел, охваченная усталостью, забеспокоилась. Она говорила себе, какое облегчение никогда больше не видеть Уолтера; но и тревожно было — ведь у нее на руках дети; да и чувствовала она, что внутренне еще связана с ним, не готова его отпустить. И втайне отлично знала, нет, не может он уйти.

Когда она пошла в сарай в конце огорода за углем, что-то помешало ей открыть дверь. Она

посмотрела. За дверью лежал в темноте синий узел. Она присела на большой кусок угля и рассмеялась. И каждый раз, как взглядывала на него — такой большой и, однако, такой постыдный, сунутый в угол за дверь, с повисшими концами платка, будто удрученно опущенными ушами, ее опять разбирал смех. На душе полегчало.

Миссис Морел ждала. Она знала, денег у него нет, так что если он задержится в пивной, его долг возрастет. Она так устала от него… устала до смерти. Ему не хватило мужества, даже чтоб вынести со двора свой узел.

Она сидела и раздумывала, и около девяти он отворил дверь и вошел, жалкий, но при этом угрюмый. Она ни слова ему не сказала. Он снял куртку, плюхнулся в кресло и начал стаскивать башмаки.

— Чем снимать башмаки, ты бы сперва принес свой узел, — спокойно сказала она.

— Скажи спасибо, что я нынче вернулся, — сказал он угрюмо и поглядел исподлобья, стараясь, чтоб это прозвучало повнушительней.

— Да куда бы ты пошел? Ты и узел-то свой не решился вынести со двора, — сказала миссис Морел.

Таким он выглядел дураком, она даже и сер-

диться на него не могла. Он все стаскивал башмаки, готовился ко сну.

— Не знаю, что у тебя там в синем платке, но если ты его не принесешь, его утром притащат в дом дети, — сказала она.

Услыхав это, он встал, вышел во двор, через минуту вернулся и, не глядя в сторону жены, прошел через кухню и поспешно поднялся по лестнице. Увидев, как он с узлом в руках торопливо проскользнул в дом, миссис Морел посмеялась про себя, но горько ей было — ведь прежде она его любила.

3. Отход от Морела — сраженье за Уильяма

Следующую неделю Морел был просто невыносим. Подобно всем углекопам, он был большой поклонник лекарств, за которые, как ни странно, часто платил сам.

— Уж и элексиру мне жалеешь, — сказал он. — Чего ж такое делается, в нашем доме и глотнуть ничего нету.

Так что миссис Морел купила ему эликсир с купоросом, его любимое первейшее лекарство. И он приготовил себе кувшин полынного чаю. На чердаке у него были подвешены пучки сухих трав: полынь, рута, шандра, цветы бузины, неврачница, алтей лекарственный, иссоп, одуванчик и василек. Обычно на полке в камине стоял кувшин с тем или иным отваром, и Морел пил его, не жалея.

— Красота! — сказал он, отпив полынного чая и чмокая губами. — Красота! — И стал уговаривать детей отведать.

— Это получше всякого там вашего чаю или какава, — заверял он. Но они не соблазнялись.

На сей раз, однако, несмотря на пилюли, на эликсир, на все его травы, «в башке стукотали молотки». У него было воспаление мозга. С того дня, как они с Джерри ходили в Ноттингем и он поспал на земле, он уже не был по-настоящему здоров. С тех пор он пил и буйствовал. Сейчас он чувствовал, что расхворался всерьез, и миссис Морел пришлось за ним ухаживать. Больной он был самый что ни на есть несносный. Но наперекор всему и независимо от того, что он был кормилец семьи, она уж никак не хотела его смерти. И какой-то частью своего существа все еще тянулась к нему.

Соседки были к ней на редкость добры: то одна, то другая забирали к себе детей покормить, то одна, то другая хозяйничала внизу в доме, кто-нибудь днем приглядывал за малышом. Но все равно бремя оказалось тяжкое. Соседки помогали не каждый день. И тогда приходилось нянчить и малыша и мужа, убирать, стряпать, со всем справляться самой. Совсем измученная, она, однако, делала все, что требовалось.

И денег кое-как хватало. Она получала семнадцать шиллингов в неделю от общества взаимопомощи, к тому же каждую пятницу Баркер или другой Морелов приятель откладывали

долю прибыли их забоя для жены Морела. Соседки варили бульоны, давали яйца и прочие необходимые больному мелочи. Не помогай они ей так щедро в ту пору, миссис Морел пришлось бы залезть в долги, и это бы ее доконало.

Шли недели. И Морелу, почти вопреки надежде, полегчало. У него был крепкий организм, и как только он стал поправляться, дело быстро пошло на лад. Скоро он уже слонялся по дому. За время болезни жена малость избаловала его. Теперь ему хотелось, чтобы она и дальше вела себя так же. Он часто прикладывал руку к голове, распускал губы, прикидываясь, будто его мучают боли. Но провести ее не удавалось. Поначалу она просто улыбалась про себя. Потом резко его отчитала:

— Господи, да нельзя ж быть таким плаксой.

Это его все-таки задело, но он по-прежнему притворялся больным.

— Не строй из себя балованое дитятко, — отрывисто сказала жена.

Он возмутился и как мальчишка вполголоса выругался. И пришлось ему заговорить обычным тоном и перестать хныкать.

Однако на какое-то время в доме воцарился мир. Миссис Морел относилась к мужу терпимей, а он, словно ребенок, зависел от нее, и ему это

было приятно. Ни он, ни она не понимали, что теперь она терпимей, оттого что меньше любит. Как-никак он до сих пор ее муж, ее мужчина. Она чувствовала: все, что происходит с ним, так или иначе касается и ее. От него зависит вся ее жизнь. Любовь к нему убывала очень постепенно, но неуклонно убывала.

Теперь, с рождением третьего ребенка, ее существо больше не тянулось беспомощно к мужу, но подобно слабеющему, едва достигающему берега приливу, отступало все дальше. Она уже едва ли желала его. И отдалившись от него, почти уже не чувствуя его частью ее самой, а лишь частью жизненных обстоятельств, она не так близко к сердцу принимала его поведение и могла оставить его в покое.

В тот год жизнь словно запнулась, и смутная тоска бередила душу Морела, будто для него наступила осень. Жена отвергла его, не без сожаления, но решительно; отвергла и теперь черпала и любовь и жизнь в детях. С этих пор он уже не очень-то много для нее значил — опустевшая оболочка прежнего зерна. Молча, неохотно он наполовину с этим согласился и, подобно множеству мужчин, уступил место детям.

Пока Уолтер выздоравливал, а между ними все

уже было кончено, оба попытались вернуться к тем отношениям, которые связывали их в первые месяцы брака. Он сидел дома, и когда дети уходили спать, а она шила — она все шила на руках, и его рубашки и всю детскую одежду, — он читал ей газету, медленно примеривался к словам и наконец выговаривал их, точно метал кольца в цель. Часто она его поторапливала, угадывая фразу наперед. И он униженно повторял ее слова.

Случалось, они сидели молча, и странное то было молчание. Чуть слышно было, как быстро, легко протыкает ткань игла в руках жены, попыхивал дымом муж, горячо шипела решетка, когда он сплевывал в камин. В такие минуты мысли миссис Морел обращались к Уильяму. Мальчик подрастал. Был уже первым в классе, и учитель говорил, он в школе самый способный парнишка. Сын представлялся ей мужчиной, молодым, полным сил, и для нее мир снова озарялся светом.

А Морел сидел совсем один, думать ему было не о чем, и становилось как-то не по себе. Душа его на свой лад, слепо, тянулась к жене, но та была недосягаема. Он ощущал некий душевный голод, пустоту внутри. Беспокойно ему было, тревожно. Скоро становилось душно, невтерпеж, нечем было дышать, и это ощущение передавалось жене.

Когда они хоть недолго бывали вдвоем, им не хватало воздуха. И он шел спать, а она с радостью оставалась одна, работала, думала, жила.

Меж тем у нее снова должен был появиться ребенок, плод этой мирной передышки и нежности между отдаляющимися друг от друга родителями. Полу было семнадцать месяцев, когда родился этот четвертый ребенок. Это тоже был мальчик, пухленький, бледный, тихий, с мрачными синими глазами и опять с причудливо, слегка нахмуренными бровями. Был он белокурый и крепенький. Узнав, что она в положении, миссис Морел огорчилась из-за соображений материальных и оттого, что не любила мужа, но не из-за самого ребенка.

Его назвали Артуром. Очень он был хорошенький, с копной золотых кудрей, и с самого начала всем предпочитал отца. Миссис Морел радовалась, что он любит отца. Стоило ему заслышать отцовы шаги, и он тотчас протягивал руки и радостно гукал. И если Морел оказывался в хорошем настроении, он сразу же отзывался своим громким, густым голосом:

— Ну что, мой красавец? Сейчас, сейчас к тебе приду.

И как только он снимал шахтерскую фуфайку,

миссис Морел заворачивала дитя в фартук и отдавала отцу.

— Ну, на что он похож! — восклицала она иной раз, отбирая малыша, лицо которого было перепачкано от отцовских поцелуев и тетешканья. И Морел весело смеялся.

— Мой ягненочек — маленький углекоп! — восклицал он.

И эти минуты, когда малыш примирял ее с отцом, были теперь счастливейшими в ее жизни.

Меж тем Уильям все рос — высокий, сильный, бойкий, тогда как Пол, всегда довольно хрупкий и тихий, оставался худеньким и как тень семенил за матерью. Обычно живой и внимательный, он иногда впадал в уныние. Тогда мать находила трех-четырехлетнего мальчика на диване, в слезах.

— Что случилось? — спрашивала она и не получала ответа. — Что случилось? — настаивала она, начиная сердиться.

— Не знаю, — всхлипывал малыш.

Тогда она пыталась вразумить его или развлечь, но тщетно. В таких случаях она приходила в отчаянье. Тогда отец, всегда нетерпеливый, с криком вскакивал со стула:

— Пускай замолчит, не то я выбью из него

дурь.

— Только посмей, — холодно говорила мать. И уносила малыша во двор, усаживала в детский стульчик и говорила: — Теперь плачь, горе ты мое!

И там он либо заглядится на бабочку на листьях ревеня, либо поплачет-поплачет да и уснет. Приступы эти бывали нечасто, но омрачали сердце матери, и она обращалась с Полом иначе, чем с другими детьми.

Вдруг однажды поутру, когда она смотрела в долину Низинного в ожидании молотильщика, кто-то ее окликнул. Оказалось, это коротышка миссис Энтони в неизменном коричневом плисовом платье.

— Слышьте, миссис Морел, хочу сказать вам словечко про вашего Уилли.

— Вот как? — отозвалась миссис Морел. — Что такое случилось?

— Раз парень кинулся на другого парня и рубаху ему изодрал, надо его поучить, — сказала миссис Энтони.

— Ваш Элфрид не моложе моего Уильяма, — сказала миссис Морел.

— Хоть бы и так, а все одно, по какому такому праву он ухватил моего за ворот да и разодрал

вчистую.

— Ну, я своих ребят не порю, — сказала миссис Морел, — а и порола бы, сперва послушала бы, что они сами скажут.

— Получали б хорошую выволочку, может, были б получше, — огрызнулась миссис Энтони. — Вон ведь до чего дошло, нарочно воротник изодрал…

— Уж, наверно, не нарочно, — сказала миссис Морел.

— Выходит, я вру! — закричала миссис Энтони.

Миссис Морел пошла прочь, закрыла за собой калитку. А когда взяла кружку с закваской, рука у нее дрожала.

— Вот погодите, ваш хозяин узнает, — крикнула ей вдогонку миссис Энтони.

В обед, когда Уильям покончил с едой и собрался опять уходить — ему было уже одиннадцать, — мать сказала:

— Ты за что разорвал Элфриду Энтони воротник?

— Когда это я порвал ему воротник?

— Когда, не знаю, но его мать говорит, ты разорвал.

— Ну… вчера… но он был уже рваный.

— Но ты порвал еще больше.

— Ну, мы играли в орехи, и я попал семнадцать раз… и тогда Элфи Энтони говорит:

Адам и Ева и Щипни
Пошли купаться,
Возьми вдвоем и утони,
Кто ж спасся?

— Я и говорю: «Щипни», и щипнул его, а он разозлился, схватил мою биту и бежать. Ну, я за ним, поймал его, а он увернулся, воротник и порвался. Зато я отобрал свою биту.

Уильям вытащил из кармана старый почерневший каштан на веревочке. Эта старая бита попала в семнадцать других бит на таких же веревочках и разбила их. Конечно же, мальчик гордился своей испытанной битой.

— И все-таки, сам знаешь, ты не имел права рвать его воротник, — сказала мать.

— Ну, мама! — возразил Уильям. — Я ж не хотел… воротник был старый, резиновый и все равно рваный.

— В другой раз будь поосторожней, — сказала мать. — Я бы не хотела, чтобы с оторванным воротником пришел ты.

— Вот еще, я ж не нарочно.

От ее упреков ему стало не по себе.

— Ну ладно… но будь поосторожней.

Уильяма как ветром сдуло, он был доволен, что ему не попало. И миссис Морел, которая терпеть не могла любые осложнения с соседями, подумала, что все объяснит миссис Энтони и делу конец.

Но в тот вечер Морел вернулся с шахты мрачнее тучи. Он стоял в кухне и сердито озирался, но сперва ничего не говорил.

— А где это Уилли? — спросил он наконец.

— Он-то зачем тебе понадобился? — спросила миссис Морел, уже догадавшись.

— Он у меня узнает, только доберусь до него, — сказал Морел, со стуком поставив на кухонный шкафчик свою фляжку.

— Похоже, тебя перехватила миссис Энтони и наплела насчет воротника своего Элфи, — не без насмешки сказала миссис Морел.

— Не важно, кто меня перехватил, — сказал Морел. — Вот перехвачу нашего и пересчитаю ему кости.

— Ну куда это годится, — сказала миссис Морел. — Злая ведьма невесть что тебе наболтала, а ты и рад напуститься на родных детей.

— Я его проучу! — сказал Морел. — Чей он ни есть, нечего ему чужие рубахи драть да рвать.

— Драть да рвать! — повторила миссис Морел. — Элфи забрал его биту, вот Уильям и погнался за ним, тот увернулся, Уильям нечаянно и ухватил его за воротник… Элфи и сам бы так его ухватил.

— Знаю! — угрожающе крикнул Морел.

— Ну да, знал еще раньше, чем тебе сказали, — съязвила жена.

— Не твое дело! — бушевал Морел. — Я отец, вот и учу уму-разуму.

— Хорош отец, — сказала миссис Морел, — наслушался крикливой бабы и готов выпороть родного ребенка.

— Я отец! — повторил Морел.

И не сказал больше ни слова, сидел и накалялся. Вдруг вбежал Уильям, крикнул с порога:

— Можно мне чаю, мам?

— Сейчас получишь кой-чего другого! — заорал Морел.

— Не шуми, муженек, — сказала миссис Морел, — на тебя смотреть смешно.

— Сейчас так его отделаю, посмеешься! — заорал Морел, вскочил и грозно уставился на сына.

Уильям, для своих лет рослый, но чересчур впечатлительный, побледнел и с ужасом смотрел на отца.

— Беги! — приказала сыну миссис Морел.

Мальчик так растерялся, что не мог сдвинуться с места. Внезапно Морел сжал кулак и пригнулся.

— Я ему покажу «беги»! — как сумасшедший заорал он.

— Что? — воскликнула миссис Морел, задохнувшись от гнева. — Не тронешь ты его из-за того, что она наговорила, не тронешь!

— Не трону? — заорал Морел. — Не трону?

И, зло глядя на мальчика, метнулся к нему. Миссис Морел кинулась, встала между ними, подняла кулак.

— Не смей! — крикнула она.

— Чего? — заорал муж, на миг ошарашенный. — Чего?

Миссис Морел круто обернулась к сыну.

— Беги из дому! — в ярости приказала она.

Повинуясь властному окрику, мальчик вмиг повернулся и был таков. Морел рванулся к двери, но опоздал. Он пошел назад, под слоем угольной пыли бледный от бешенства. Но теперь жена окончательно вышла из себя.

— Только посмей! — громко сказала она, голос ее зазвенел. — Только посмей пальцем его тронуть! Потом всю жизнь будешь жалеть.

И он испугался жены. И хоть ярость в нем накипала, он сел.

Когда дети подросли и их можно было оставлять одних, миссис Морел вступила в Женское общество. То был небольшой женский клуб при Товариществе оптовой кооперативной торговли, и собирались женщины в понедельник вечером в длинной комнате над бакалейной лавкой бествудского кооператива. Предполагалось, что они обсуждают, как сделать кооператив доходнее, и другие насущные дела. Иной раз миссис Морел что-нибудь им докладывала. И детям странно было видеть, как их вечно занятая по хозяйству мать сидит и быстро пишет, раздумывает, заглядывает в книжки и опять пишет. В эти минуты они особенно глубоко ее уважали.

Общество им нравилось. Только к нему они и не ревновали мать — отчасти потому, что видели — для матери это удовольствие, отчасти из-за удовольствий, которые перепадали им. Кое-кто из враждебно настроенных к Обществу мужей, по мнению которых их жены стали слишком независимыми, называл его «воняй-болтай», иными словами «сборище сплетниц». Оно и правда, глядя на свои семьи, сравнивая свою жизнь с установками Общества, женщины могли роптать. А

углекопы, поняв, что у их жен появились новые, собственные мнения, недоумевали. Обычно вечером в понедельник миссис Морел приносила множество новостей, и детям нравилось, когда к возвращению матери дома оказывался Уильям, ему она чего только не рассказывала.

Потом, когда Уильяму исполнилось тринадцать, она устроила его в контору Кооператива. Был он очень толковый парнишка, прямодушный, с довольно резкими чертами лица и синими глазами истинного викинга.

— С чего это мать надумала определять его в сидельцы? — сказал Морел. — Знай, будет штаны протирать, а заработает всего ничего. Сколько ему положили для начала?

— Сколько для начала — не важно, — ответила миссис Морел.

— Ну, ясно! Возьми я его с собой в шахту, он сразу станет получать добрых десять шиллингов в неделю. А только я уж знаю, по тебе, пускай лучше сидит день-деньской на табуретке за шесть шиллингов, чем пойдет за десять шиллингов со мной в шахту.

— В шахту он не пойдет, — сказала миссис Морел, — и хватит об этом.

— Выходит, мне годилось, а ему не годится.

— Твоя мамаша отправила тебя в шахту двенадцати лет, а вот я со своим мальчиком так поступать не намерена.

— В двенадцать! Еще и поране!

— Ну, это все равно, — сказала миссис Морел.

Она очень гордилась сыном. Он поступил на вечерние курсы и изучал стенографию, так что когда ему исполнилось шестнадцать, у них в конторе лишь один служащий превосходил его в искусстве стенографии и счетоводства. Потом он сам стал преподавать на вечерних курсах. Но был такой вспыльчивый, что спасало его только добродушие и большой рост.

Уильям не чуждался никаких мужских занятий — занятий благопристойных. Бегал быстрее ветра. Двенадцати лет получил первый приз за состязание в беге: стеклянную чернильницу в форме наковальни. Она гордо красовалась на буфете и доставляла миссис Морел огромное удовольствие. Сын участвовал в состязании ради нее. Он примчался домой со своим призом и едва переводя дыхание крикнул: «Мама, смотри!» То была ее первая истинная награда. Она приняла ее как королева.

— Какая прелесть! — воскликнула она.

Со временем Уильям становился честолюбив.

Все свои деньги он отдавал матери. Когда он зарабатывал четырнадцать шиллингов в неделю, она возвращала ему два шиллинга на карманные расходы, и так как он не пил, он чувствовал себя богачом. Он водил компанию с бествудской чистой публикой. По положению в городке выше всех стоял священник. За ним шел управляющий банка, потом доктора, потом торговцы, а уж после них сонмище углекопов. Уильям стал проводить время с сыновьями аптекаря, школьного учителя и торговцев. Он играл на бильярде в Зале ремесленников. Да еще танцевал — это уже вопреки желанию матери. Он наслаждался всеми радостями, которые мог предложить Бествуд, — от грошовых танцплощадок на Черч-стрит до занятий спортом и бильярда.

Он развлекал Пола умопомрачительными рассказами о всевозможных цветущих красавицах, которые обычно, подобно срезанным цветам, жили в его сердце не долее двух недель.

Случалось, иная красотка пыталась настичь своего заблудшего кавалера. Увидав у дверей незнакомку, миссис Морел тотчас понимала, чем дело пахнет.

— Мистер Морел дома? — умоляюще спрашивала девица.

— Мой муж дома, — отвечала миссис Морел.

— Я… мне молодого мистера Морела, — через силу выговаривала девушка.

— Которого? Их несколько.

После чего молодая особа еще больше краснела и запиналась:

— Я… я познакомилась с мистером Морелом в зале Рипли, — объясняла она.

— А, на танцах?

— Да.

— Я не одобряю девушек, с которыми мой сын знакомится на танцах. К тому же дома его нет.

Но однажды Уильям пришел домой сердитый на мать за то, что она так грубо спровадила девушку. Был он малый легкомысленный, хотя, казалось, им владеют сильные чувства, ходил крупным шагом, иногда хмурился и часто лихо заламывал шапку на затылок. Сейчас он бросил шапку на диван, обхватил рукой свой решительный подбородок и свирепо, сверху вниз, посмотрел на мать. Она была небольшого росточка, волосы зачесаны назад, лоб открыт. В ней ощущалась спокойная властность и притом редкостное тепло. Зная, что сын возмущен, она внутренне трепетала.

— Мама, ко мне вчера заходила барышня? —

спросил он.

— Барышни я не видела. Девица какая-то заходила.

— Почему же ты мне не сказала?

— Просто забыла.

Сын явно злился.

— Хорошенькая девушка… сразу видно, барышня.

— Я на нее не смотрела.

— С большими карими глазами?

— Я не смотрела. И скажи своим девицам, сын, когда они за тобой бегают, пусть не обращаются к твоей матери. Скажи им… этим бесстыжим девчонкам, с которыми знакомишься на танцах.

— Она славная девушка, я уверен.

— А я уверена, что нет.

На этом пререкания кончились. Из-за танцев мать и сын постоянно ссорились. Недовольство достигло предела, когда Уильям сказал, что собирается в Хакнел Торкард — поселок с дурной славой — на бал-маскарад. И нарядится шотландским горцем. Возьмет напрокат костюм, который брал однажды его приятель и который ему в самый раз. Костюм шотландского горца доставили на дом. Миссис Морел холодно его приняла и не стала распаковывать.

— Мой костюм принесли? — взволнованно спросил Уильям.

— Там в гостиной лежит какой-то пакет.

Уильям кинулся в гостиную, разорвал бечевку.

— Представляешь, каков будет в этом твой сын! — воскликнул он в упоении, показывая матери костюм.

— Ты же знаешь, не хочу я представлять тебя в нем.

В вечер маскарада, когда Уильям пришел домой переодеться, миссис Морел надела пальто и шляпку.

— Мама, ты разве не подождешь, не посмотришь на меня? — спросил он.

— Нет, не хочу на тебя смотреть, — был ответ.

Мать побледнела, лицо у нее стало замкнутое, суровое. Ей страшно было, как бы сын не пошел дорогой отца. Уильям минуту поколебался, сердце у него замерло от тревоги. Но тут на глаза ему попалась шотландская шапочка с лентами. Забыв о матери, он ликующе ее подхватил. Миссис Морел вышла.

В девятнадцать лет он внезапно ушел из конторы Кооператива и получил место в Ноттингеме. Там ему положили тридцать шиллингов в неделю вместо восемнадцати. Это было заметное

продвижение. Мать и отец сияли от гордости. Все восхваляли Уильяма. Похоже, он станет быстро преуспевать. С его помощью миссис Морел надеялась поддержать младших сыновей. Энни теперь готовилась в учительницы. Пол, тоже очень способный, успешно занимался французским и немецким, ему давал уроки крестный отец, здешний священник, который по-прежнему оставался другом миссис Морел. Артур, избалованный и очень красивый мальчик, учился в местной школе, но поговаривали, что он старается получить стипендию для средней школы в Ноттингеме.

Уильям уже год служил в Ноттингеме. Он упорно занимался и становился серьезнее. Казалось, что-то его тревожит. Он по-прежнему ходил на танцы и участвовал в пикниках. Пить не пил. Все дети были ярые враги спиртного. Уильям возвращался домой поздно вечером и еще допоздна сидел и занимался. Мать умоляла его быть осторожнее, выбрать что-нибудь одно.

— Танцуй, сын, если хочешь танцевать, но не думай, что ты можешь проработать весь день на службе, потом развлекаться, а после всего этого еще и учиться. Не можешь ты так, человеческий организм не может этого выдержать. Выбери что-нибудь одно — либо развлекайся, либо изучай

латынь, но не гонись за тем и за другим.

Потом он получил место в Лондоне, с жалованьем сто двадцать фунтов в год. Казалось, это сказочное богатство. Мать даже не знала, то ли радоваться, то ли печалиться.

— Мама, на Лайм-стрит хотят, чтобы с понедельника я уже вышел на службу, — крикнул он с сияющими глазами, читая письмо. Миссис Морел почувствовала, как в душе у нее все замерло. А он читал письмо: «И соблаговолите ответить не позднее четверга, принимаете ли Вы наше предложение. Искренне Ваш…» Они приглашают меня на сто двадцать фунтов в год и даже не просят, чтобы я сперва приехал показаться. Вот видишь, я же говорил, что смогу! Подумай только — я в Лондоне! Мама, я буду давать тебе двадцать фунтов в год. Мы все станем купаться в золоте.

— Да, милый, — с грустью ответила она.

Ему и в голову не пришло, что она не столько радуется его успеху, сколько огорчена его отъездом. И конечно, чем ближе становился день расставания, тем больней сжималось сердце матери, омраченное отчаянием. Она так любит сына! Больше того, так на него уповает. Можно сказать, живет им. Ей приятно все для него делать: и поставить чашку для чаю, и отгладить

воротнички, которыми он так гордится. Ее радует, что он гордится своими воротничками. Прачечной в поселке нет. И она всегда сама их стирала, гладила, нажимая изо всех сил на утюг, доводила до блеска. Теперь ей уже не придется делать это для него. Теперь он вырывается из дому. И чувство такое, словно он вырывается и из ее сердца. Словно не оставляет ей себя. Вот отчего так больно и горько. Он почти всего себя увозит с собой.

За несколько дней до отъезда — ему как раз исполнилось двадцать — Уильям сжег любовные письма. Они громоздились стопкой на верху кухонного буфета. Из иных он прежде читал матери отдельные места. Другие она взяла на себя труд прочитать сама. Но почти все они были на редкость заурядные.

И вот теперь, субботним утром, Уильям сказал:

— Пол, иди сюда, давай просмотрим мои письма, а все цветы и птицы будут твои.

Миссис Морел сделала всю субботнюю работу в пятницу, потому что сегодня был его последний свободный день. Сейчас она стряпала его любимый рисовый пирог, пусть возьмет с собой. А он едва ли понимал, как ей тяжко.

Он взял из стопки первое письмо. Было оно

розовато-лиловое с багровым и зеленым чертополохом. Уильям понюхал страничку.

— Приятно пахнет. Чуешь?

И он ткнул листок под нос брату.

— Гм! — Пол принюхался. — Как он называется? Мам, понюхай.

Мать нагнулась точеным носиком к самому листку.

— Не желаю я нюхать их чепуху, — сказала она, фыркнув.

— Отец этой девушки богат, как Крез, — сказал Уильям. — Он чем только не владеет. Она зовет меня Лафайет, потому что я знаю французский. «Вот увидишь, я тебя простила…» Это она, видите ли, меня простила. «Сегодня утром я рассказала про тебя маме, и она будет очень рада, если в воскресенье ты придешь к чаю, только ей надо получить и согласие папы. Я искренне надеюсь, что он согласится. Я дам тебе знать, как порешится. Но если ты…»

— «Дам тебе знать» что? — перебила его миссис Морел.

— Как порешится… ох, да!

— «Порешится»! — насмешливо повторила миссис Морел. — Я думала, она такая образованная особа.

Уильяму стало неловко, он отбросил письмо, дал только Полу уголок с чертополохом. И опять стал читать куски из писем, и одни забавляли мать, а другие огорчали, и ей становилось тревожно за сына.

— Мальчик мой, — сказала она, — эти девушки очень умны. Они понимают, что стоит только потешить твое самолюбие, и ты припадешь к ним точно пес, которого чешут за ухом.

— Ну, когда-нибудь им надоест чесать, — отвечал Уильям. — А как перестанут, я пущусь наутек.

— Но рано или поздно у тебя на шее окажется веревка, и ты не сумеешь вырваться, — возразила мать.

— Со мной это не пройдет! Я им не дамся, мать, пусть не тешат себя надеждой.

— Это ты тешишь себя надеждой, — негромко сказала она.

Скоро в очаге уже громоздилась куча бесформенных черных хлопьев — все, что осталось от пачки надушенных писем, только Пол сохранил десятка четыре хорошеньких картинок — уголки почтовой бумаги с ласточками, незабудками, веточками плюща. И Уильям укатил в Лондон начинать новую жизнь.

4. Юные годы Пола

Пол становился похож сложением на мать, — такой же хрупкий и сравнительно небольшого роста. Светлые волосы его стали сперва рыжеватыми, потом каштановыми. Был он бледный, тихий, сероглазый — и глаза пытливые, будто вслушиваются, а уголки пухлой нижней губы слегка опущены.

Обычно он казался старше своих лет. И был очень чуток к настроению окружающих, особенно матери. Он чувствовал, когда она встревожена, и тоже не находил покоя. Душой он, казалось, всегда прислушивался к ней.

С годами он становился крепче. Между ним и Уильямом была слишком большая разница в возрасте, чтобы старший брат принял его в компанию. И оттого сперва Пол почти всецело был под началом Энни. Она же была озорнее всякого мальчишки, недаром мать называла ее «сорванец-удалец». Но она горячо любила младшего брата. И Пол ходил за ней по пятам, делил ее игры. Она носилась как бешеная с другими озорными девчонками Низинного. И всегда рядом несся Пол, радуясь ее радостями, ведь сам по

себе он в ребячьих забавах еще не участвовал. Был он тих и незаметен. Но сестра его обожала. Казалось, он всегда охотно ей подчинялся и во всем подражал.

Была у Энни большая кукла, которой она ужасно гордилась, хотя и не слишком ее любила. И вот как-то она уложила куклу спать на диване, накрыла ее салфеткой со спинки дивана. И забыла про нее. Меж тем Полу было ведено упражняться в прыжках с валика дивана. Он прыгнул — и угодил в лицо спрятанной куклы. Энни кинулась к кукле, горестно ахнула и села, принялась оплакивать ее точно покойницу. Пол замер.

— Что же ты не сказала, что она здесь, что же ты не сказала, — опять и опять повторял он. И, пока Энни оплакивала куклу, он сидел несчастный, не зная, как помочь горю. Горе Энни оказалось недолговечным. Она простила братишку — ведь он так расстроился. Но дня через два он ее ошеломил.

— Давай принесем Арабеллу в жертву, — сказал он. — Давай сожжем ее.

Такая затея ужаснула девочку, но и соблазнила. Интересно, как Пол совершит жертвоприношение. Он сложил из кирпичей алтарь, вытащил из тела куклы немного стружек, положил в про-

давленное лицо кусочки воска, налил немного керосину и все это поджег. С каким-то недобрым удовлетворением он следил, как растопленный воск, будто капли пота, скатывался с покалеченного лба Арабеллы в огонь. Смотрел, как горит большая дурацкая кукла, и молча радовался. Под конец он поворошил палкой золу, выудил почерневшие руки и ноги и раздолбил их камнями.

— Миссис Арабелла принесена в жертву, — сказал он. — И я рад, что от нее ничего не осталось.

Энни внутренне содрогнулась, но сказать ничего не смогла. Похоже, он так возненавидел куклу, оттого что сломал ее.

Все дети, особенно Пол, были заодно с матерью и до странности враждебны к отцу. Морел по-прежнему пил и буянил. Бывали у него полосы, иногда они длились месяцами, когда он превращал жизнь семьи в сущее мученье. Полу никогда не забыть, как однажды в понедельник он пришел вечером домой из детского общества трезвенников и застал мать с подбитым глазом, отец, расставив ноги и опустив голову, стоял на каминном коврике, а Уильям, который только что вернулся с работы, мерил его свирепым взглядом. Когда вошли младшие дети, в комнате было тихо, но никто из взрослых даже не обернулся.

Уильям был весь белый, даже губы побелели, и кулаки сжаты. Дети тоже сразу притихли, глядя по-детски яростно, с ненавистью, и тогда Уильям сказал:

— Трус ты. Когда я дома, ты такого не смеешь.

Но Морел совсем рассвирепел. Круто повернулся к сыну. Уильям был выше, но отец крепче и вне себя от бешенства.

— Не смею? — заорал он. — Не смею? Вякни еще слово, парень, — измолочу. Вот увидишь.

Морел чуть присел, будто зверь перед прыжком, выставил кулак. Уильям побледнел от ярости.

— Измолотишь? — негромко, с угрозой сказал он. — Считай, это будет в последний раз.

Морел, пригнувшись, приседая, подскочил ближе, замахнулся. Уильям выставил кулаки. Синие глаза блеснули почти весело. Он впился взглядом в отца. Еще слово — и начнется драка. Пол надеялся, этого не миновать. Все трое детей, побледнев, замерли на диване.

— Стойте, вы, оба! — резко крикнула миссис Морел. — На сегодня хватит. А ты, — прибавила она, обращаясь к мужу, — посмотри на твоих детей.

Морел взглянул на диван.

— Сама на них смотри, злобная сучка! — глумливо произнес он. — Я-то чего такое им сделал, а?

Только они в тебя, ты их обучила своим штучкам да пакостям, ты, ты.

Жена не стала ему отвечать. Наступило молчание. Немного погодя Морел швырнул башмаки под стол и пошел спать.

— Почему ты не дала мне с ним схватиться? — спросил Уильям, когда отец ушел наверх. — Я бы запросто его отколотил.

— Куда ж это годится… родного отца, — ответила миссис Морел.

— Отца! — повторил Уильям. — Отец называется!

— Что ж, отец и есть… так что…

— Но почему ты не дала мне с ним разделаться? Я бы мог запросто.

— Не выдумывай! — воскликнула она. — До этого еще не дошло.

— Нет, — сказал Уильям. — Дошло кой до чего похуже. Погляди на себя. Ну почему ты не дала мне его проучить?

— Потому что я этого не вынесу, и выкинь это из головы, — поспешно воскликнула она.

И дети пошли спать в горести.

В пору, когда Уильям становился взрослым, семья переехала из Низинного в дом на уступе горы, откуда открывался вид на долину, что раскину-

лась внизу, точно раковина моллюска. У дома рос гигантский старый ясень. Дома сотрясались под порывами западного ветра, налетающего из Дербишира, и ясень громко скрипел. Морелу это было по душе.

— Чисто музыка, — говорил он. — Под нее здорово спится.

Но Пол, и Артур, и Энни терпеть не могли этот скрип. Полу в нем чудилось что-то дьявольское. Зимой того года, когда они поселились в новом доме, отец стал просто невыносим. Дети обычно играли на улице, у края широкой, темной долины до восьми вечера. Потом шли спать. Мать сидела внизу и шила. Огромное пространство перед домом рождало в детях ощущение ночи, безбрежности, страха. Страх поселялся в душе от скрипа ясеня, от мучительного разлада в семье. Часто, проспав не один час, Пол слышал доносящийся снизу глухой стук. Мигом сна как не бывало. И вот громыхает голос отца, который вернулся сильно выпив, потом резкие ответы матери, потом удары отцовского кулака по столу, раз, другой, злобный крик отца, нарастая, переходит в мерзкое рычание. А потом все тонет в пронзительном скрипе и стонах огромного сотрясаемого ветром ясеня. Дети лежат молча, тревожно ждут — вот

на минуту стихнет ветер, и станет слышно, что творится внизу. Вдруг отец опять ударил мать. Тьма была пронизана ужасом, щетинилась угрозой, запахла кровью. Дети лежали, и сердца их мучительно сжимались. Все яростней становились порывы ветра, сотрясающие дерево. Струны огромной арфы гудели, свистели, скрипели. И вдруг наступала пугающая тишина, повсюду, за стенами дома, и внизу тоже. Что же это? Тишина пролившейся крови? Что он наделал?

Дети лежали и дышали этой зловещей тьмой. Вот наконец слышно, как отец скидывает башмаки и в одних носках тяжело топает вверх по лестнице. Но они все прислушиваются. И наконец, если позволит ветер, слышно, как шумит вода, наполняя чайник, — мать наливает его наутро, вот теперь можно уснуть со спокойным сердцем.

И они радовались поутру, радовались, вовсю радовались, играли, плясали темными вечерами вокруг одинокого фонаря. Но был в сердце каждого уголок, где пряталась тревога, в глубине глаз затаилась тьма и выдавала, какова их жизнь.

Пол ненавидел отца. Мальчиком он страстно исповедовал свою особенную веру.

— Пускай отец бросит пить, — молился он

каждый вечер. — Господи, пускай мой отец умрет, — часто молил он. — Пускай его не убьет в шахте, — молил он в дни, когда после чая отец все не возвращался с работы.

В такие дни семья тоже отчаянно страдала. Дети возвращались из школы и пили чай. В камине, на полке для подогревания пищи, медленно кипела большая кастрюля, в духовке поджидало Морела к обеду тушеное мясо. Его ждали в пять. Но месяц за месяцем он по дороге домой каждый вечер заходил в пивную.

Зимними вечерами, когда было холодно и рано темнело, миссис Морел ставила на стол медный подсвечник и, чтобы сэкономить газ, зажигала сальную свечу. Дети, съев хлеб с маслом или с жиром со сковородки, были готовы бежать на улицу. Но если отец еще не пришел, они мешкали. Миссис Морел нестерпимо было знать, что, вместо того чтобы после целого дня работы прийти домой поесть и вымыться, он сидит во всем грязном и на голодный желудок напивается. От нее тягостное чувство передавалось детям. Она теперь не страдала в одиночестве, вместе с нею страдали и дети.

Пол вышел на улицу поиграть с остальными. Внизу, в глубоком сумраке котловины, подле

шахт, горело по несколько огней. Последние углекопы тяжело поднимались по неосвещенной, пересекающей поле дорожке. Вот и фонарщик прошел. Больше углекопов не было видно. Долину окутала тьма, работа кончилась. Наступил вечер.

Пол в тревоге кинулся домой. На столе в кухне все горела единственная свеча, огонь, пылавший в камине, отбрасывал красный свет. Миссис Морел сидела в одиночестве. На полке в камине исходила паром кастрюля, на столе поджидала глубокая тарелка. Вся комната ждала, ждала того, кто в грязной рабочей одежде, не пообедав, сидел в какой-нибудь миле отсюда, отделенный от дома тьмой, и напивался допьяна. Пол остановился в дверях.

— Папа пришел? — спросил он.

— Ты же видишь, что нет, — праздный вопрос рассердил миссис Морел.

Мальчик потоптался около матери. Обоих грызла одна и та же тревога. Но вот миссис Морел вышла и слила воду от картофеля.

— Картошка переварилась и подгорела, — сказала она. — Да не все ли мне равно?

Они почти и не разговаривали. Пол возмущался матерью, незачем ей страдать оттого, что отец не

пришел домой с работы.

— Ну чего ты волнуешься? — сказал он. — Охота ему пойти напиться, ну и пускай.

— Пускай, как же! — вспылила миссис Морел. — Тебе хорошо говорить.

Она знала, тот, кто по дороге с работы заходит в пивную, в два счета погубит и себя и свою семью. Дети еще малы, им нужен кормилец. Уильям принес ей облегченье, ведь теперь наконец есть к кому обратиться, если на Морела не останется надежды. Но вечерами, когда его напрасно ждали с работы, в доме трудно было дышать.

Проходили минута за минутой. В шесть скатерть еще лежала на столе, еще стоял наготове обед, еще душило тревожное ожидание. Полу становилось невмоготу. Не мог он выйти на улицу поиграть. И он убегал к миссис Ингер, через дом от них, чтоб она с ним поговорила. У нее детей не было. Муж относился к ней хорошо, но он торговал в лавке, домой возвращался поздно. И, увидав на пороге парнишку, она неизменно его окликала:

— Заходи, Пол.

Они посидят, поговорят, потом вдруг мальчик поднимется и скажет:

— Ну, я пойду погляжу, не надо ли чего маме.

Он напускал на себя веселость и не рассказывал доброй женщине, что его гнетет. Потом бежал домой.

В такие вечера Морел бывал грубый и злобный.

— Самое время прийти домой, — скажет миссис Морел.

— А какое тебе дело, когда я пришел? — орет Морел.

И весь дом замолкает, потому что связываться с ним опасно. Он принимается за еду и ест просто по-свински, а насытясь, оттолкнет всю посуду, выложит руки на стол. И заснет.

Как же Пол ненавидел отца. Небольшая, жалкая голова углекопа с черными, чуть тронутыми сединой волосами лежала на обнаженных руках, грязное, воспаленное лицо с мясистым носом и тонкими негустыми бровями повернуто боком — он спал, усыпленный пивом, усталостью и дурным нравом. Стоило кому-то вдруг войти или зашуметь, Морел поднимал голову и орал:

— Брось греметь, кому говорю, не то получишь кулаком по башке! Слышь, ты?

И от последнего угрожающего слова, обращенного обычно к Энни, всех охватывала жгучая ненависть к главе семейства.

Его не посвящали ни в какие домашние дела. Никто ничем с ним не делился. Без него дети рассказывали матери обо всем, что с ними было за день, ничего не тая. Только рассказав матери, чувствовали они, что события дня и впрямь пережиты. Но стоило прийти отцу, и все замолкали. В счастливом механизме семьи он был помехой, точно клин под колесами. И он прекрасно замечал, как все смолкает при его появлении, замечал, что от него отгораживаются и ему не рады. Но все зашло уже слишком далеко, не исправишь.

Он дорого бы дал, чтобы дети были с ним откровенны, но этого они не могли. Случалось, миссис Морел говорила:

— Ты бы рассказал отцу.

Пол получил приз на конкурсе, объявленном детским журналом. Все ликовали.

— Вот придет отец, ты ему расскажи, — велела миссис Морел. — Ты ведь знаешь, как он сердится, что ему никогда ничего не рассказывают.

— Ладно, — ответил Пол. Но он, кажется, готов был лишиться приза, лишь бы не надо было рассказывать отцу.

— Пап, я приз получил на конкурсе, — сказал он.

Морел тотчас к нему обернулся.

— Вон как, малыш? А какой такой конкурс?

— Да пустяковый… насчет знаменитых женщин.

— И что ж за приз ты получил?

— Книжку.

— Ишь ты!

— Про птиц.

— Гм… гм!

Вот и все. Невозможна была никакая беседа между отцом и кем-нибудь из семьи. Он был посторонний. Он отрекся от Бога в душе.

Только тогда он и входил опять в жизнь своего семейства, когда что-нибудь мастерил и притом работал со вкусом. Иной раз он вечером сапожничал или паял кастрюлю или свою шахтерскую фляжку. Тут ему всегда требовались помощники, и дети с радостью помогали. Работа, настоящее дело, когда отец вновь становился самим собой, сближала их.

Морел был хороший мастер, искусник, из тех, кто в хорошем настроении всегда поет. Бывали полосы — месяцы, чуть ли не годы, когда он был прескверно настроен, в разладе со всем светом. А порой на него опять накатывало веселье. И приятно было видеть, как он бежит с раскаленной железякой и кричит:

— Прочь с дороги… прочь с дороги!

А потом бьет молотом по раскаленной докрасна железяке, придает ей нужную форму. Или присядет накоротке и сосредоточенно паяет. И дети с радостью следят, как припой вдруг плавится и поддается и под острым носом паяльника скрепляет металл, и комната наполняется запахом разогретой смолы и жести, и Морел на минуту замолкает, весь внимание. Сапожничая, он всегда напевал, уж очень веселил стук молотка. Не без удовольствия клал он большущие заплаты на свои молескиновые шахтерские штаны, что делал довольно часто — ему казалось, слишком они грязные, и материя слишком грубая, чтоб отдавать их в починку жене.

Но больше всего ребятишкам нравилось, когда Морел готовил запалы. Он приносил с чердака сноп длинной, крепкой пшеничной соломы. Каждую соломинку очищал рукой, пока она не начинала блестеть, точно золотая, потом разрезал на части, каждая примерно по шесть дюймов, и, если удавалось, делал посреди каждой надрез. У него всегда был замечательно острый нож, которым можно было разрезать соломку, не повредив. Потом сыпал на стол кучку пороха — холмик черных крупинок на отмытой добела

столешнице. Он готовил соломинки, а Пол и Энни засыпали в тоненькие трубочки порох и затыкали. Полу нравилось смотреть, как черные крупинки стекают по желобку ладони в горло соломки, весело заполняя ее до краев. Потом он заделывал отверстие мылом — отколупывал ногтем от куска, лежащего на блюдце, — и соломка готова.

— Пап, погляди! — говорил он.

— Молодец, мой хороший, — отвечал Морел, на редкость щедрый на ласковые слова, когда обращался к среднему сыну. Пол совал запал в жестянку из-под пороха, приготовленную на утро, когда Морел пойдет в шахту и подорвет угольный пласт.

Меж тем Артур, по-прежнему очень привязанный к отцу, облокотится на ручку отцова кресла и скажет:

— Папка, расскажи про шахту.

Морел рад-радехонек.

— Ну, значит, есть у нас один коняга… Валлиец, мы его так и кличем, — начинает он. — До чего ж хитрющий!

Рассказывал Морел всегда с чувством. Слушатели сразу понимали, какой Валлиец хитрый.

— Гнедой такой, и не больно крупный. Придет

в забой, дышит эдак с хрипом, а потом давай чихать. «Привет, Вал, — скажешь ему. — Чегой-то ты расчихался? Чего нанюхался?»

А он опять чих-чих-чих. А потом сунется к тебе прямо нос к носу, эдакий нахал.

— Тебе чего, Вал? — спросишь.

— А он что? — непременно спросит Артур.

— А это ему табак требуется, голубчик мой.

Эту байку про Валлийца он мог повторять без конца, и всем она нравилась.

А, бывает, примется рассказывать что-нибудь новенькое.

— Ну-к, угадай, чего было, голубок мой? Стал я в обед надевать куртку, гляжу, а по руке мышь бежит. «Эй, ты!» — как крикну. Раз — и ухватил ее за хвост.

— И убил?

— Убил, потому как больно они, надоели. Они там кишмя кишат.

— А едят они что?

— Да зерно, если коняга свои яблоки обронит… а то в карман к тебе заберутся и завтрак погрызут… если не углядишь… где ни повесишь куртку… всюду найдут и грызут, дрянь этакая.

Эти счастливые вечера выдавались только тогда, когда у отца бывала какая-нибудь работа по

дому. Притом он всегда рано ложился, зачастую раньше детей. Покончив со всякими починками и пробежав глазами заголовки газет, он уже не знал, чем заняться и чего ради бодрствовать.

И детям было покойно, когда они знали, что отец спит. Они какое-то время лежали в постели и тихонько разговаривали. Потом по потолку растекался свет от ламп, что покачивались в руках углекопов, уходящих в ночную смену, и дети вскакивали. Прислушивались к голосам мужчин, представляли, как они спускаются в темную долину. Иной раз подходили к окну, смотрели, как три-четыре лампы, становясь все меньше, меньше, мерцали во тьме полей. И потом так радостно было опять кинуться в постель и уютно свернуться в тепле.

Пол был довольно хрупкий мальчонка, подверженный бронхиту. Остальные все крепкого здоровья; еще и поэтому мать отличала его от других детей. Однажды он пришел домой в обед совсем больной. Но в этой семье по пустякам шум не поднимали.

— Что это с тобой? — строго спросила мать.

— Ничего, — ответил он.

Но обедать не стал.

— Если не пообедаешь, не пойдешь в школу, —

сказала она.

— Почему? — спросил Пол.

— А вот потому.

И после обеда он лег на диван, на теплый ситец подушек, так любимых детьми. Потом, кажется, задремал. В это время миссис Морел гладила. И все прислушивалась — сынишка негромко, беспокойно похрапывал. В душе у нее вновь шевельнулось давнее, почти изжившее себя чувство. Поначалу она ведь думала, он не жилец. Но его мальчишеское тело оказалось на удивленье живучим. Быть может, умри он тогда, для нее это было бы некоторым облегченьем. Ее любовь к нему была замешена на страдании.

Пол лежал в забытьи, и сквозь сон до него смутно доносилось звяканье утюга о подставку, негромкое, глухое постукиванье о гладильную доску. В какую-то минуту пробудившись, он открыл глаза и увидел, что мать стоит на каминном коврике, держит горячий утюг у самой щеки, словно прислушивается, каков жар. Лицо ее неподвижно, губы крепко сжаты страданием, разочарованьем, самоотречением, крохотный, чуть-чуть неправильный носик, голубые глаза такие молодые, такие живые, теплые, смотришь — и сердце щемит от любви. В такие вот тихие

минуты казалось, мать и мужественная и полна жизни, но давно уже у нее отняли то, что принадлежит ей по праву. И мальчик мучился, чувствуя, что жизнь ее не такая, какой должна бы стать, а сам он не способен возместить ей то, чего она была лишена, его переполняли горькое сознанье бессилия, но и терпеливое упорство. Так он с малых лет обрел заветную цель.

Мать плюнула на утюг, и шарик слюны подпрыгнул, скатился с темной, блестящей поверхности. Потом она стала на колени и, крепко нажимая, провела утюгом по мешковине с обратной стороны каминного коврика. В красном свете от камина лицо ее разгорелось. Полу нравилось, как она пригнулась, склонила голову набок. Ее движения такие легкие, быстрые. Всегда приятно смотреть на нее. Что бы она ни делала, дети всегда любовались каждым ее движением. В комнате было тепло, пахло горячим бельем. Позднее пришел священник и негромко с ней разговаривал.

Пол заболел бронхитом. Он не слишком огорчился. Что случилось, то случилось, и ничего тут не поделаешь. Он любил вечера, после восьми, когда гасили свет и можно было смотреть, как отблески пламени пляшут на погруженных во тьму стенах и потолке, как мечутся, качаются

тени, и под конец кажется, будто комната полна безмолвно сражающихся воинов.

Перед сном отец заходил в комнату больного. Если кто-нибудь хворал, он неизменно был очень ласков. Но его приход нарушал царивший в комнате покой.

— Спишь, что ль, милок? — тихо спрашивал Морел.

— Нет. А мама придет?

— Она одежу складывает, кончает. Надо тебе чего-нибудь?

— Нет, ничего не надо. А она еще долго?

— Недолго, голубчик ты мой.

Минуту, другую отец неуверенно стоит на каминном коврике. Он чувствует, сыну его присутствие в тягость. Потом выходит на лестницу и говорит сверху жене:

— Парнишка тебя ждет не дождется. Ты еще долго?

— Да пока не кончу. Скажи ему, пускай спит.

— Она сказала, пускай, мол, спит, — ласково повторяет Полу отец.

— А я хочу, чтоб она пришла, — настаивает мальчик.

— Он говорит, он не уснет, пока сама к нему не зайдешь, — кричит Морел вниз.

— Надо же! Я недолго. И, пожалуйста, не кричи на весь дом. Есть ведь и еще дети…

Он возвращается в спальню, присаживается на корточки подле камина. Как же любил он огонь.

— Она говорит, уже недолго, — повторяет он сыну.

Морел послонялся по комнате, не зная, куда себя деть. Мальчика охватила лихорадочная досада. Казалось, присутствие отца лишь обостряет его болезненное нетерпенье. Наконец, постояв и поглядев на сына, Морел сказал мягко:

— Доброй ночи, милок.

— Доброй ночи, — обернувшись, с облегчением ответил Пол; наконец-то он остается один.

Полу нравилось спать вместе с матерью. Вопреки утверждениям гигиенистов, всего лучше спится, когда делишь постель с тем, кого любишь. Тепло, чувство защищенности и мира в душе, полнейший покой, оттого что чувствуешь рядом родного человека, делает сон крепче, целительным для души и тела. Пол лежал, прислонясь к матери, и спал, и поправлялся, а мать, спавшая всегда плохо, скоро тоже засыпала глубоким сном, который, казалось, помогал ей верить, что все обойдется.

Пол выздоравливал, и уже сидел в кровати, и

видел из окна, как в поле едят из кормушек косматые лошадки, раскидывая сено на истоптанном желтом снегу, как бредут толпой углекопы, возвращаясь по домам, — небольшими группками медленно тянулись по белому полю маленькие, черные фигурки. Потом над снегом сгущался синий туман и наступал вечер.

Когда выздоравливаешь, мир полон чудес. Снежинки вдруг слетаются к окну, на миг припадают к нему, будто ласточки, и вот уже их нет, и по стеклу сползает капля воды. Снежинки выносятся из-за угла дома, мчатся мимо точно голуби. Вдалеке, по ту сторону долины, по необъятной белизне боязливо ползет маленький черный поезд.

Пока семья была так бедна, дети приходили в восторг, если могли хоть что-то внести в хозяйство. Летом Энни, Пол и Артур спозаранку отправлялись по грибы — в мокрой траве, из которой вспархивали жаворонки, они выискивали белокожие, чудесно обнаженные грибы, что затаились в зелени. И если удавалось набрать полфунта, были безмерно счастливы: радостно что-то найти, радостно принять что-то из рук самой Природы, радостно пополнить семейный карман.

Важней всего было подбирать после жатвы

пшеничные колосья или принести ежевику. Ведь для воскресных пудингов миссис Морел приходилось покупать фрукты и ягоды, притом ежевику она любила. И пока не сойдет ежевика. Пол и Артур по субботам и воскресеньям отправлялись на поиски, обшаривали заросли кустарника, лес, заброшенные карьеры. В этом шахтерском краю ежевика встречалась все реже. Но Пол где только не рыскал. Он любил бродить среди кустов и деревьев. Да еще терпеть не мог возвращаться домой, к матери, с пустыми руками. Он чувствовал, она бы огорчилась, и ему бы легче умереть, чем разочаровать ее.

— Надо же! — восклицала она, когда поздно до смерти усталые и голодные мальчики появлялись на пороге. — Где вы пропадали?

— Да не было нигде ничего, — отвечал Пол. — Ну, мы и пошли за Мискские холмы. И вот глянь, мам!

Она заглядывала в корзинку.

— До чего ж хороши! — восклицала она.

— И тут больше двух фунтов… правда, больше двух фунтов?

Мать брала в руки корзинку.

— Д-да, — неуверенно соглашалась она.

Тогда Пол выуживал из корзинки маленькую

веточку. Он неизменно приносил ей веточку, самую лучшую, какую сумел найти.

— Прелесть! — говорила мать со странной ноткой в голосе, словно женщина, принимающая дар любви.

Пол готов был пробродить с утра до ночи, исходить многие и многие мили, только бы не сдаться, не прийти домой с пустыми руками. Пока он был мальчишкой, мать не понимала этого. Она была из тех женщин, которые ждут, чтобы дети их подросли. И всех больше мысли ее занимал старший сын.

Но когда Уильям стал служить в Ноттингеме и дома проводил совсем мало времени, она сделала своим собеседником Пола. Сам того не сознавая. Пол ревновал мать к брату, а Уильям ревновал ее к Полу. И однако, были они добрыми друзьями.

Душевная близость миссис Морел со вторым сыном была утонченней, совершеннее, хотя, пожалуй, не такая пылкая, как со старшим. Было так заведено, что в пятницу вечером Пол заходил за деньгами отца. Весь заработок каждого забоя углекопам всех пяти шахт платили по пятницам, но не каждому в отдельности. Всю сумму вручали старшему штейгеру, который был подрядчиком, и уже он делил деньги либо в пивной, либо у себя

дома. Уроки в школе по пятницам кончались рано, чтобы дети могли зайти за деньгами. И каждый из детей Морела — Уильям, потом Энни, потом Пол, — пока сами не начали работать, ходили по пятницам за деньгами отца. Пол обычно отправлялся в половине четвертого, с коленкоровым мешочком в кармане. В этот час по всем дорожкам к конторам тянулись вереницы женщин, девушек, детей и мужчин.

Конторы выглядели весьма привлекательно: новые постройки красного кирпича, чуть ли не особняки, стояли на хорошо ухоженных участках в конце Гринхиллской дороги. Приемная была большая, длинная, стены голые, пол выложен синим кирпичом. Вдоль стен сплошь скамьи. Тут же сидели углекопы в грязной шахтерской одежде. Приходили они загодя. Женщины и дети обычно слонялись по усыпанным красным гравием дорожкам. Пол всегда приглядывался к полоскам травы вдоль дорожек и к поросшему травой склону, там попадались крохотные анютины глазки и незабудки. Из приемной слышался гул множества голосов. На женщинах были праздничные шляпки. Девушки громко болтали. Тут и там носились собачонки. Зеленый кустарник вокруг безмолвствовал.

Наконец из дома доносился крик:

— Спини-парк… Спини-парк!

И весь спинни-паркский народ устремлялся в контору. Когда наступал черед шахты Бретти, с толпой входил и Пол. Комната-касса была совсем маленькая. Барьер разделял ее пополам. За барьером стояли двое — мистер Брейтуэйт и его конторщик, мистер Уинтерботем. Мистер Брейтуэйт крупный, с негустой белой бородой, наружностью походил на сурового патриарха. Он всегда обертывал шею огромным шелковым шарфом, и в открытом камине до самого лета, до жары, пылал яркий огонь. Окна были закрыты наглухо. Зимой, после уличной свежести, здешний воздух обжигал входящим глотки. Мистер Уинтерботем был невысокий, полный и совершенно лысый. Он отпускал шутки, отнюдь не остроумные, а его начальник, точно и впрямь патриарх, изрекал наставления углекопам.

В комнате толпились углекопы во всем шахтерском, и те, которые побывали дома и переоделись, и женщины, и двое-трое ребятишек, и тут же чей-нибудь пес. Пол был совсем небольшого росточка, и его неизбежно оттесняли к камину, где его обдавало нестерпимым жаром. Он знал, в каком порядке шли имена углекопов — по но-

мерам забоев.

— Холидей, — оглушительно выкликал мистер Брейтуэйт. И Холидей молча выступал вперед, получал деньги и отходил в сторону.

— Бауэр… Джон Бауэр.

К барьеру подходил парнишка. Мистер Брейтуэйт, большой, нетерпеливый, сердито на него взглядывал поверх очков.

— Джон Бауэр! — повторял он.

— Я это, — говорил парнишка.

— Да ведь у тебя вроде нос совсем другой был, — говорил лоснящийся Уинтерботем, вглядываясь в него из-за барьера. Народ хихикал, воображая Джона Бауэра старшего.

— А папаша игде ж? — величественно и властно вопрошал мистер Брейтуэйт.

— Хворый он, — пискливо отвечал мальчуган.

— Ты б ему сказал, чтоб не касался спиртного, — важно вещал кассир.

— Как бы он тебя за это в землю не втоптал, — раздавался сзади чей-то насмешливый голос.

И все хохотали. Большой, величественный кассир заглядывал в следующий листок.

— Фред Пилкингтон, — равнодушно вызывал он.

Мистер Брейтуэйт был один из главных акцио-

неров этой компании.

Пол знал, его очередь через одного, и сердце его заколотилось. Его притиснули к камину. Ему жгло икры. И не было надежды протиснуться сквозь людскую толщу.

— Уолтер Морел! — раздался громкий голос.

— Здесь! — тоненько, еле слышно отозвался Пол.

— Морел… Уолтер Морел! — повторил кассир, уперев два пальца в ведомость, вот-вот ее перелистнет.

Пол, во власти мучительного смущенья, не в силах был крикнуть громче. Спины взрослых заслоняли его. И вдруг на выручку пришел мистер Уинтерботем.

— Туточки он. Где ж он? Морелов парнишка?

Толстый, краснолицый, лысый человечек шарил по комнате острым взглядом. Ткнул пальцем в сторону камина. Углекопы оглянулись, посторонились, и мальчик оказался на виду.

— Вот-он он! — сказал мистер Уинтерботем.

Пол подошел к барьеру.

— Семнадцать фунтов одиннадцать шиллингов и пять пенсов. Ты чего не откликаешься, когда тебя вызывают? — сказал мистер Брейтуэйт. Он со стуком поставил мешочек с пятью фунтами

серебра, потом уважительным, изящным движением достал столбик золотых — десять фунтов и поставил рядом с серебром. Блестящая золотая струйка растеклась по листу бумаги. Кассир отсчитал деньги, мальчик передвинул всю кучку к мистеру Уинтерботему, который вычитал арендную плату за квартиру да еще за инструменты. Опять предстояло мученье.

— Шестнадцать шиллингов шесть пенсов, — сказал мистер Уинтерботем.

Парнишка был так подавлен, что и сосчитать не мог. Подтолкнул к Уинтерботему серебряную мелочь и полсоверена.

— Ты сколько мне, по-твоему, дал? — спросил Уинтерботем.

Мальчик посмотрел на него, но не ответил. Он понятия не имел, сколько там денег.

— Ты чего это, язык проглотил?

Пол прикусил губу и подвинул к нему еще серебра.

— Вас чего, в школе считать не учат?

— Не, только алгебру да французский, — сказал один из углекопов.

— А еще нахальничать да бесстыдничать, — сказал другой.

Кого-то уже Пол задерживал. Дрожащими

пальцами он сгреб свои деньги в мешочек и выскользнул из комнаты. В такие минуты он терпел муки ада.

Наконец-то он на воле и с безмерным облегчением шагает по мэнсфилдской дороге. Стена парка поросла зелеными мхами. Во фруктовом саду под яблонями что-то клевали белые и золотистые куры. Вереницей тянулись к дому углекопы. Пол робко держался поближе к стене. Он многих знал, но, перепачканные угольной пылью, они казались неузнаваемыми. И это была еще одна пытка.

Когда он пришел в Новую гостиницу, отца здесь еще не было. Хозяйка гостиницы, миссис Уормби, узнала мальчика. Его бабушка, мать Морела, когда-то была с ней в дружбе.

— Твой папаша еще не приходил, — сказала она тем особенным и презрительным, и вместе покровительственным тоном, какой свойствен женщине, привыкшей разговаривать больше со взрослыми мужчинами. — Садись посиди.

Пол сел у стойки на краешек скамьи. В углу несколько углекопов подсчитывали и делили деньги, другие только еще входили. Каждый молча взглядывал на мальчика. Наконец пришел Морел; оживленный, быстрый и, хотя в грязной

рабочей одежде и неумытый, что-то напевал.

— Привет! — почти с нежностью сказал он сыну. — Обошел меня, а? Выпьешь чего-нибудь?

Пол, как и другие дети Морела, был воспитан яростным противником спиртного, и уж ему лучше пусть бы выдрали зуб, чем на виду у всех пить лимонад.

Хозяйка глянула на него de haut en bas,[1] почти с жалостью, но и негодуя на его безусловную, яростную добродетель. Насупившись, Пол отправился домой. Молча переступил порог. По пятницам мать пекла хлеб, и наготове всегда была сдобная булочка. Миссис Морел поставила ее перед сыном.

И вдруг он возмущенно повернулся к матери, глаза его засверкали:

— Не пойду я больше в контору! — сказал он.

— Почему? Что случилось? — удивилась мать. Ее даже забавляли эти его внезапные приступы гнева.

— Не пойду я больше, — заявляет Пол.

— Ну хорошо, скажи отцу.

Пол жует булочку с таким видом, будто она ему противна.

---

[1] Примечания: 1
свысока *(фр.).*

— Не пойду… больше не пойду за деньгами.

— Тогда сходит кто-нибудь из детей Карлинов, они от шестипенсовика не откажутся, — говорит миссис Морел.

Кроме этой монетки Полу других денег не перепадало. Тратил он свои шесть пенсов обычно на подарки ко дням рождений; какие-никакие, то были деньги, и он ими дорожил. И все же…

— Пускай получают шесть пенсов! Не нужны они мне, — говорит он.

— Ну и хорошо, — соглашается мать. — А мне-то зачем грубить?

— Противные они, неученые совсем и противные, не пойду больше. Мистер Брейтуэйт говорит «игде ж» да «чего», а мистер Уинтерботем говорит «туточки».

— И из-за этого ты не хочешь туда ходить? — с улыбкой спрашивает миссис Морел.

Мальчик молчит. Лицо бледное, глаза темные, гневные. Мать занимается своими делами, не обращает на него внимания.

— Стоят все передо мной, никак не пройдешь, — говорит он наконец.

— Так ведь надо просто попросить, чтоб пропустили, хороший мой, — объясняет мать.

— А Элфрид Уинтерботем говорит: «Вас чего, в

школе считать не учат?»

— Его самого почти ничему не учили, — говорит миссис Морел. — Это уж наверняка… ни хорошим манерам, ни соображению… а хитрый он от рожденья.

Так, по-своему, она утешала мальчика. От его нелепой сверхчувствительности у нее заходилось сердце. И случалось, бешенство в его глазах разбудит ее, спящая душа на миг изумленно встрепенется.

— Сколько было выписано? — спросила она.

— Семнадцать фунтов одиннадцать шиллингов и пять пенсов, а вычли шестнадцать и шесть пенсов, — ответил мальчик. — Хорошая неделя, и у папки только пять шиллингов удержали.

Теперь она могла подсчитать, сколько заработал муж, и призвать его к ответу, если он недодаст ей денег. Морел всегда скрывал от нее, сколько получил за неделю.

В пятницу вечером пекли хлебы и ходили на базар. Было заведено, что Пол оставался дома и приглядывал за хлебами. Ему нравилось сидеть дома и рисовать или читать; рисовать он очень любил. Пятничными вечерами Энни всегда где-нибудь шастала, Артур, по обыкновению, веселился, в свое удовольствие. И Пол оказывался

дома один.

Миссис Морел любила ходить на базар. На маленькой базарной площади, на вершине холма, где сходились четыре дороги — от Ноттингема и Дерби, от Илкстона и Мэнсфилда, — ставили множество ларьков. Из окрестных поселков приходили машинисты шахтных подъемных машин. Базар был полон женщин, на улицах толпились мужчины. Было удивительно видеть повсюду на улицах столько мужчин. Миссис Морел обычно ссорилась с торговкой галантерейным товаром, сочувствовала простофиле фруктовщику, правда, жена у него была препротивная, смеялась с торговцем рыбой — был он плут, но уж такой шутник, ставила на место продавца линолеума, холодно обходилась с торговцем случайными вещами и подходила к торговцу фаянсовой и глиняной посудой только по крайней необходимости, а однажды ее соблазнили васильки на мисочке — и тогда она была холодно-вежлива.

— Не скажете ли, сколько стоит вот эта мисочка? — спросила она.

— Для вас семь пенсов.

— Благодарствуйте.

Она поставила мисочку на место и пошла прочь; но не могла она уйти с рынка без при-

глянувшейся вещицы. Опять проходила мимо скучно лежащих на полу горшков и, притворяясь, будто вовсе и не смотрит, украдкой бросала взгляд на ту самую мисочку.

Идет себе мимо женщина небольшого росточка в шляпке и черном костюме. Шляпку эту она носила уже третий год, и Энни ужасно из-за этого огорчалась.

— Мам! — молила она. — Ну не носи ты больше эту жуткую шляпку.

— А что ж мне тогда носить, — вызывающе отвечала мать. — И, по мне, она вполне годится.

Сперва шляпку украшало перо, потом цветы, а теперь всего-навсего черная тесьма и маленький черный янтарь.

— Какой-то у нее унылый вид, — сказал Пол. — Ты не можешь ее подбодрить?

— Не дерзи, Пол, смотри у меня, — сказала миссис Морел и храбро завязала под подбородком черные ленты шляпки.

Сейчас она опять глянула на приглянувшуюся мисочку. И ей, и ее недругу гончару было не по себе, словно что-то стояло между ними. И вдруг он крикнул:

— За пять пенсов хотите?

Миссис Морел вздрогнула. Она ожесточилась

в сердце своем и все-таки остановилась и взяла мисочку.

— Беру, — сказала она.

— Вроде милость мне оказываете, а? — сказал он. — Лучше плюнули бы в миску-то, как ведется, когда тебе чего задаром отдают.

Миссис Морел холодно выложила пять пенсов.

— Вовсе вы не задаром отдали, — возразила она. — Не хотели бы продать за пять пенсов, так и мне не продали б.

— В этом проклятущем месте, считай, тебе повезло, если хоть как товар распродал, — проворчал гончар.

— Да, бывают и плохие времена и хорошие, — сказала миссис Морел.

Но она простила гончара. Теперь они друзья. Теперь она не боится трогать его утварь. И радуется.

Пол ожидал ее. Он любил, когда мать возвращалась. В такие минуты она бывала в самом лучшем своем виде — торжествующая, усталая, нагруженная свертками и очень оживленная. Он услышал быстрый, легкий ее шаг и поднял голову от рисунка.

— Ох! — она перевела дух, улыбнулась ему с порога.

— Ого, ну и навьючилась ты! — воскликнул он, отложив кисть.

— Да уж, — тяжело выдохнула мать. — А Энни, бессовестная, еще обещала меня встретить. Эдакий груз!

Она опустила плетеную сумку и свертки на стол.

— Хлеб готов? — спросила она и пошла к духовке.

— Уже последний печется, — отвечал Пол. — Можешь не смотреть, я про него не забыл.

— Ох уж этот гончар! — сказала она и закрыла дверцу духовки. — Помнишь, я говорила, какой он нахал? А теперь, выходит, не такой уж он плохой.

— Правда?

Мальчик внимательно ее слушал. Она сняла черную шляпку.

— Да. Просто не удается ему сколотить деньжат… все на это нынче жалуются… оттого с ним и не сговоришь.

— И со мной было б так же, — сказал Пол.

— Тут и удивляться нечему. И он взял с меня… как по-твоему, сколько он взял с меня вот за это?

Миссис Морел развернула обрывок газеты, извлекла мисочку и с радостью на нее посмотрела.

— Покажи! — попросил Пол.

Оба восхищенно разглядывали мисочку.

— Мне так нравится, когда разрисовывают васильками, — сказал Пол.

— Да, и я подумала про чайник для заварки, который ты мне подарил…

— Шиллинг и три пенса, — сказал Пол.

— Пять пенсов!

— Мам, он продешевил.

— Да. Знаешь, я поскорей улизнула. Но не могла же я заплатить больше, это было б транжирство. И ведь если б он не хотел, мог не продавать.

— Конечно, мог, а как же, — согласился Пол; так они утешали друг друга, боясь, что обобрали гончара.

— В нее можно класть печеные фрукты, — сказал Пол.

— И сладкий крем, и желе, — сказала мать.

— А то редиску и салат-латук, — подхватил Пол.

— Не забудь про хлеб в духовке, — напомнила мать, да так задорно.

Пол заглянул в духовку, постучал по нижней корочке каравая.

— Готово, — сказал он и подал хлеб матери.

Она тоже постучала.

— Да, — подтвердила она и собралась разгружать свою сумку. — Ох, да я бессовестная транжира. Не миновать мне нищеты.

Пол подскочил к ней, ему не терпелось увидеть, о каком транжирстве речь. Миссис Морел развернула еще газетный сверток, показались корни анютиных глазок и малиновых маргариток.

— Целых четыре пенни выложила, — простонала она.

— Как дешево! — воскликнул Пол.

— Дешево-то дешево, но уж в эту неделю нельзя мне было роскошничать.

— Но ведь прелесть! — воскликнул Пол.

— То-то и оно! — вырвалось у матери, она не сдержала радости. — Посмотри на этот желтый, Пол, конечно, прелесть… и совсем как лицо старика!

— Точь-в-точь! — воскликнул Пол и наклонился понюхать. — И до чего приятно пахнет! Но он весь забрызган.

Он кинулся в кладовку, принес фланелевую тряпочку и осторожно обмыл цветок.

— А теперь посмотри, пока лепестки влажные! — сказал он.

— Да уж! — воскликнула мать, радуясь как маленькая.

Дети со Скарджил-стрит считали себя выше прочих в поселке. Но в том конце, где жили Морелы, было их совсем немного. Оттого они больше держались друг друга. Мальчишки и девчонки играли вместе, девчонки участвовали в драках и грубых играх, мальчишки присоединялись к ним, когда они прыгали через веревочку, катали обруч и кого только из себя не строили.

Энни, Пол и Артур любили зимние вечера, если на дворе было сухо. Они сидели дома, дожидаясь, пока пройдут все углекопы, станет темным-темно и улицы опустеют. Тогда они обертывали шею шарфом — как все шахтерские дети, пальто они презирали — и выходили. В проходе между домами тьма, а в самом конце раскрывалось необъятное пространство ночи, внизу, где шахта Минтона, горстка огней, и еще одна вдали, напротив Селби. Самые далекие крохотные огоньки, казалось, уходят во тьму, в бесконечность. Ребята с тревогой смотрели на дорогу, в сторону фонаря, который стоял в конце тропы, что вела в поле. Если на небольшой освещенной площадке никого не было, Пол с Артуром чувствовали себя потерянными. Сунув руки в карманы, стояли они под фонарем, спиной к ночи, глубоко несчастные, и вглядывались в темные дома. Вдруг под короткой

курткой мелькал фартук, и на площадку вылетала длинноногая девчонка.

— А где Билли Пиллинс, и ваша Энни, и Эдди Дейкин?

— Не знаю.

Но не так это было и важно — теперь их уже трое. Они затевали какую-нибудь игру вокруг фонаря, а там с воплями выбегали и остальные. И разгорались буйные игры.

Тут был один-единственный фонарь. Позади все тонуло во тьме, будто вся ночь сосредоточилась там. А впереди переваливала через выступ горы тоже совсем темная лента дороги. Случалось, кто-нибудь сбивался с нее и исчезал на тропе. Уже в дюжине ярдов его поглощала ночь. А ребятня продолжала играть.

Из-за того, что жили на отшибе, все они очень сдружились. Если уж вспыхивала ссора, вся игра шла прахом. Артур был очень обидчив, а Билли Пиллинс — на самом деле Филипс — и того обидчивей. Пол тут же брал сторону Артура, Элис сторону Пола, а за Билли Пиллинса всегда вступались Эмми Лимб и Эдди Дейкин. И все шестеро кидались в драку, ненавидя друг друга лютой ненавистью, и потом в ужасе разбегались по домам. Полу не забыть, как во время одной из

таких яростных потасовок посреди дороги, из-за вершины горы, медленно, неотвратимо, точно огромная птица, поднялась большая красная луна. И вспомнилось, по Библии луна должна превратиться в кровь. И назавтра он спешил помириться с Билли Пиллинсом, и опять они как одержимые разыгрывали свои бешеные игры под фонарем, окруженные безбрежной тьмой. Заходя в свою гостиную, миссис Морел слышала, как дети поют:

У меня из самолучшей кожи башмачки,

Шелковым похвастаюсь носком;

А на каждом пальце перстеньки,

Умываюсь только молочком.

Судя по доносящимся из тьмы голосам, они так были захвачены игрой, будто и вправду одержимые. Они заражали своим настроением мать, и она прекрасно понимала, почему в восемь они вернулись такие разрумянившиеся, с блестящими глазами, так увлеченно захлебывались словами.

Всем им нравился дом на Скарджил-стрит за то, что открыт со всех сторон и видно из него далеко. Летними вечерами женщины обычно стоят,

опершись о забор, болтают о том о сем, глядят на запад, а закат все разгорается, и скоро вдали, где зубчатая, точно хребет тритона, вырисовывается гряда дербиширских холмов, небо тоже становится алым.

В летнюю пору шахты никогда не работают полный день, особенно те, где угольные пласты мягкие. Миссис Дейкин, живущая в соседнем доме, пойдет к забору вытрясти каминный коврик и уж наверняка приметит мужчин, что медленно поднимаются в гору. Сразу увидит — это углекопы. И — высокая, тощая, по лицу ясно — злющая — стоит наверху и будто грозит несчастным углекопам, которые устало бредут по дороге. Еще только одиннадцать. Над дальними, поросшими лесом холмами не успела рассеяться дымка, укрывающая их поутру тонким крепом. Первый шахтер подходит к приступкам у изгороди. «Скрип-скрип» — толкает он калитку.

— Чего это, уже пошабашили? — восклицает миссис Дейкин.

— Пошабашили, соседка.

— Вот жалость-то, не дали вам наработаться, — ехидничает она.

— И впрямь так, — отвечает углекоп.

— А вы и рады, — говорит она.

Углекоп шагает дальше. А миссис Дейкин идет по двору, углядела миссис Морел, когда та понесла высыпать золу в яму.

— Я что говорю, соседка, на минтонской шахте пошабашили, — кричит она.

— Да что ж это делается! — гневно откликнулась миссис Морел.

— И то! Я только сейчас видала Джона Хачби.

— Могли бы вовсе не ходить, — сказала миссис Морел. И обе с возмущеньем пошли каждая к себе.

Углекопы разбредались по домам, лица даже не успели по-настоящему почернеть от угольной пыли. Морел возвращался злой как черт. Что и говорить, солнечное утро куда как хорошо. Но он отправился в шахту рубить уголь, и не по нраву ему было, что им велели уходить.

— Господи, в такое-то время! — воскликнула жена, едва он переступил порог.

— А я виноват, что ли, жена? — взъелся он.

— И обед еще не готов.

— Завтрак, значит, буду есть, какой в шахту брал, — жалобно пробурчал Морел. И стыдно ему было и тошно.

И дети, возвратясь из школы, с удивлением смотрели, как отец ест за обедом два толстых

ломтя уже несвежего и грязного хлеба с маслом, которые побывали в шахте.

— А почему папка свой завтрак сейчас ест? — спросил Артур.

— Заорет она на меня, коли не съем, — фыркнул Морел.

— Выдумаешь тоже! — воскликнула жена.

— А чего ж ему пропадать? — сказал Морел. — Не таковский я, как вы, чтоб чего зря бросать. Я если в шахте кусочек хлеба оброню, в пыль да в грязь, все одно подберу и съем.

— Его бы мыши съели, — сказал Пол. — Не пропал бы он зря.

— Добрый ломоть хлеба с маслом — он не для мыша, — сказал Морел. — Какой ни есть, грязный не грязный, лучше я его съем, чем ему зря пропадать.

— Мог бы оставить его мышам, а сам зато выпил бы одной кружкой меньше, — сказала миссис Морел.

— Еще чего? — воскликнул муж.

В ту осень были они очень бедны. Уильям только уехал в Лондон, и матери недоставало денег, которые он ей прежде давал. Раз-другой он посылал по десять шиллингов, но на первых порах у него у самого было много расходов. Письма его

приходили аккуратно раз в неделю. Он много писал матери, рассказывал о своей жизни, о том, как заводит друзей, как обменивается уроками с одним французом, как ему нравится Лондон. И у матери было такое чувство, что он по-прежнему с нею, будто и не уезжал. Каждую неделю писала она ему правдивые, не лишенные остроумия письма. Весь день, хлопоча по хозяйству, она не переставала о нем думать. Он в Лондоне, он преуспеет. Он был для нее словно рыцарь, который носит в битве ее ленту.

На Рождество он пробудет дома пять дней. Никогда еще ни к чему они так не готовились. Пол и Артур обрыскали все окрестности в поисках остролиста и других вечнозеленых веточек. Энни смастерила прелестные бумажные розетки на старинный манер. А в кладовке каких только не хранилось угощений. Миссис Морел испекла огромный великолепный торт. Потом уж вовсе размахнулась, показала Полу, как очистить миндаль. Он почтительно вышелушил длинные орешки, пересчитал их все, чтоб ни одного не потерять. Было сказано, что яйца лучше сбивать в холодном месте. И мальчик стоял в кладовке, где вода едва не замерзала, и сбивал, сбивал и, когда белок загустел и стал белоснежным, в восторге

кинулся к матери.

— Ты только глянь! Красиво, правда?

Он пристроил чуточку пены на кончик носа и сдул как пушинку.

— Да что ж ты разбрасываешь попусту, — сказала мать.

Все пребывали в радостном волнении. В канун Рождества приезжает Уильям. Миссис Морел придирчиво осмотрела свои запасы в кладовой для провизии. Там уже стоял большой сливовый торт, и рисовый торт, и пироги с вареньем, пироги с лимоном, и два огромных блюда пирожков с мелко нарубленным изюмом, миндалем и прочим. Доспевали еще испанские пирожки и пирожки с сыром. Весь дом разукрашен. Праздничные гирлянды из усыпанного ягодами остролиста с блестящими, сверкающими украшениями медленно покачивались над головой миссис Морел, пока она украшала в кухне пирожки. В камине гудело яркое пламя. Вкусно пахло свежим тестом. Уильяма ждали к семи, но он запоздает. Дети все втроем пошли его встречать. Мать осталась одна. Без четверти семь опять заявился Морел. Ни жена, ни муж не заговаривали. Он уселся в свое кресло, взволнованный и оттого на редкость неловкий, а она сосредоточенно допекала пироги.

Только по тому, как старательно она все делала, можно было понять всю глубину ее волнения. Часы продолжали отстукивать секунды.

— Когда, он говорил, он приедет? — уже в пятый раз спросил Морел.

— Поезд прибывает в половине седьмого, — раздельно произнесла она.

— Стало, он будет туточки в десять минут восьмого.

— Да, как же, на этой мидлендской линии он задержится не на один час, — безразлично ответила жена. Словно бы не ожидая сына вовремя, она этим надеялась ускорить его приезд. Морел пошел к дверям посмотреть, не идет ли сын. Потом вернулся.

— Господи! — сказала жена. — Ты точно карась на сковородке.

— Ты б лучше приготовила ему какую еду, — предложил отец.

— Еще сколько угодно времени.

— А по мне, так вовсе немного, — сказал он, сердито повернувшись в кресле.

Миссис Морел стала убирать со стола. Закипел чайник. А они все ждали и ждали.

Меж тем Пол, Артур и Энни топтались на перроне в Ситли-Бридж, на главной мидлендской

линии, в двух милях от дома. Они прождали час. Прибыл поезд — но Уильям не приехал. На путях горели красные и зеленые огни. До чего ж темно было и до чего холодно!

— Спроси его, пришел ли поезд из Лондона, — сказал Пол сестре, когда они увидели человека в форменной фуражке.

— Не, не буду, — сказала Энни. — Помалкивай… а то еще прогонит нас.

Но Полу до смерти хотелось, чтоб дядька узнал, что они ждут кого-то с лондонским поездом — так это распрекрасно звучит. Однако очень ему всегда страшно заговорить с любым взрослым, где уж тут осмелиться спросить человека в форменной фуражке. Троица и в зал ожидания не решалась зайти — вдруг их выгонят, вдруг они что-нибудь пропустят, если уйдут с перрона. И они ждали во тьме, в холоде.

— На полтора часа уже опоздал, — жалобно сказал Артур.

— Так ведь канун Рождества, — сказала Энни.

Замолчали. А Уильям все не ехал. Они вглядывались во тьму, куда уходили рельсы. Там Лондон! Казалось, это за тридевять земель. Пока доедешь из Лондона, всякое может случиться. И слишком тревожно им было, не до разговоров.

Замерзшие, подавленные, сбившись в кучку, они молча стояли на перроне.

Наконец, после более двух с лишком часов ожидания, из тьмы вынырнули огни паровоза. На перрон выбежал носильщик. У детей сильно заколотились сердца, они попятились. Подкатил длинный состав, направляющийся в Манчестер. Раскрылись две двери, из одной выскочил Уильям. Они кинулись к нему. Он весело нагрузил их пакетами и тотчас стал объяснять, что этот длиннющий поезд остановился на такой маленькой станции, как Ситли-Бридж, ради него одного: по расписанию остановки здесь нет.

Меж тем родители уже стали тревожиться. Стол был накрыт, отбивные котлеты поджарены, все готово. Миссис Морел надела свой черный фартук. На ней было самое наряднее ее платье. Теперь она села и делала вид, будто читает. Каждая минута была пыткой.

— Гм! — произнес Морел. — Уже полтора часа.

— А дети все ждут! — сказала она.

— Неужто поезд до сих пор не пришел? — сказал Морел.

— Говорю тебе, в канун Рождества поездов ждут часами.

Оба сердились друг на друга за то, что так

волнуются. За окном, под холодным, сырым ветром стонал ясень. Какое же огромное ночное пространстве от Лондона до дому! Мать совсем извелась. Негромкое тиканье часов выводило ее из себя. Становится уже так поздно, становится невыносимо.

Наконец послышались голоса, шаги у входа. Морел вскочил, крикнул:

— Туточки они!

И сразу отступил. Мать кинулась к двери и остановилась. Стремительные шаги, легкое топотанье — дверь распахнулась. На пороге Уильям. Опустил на пол свой кожаный саквояж и заключил мать в объятия.

— Мама! — сказал он.

— Мальчик мой! — выдохнула она.

И секунду-другую, не дольше, обнимала его и целовала. Потом оторвалась от него и, стараясь подавить волнение, сказала:

— Но как же ты поздно!

— Еще бы не поздно! — воскликнул он, повернувшись к отцу. — Ну, пап!

Мужчины пожали друг другу руки.

— Ну, сынок!

В глазах у Морела стояли слезы.

— Мы думали, ты уж не приедешь, — сказал

он.

— Ну как же не приехать! — воскликнул Уильям.

Потом сын повернулся к матери.

— А ты хорошо выглядишь, — смеясь, с гордостью сказала она.

— Ну как же! — воскликнул он. — Еще бы… домой приехал!

Уильям был красивый юноша, стройный, лицо мужественное. Он оглядел все вокруг — вечнозеленые веточки, остролист, на плите — противни с пирожками.

— Ей-Богу, все как было, мама! — сказал он словно бы с облегченьем.

На миг все притихли. И вдруг Уильям подскочил к плите, схватил с противня пирожок и целиком запихнул в рот.

— Ну, где еще увидишь такую большущую духовку! — воскликнул отец.

Уильям привез всем бесчисленные подарки. Все свои деньги до последнего гроша потратил на них. Дух роскоши разлился по всему дому. Мать получила зонтик со светлой позолоченной ручкой. До смертного часа не расставалась она с ним и все согласна была бы потерять, только не этот зонтик. Каждому предназначался какой-

нибудь замечательный подарок, а кроме того, Уильям привез разные неведомые им сласти: рахат-лукум, засахаренные ананасы и еще всякую всячину, какую, по мнению младших, могло породить великолепие Лондона. И Пол расхваливал эти сласти своим друзьям.

— Настоящий ананас, его нарезали на ломтики, а потом засахарили — просто объедение!

Все в семье были счастливы до небес. Родной дом это родной дом, и сколько бы мучений ни выпало на их долю прежде, они любили его со всей страстью любящих сердец. Собирались гости, устраивались праздники, люди приходили поглазеть на Уильяма, поглазеть, как его изменил Лондон. И все находили, что «такой он стал джентльмен, право слово, уж такой распрекрасный малый».

Когда он опять уехал, младшие дети разбрелись по углам, чтоб поплакать наедине. Морел с горя завалился спать, а миссис Морел казалось, будто ее опоили каким-то снадобьем, так она вся оцепенела, и душа стала будто неживая. Она любила сына страстно.

Уильям служил в адвокатской конторе, связанной с крупной судовладельческой фирмой, и в середине лета хозяин предложил ему за со-

всем небольшие деньги отправиться в плавание по Средиземному морю на одном из его судов. Миссис Морел писала ему: «Поезжай, поезжай, мой мальчик. Тебе, может, больше никогда не представится такой случай, и мне славно было бы думать, что ты плаваешь по Средиземному морю, даже приятней, чем если б ты пожил дома». Но в свой двухнедельный отпуск Уильям приехал домой. Даже само Средиземное море, к которому так влекла его юношеская жажда путешествовать, восторженная мечта бедняка о пленительном юге, не пересилили желанья поехать домой. И это вознаградило мать за многое.

5. Пол бросается в жизнь

Морел был человек беспечный, пренебрегал опасностью. И с ним постоянно случались всякие несчастья. Вот почему, услыхав дребезжанье пустой угольной тачки, смолкшее перед ее дверью, миссис Морел кидалась в гостиную, уже представляя, что сейчас увидит в окно мужа — он сидит в тачке, лицо серое, да еще под слоем угольной пыли, и то ли его ушибло, то ли ранило. Если это и вправду он, она выбежит помочь.

Примерно через год после того, как Уильям уехал в Лондон, и сразу после того, как Пол окончил школу и поступил на службу, миссис Морел как-то находилась наверху, а сын в кухне писал красками — кисть в его руках творила чудеса, — и тут в дверь постучали.

Он сердито отложил кисть, готовый пойти отворять. В ту же минуту мать раскрыла наверху окно и выглянула.

На пороге стоял молодой углекоп, весь в грязи.

— Здесь живет Уолтер Морел? — спросил он.

— Да, — ответила миссис Морел. — Что такое?

Но она уже догадалась.

— Ваш хозяин повредился, — ответил пар-

нишка.

— Ну вот! — воскликнула миссис Морел. — Как же ему не повредиться. Что стряслось на этот раз, парень?

— Наверняка не скажу, а только с ногой чего-то. В больницу его повезли.

— Да как же это! — воскликнула она. — Ну что за человек! Нет с ним ни минуты покоя. Вот провалиться мне, никакого покоя. Только стал палец большой на руке подживать — и вот опять… Видел ты его?

— В шахте видал. И когда подняли, в вагонетке видал, он без памяти был. А стал доктор Фрейзер в закутке для ламп его щупать, он как заорет… и ругался, и клял всех, и говорит, домой везите… не желает, мол, в больницу.

Парень запнулся и замолчал.

— Ясно, домой захотел, чтоб все заботы на меня. Спасибо тебе, малец. Ох, и тошно же мне… тошно мне, сыта по горло!

Миссис Морел спустилась по лестнице. Пол машинально опять взялся за кисть.

— Наверно, плохо дело, раз в больницу повезли, — продолжала она. — Но до чего неосторожный! С другими ничего такого не случается. Да, конечно, он бы рад свалить всю тяжесть на меня.

Это ж надо, только нам наконец чуть полегчало. Отложи все, Пол, не до рисованья сейчас. Поезд в котором часу? Придется мне тащиться в Кестон. Придется бросить уборку посредине.

— Я закончу, — сказал Пол.

— Не надо. Я, наверно, поспею вернуться семичасовым. Ну и ну, так и слышу, как он станет кричать и вопить! Да еще дорога в Тиндер-хилл… вся как есть разбитая… пока довезут, всю душу из него вытрясут. И почему ее никак не починят, эту дорогу никудышную, а ведь по ней людей в санитарной карете возят. Больнице надо бы тут быть. Землю всю скупили, а несчастных случаев сколько хочешь, господа хорошие, койки пустовать не будут. Так нет же, пускай тащится раненый в санитарной карете за десять миль, в Ноттингем. Стыд и срам! Ох, и как же Уолтер станет кричать и вопить! Я уж знаю. Кто-то его повез. Баркер, наверно. Бедняга, вон куда его понесло, уж, наверно, не рад, что влип. Но об Уолтере-то он позаботится. Да почем знать, сколько Уолтеру теперь лежать в больнице… а ему это хуже смерти! Но если только нога, это еще ничего.

Говоря так, она собиралась в дорогу. Поспешно сняла корсаж, склонилась перед баком для кипячения, подставила бидон, и в него медленно

потекла вода.

— Пропади он пропадом этот бак! — воскликнула она, нетерпеливо дергая кран. У нее были очень красивые, сильные руки, неожиданные для такой маленькой женщины.

Пол убрал кисти и краски, поставил кипятить чайник и начал накрывать на стол.

— Поезда раньше чем в двадцать минут пятого нету, — сказал он. — Времени у тебя хватает.

— Что ты! — воскликнула она, щурясь поверх полотенца, которым вытирала лицо.

— Да, хватает. Чашку чая уж непременно выпей. Проводить тебя до Кестона?

— Проводить? Это еще зачем, спрашивается. А вот что мне надо ему повезти? Фу-ты! Чистую рубашку… хорошо еще, что есть чистая. Надо было мне ее получше просушить. Носки… нет, носки ему не понадобятся… и, наверно, полотенце, и носовые платки. Ну, что еще?

— Гребенка, нож и вилка, и ложка, — сказал Пол. Отец однажды уже лежал в больнице.

— И ноги у него, наверно, грязные-прегрязные, — продолжала миссис Морел, расчесывая свои длинные, тонкие как шелк темно-каштановые волосы, уже тронутые сединой. — До пояса-то он усердно моется, а ниже, думает, невелика

важность, все равно. Но там, наверно, такое не в диковинку.

Пол тем временем накрыл на стол. Отрезал два-три тоненьких ломтика хлеба, намазал маслом.

— Вот, пожалуйста, — сказал он и поставил чашку чая на обычное место матери.

— Некогда мне! — сердито воскликнула она.

— Тебе непременно надо поесть, все готово, так что садись, — настаивал сын.

Она все-таки села, молча выпила чаю и перекусила. Ей было о чем подумать.

Через несколько минут она вышла, до Кестонской станции предстояло пройти две с половиной мили. Руки ей оттягивала плетеная сумка, раздувшаяся от вещей, которые она несла мужу. Пол смотрел, как она уходит между живыми изгородями — маленькая, быстрая, и у него щемило сердце, ведь опять она шла навстречу боли и беде. А она торопилась, ее снедала тревога, и она чувствовала, что сын душой с нею, чувствовала, он принимает на себя долю тяжкого бремени, даже поддерживает ее. И уже в больнице она подумала: «До чего же он расстроится, мой мальчик, когда я расскажу ему, как худо с отцом. Надо будет говорить поосторожней». И когда она устало побрела домой, она чувствовала, сын все ближе

и готов разделить с ней ее тяжкое бремя.

— Плохо, да? — спросил Пол, едва она переступила порог.

— Хорошего мало, — ответила она.

— Что же?

Она со вздохом села, стала распускать ленты шляпы. Сын не отводил глаз от ее поднятого лица, от маленьких изработавшихся рук, развязывающих бант под подбородком.

— Ну, не так уж это опасно, — ответила она, — но сестра милосердия говорит, перелом тяжелейший. Понимаешь, огромный камень свалился ему на ногу… вот сюда… кость раздробило. Торчали осколки…

— Ух… жуть какая! — воскликнули дети.

— И он, конечно, говорит, что умрет… — продолжала мать. — Разве он может по-другому говорить. Смотрит на меня и говорит: «Конец мне, лапушка!» Я ему — не говори глупости, какой ни плохой перелом, от сломанной ноги не помирают. А он причитает. Не выйти мне отсюдова, в деревянном ящике меня вынесут. Что ж, говорю, если хочешь, чтоб тебя вынесли в сад в деревянном ящике, когда тебе станет получше, уж, наверно, тебя вынесут. А сестра милосердия сказала: «Только если решим, что это ему на поль-

зу». Такая она славная, эта сестра, хоть и строгая.

Миссис Морел сняла шляпку. Дети молча ждали.

— Конечно, отцу сейчас плохо, — продолжала она. — И еще будет плохо. Сильно ему досталось, и крови потерял много, и перелом, конечно, страшный. Навряд ли все так уж легко срастется. Да еще жар, да если гангрена… если дело обернется худо, его быстро не станет. Но ведь кровь у него чистая, и заживает все в два счета, даже удивительно, так с чего бы на этот раз обернуться к худу. Конечно, там рана…

Миссис Морел побледнела от волнения и тревоги. Все трое детей поняли, как велика опасность для отца, и тревожная тишина повисла в доме.

— Но он всегда поправляется, — немного погодя сказал Пол.

— Это я ему и толкую, — сказала мать.

Дети теперь молча бродили по комнате.

— Вид у него и вправду был такой, будто ему конец, — сказала она. — Но сестра милосердия говорит, это из-за боли.

Энни унесла пальто и шляпку матери.

— А когда я уходила, он посмотрел на меня. Я ему сказала, надо мне идти, Уолтер… поезд ведь… и дети. И он посмотрел на меня. Вроде

даже строго.

Пол опять взялся за кисть и принялся писать. Артур вышел во двор за углем. Энни сидела угнетенная. А миссис Морел застыла в маленьком кресле-качалке, которое смастерил для нее муж, когда она ждала первого ребенка, и невесело задумалась. Горько ей было и отчаянно жалко его, ведь он так пострадал. И однако, в сокровенном уголке души, где должна бы гореть любовь, зияла пустота. Сейчас, когда она безмерно жалела его, когда готова была из последних сил, не щадя себя, выхаживать его и спасать, когда рада была бы, если б могла, взять на себя его боль, где-то внутри, в самой глубине, таилось равнодушие к нему, к его страданиям. И эта неспособность любить его даже тогда, когда он всколыхнул самые сильные ее чувства, была ей всего горше. Так сидела она в невеселом раздумье. Потом вдруг сказала:

— А знаете, прошла я полпути до Кестона и смотрю, а на мне мои рабочие башмаки… вы только поглядите! — То были старые коричневые башмаки Пола, протершиеся на пальцах. — Я просто не знала, куда деваться со стыда, — прибавила она.

Утром, когда Энни и Артур были в школе, а Пол помогал ей управиться с домашними делами,

миссис Морел опять с ним заговорила:

— В больнице я застала Баркера. На нем, бедняжке, и вправду лица не было! «Намучились вы с ним, наверно, пока везли?» — спрашиваю. «Уж и не спрашивайте, хозяйка!» — отвечает. «Да уж, — говорю, — понимаю я, каково это было». «А ему-то как лихо было, миссис Морел, ох, и лихо!» — говорит. «Понимаю», — говорю. «Всякий раз как тряхнет, я думал, у меня сердце выскочит, — говорит Баркер. — А уж как он кричал! Озолотите меня, хозяйка, другой раз на такую муку не пойду». «Как не понять», — говорю. «Хуже нет, — говорит он, — и не скоро, может, а все одно этого не миновать». «Боюсь, что так», — говорю я. Нравится мне мистер Баркер… вправду нравится. Настоящий мужчина.

Пол опять молча взялся за кисть.

— Такому человеку, как твой отец, в больнице лежать, конечно, тяжко, — продолжала миссис Морел. — Тамошние правила и порядки — это не по нем. Будь на то его воля, никому не дал бы до себя дотронуться. Помню, была у него рана на бедре и надо было четыре раза в день перевязку делать, так разве он кого к себе подпускал? Только меня да свою мамашу, больше никого. Нипочем. Так что намучается он с больничными

сестрами милосердия. И очень мне не хотелось от него уходить. Поцеловала я его, пошла прочь, и нехорошо это было, стыдно.

Так разговаривала она с сыном, словно поверяла ему свои мысли, и он как мог понимал ее, делил тревогу и облегчал ее бремя. И под конец, сама того не замечая, мать делилась с ним чуть ли не всем подряд.

Тяжкая пора настала для Морела. Первую неделю положение было критическое. Потом пошло на поправку. И поняв, что он поправится, вся семья вздохнула с облегчением и опять зажила в счастливом согласии.

Пока Морел лежал в больнице, они ни в чем не нуждались. Четырнадцать шиллингов в неделю платила шахта, десять шиллингов общество взаимопомощи и пять Фонд помощи нетрудоспособным; и каждую неделю товарищи Морела тоже собирали для миссис Морел пять — семь шиллингов, так что она была вполне обеспечена. И пока в больнице здоровье Морела постепенно крепло, семья жила на диво счастливо и мирно. По средам и субботам миссис Морел ездила в Ноттингем — навещала мужа. И всегда что-нибудь привозила домой: тюбик краски или бумагу для рисования Полу, несколько открыток Энни, и ей

не сразу позволяли их отправить — несколько дней семья не могла на них налюбоваться; или лобзик, а то красивую дощечку Артуру. Мать с радостью рассказывала про свои походы в большие магазины. Скоро ее уже знали в магазине принадлежностей для художников, знали и про Пола. В книжной лавке молоденькая продавщица живо заинтересовалась покупательницей. Возвращаясь из Ноттингема, миссис Морел привозила множество новостей. Все трое детей сидели вокруг нее до самого сна, слушали, вставляли словечко, спорили. А Пол часто ворошил угли — поддерживал огонь в камине.

— Я теперь мужчина в доме, — с радостью говорил он матери.

Вот когда они узнали, какой мир может царить в доме. И чуть ли не жалели, что отец скоро вернется — хотя никто из них, конечно, не признался бы в таком бессердечии.

Полу уже исполнилось четырнадцать, и он подыскивал работу. Был он невысок, тонок в кости, темно-каштановые волосы, голубые глаза. Лицо его уже утратило ребяческую пухлость и начинало походить на лицо Уильяма — с резкими, почти грубыми чертами и на редкость живое. Обычно казалось, он все подмечает, полон жизни

и душевного тепла; улыбка у него была неожиданная, совсем как у матери, очень милая; а когда на пути полета его души возникала какая-нибудь помеха, лицо вдруг становилось тупым и уродливым. Был он из тех мальчишек, которые угловаты и нескладны, если чувствуют себя непонятыми или недооцененными; но, едва ощутив сердечное тепло, становятся прелестны.

Первое знакомство с чем-либо новым бывало для него мученьем. Когда семи лет он пошел в школу, это был ужас, сущая пытка. Но потом он ее полюбил. И теперь, зная, что ему предстоит вступить в жизнь, он мучительно одолевал свою робость и застенчивость. Для своих лет он был вполне искусный художник, немного знал французский и немецкий и математику, которой его обучил мистер Хитон. Но все его знания и умения не имели коммерческой ценности. Мать говорила, что для тяжелого физического труда он недостаточно крепок. Он и не любил работать руками, предпочитал бегать, бродить по окрестностям, или читать, или писать красками.

— Кем ты хочешь быть? — спрашивала мать.

— Кем угодно.

— Это не ответ, — говорила миссис Морел.

Но он отвечал правду, другого ответа у него

не было. При том, как был устроен наш мир, он только и хотел спокойно зарабатывать тридцать — тридцать пять шиллингов в неделю где-нибудь неподалеку от своих, а потом, когда умрет отец, жить с матерью в небольшом домике, писать красками, вволю гулять по полям и перелескам и так вот счастливо жить до конца дней. Такова была его программа касательно службы. Но сравнивая себя с окружающими, он судил их строго и ценил невысоко, а собою в душе гордился. И думал, что, может быть, может быть, еще и художником станет — самым настоящим. Но до этого пока далеко.

— Тогда читай объявления в газете, — сказала мать.

Пол посмотрел на нее. Какое же горькое унижение, какая мука ему предстоит. Но сказать он ничего не сказал. И наутро все его существо было сковано мыслью:

— Надо идти читать объявления о найме.

Все утро она стояла перед ним стеной, эта мысль, убивала радость и самую жизнь. Сердце зажато было в тиски.

Наконец, в десять часов он отправился. Его считали чудным, чересчур стеснительным парнишкой. И вот он идет по солнечным улицам

небольшого поселка, и ему мерещится, будто все встречные говорят про себя: «Он идет в кооперативную читальню, будет по объявлениям искать себе место. Не может найти работу. Наверно, сидит на шее у матери». Он робко поднялся по каменным ступеням за мануфактурной лавкой и заглянул в читальню. Обычно там сидели человека два-три — отработавшие свое старики или шахтер «на поправке». И вот Пол вошел, весь съежился от болезненной застенчивости, когда они подняли на него глаза, сел за стол и сделал вид, будто просматривает новости. Он знал, они непременно подумают: «И чего это тринадцатилетнего парнишку принесло в читальню листать газету?» — и это было мучительно.

Потом он задумчиво уставился в окно. Вот он уже и узник индустриализма. Большие подсолнечники засматривали поверх красной ограды сада напротив, как всегда весело разглядывали женщин, что торопились с покупками готовить обед. В долине сверкала под солнцем пшеница. Над двумя каменноугольными копями среди полей покачивались белые султаны пара. Вдалеке на холмах виднелся Аннеслийский лес, темный, манящий. Сердце мальчика упало. Вот он уже и в кабале. Его свободе в любимой отчей долине

приходит конец.

Повозка пивовара катит из Кестона, и в ней огромные бочки, по четыре в ряд, будто в лопнувшем стручке гороха. Возчик важно восседает на высоченном сиденье, тяжело раскачивается чуть ли не вровень с глазами Пола. Волосы на маленькой круглой голове его выгорели под солнцем почти добела, и на толстых красных руках, праздно покачивающихся на фартуке из мешковины, тоже поблескивают белые волосы. Красное лицо лоснится, и, кажется, солнце его усыпило. Красивые гнедые кони идут сами по себе, похоже, это они тут всему голова.

Пол пожалел, что не родился дураком. «Был бы я такой же толстый, как он, — подумалось ему. — Грелся бы как пес на солнышке. Был бы этаким боровом-возчиком, развозил бы пиво».

Тут наконец комната опустела. Пол торопливо переписал на клочок бумаги объявление, потом еще одно и с огромным облегченьем выскользнул на улицу. Мать пробежала глазами его записи.

— Да, можешь попытаться, — сказала она.

Уильям составил заявление по всем правилам деловой переписки. Пол переписал его, кое-что изменив. Почерк у него был ужасный, и Уильям, который все делал хорошо, вышел из себя.

Старший брат становился настоящим щеголем. В Лондоне он убедился, что может завязать знакомство с людьми, занимающими куда более высокое положение, чем его бествудские приятели. Иные канцеляристы в фирме, где он служил, изучили право и теперь проходили своего рода ученичество. Уильям, при его веселом нраве, в любом кругу всегда заводил приятелей. И потому он скоро стал бывать и гостить в домах таких людей, которые, окажись они в Бествуде, смотрели бы сверху вниз на недосягаемого управляющего банка и без малейшего волнения нанесли бы визит приходскому священнику. Так что он теперь воображал себя важной персоной. И, по правде сказать, был даже удивлен, с какой легкостью заделался джентльменом.

Мать радовалась, что он, видно, всем доволен. А ведь его жилище в Уолтемстоу такое мрачное. Но в последнем письме старшего сына сквозило что-то лихорадочное. Все эти перемены выбили его из колеи, он потерял почву под ногами и, казалось, довольно легкомысленно кружится в стремительном потоке новой жизни. Мать тревожилась за него. Она чувствовала, он становится на себя непохож. Он танцует, бывает в театре, катается по реке на лодке — развлека-

ется с приятелями; но потом, она знала, сидит в своей холодной комнате и усердно занимается латынью, потому что хочет преуспеть на службе, как можно лучше изучить право. Он больше не посылал матери денег. Все то немногое, что он получал, уходило на его теперешнюю жизнь. Да она и не нуждалась в его деньгах, разве что когда оказывалась на мели и десять шиллингов могли бы избавить ее от многих волнений. Она по-прежнему мечтала о лучшем будущем для Уильяма и о том, как складывалась бы его жизнь, будь она, мать, подле него. Ни за что не призналась бы она себе, как болит сердце за старшего сына, как за него тревожно.

Теперь он много рассказывал об одной девушке, с которой познакомился на танцах, — такая красавица, темноволосая, совсем юная, к тому же из хорошей семьи, и у нее нет отбою от поклонников.

«Подозреваю, что ты не стал бы за ней ухаживать, мой мальчик, если б не увидел, как за ней увиваются другие. Когда ты в толпе, ты чувствуешь себя надежно и тешишь свое самолюбие. Но будь осторожен, подумай, что ты будешь чувствовать, когда окажешься около нее единственным победителем».

Уильяма возмущали слова матери, и он продолжал ухаживать за молодой особой. Он пригласил ее на реку. «Если б ты увидела ее, мама, ты бы поняла, что я чувствую. Высокая, элегантная, кожа чистая-чистая, прозрачная, смуглая, волосы черные, словно гагат, а глаза серые — яркие, насмешливые, будто огни на воде в ночную пору. Ты надо мной посмеиваешься, потому что сама ее не видела. И одевается она прекрасно, ни одной женщине в Лондоне не уступит. Говорю тебе, твой сын вовсю задирает нос, когда она выходит прогуляться с ним по Пиккадили».

В душе миссис Морел спрашивала себя, не гордится ли ее сын, прогуливаясь по Пиккадили, элегантной фигурой и нарядным платьем спутницы больше, чем самой спутницей. Но, хоть и сомневаясь, по обыкновению, она все же поздравила Уильяма. Однако, сгибаясь над корытом, мать с грустью размышляла о сыне. Ей представилось, вот он обременен элегантной и расточительной женой, он мало зарабатывает, и терзается, и вынужден поселиться на окраине в тесном, уродливом домишке. «Но это уж вовсе глупо, — перебила она ход своих мыслей, — что ж я тревожусь прежде времени». И однако, не переставала опасаться, как бы Уильям не совер-

шил ошибку.

Вскоре Пола пригласили зайти к Томасу Джордану, главе фирмы ортопедических приспособлений, что на Спаньел-Роу, 21, в Ноттингеме. Миссис Морел ликовала.

— Вот видишь! — воскликнула она, глаза ее сияли. — Ты написал всего четыре письма и на третье получил ответ. Ты везучий, мой мальчик, я всегда это говорила.

Со страхом смотрел Пол на деревянную ногу, обтянутую резиновым чулком, и на другие приспособления, что украшали почтовую бумагу мистера Джордана. Он знать не знал, что на свете существуют резиновые чулки. За этим чудился весь деловой мир с его упорядоченной системой ценностей, с его обезличенностью, пугающей мир. И как чудовищно, что дело может опираться на деревянные ноги.

И вот во вторник поутру мать и сын вместе отправились на Спаньел-Роу. Был август, адская жара. Пол шел, и что-то нестерпимо теснило ему грудь. Он предпочел бы мучиться острой физической болью, только бы не это чудовищное мученье — оказаться выставленным перед незнакомыми людьми и чтобы тебя приняли или отвергли. Однако по дороге он болтал с матерью.

Нипочем не признался бы он ей, как мучается от того, что ему предстоит, а сама она догадывалась об этом лишь отчасти. Была она весела, как возлюбленная. Подошла к билетной кассе в Бествуде, и Пол смотрел, как она вынимает из кошелька деньги на билеты. Смотрел, как ее руки в старых черных лайковых перчатках достают серебро из потертого кошелька, и сердце его сжималось от жгучей любви к ней.

Она была так взволнована и так весела! Мучительно, что она громко разговаривает при соседях по вагону.

— Ты только глянь на эту глупую корову! — сказала она. — Носится кругами, будто в цирке.

— Наверно, оводы жалят, — тихонько сказал Пол.

— Кто-кто? — весело, без тени смущенья спросила миссис Морел.

На время каждый отдался своим мыслям. Но сын ни на миг не переставал ощущать присутствие матери. Внезапно глаза их встретились, и она улыбнулась ему редкостной задушевной улыбкой, прекрасной, полной света и любви. А потом оба стали смотреть в окно.

Шестнадцать медленных миль по железной дороге остались позади. Мать и сын пошли

по вокзальной улице взволнованные, словно сбежавшие вдвоем любовники. На Каррингтон-стрит остановились и перегнулись через парапет посмотреть на барки, плывущие внизу по каналу.

— Прямо как Венеция, — Пол залюбовался солнечными бликами на воде между высоких фабричных стен.

— Пожалуй, — улыбаясь ответила она.

С восторгом они разглядывали витрины магазинов.

— Посмотри вон на ту блузку, — говорила миссис Морел. — Правда, очень подошла бы нашей Энни? И стоит фунт одиннадцать шиллингов три пенса. Разве не дешево?

— Да еще вышитая, — сказал он.

— Верно.

Времени у них было предостаточно, и они не спешили. Город был для них редкостным удовольствием. Но мальчика томил неотвязный страх. С ужасом думал он о предстоящей встрече с Томасом Джорданом.

Часы на церкви святого Петра показывали почти одиннадцать. Мать с сыном свернули в узкую улочку, ведущую к Замку. Была она мрачноватая, все здесь отдавало стариной — жалкие

темные лавчонки, темно-зеленые двери с медными молотками, изжелта-коричневые крылечки, выступающие на тротуар; и опять старая лавчонка не с витриной, — с маленьким окошком, будто это хитро прищуренный глаз. Мать и сын шли осторожно, искали вывеску «Томас Джордан и сын». Будто охотники в каких-то дебрях. Обоими владело лихорадочное волнение.

Но вот они заметили большую темную подворотню, увешанную вывесками множества фирм, среди них и фирма Томаса Джордана.

— Вот она! — воскликнула миссис Морел. — Но где же она тут?

Они огляделись. С одной стороны темнела до странности угрюмая картонажная фабрика, с другой — гостиница «Приют коммерсанта».

— Она в глубине подворотни, — сказал Пол.

И они отважились нырнуть в подворотню — точно в пасть дракона. За ней открылся большой двор, будто колодец, со всех сторон окруженный высокими зданиями. Повсюду валялись ящики, солома, картон. Луч солнца достиг лишь одной упаковочной корзины, из нее на землю падал золотой поток соломы. Но во всем остальном дворе было темно как в шахте. Сюда выходило несколько дверей и два лестничных марша.

Прямо напротив, на лестничной площадке, на грязном стекле двери маячили зловещие слова «Томас Джордан и сын — ортопедические приспособления». Миссис Морел пошла вперед, сын последовал за ней. Сам Карл I всходил на эшафот не с такой тяжестью на сердце, как Пол Морел, когда он следом за матерью подымался по грязным ступеням к грязной двери.

Она толкнула дверь и остановилась приятно удивленная. Перед ней был большой склад, повсюду бледно-желтые бумажные пакеты, меж ними по-домашнему без пиджаков, засучив рукава ходили служащие. Свет мягкий, глянцевитые желтоватые пакеты словно и сами светятся, прилавки темно-коричневого дерева. Все здесь спокойно и очень уютно. Миссис Морел шагнула раз, другой и остановилась. Пол стал позади матери. На ней была парадная шляпка с черной вуалью, на Поле — просторная куртка с поясом и мальчиковый белый широкий воротник.

Один из служащих поднял на вошедших глаза. Был он тощий, высокий, личико в кулачок. Он посмотрел настороженно. Потом бросил взгляд в другой конец помещения, где за стеклянной перегородкой была небольшая контора. И лишь после этого подошел к ним. Ничего не сказал,

но мягко, вопросительно склонился в сторону миссис Морел.

— Можно видеть мистера Джордана? — спросила она.

— Я схожу за ним, — ответил молодой человек.

Он прошел к конторе. Оттуда выглянул краснолицый старик с белыми бакенбардами. Полу показалось, он похож на шпица. Потом этот же самый человечек вышел из-за перегородки. Был он коротконогий, довольно плотный, в тужурке из альпаки. Вопросительно пригнув голову набок, так что одно ухо оказалось выше другого, он решительно направился к ним.

— Доброе утро! — сказал он, остановясь перед миссис Морел, видимо гадая, клиентка ли она.

— Доброе утро. Я к вам со своим сыном, Полом Морелом. Вы просили его зайти сегодня утром.

— Пройдите сюда, — сказал мистер Джордан отрывисто, видно, хотел выглядеть сугубо деловым человеком.

Они прошли за ним в неряшливую комнатушку с мебелью, обитой черным дерматином и лоснящейся от соприкосновения со множеством клиентов. На столе высилась стопка грыжевых бандажей из переплетенных плоских колец желтой замши. Явно совсем новые и совершенно

одинаковые. Пол услышал свежий запах замши. Что это за штука, с недоумением подумал он. К этому времени он был совсем оглушен и замечал лишь то, что бросалось в глаза.

— Садитесь! — не слишком любезно предложил мистер Джордан, указав миссис Морел на стул с волосяным сиденьем.

Она села на краешек, точно бедная родственница. Тогда старик суетливо пошарил на столе и достал листок.

— Это вы писали? — отрывисто спросил он, протянув листок, и Пол узнал свое письмо.

— Да, — вымолвил он.

В эту минуту две мысли его занимали: во-первых, он чувствовал себя виноватым, потому что солгал, ведь сочинил письмо Уильям, и во-вторых, не понимал, почему в толстой, красной руке этого человека письмо кажется совсем не таким, какое лежало на столе в кухне. Будто частица его самого, сбившаяся с пути. Не нравилось Полу, как старик держит его письмо.

— Где писать учились? — сердито спросил старик.

Пол только пристыженно глянул на него и не ответил.

— Почерк у него, правда, неважный, — винова-

то сказала миссис Морел. Потом откинула вуаль. Мать возмутила Пола — недостает ей гордости в разговоре с этим вульгарным старикашкой, но как мило ее лицо, не затененное вуалью.

— Так вы говорите, французский знаете? — все так же резко спросил старикашка.

— Да, — ответил Пол.

— В какую школу ходили?

— В обычную.

— И там вас учили языку?

— Нет… я… — Мальчик залился краской и не договорил.

— Ему крестный давал уроки, — сказала миссис Морел почти умоляюще и вместе довольно холодно.

Мистер Джордан колебался. Потом в привычной манере, чуть ли не со злостью — казалось, рукам его не терпится что-то делать — выдернул из кармана еще листок, развернул. Листок скрипнул. Старик протянул его Полу.

— Прочитайте-ка, — сказал он.

То была записка на французском языке, написанная мелким, тонким иностранным почерком, и Пол не мог его разобрать. Он тупо уставился на бумагу.

— «Мосье», — начал он и в ужасном смятении

поднял глаза на Джордана. — Это… это…

Он хотел сказать «почерк», но соображение совсем ему отказало, у него даже и слово это вылетело из головы. Чувствуя себя совершеннейшим дураком и ненавидя мистера Джордана, он в отчаянии снова обратился к листку:

— Сэр… пожалуйста вышлите мне э… э… не могу разобрать… две пары… gris fil bas… серых нитяных чулок… э… э… sans… без… э… не могу разобрать слов… э… doigts пальцев… э… не могу разобрать…

Он хотел сказать «почерк», но все не мог вспомнить слово. Увидев, что он застрял, мистер Джордан выхватил у него листок.

— «Пожалуйста, вышлите мне с обратной почтой две пары серых нитяных чулок без носка».

— А «doigts», — вспыхнул Пол, — значит «пальцы на руке»… тоже… и как правило…

Старикашка взглянул на мальчика. Он не знал, означает ли «doigts» «пальцы на руке», он знал, что в его деле оно означает «носок чулка».

— «Пальцы на руке» в чулках! — отрывисто бросил он.

— А все равно это значит и «пальцы на руке», — упрямо повторил Пол.

Как ненавистен был этот старикашка, выста-

вивший его таким болваном. Мистер Джордан посмотрел на побледневшего, бестолкового, дерзкого мальчишку, потом на мать, которая сидела молча, с тем особенным отрешенным видом, что свойствен беднякам, когда они зависят от чьей-то милости.

— Так когда он сможет приступить? — спросил мистер Джордан.

— Да когда вам угодно, — ответила миссис Морел. — Школу он уже кончил.

— Жить будет в Бествуде?

— Да, но он может быть на… станции… без четверти восемь.

— Гм!

Кончилось тем, что Пола наняли младшим «спиральщиком» с жалованьем восемь шиллингов в неделю. После того, как мальчик отстаивал свою правоту, что «doigts» означает «пальцы на руке», он не произнес больше ни слова. Вслед за матерью он сошел по ступеням. Она посмотрела на него блестящими глазами, полными любви и радости.

— Думаю, тебе здесь понравится, — сказала она.

— «Doigts» это точно «пальцы руки», мама, и вся беда в почерке. Я не мог разобрать почерк.

— Не волнуйся, мой мальчик. Я уверена, мистер Джордан не так плох, да тебе и не часто придется иметь с ним дело. А ведь какой славный тот первый молодой человек, правда? Я уверена, они тебе понравятся.

— Мам, но ведь мистер Джордан просто мужлан? Неужели он тут всему хозяин?

— Вероятно, он был рабочим и преуспел, — сказала миссис Морел. — Не надо так сердиться на людей. Они не тобой недовольны, просто у них такие манеры. Тебе всегда кажется, они против тебя. Но это не так.

День выдался на редкость солнечный. Голубое небо сияло над просторной, пустынной базарной площадью, блестел красноватый булыжник мостовой. Лавки в торговых рядах надежно прятались от солнца, и глубокая тень была полна красок. Как раз там, где линия конки пересекала базарную площадь, располагался фруктовый ряд, на прилавках сверкали под солнцем фрукты — яблоки и груды рыжих апельсинов, маленькие сливы ренклод, бананы. Мать с сыном шли мимо и вдыхали теплый аромат фруктов. Постепенно ощущение позора и владевшая Полом ярость утихли.

— Где бы нам пообедать? — спросила мать.

Обоим это казалось безрассудным транжирством. За всю свою жизнь Пол лишь раза два был в закусочной и то лишь выпивал чашку чаю со сдобной булочкой. Большинство жителей Бествуда считали, что могут позволить себе в Ноттингеме только чай, хлеб с маслом, ну и разве еще консервированную говядину. Обед считался непозволительным транжирством. Пол почувствовал себя почти преступником.

Они нашли местечко, которое казалось совсем недорогим. Но когда миссис Морел пробежала глазами меню, ей стало не по себе — уж очень все дорого. Она заказала пирожки с почками и картофель — самое дешевое из тамошних блюд.

— Зря мы сюда зашли, мам, — сказал Пол.

— Ничего, — сказала она. — В другой раз не придем.

Она настаивала, чтоб он взял пирожок со смородиной, ведь он любит сладости.

— Не хочется мне, мам, — отказывался он.

— Нет-нет, — настаивала она, — непременно возьми.

Она огляделась в поисках официантки. Но та была занята, и миссис Морел не решилась ее побеспокоить. Так что, к удовольствию официантки, мать и сын сидели и ждали, когда та

соблаговолит их заметить, а она любезничала с мужчинами.

— Бесстыжая девчонка! — сказала миссис Морел Полу. — Смотри-ка, несет пудинг вон тому мужчине, а ведь он пришел куда поздней нас.

— Ну и ладно, мам, — сказал Пол.

Миссис Морел сердилась. Но слишком она была бедна, слишком жалок был ее заказ, и не осмеливалась она в ту минуту настаивать на своем праве. И они сидели и ждали, ждали.

— Мам, может, пойдем? — сказал Пол.

Тогда мать поднялась. Официантка как раз проходила мимо.

— Принесите, пожалуйста, один пирожок со смородиной, — отчетливо произнесла миссис Морел.

— Сейчас, — дерзко крикнула та через плечо.

— Мы ждали уже достаточно долго, — сказала миссис Морел.

Девушка мигом принесла пирожок. Миссис Морел холодно спросила счет. Пол готов был провалиться сквозь землю. Твердость матери его восхищала. Он знал, только годы сражений научили ее хотя бы в такой малости настаивать на своих правах. Как и ему, ей это давалось совсем непросто.

— Ноги моей здесь больше не будет! — заявила миссис Морел, когда они вышли, довольные, что все уже позади. — Теперь пойдем заглянем в аптеку и еще в два-три магазина, хорошо?

Они поговорили о рисунках Пола, и миссис Морел хотела купить ему тонкую кисточку из собольего волоса, о которой он мечтал. Но Пол отказался от такой роскоши. Скучно ему было стоять перед галантерейными и мануфактурными лавками, но он радовался за мать — ей ведь интересно. Потом они шли дальше.

— Ты только взгляни на этот черный виноград! — сказала она. — Прямо слюнки текут. Давным-давно хочу отведать, но придется еще малость подождать.

Потом она пришла в восторг у цветочного магазина — стояла у дверей и вдыхала аромат.

— А-ах! Ну просто прелесть!

В темной глубине лавки Пол заметил нарядную девушку, которая с любопытством смотрела на них из-за прилавка.

— На тебя смотрят, — сказал он матери, пытаясь ее увести.

— Но чем это пахнет? — воскликнула она, упираясь.

— Левкоями! — ответил он, поспешно приню-

хавшись. — Смотри, здесь целая кадка.

— О, вот они… красные и белые. А только я никогда не знала, что левкои так пахнут! — И к величайшему облегченью сына, она отошла от дверей, но тотчас остановилась у витрины.

— Пол! — окликнула она, а он стоял в сторонке, пытаясь укрыться от взгляда нарядной девушки в черном — здешней продавщицы. — Пол! Ты только посмотри!

Он нехотя вернулся к ней.

— Нет, ты посмотри на эту фуксию! — и миссис Морел показала на цветок.

— Ого! — изумленно воскликнул он. — Цветки какие большие, тяжелые, похоже, вот-вот отпадут.

— И как их много! — воскликнула мать.

— А как они клонятся книзу всеми своими волосками и висюльками!

— Да! — воскликнула она. — Прелесть!

— Интересно, кто их купит, — сказал Пол.

— Интересно, — ответила она. — Только не мы.

— В нашей гостиной они бы погибли.

— Да, жутко холодная, темная дыра. Какой цветок ни поставь, погибнет. А в кухне задохнется.

Они купили кое-что нужное и отправились на станцию. Впереди, за темным проходом меж

домами, виднелся замок на бурой, поросшей кустарником горе, сущее чудо, омытое солнечным светом.

— А правда хорошо бы мне в обед выходить на улицу? — сказал Пол. — Гуляй себе где хочешь да смотри по сторонам. Вот будет славно.

— Да, правда, — подтвердила мать.

Он провел замечательных полдня с матерью. В мягкий вечерний час приехали они домой счастливые, сияющие и усталые.

С утра Пол заполнил бланк, чтобы получить сезонный билет, и отнес на станцию. Когда он вернулся домой, мать только еще начинала мыть полы. Он сел на диван, подобрал ноги.

— Билет выдадут в субботу, — сказал Пол.

— И сколько он будет стоить?

— Примерно фунт одиннадцать шиллингов.

Мать продолжала молча мыть пол.

— Это дорого? — спросил Пол.

— Не дороже, чем я думала, — ответила она.

— А получать я буду восемь шиллингов в неделю, — сказал он.

Мать промолчала, продолжала мыть пол. Наконец она сказала:

— Наш Уильям, когда уехал в Лондон, обещал, что будет давать мне фунт в месяц. Он давал мне

по десять шиллингов… два раза. А сейчас, спроси я, у него наверняка нет ни гроша. Я и не хочу у него брать. Только вот сейчас мог бы разок помочь с билетом, да я на это и не надеюсь.

— Он кучу денег зарабатывает, — сказал Пол.

— Жалованье-то у него сто тридцать фунтов. Но взрослые сыновья все одним миром мазаны. Наобещают с три короба, а получишь от них всего ничего.

— Он на себя тратит больше пятидесяти шиллингов в неделю, — сказал Пол.

— А я веду хозяйство меньше, чем на тридцать, — сказала мать. — И должна еще находить деньги на неожиданные расходы. Но раз уж кто уехал, он и не думает тебе помочь. Уильям предпочитает тратиться на свою разряженную красотку.

— Если она такая модница, у нее должны быть деньги, — сказал Пол.

— Должны быть, да нету. Я его спрашивала. И уж я-то знаю, не за так покупает он ей золотые браслеты. Мне-то золотой браслет никто не купит.

Уильям имел успех у своей «цыганки», как он ее называл. Звали ее Луиза Лили Дэнис Уэстерн, он выпросил у нее фотографию и послал мате-

ри. Фотография была получена — черноволосая красавица, снятая в профиль, с самодовольной полуулыбкой, можно было подумать, она фотографировалась нагая — видны обнаженные плечи и ни намека на одежду.

«Да, фотография Луизы производит поразительно сильное впечатление, — написала сыну миссис Морел, — Луиза, видно, очень красивая. Но, мальчик мой, разве можно сказать, что у девушки хороший вкус, если она дает такую фотографию молодому человеку, чтобы он послал матери, да еще для первого знакомства? Спору нет, плечи, как ты и говорил, великолепные. Но с первого же раза я как-то не ждала их увидеть».

Морел обнаружил фотографию на шифоньере в гостиной. Взял ее двумя пальцами, вышел в кухню.

— Это еще кто такая? — спросил он жену.

— Девушка, за которой ухаживает Уильям, — отвечала миссис Морел.

— Гм! Видать, не простая штучка, от такой добра не жди. Кто она есть?

— Ее зовут Луиза Лили Дэнис Уэстерн.

— Вот это имечко! — воскликнул углекоп. — Из актерок, что ли?

— Нет. Она вроде из благородных.

— Мать честная! — Уолтер все не отрывал глаз от фотографии. — Из благородных, говоришь? И сколько ж ей монет надобно, чтоб этак нос задирать?

— А нисколько. Она живет со старухой теткой, терпеть ее не может, и какую малость та ей дает, то и берет.

— Гм! — Морел отложил фотографию. — Тогда дурак он, чего с такой связался.

«Дорогая мама, — писал в ответ Уильям, — как жаль, что фотография тебе не понравилась. Мне и в голову не приходило, что она может показаться тебе нескромной. Но все равно я сказал моей Цыганке, что фотография не совсем отвечает твоим строгим и добропорядочным вкусам, так что она хочет послать тебе другую, которая, надеюсь, тебе понравится больше. Ее постоянно фотографируют; фотографы просят у нее разрешения сфотографировать ее бесплатно».

Вскоре пришла новая фотография, с глупенькой припиской от самой девицы. На сей раз она красовалась в черном шелковом вечернем платье, корсаж с квадратным вырезом, рукавчики с буфами, на великолепные плечи наброшены черные кружева.

— Интересно, она что ж, только в вечерних

платьях и ходит? — язвительно сказала миссис Морел. — Похоже, я просто обязана ею восхищаться.

— На тебя не угодишь, мама, — сказал Пол. — А по-моему, та первая фотография, с голыми плечами, очень славная.

— По-твоему, славная? — переспросила мать. — Ну, а по-моему, нет.

В понедельник мальчик встал в шесть утра, готовясь приступить к работе. В жилетном кармане у него лежал сезонный билет, с покупкой которого связано было для матери столько горечи. Билет, пересеченный желтыми полосами, нравился Полу. Мать положила ему завтрак в корзиночку, и без четверти семь он вышел из дому, чтобы поспеть на поезд 7:15. Миссис Морел проводила его до конца проулка.

Утро было великолепное. Зеленые плоды ясеня, тонкие однокрылые коробочки, которые ребятня прозвала «голубями», под легким ветерком весело кружились, слетая с ветвей, и устилали палисадники перед домами. Долину до краев заполняла слабо светящаяся дымка, в ней мерцала зрелая пшеница и быстро таял пар над минтонской шахтой. Изредка налетали порывы ветра. Пол смотрел поверх растущего вдалеке олдер-

слейского леса, туда, где раскинулись поля, и никогда еще не чувствовал такую крепкую связь с домом, как в эти минуты.

— До свиданья, мама, — сказал он с улыбкой, но нерадостно ему было.

— До свиданья, — весело и нежно ответила мать.

В белом фартуке стояла она на дороге и смотрела, как сын идет через поле. Маленький, складный, и видно — полон жизни. Мать смотрела, как он упрямо шагает через поле, и чувствовала, куда он решит дойти, он дойдет. И ей подумалось об Уильяме. Этот не станет отыскивать проход, предпочтет перепрыгнуть через ограду. Он далеко, в Лондоне, и прочно стал на ноги. А Пол будет служить в Ноттингеме. Вот уже два ее сына вступили в жизнь. Теперь можно думать о двух городах, двух крупных промышленных центрах, зная, что отправила в каждый по мужчине, и мужчины эти станут такими, какими ей и хотелось бы их видеть; это она дала им жизнь, они частица ее, и она будет причастна и к их работе. Все утро напролет думала она о Поле.

Ровно в восемь он поднялся на унылое крыльцо фирмы Джордана и беспомощно остановился перед первым стеллажом с пакетами, ожидая, чтоб

кто-нибудь им занялся. Но заведение это еще не проснулось. На прилавках лежали длиннющие листы, защищающие их от пыли. Пришли всего двое служащих, из угла, где они снимали пальто и засучивали рукава, слышались их голоса. Было десять минут девятого. Здесь никто особенно не боялся опоздать. Пол прислушивался к голосам тех двоих. Потом услышал чей-то кашель и в конторе в конце помещения увидел хилого старика в круглой шапочке черного бархата, расшитой красным и зеленым, он вскрывал письма. Пол все ждал и ждал. Один из младших служащих подошел к старику и громко, весело с ним поздоровался. Старый «старший», видно, был глуховат. Потом молодой человек с важным видом проследовал к своему прилавку. И заметил Пола.

— Привет! — сказал он. — Новенький, да?

— Да, — сказал Пол.

— Гм! А звать как?

— Пол Морел.

— Пол Морел? Ладно, иди-ка сюда.

Пол обошел за ним поставленные прямоугольником прилавки. Помещение оказалось трехэтажным. Посредине в полу было огромное отверстие, прилавки обступали его стеной, по этой широкой шахте вверх и вниз ходили подъ-

емники, по ней же в нижний этаж проникал свет. Прямо над нею было большое продолговатое отверстие в потолке, и там, над перегородкой верхнего этажа, видны были какие-то механизмы; а еще выше, над головой — стеклянная крыша, откуда и проникал свет на все три этажа, становясь чем ниже, тем тусклее, так что в подвале всегда был вечер, а в первом — сумерки. Сама фабрика находилась на верхнем этаже, склад готовой продукции на первом, склад материалов — в подвале. Все тут было старое-престарое и запущенное.

Пола повели в какой-то темный угол.

— Это «спиральный» угол, — сказал молодой служащий. — Ты будешь «спиральный», вместе с Пэплуотом. Он твое начальство, но он еще не пришел. Он раньше половины девятого не приходит. Так что, если хочешь, возьми письма вон там, у мистера Меллинга.

Молодой человек показал Полу на старика, сидящего в конторе.

— Хорошо, — сказал Пол.

— Вот крючок, вешай на него шапку. Вот твой гроссбух. Мистер Пэплуот скоро будет.

И широким деловым шагом сей тощий молодой человек зашагал прочь по гулкому деревянному

полу.

Через минуту-другую Пол остановился в дверях конторы за стеклянной перегородкой. Старик в бархатной шапочке посмотрел на него поверх очков.

— Доброе утро, — благожелательно и внушительно сказал он. — Тебе письма для спирального отдела, Томас?

Обращение «Томас» обидело Пола. Но он взял письма и вернулся в свой темный закуток, где прилавок поворачивал под углом, где кончался большой прилавок с посылками и куда выходили три двери. Он сел на высокий табурет и принялся читать письма, те, которые были написаны более или менее разборчивым почерком. Писали, например, так:

«Пришлите мне, пожалуйста, сразу по получении письма пару дамских шелковых рейтуз без стоп, носимых при спиральном переломе, таких же, как посылали мне в прошлом году; длина бедра до колена…» и т. п.

Или:

«Майор Чемберлен желает повторить свой предыдущий заказ на шелковый гибкий бандаж».

Многие письма, в том числе на норвежском и

французском языках, оставались для мальчика загадкой. Он сидел на табурете и в волнении ожидал своего начальника. Когда в половине девятого мимо него наверх гурьбой прошли молоденькие работницы, его одолело мучительное смущенье.

Мистер Пэплуот явился, жуя жевательную резинку, примерно без двадцати девять, когда все остальные уже были заняты делом. Тощий, болезненно-бледный, с красным носом, быстрый, порывистый, одет элегантно и строго. На вид лет тридцати шести. Был в нем какой-то вызов, чувствовалось — малый не промах, неглуп, проницателен, не лишен сердечного тепла, но едва ли заслуживает особого уважения.

— Ты мой новый помощник? — спросил он.

Пол встал и сказал, да, это он.

— Взял письма?

Мистер Пэплуот пожевал резинку.

— Да.

— Снял с них копии?

— Нет.

— Начинай, да поторапливайся. Переоделся для работы?

— Нет.

— Принесешь какую-нибудь старую куртку и

оставляй ее здесь.

Последние слова он произнес невнятно, зажав боковыми зубами жевательную резинку. Потом исчез во тьме, за огромным стеллажом с приготовленными для отправки пакетами, вынырнул без пиджака, подворачивая щегольские, в полоску, манжеты на тощих, волосатых руках. Потом быстро надел другой пиджак. Пол заметил, какой он тощий, и еще, что брюки у него сзади в складку. Пэплуот схватил табурет, пододвинул к табурету Пола и сел.

— Садись, — сказал он.

Пол занял свое место.

Мистер Пэплуот был совсем рядом. Он схватил письма, рванул со стеллажа перед ним длинный гроссбух, распахнул его, схватил ручку и сказал:

— Теперь смотри. Эти письма надо переписать вот сюда.

Он дважды потянул носом, наскоро пожевал резинку, пристально глянул на письмо, минуту сидел молча, сосредоточенно, а потом стремительно очень красивым, с завитушками почерком сделал запись в книге. И коротко глянул на Пола.

— Видал?

— Да.

— Думаешь, справишься?

— Да.

— Ну что ж, посмотрим.

Пэплуот соскочил с табурета. Пол взял ручку. Пэплуот исчез. Полу даже нравилось снимать копии писем, но писал он медленно, старательно и прескверным почерком. Он переписывал четвертое письмо, поглощенный своим делом и очень довольный, и тут вновь появился мистер Пэплуот.

— Ну, как? Переписал?

Распространяя запах жевательной резинки, он перегнулся через плечо Пола.

— Черт подери, парень, да ты ж замечательный переписчик! — насмешливо воскликнул он. — Ну, ничего, сколько ты переписал? Всего три! Я бы уж все их заглотал. Пиши, пиши и ставь на них номера. Вот так! Пиши, пиши!

Пол корпел над письмами, а Пэплуот тем временем занялся другими делами. Вдруг Пол вздрогнул — у самого уха что-то пронзительно свистнуло. Пэплуот подошел, вынул из какой-то трубки затычку и неожиданно сердито и властно произнес:

— Да?

Из трубки до Пола донесся слабый голосок, похоже, женский. Он удивленно раскрыл глаза

— переговорную трубку он видел впервые.

— Что ж, — недовольно сказал в трубку мистер Пэплуот, — тогда пока сделайте кое-что из того, что задолжали.

Опять послышался тоненький женский голосок, милый и сердитый.

— Некогда мне стоять тут и слушать вашу болтовню, — сказал Пэплуот и сунул в трубку затычку.

— Давай-давай, паренек, — почти жалобно сказал он Полу, — Полли требует заказы. Чуть поживей не можешь, а? Вот смотри!

К немалому огорчению Пола, он взял гроссбух и стал снимать копии сам. Работал он быстро и хорошо. Покончив с перепиской, схватил несколько длинных желтых листков, дюйма по три шириной, и написал заказы для работниц.

— Ты приглядись, как я делаю, — сказал он Полу, не переставая быстро писать. Пол стал приглядываться к загадочным рисункам ног, бедер, лодыжек, со штрихами и номерами, и к нескольким кратким указаниям, которые мистер Пэплуот записывал на желтых листках. Но вот тот кончил, вскочил.

— Пошли, — сказал он и с развевающимися в руках желтыми листками бросился к дверям и

вниз по лестнице, в подвал, освещенный газовыми рожками. Они пересекли холодный сырой склад, потом длинную унылую комнату с длинным столом на козлах и вошли в небольшое уютное помещение, не очень высокое, пристроенное к основному зданию. Маленькая женщина в блузе из красной саржи, с черными волосами, заколотыми на макушке, гордо восседала здесь, точно курица-бентамка.

— Вот, пожалуйста, — сказал Пэплуот.

— Еще бы не «пожалуйста»! — воскликнула Полли. — Девушки ждут уже чуть не полчаса. Надо же, сколько потеряно времени!

— Ваше дело поспеть с работой, а не языком болтать, — сказал мистер Пэплуот. — Могли бы пока заканчивать свое.

— Мы все закончили в субботу, и вы это прекрасно знаете! — вспылила Полли, темные глаза ее гневно сверкнули.

— Та-та-та-тататата! — передразнил он. — Вот вам новый парнишка. Смотрите не погубите его, как предыдущего.

— «Не погубите, как предыдущего!» — повторила Полли. — Да, ясно, это мы погубили. Вот при вас побыть — всякому парнишке верная погибель.

— Работать пора, нечего разговоры разговари-

вать, — строго и холодно сказал мистер Пэплуот.

— Работать еще вон когда пора было, — возразила Полли и, высоко подняв голову, зашагала прочь. Была она маленького роста, очень прямая, лет сорока.

На лавке у окна здесь стояли две круглые спиральные машины. За внутренней дверью оказалось еще одно длинное помещение и в нем шесть таких же машин. Несколько девушек стояли рядышком и разговаривали, все мило одетые, все в белых фартучках.

— Что за болтовня, больше вам делать нечего? — спросил мистер Пэплуот.

— Только вас ждать, — сказала одна хорошенькая девушка и засмеялась.

— Ну, давайте, давайте, — сказал он. — Пошли, паренек. Теперь будешь знать сюда дорогу.

И Пол побежал за своим начальником вверх по лестнице. Ему было ведено кое-что сверить и подсчитать. И вот он стоит за конторкой и старательно пишет своим отвратительным почерком. Вскоре из-за стеклянной перегородки важно прошествовал мистер Джордан и, к величайшему смущению мальчика, остановился у него за спиной. Вдруг толстый красный палец уперся в бланк, который заполнял Пол.

— Мистер Д.-Э.Бейтс, эсквайр! — рявкнул у него над ухом сердитый голос.

Пол посмотрел на выведенные его жутким почерком слова «Мистер Д.-Э.Бейтс, эсквайр» и не понял, что тут не так.

— Тебя разве не учили, как в этих случаях следует писать? Если пишешь «мистер», «эсквайр» писать уже не нужно… не может человек быть сразу и «мистером» и «эсквайром».

Мальчик пожалел, что был слишком щедр в своем обращении к адресату; подумал-подумал и дрожащей рукой зачеркнул слово «мистер». И тотчас мистер Джордан выхватил у него счет.

— Выпиши другой! Ты что, хочешь в таком виде послать его джентльмену? — И он с досадой изорвал голубой бланк.

От стыда у Пола покраснели уши, и он начал все сначала. Джордан все смотрел, как он пишет.

— Не пойму я, чему теперь учат в школе. Ты бы должен писать получше. Мальцы нынче только и умеют, что читать стишки да пиликать на скрипочке. Видали вы, как он пишет? — спросил он мистера Пэплуота.

— Да. Превосходно, правда? — равнодушно ответил он.

Мистер Джордан что-то снисходительно бурк-

нул себе под нос. И Пол догадался, что хозяин его из тех, кто лает, да не кусает. И вправду, маленький фабрикант, хоть речь его не отличалась изысканностью, был все же благородной натурой и не придирался к своим служащим по пустякам. Но он знал, что не похож на хозяина и владельца солидного предприятия, и потому, чтобы сразу все поставить на свои места, должен был показать, кто тут всему голова.

— Слушай, а как тебя звать-величать? — спросил нового помощника мистер Пэплуот.

— Пол Морел.

Странно, как мучительно детям произнести свое имя и фамилию.

— Пол Морел, вот как? Ну давай, Пол Морел, поднажми, а потом…

Мистер Пэплуот уселся на табурет и принялся писать. Из двери за его спиной вышла девушка, положила несколько лечебных приспособлений и ушла. Мистер Пэплуот взял голубоватый эластичный наколенник, мигом сверил с желтым листком-заказом и отложил в сторону. Следующей была телесно-розовая «нога». Он просмотрел несколько изделий, выписал два-три заказа и велел Полу идти за ним. На этот раз они прошли в дверь, из которой появилась девушка. Пол ока-

зался на верхней площадке узкой деревянной лестницы, над комнатой с окнами по двум стенам; в дальнем ее конце шесть девушек, склонясь над длинными столами, шили при свете, проникавшем из окна. При этом они хором пели «Две малютки в голубом». Услышав, что отворилась дверь, они все обернулись и увидели, что с площадки на другом конце комнаты на них смотрят мистер Пэплуот и Пол. Песня оборвалась.

— Нельзя ли поменьше шуму? — сказал Пэплуот. — Люди подумают, у нас тут кошки.

Сидящая на высоком табурете горбунья с длинным, довольно суровым лицом посмотрела на Пэплуота и сказала глубоким контральто:

— Тогда уж не кошки, а коты.

Напрасно Пэплуот разыгрывал перед Полом важного начальника над работницами. Он спустился по деревянной лестнице в комнату, где мастерицы наводили последний лоск на изделия, и подошел к горбунье по имени Фанни. Она сидела на высоком табурете, но была такая коротышка, что и голова, вокруг которой обернуты были скрученные густые и блестящие темно-каштановые волосы, и бледное утомленное лицо казались чересчур большими. На ней было платье из зеленого с черным кашемира, а когда она

досадливо отложила работу, в узких манжетах мелькнули тонкие, плоские запястья. Пэплуот показал ей какой-то огрех в наколеннике.

— Ну, нечего на меня сваливать, — сказала она. — Это не моя вина. — Кровь бросилась ей в лицо.

— А я и не сказал, что твоя. Сделаешь, как я велю? — резко возразил Пэплуот.

— Не сказали, а хотите так повернуть, будто я виновата, — чуть не со слезами воскликнула горбунья. Потом выхватила у него наколенник со словами: — Да уж сделаю по-вашему, только нечего на меня кричать.

— Вот вам новый парнишка, — сказал Пэплуот.

Фанни обернулась, с ласковой улыбкой взглянула на Пола.

— О! — сказала она.

— Да, и смотрите не забалуйте его.

— Если кто его забалует, так не мы, — негодующе ответила она.

— А теперь пошли, Пол, — сказал Пэплуот.

— Au revoy,[2] Пол, — сказала одна из работниц.

Девушки захихикали. Пол залился краской и

---

[2] Примечания: 2
искаженное au revoir — до свидания *(фр.).*

вышел, так и не сказав ни слова.

День тянулся очень долго. Все утро рабочий люд приходил к мистеру Пэплуоту с разными разговорами. Пол писал или учился паковать посылки, готовя их для дневной почты. В час, а вернее без четверти час, мистер Пэплуот исчез, он жил в предместье и боялся не поспеть на поезд. В час, чувствуя себя никому не нужным, Пол взял корзинку с завтраком и спустился в подвал, на склад, где стоял длинный стол на козлах, и там, один, в полумраке подвала, поспешно поел. Потом вышел на улицу. Здесь, на воле, среди уличного многоцветья, в нем всколыхнулась безрассудная смелость и радость. Но в два он уже снова сидел в своем углу большой комнаты. Вскоре мимо него гурьбой прошли работницы, отпуская шуточки по его адресу. Были они из самого простонародья, эти девушки, занимались в помещении под крышей самой трудной работой — делали грыжевые бандажи и доделывали протезы. Пол ждал Пэплуота, он не знал, чем заняться, и, сидя на табурете, выводил закорючки на желтых бланках-заказах. Мистер Пэплуот явился без четверти три. Сел и начал болтать с Полом на равных, будто они однолетки.

Во второй половине дня обычно работы было

немного, разве что к концу недели, когда требовалось произвести подсчет. В пять все служащие спустились в темницу со столом на козлах и там на голых грязных досках пили чай, уплетали хлеб с маслом и переговаривались с той же неприятной поспешностью и неряшливостью, как и ели. А между тем наверху царил дух дружелюбия и опрятности. Это погреб и козлы так на них действовали.

После чая, когда зажглись все газовые рожки, работа пошла быстрей. Готовилась к отправке большая вечерняя почта. Из мастерских приносили теплые, только что отглаженные чулочные изделия. Пол уже выписал все счета, и теперь ему надо было паковать, надписывать адреса и взвешивать свою долю посылок. Повсюду слышались голоса, выкрикивающие вес, позванивал металл, резко щелкала поспешно разрезаемая бечевка, раздавались торопливые шаги тех, кому требовалось взять марки у старика Меллинга. И наконец смеющийся, веселый, вошел почтальон с большим мешком. Потом рвение остыло, и Пол взял свою обеденную корзинку и помчал на станцию, чтобы поспеть на поезд в восемь двадцать. Рабочий день на фабрике продолжался ровно двенадцать часов.

Мать ждала его не без тревоги. Мальчику предстояло пройти пешком от Кестона, так что он попал домой только в двадцать минут десятого. А ведь ушел из дому, когда еще не было семи. Миссис Морел тревожилась о его здоровье. Но самой ей всегда приходилось нелегко, и она надеялась, что дети ее тоже будут выносливыми. Они должны справиться со всем, что выпадет им на долю. И Пол остался служить у Джордана, хотя и темнота, и духота, и долгие часы работы были во вред его здоровью.

Он возвратился бледный и усталый. Мать посмотрела на него. Увидела, что он, пожалуй, доволен, и тревога оставила ее.

— Ну, как? — спросила она.

— Так интересно, мам, — отвечал он. — Работа вовсе не тяжелая, и обращаются с тобой по-хорошему.

— А ты справился как следует?

— Да, только они говорят, почерк у меня плохой. Но мистер Пэплуот, мой начальник, сказал мистеру Джордану, что я навострюсь. Мам, я спиральщик. Вот ты приди посмотри. Так все славно.

Ему скоро понравился мистер Пэплуот — было в нем что-то от завсегдатая хорошего бара, он

держался непринужденно и с Полом обходился по-приятельски. Иногда глава «спиральщиков» бывал не в духе и жевал резинку усердней обычного. Даже и тогда он, однако, не придирался — он был из тех людей, которые, раздражаясь, досаждают куда больше себе самим, чем окружающим.

— До сих пор не сделал? — восклицал он. — Поторопись, ведь целая вечность прошла.

А через минуту опять весел и оживлен, и это Полу трудней всего понять.

— Завтра прихвачу с собою своего йоркширского терьерчика, — радостно объявлял он Полу.

— А какой он, йоркширский терьер?

— Как, ты не знаешь йоркширских терьеров? Да неужели ты не видал йоркширских… — Пэплуот был потрясен.

— Это такие маленькие, шелковистые… цветом вроде железа или потемневшего серебра?

— Ну да, приятель. Она сокровище. Я уже за ее щенят выручил по пяти фунтов каждый, и сама она стоит больше семи фунтов, а весит меньше двадцати унций.

На другой день сучка появилась в заведении Джордана. То была дрожащая, жалкая крохотуля. Пола она не очаровала, слишком походила на мокрую тряпку, которая никогда не высохнет.

Потом за ней зашел какой-то человек и стал отпускать грубые шуточки. Но Пэплуот кивком показал на Пола, и разговор продолжался sotto voce…[3]

Мистер Джордан еще только раз наведался поглядеть на работу Пола и подметил лишь один промах: мальчик положил ручку на конторку.

— Если собираешься стать конторщиком, суй перо за ухо. Перо за ухо! — А однажды сказал ему: — Ты почему горбишься? Поди-ка сюда. — Привел Пола к себе за стеклянную перегородку и снабдил его специальными подтяжками, которые не дают сутулиться.

Но больше Полу нравились девушки-работницы. Мужчины казались ему заурядными и довольно скучными. Они все ему нравились, но были не интересны. Маленькая проворная Полли, старшая над мастерицами нижнего этажа, увидела, что Пол завтракает на складе, и предложила что-нибудь ему сготовить на своей плитке. На другой день мать дала ему с собой еду, которую можно было разогреть. Он принес ее в милую, чистенькую комнату Полли. И скоро у них вошло в обычай обедать вместе. Приходя в восемь утра

---

[3] Примечания: 3
вполголоса *(ит.).*

на фабрику, он относил свою обеденную корзинку к Полли, а когда в час спускался в подвал, обед был уже готов.

Был он невысокий, бледный, с густыми каштановыми волосами, неправильными чертами лица и пухлыми губами. Она же — точно маленькая пичужка. Он часто называл ее «заряночка». Хотя по природе довольно молчаливый, он, бывало, часами сидел и болтал с ней, рассказывал ей о своем доме. Девушки, все как одна, любили его слушать. Часто, когда он сидел на скамье и держал речь, они окружали его и весело смеялись. Иные из них находили его забавным парнишкой — такой серьезный и притом такой живой, веселый, да еще такой вежливый. Они все любили его, а он их обожал. В Полли он чувствовал родную душу. Потом шла Конни с ее рыжей гривой, цветущим личиком, журчащим голоском — она и в поношенном черном платьишке выглядела настоящей леди и привлекала романтическую сторону его натуры.

— Ты когда сидишь и наматываешь нитки, будто прядешь на прялке, — сказал он. — Так это красиво. Ты будто Элайн из «Королевских идиллий» Теннисона. Если б умел, я бы тебя нарисовал.

Она глянула на него и смущенно покраснела. А потом он сделает набросок, который очень ему понравится: Конни сидит на табурете за прялкой — рыжая грива рассыпалась по черному выцветшему платьишку, красные губы сомкнуты и неулыбчивы — и наматывает алую нить с мотка на катушку.

Бесстыжей хорошенькой Луи, которая не упускала случая его поддеть, он обычно отвечал шуткой.

Эмма была не очень-то красива, немолода и снисходительна. Она охотно до него снисходила, и он был не против.

— Как ты закрепляешь иголки? — спрашивал он.

— Уходи и не мешай.

— Но мне надо знать, как закрепляют иголки.

Она продолжала упорно вертеть ручку машинки.

— Тебе еще много чего надо знать, — отвечала она.

— Вот и скажи, как вставляют иглу в машинку.

— Ну и мальчишка, до чего надоедливый! Вот смотри, как это делается.

Пол внимательно приглядывался. Вдруг раздался свисток. И тут же появилась Полли и

отчеканила:

— Мистер Пэплуот интересуется, долго еще ты будешь тут любезничать с девушками?

Пол кинулся вверх по лестнице, кинув на ходу «до свиданья!», а Эмма оскорбленно выпрямилась.

— Я-то и не думала приваживать его к машинке, — сказала она.

Обычно, когда в два часа работницы возвращались с обеда. Пол бежал наверх, в отделочную к горбунье Фанни. Пэплуот появлялся без двадцати три, не раньше, и часто заставал своего помощника у Фанни — Пол сидел подле нее и болтал, или рисовал, или пел вместе с девушками.

Нередко, с минуту поколебавшись, Фанни запевала. Было у нее красивое контральто. Все хором подтягивали, и получалось хорошо. Со временем Пол уже безо всякого стеснения сидел в отделочной с полудюжиной молодых работниц.

Кончится песня, и Фанни, бывало, скажет:

— Знаю я вас, смеялись надо мной.

— Еще чего! — воскликнет кто-нибудь из девушек.

Однажды помянули рыжие волосы Конни.

— На мой вкус, у Фанни волосы получше, — сказала Эмма.

— Нечего надо мной потешаться, — сказала Фанни и густо покраснела.

— А я и не думала. А только у ней и впрямь волосы больно хороши, Пол.

— Тут прелесть в цвете, — сказал он. — Этот холодноватый цвет земли, и при этом с блеском. Как вода в болоте.

— Господи! — со смехом воскликнула одна из девушек.

— Вечно обо мне худое скажут, — промолвила Фанни.

— Да ты приглядись, Пол, — серьезно сказала Эмма. — Вона какие красивые. Если он хочет рисовать, пускай посмотрит, распусти волосы, Фанни.

Фанни и рада бы распустить волосы, да стеснялась.

— Тогда я сам распущу, — сказал парнишка.

— Ну что ж, если тебе хочется, — сказала Фанни.

И Пол осторожно вытащил шпильки из тяжелого узла, и волна волос, сплошь темно-каштановая, скатилась по горбу.

— Какие чудесные и как много! — воскликнул он.

Девушки смотрели на них. Тихо стало в комна-

те. Юноша встряхнул волосы, до конца распустив узел.

— Великолепно! — сказал он, ощутив их аромат. — Бьюсь об заклад, они дорогого стоят.

— Буду помирать, откажу их тебе, — полушутя сказала Фанни.

— Ты сейчас вроде этих, которые сидят и сушат свои волосы, — сказала длинноногой горбунье одна из девушек.

Бедняжка Фанни была болезненно обидчива, всегда воображала, будто ее оскорбляют. Полли была резка и деловита. Два их отдела вечно воевали между собой, и Пол постоянно заставал Фанни в слезах. Она поверяла ему все свои горести, и ему приходилось вступаться за нее перед Полли.

Так, в общем-то счастливо, шли дни за днями. На фабрике все было по-домашнему. Никого не дергали и не погоняли. Пол всегда радовался, когда подходило время отправки почты и работа кипела, и все действовали дружно. Ему приятно было смотреть на своих товарищей. В эти часы они, сливались с работой и работа с ними, они становились единым целым. Не то с девушками. Истая женщина, казалось, никогда не отдается делу всей душой, но будто отстраняется от него, чего-то ожидая.

Вечерами по дороге домой Пол обычно смотрел из окна поезда на огни города, густо рассыпанные по холмам, сливающиеся в ярком сиянье в долинах. Он был счастлив, жизнь била в нем ключом. В отдалении горели огни Булуэла, точно мириады лепестков, сброшенные на землю звездами; а за ними красное зарево топок, обдающих облака своим жарким дыханьем.

Из Кестона до дому было больше двух миль, вверх по двум пологим склонам, вниз по двум крутым. Нередко Пол бывал усталым и, взбираясь в гору, считал, сколько еще надо миновать фонарей. И с вершины холма в непроглядно темные вечера он глядел окрест, на поселки в пяти-шести милях от него, что сияли, точно блестящие рои живых существ, и казалось, у ног его раскинулись небеса. Ярким светом рассеивали тьму Марлпул и Хинор. А время от времени в черное пространство долины между ними врывались огни длинного экспресса, что устремлялся на юг, в Лондон, или на север, в Шотландию. Точно снаряды, поезда с грохотом проносились во тьме, окруженные дымом и светом, наполняли долину лязгом и грохотом. А едва они исчезали, в тишине снова сияли огни поселков и селений.

Пол подошел к углу дома, обращенного к друго-

му краю ночи. И ясень теперь показался другом. Сын переступил порог, и мать с радостью поднялась навстречу. Он положил на стол свои восемь шиллингов.

— Это подспорье, мама? — задумчиво спросил он.

— Я почти без гроша, — ответила она. — Ведь тебе купили билет, и еще завтраки, ну и прочее.

Потом он поведал ей, как провел день. Из вечера в вечер рассказывал он о своей жизни — эти сказки из «Тысячи и одной ночи». И ей казалось, она сама живет этой жизнью.

6. Смерть в семье

Артур Морел подрастал. Смышленый, беспечный, порывистый, он очень походил на отца. Он терпеть не мог учиться, принимался ныть, если надо было работать, и старался поскорей улизнуть из дому и вернуться к своим играм.

Внешне он оставался украшением семьи — хорошо сложен, грациозен и на редкость живой. Темный шатен, со свежим цветом лица и поразительными темно-синими глазами в длинных ресницах, да к тому же великодушный и пылкий, он был общим любимцем. Но с годами его нрав стал неустойчив. Он приходил в ярость из-за пустяков, становился нестерпимо резок и раздражителен.

Даже мать, которую он любил, порой уставала от него. Он думал только о себе. В жажде удовольствий он способен был возненавидеть всякую помеху, даже если мешала мать. А попав в беду, непрестанно ей плакался.

— О господи, сын! — сказала она, когда он жаловался на учителя, который, по его словам, терпеть его не может. — Если тебе что-то не по вкусу, измени это, а не мог изменить, терпи.

Отец, которого Артур прежде любил и который прежде его обожал, стал ему отвратителен. С годами Уолтер Морел понемногу превращался в развалину. Его тело, некогда такое красивое и само по себе и в движении, усохло и, казалось, со временем стало не более зрелым, а слабым и жалким. Выглядел он теперь убогим, ничтожным. И когда стареющий, жалкий, он рычал на Артура или помыкал им, тот приходил в ярость. Больше того, Морел вел себя все хуже и хуже, а склонности его делались просто омерзительны. В пору, когда дети подрастали, вступали в критический переходный возраст, отец был точно вздорный раздражитель. Он держался дома так же, как привык держаться среди углекопов в шахте.

— Поганый зануда! — кричал Артур, вскакивая, и кидался вон из дома, когда отец вызывал у него отвращение. А Морел вел себя еще хуже, оттого что детей это бесило. Когда в четырнадцать — пятнадцать лет они становились раздражительны и уязвимы, он словно назло, с особенным удовольствием, старался вызвать у них отвращенье, доводил их чуть не до бешенства. И Артур, который подрастал как раз тогда, когда отец постарел и опустился, ненавидел его сильней, чем все остальные.

Иногда отец, казалось, ощущал презрительную ненависть детей.

— Кто еще так старается для семьи, как я! — кричал он. — Бьешься для них, из сил выбиваешься, а они с тобой как с собакой. Не стану я это сносить, так и знайте!

Если б не эта угроза и не то, что вовсе не так он ради них старался, они бы его жалели. Но он упорствовал в своих жалких и мерзких привычках, стараясь сохранить свою независимость, и теперь почти все время с ним воевали только дети. Они его не выносили.

В конце концов Артур стал таким вспыльчивым и необузданным, что, когда ему досталась стипендия в среднюю школу в Ноттингеме, мать решилась отпустить его в город — пускай живет у одной из ее сестер и приезжает домой только на субботу и воскресенье.

Энни, по-прежнему младшая учительница в начальной школе, зарабатывала четыре шиллинга в неделю. Но скоро станет получать пятнадцать шиллингов, так как уже сдала экзамены, и в семью придет материальное благополучие.

Миссис Морел теперь держалась Пола. Он был спокойный и ничем не блистал. Но по-прежнему был предан рисованию и по-прежнему предан

матери. Все, что он делал, он делал ради нее. Вечерами она ждала его прихода и тогда облегчала душу, рассказывала ему все, о чем размышляла, все, что случилось за день. Он сидел и со всей присущей ему серьезностью слушал. Они делили друг с другом жизнь.

Уильям теперь был обручен со своей темноволосой красоткой и купил ей обручальное кольцо за восемь гиней. Услыхав эту фантастическую цену, дети чуть не задохнулись от изумленья.

— Восемь гиней! — сказал Морел. — Видали дурака! Дал бы хоть малость мне, было б лучше с его стороны.

— Тебе дал бы! — воскликнула миссис Морел. — С какой стати тебе?

Он-то никакого обручального кольца ей не покупал, это она хорошо помнит, и уж лучше вести себя как Уильям, может, он и легкомысленный, зато не скряга. Но теперь у него только и разговору что о танцах, на которые он ходит со своей нареченной, да о всяких ее роскошных нарядах; а еще он, ликуя, рассказывает матери, как они ходят в театр, будто важные господа.

Уильям хотел привезти свою невесту домой. Миссис Морел сказала, пускай приезжает на Рождество. На этот раз он приехал с дамой, но

без подарков. Миссис Морел загодя приготовила ужин. Услыхав шаги, она встала и пошла к дверям. Вошел Уильям.

— Привет, мама! — Он торопливо ее поцеловал, потом посторонился и представил ей высокую, красивую девушку в костюме в крупную черно-белую клетку и в мехах.

— Вот и моя Цыганка!

Мисс Уэстерн протянула ей руку и в сдержанной улыбке показала зубы.

— О, здравствуйте, как поживаете, миссис Морел! — воскликнула она.

— Боюсь, вы до ужина проголодаетесь, — сказала миссис Морел.

— Ну что вы, мы пообедали в поезде. Мои перчатки у тебя, Мордастик?

Уильям Морел, высокий и худощавый, быстро на нее глянул.

— С чего бы это?

— Значит, я их потеряла. Не сердись на меня.

Уильям нахмурился, но ничего не сказал. Девушка окинула взглядом кухню. Заткнутые за картинки вечнозеленые с блестящими листьями веточки омелы, деревянные стулья и столик из сосновых досок — маленькой и странной показалась она гостье. В эту минуту вошел Морел.

— Привет, папа!

— Привет, сын!

Они пожали друг другу руки, и Уильям представил отцу свою невесту. Девушка улыбнулась той же сдержанной улыбкой.

— Здравствуйте, как поживаете, мистер Морел?

Морел подобострастно поклонился.

— Очень даже хорошо, надеюсь, и вы тоже. Располагайтесь, мы вам рады.

— О, благодарю вас, — его слова, видимо, позабавили гостью.

— Вы, наверно, хотите подняться в спальню, — сказала миссис Морел.

— Если вы не возражаете, но только если это не требует никаких хлопот.

— Никаких хлопот. Энни вас проводит. Уолтер, отнеси наверх этот чемодан.

— И пожалуйста, не наряжайся целый час, — сказал Уильям своей нареченной.

Энни взяла медный подсвечник со свечой и, от смущения едва решаясь хоть слово вымолвить, повела молодую гостью в переднюю спальню, которую освободили для нее мистер и миссис Морел. Эта комната тоже оказалась маленькая и нетопленая. Жены углекопов зажигают камин в

спальне только если кто-нибудь тяжело болен.

— Расстегнуть ремни у чемодана? — спросила Энни.

— О, большое вам спасибо!

Энни взяла на себя роль горничной, потом сошла вниз за горячей водой.

— По-моему, она немного устала, мама, — сказал Уильям. — Дорога ужасная, и мы собирались в такой спешке.

— Ей что-нибудь нужно? — спросила миссис Морел.

— Нет-нет, она прекрасно справится.

Но в воздухе был разлит холодок. Мисс Уэстерн появилась спустя полчаса в красновато-лиловом платье, чересчур роскошном для кухни углекопа.

— Говорил я тебе, что не надо переодеваться, — сказал ей Уильям.

— Ну-у, Мордастик! — А потом со своей сладковатой улыбочкой она обернулась к миссис Морел. — Какой он ворчун, правда, миссис Морел?

— Разве? — сказала миссис Морел. — Это совсем нехорошо с его стороны.

— Право, нехорошо!

— Вам холодно, — сказала мать. — Может, по-

дойдете к камину?

Морел вскочил с кресла.

— Сядьте-ка сюда! — сказал он. — Сядьте-ка сюда!

— Нет, папа, оставайся в своем кресле. Садись на диван, Лили, — сказал Уильям.

— Нет, нет! — вскричал Морел. — Туточки всего теплей будет. Сядьте-ка сюда, мисс Уэссон.

— Огромнейшее вам спасибо, — сказала девушка, садясь в кресло углекопа, на самое почетное место. Она поежилась, чувствуя, как в нее проникает кухонное тепло.

— Мордастик, милый, подай мне носовой платок, — сказала она, сложив губки будто для поцелуя и тем особым тоном, как если б они были сейчас одни, отчего все остальные почувствовали себя лишними. Молодая особа, видно, не считала их за людей; так не стесняются при кошках или собаках. Уильям поморщился.

В Стритеме мисс Уэстерн в таком семействе чувствовала бы себя знатной дамой, которая снизошла до людей низкого звания. Ее теперешнее окружение казалось ей черной костью, рабочее сословие — и все тут. Как к ним приспособиться?

— Я схожу, — сказала Энни.

Мисс Уэстерн и бровью не повела, будто к ней

обратилась прислуга. Но, когда девушка вернулась с носовым платком, она очень мило сказала ей «О, благодарю вас!».

Она сидела и рассказывала про обед в поезде — до чего он был жалкий, говорила о Лондоне, о танцах. На самом же деле чувствовала себя не в своей тарелке и болтала со страху. Морел все это время сидел и, попыхивая трубкой, туго набитой грубым табаком, глядел на нее и слушал ее бойкие лондонские речи. Миссис Морел, приодевшаяся, в лучшей своей блузе черного шелка, спокойно, негромкими словами поддерживала разговор. Все трое детей сидели вокруг и молча восхищенно слушали. В их глазах мисс Уэстерн была истинная принцесса. Ради нее вынуто все самое лучшее — лучшие чашки, лучшие ложки, лучшая скатерть, лучший кофейник. Они думали, ей это покажется настоящей роскошью. Она же, непривычная к такому окружению, не могла понять, что это за люди, не знала, как с ними держаться. Уильям шутил, но и ему было немного неловко.

Около десяти он сказал невесте:

— Ты не устала?

— Пожалуй, — ответила она, сразу перейдя на совсем особый тон и склонив голову набок.

— Я зажгу ей свечу, мама, — сказал он.

— Хорошо, — ответила мать.

Мисс Уэстерн встала, протянула руку хозяйке дома.

— Спокойной ночи, миссис Морел, — сказала она.

Пол подсел к кипятильнику, налил воды в глиняную бутыль из-под пива. Энни закутала бутыль в старую шахтерскую рубашку из фланели и на прощанье поцеловала мать. Ей предстояло делить комнату с гостьей — другого места в доме не оказалось.

— Обожди минутку, — сказала миссис Морел дочери. И Энни села, держа в обнимку бутыль с горячей водой. Ко всеобщему смущенью, мисс Уэстерн каждому пожала руку и лишь после этого ушла, следуя за Уильямом. Через пять минут он уже снова был внизу. Он как-то приуныл, а почему — и сам не знал. Пока все, кроме него и матери, не пошли спать, он почти не разговаривал. А теперь он встал на каминный коврик, привычно расставил ноги и нерешительно произнес:

— Ну, мам?

— Ну, сын?

Мать села в кресло-качалку, ощущая непонятную обиду за него и унижение.

— Она тебе нравится?

— Да, — не вдруг ответила миссис Морел.

— Она пока стесняется, мам. Ей непривычно. Здесь ведь не так, как у ее тетушки.

— Конечно, мой мальчик, и ей, должно быть, нелегко.

— Ну да. — Он вдруг нахмурился. — Хоть бы она так ужасно не важничала!

— Это только поначалу, мой мальчик. От неловкости. Это пройдет.

— Верно, мама, — с благодарностью согласился Уильям. Но чувствовалось, он все еще озабочен. — Знаешь, мам, она ведь не такая, как ты. Она несерьезная и думать не умеет.

— Она молода, мой мальчик.

— Да, и у ней не было хорошего примера. Ее мать умерла, когда она была совсем ребенком. С тех пор она живет с теткой, которую терпеть не может. А отец у нее гуляка. Никто ее не любил.

— Вот как! Что ж, тем больше ей нужна твоя любовь.

— А значит… придется ей многое прощать.

— Что ж такого ей надо прощать, мой мальчик?

— Не знаю я. Иногда она кажется пустой, но ведь надо помнить, некому было развить то хо-

рошее, что в ней заложено глубже. И потом она от меня без ума.

— Это всякий видит.

— Но знаешь, мама… она… она не такая, как мы. Эти люди, среди которых она живет… у них, по-моему, другие устои.

— Не надо судить слишком поспешно, — сказала миссис Морел.

Но ему, видно, было неспокойно.

Однако утром он распевал и весело носился по дому.

— Привет! — крикнул он, сидя на лестнице. — Ты встаешь?

— Да, — слабо донесся ее голосок.

— Веселого Рождества! — прокричал он ей.

Из спальни донесся ее милый, звенящий смех. Но и через полчаса она еще не сошла вниз.

— Она тогда правда встала, когда сказала? — спросил Уильям сестру.

— Да, встала, — ответила Энни.

Он подождал немного, потом опять подошел к лестнице.

— Счастливого нового года, — сказал он.

— Спасибо, милый! — донесся издалека смеющийся голос.

— Поживей! — взмолился он.

Был уже почти час дня, а он все ждал ее. Морел, который всегда вставал еще до шести, глянул на часы.

— Ну и чудеса! — воскликнул он.

Все, кроме Уильяма, позавтракали. Опять он подошел к лестнице.

— Может, тебе послать туда пасхальное яичко? — крикнул он довольно сердито. Она в ответ лишь рассмеялась. Все ждали, что после столь долгих приготовлений их взорам предстанет нечто волшебное. Наконец она появилась, в блузке и юбке, и выглядела в этом наряде очень мило.

— Неужели ты и впрямь столько времени прихорашивалась? — спросил Уильям.

— Мордастик, милый, такие вопросы не задают, правда, миссис Морел?

Поначалу она строила из себя важную даму. Когда она пошла с Уильямом в церковь, он в сюртуке и шелковом цилиндре, она в сшитом в Лондоне костюме и с мехом, Пол, Артур и Энни думали, что каждый в восхищенье станет кланяться до земли. А Морел стоял на дороге в своем выходном костюме, смотрел на эту щегольскую пару и чувствовал себя отцом принца и принцессы.

И, однако, не такая уж важная персона она

была. Уже год она служила в одной лондонской фирме то ли секретаршей, то ли конторщицей. Но у Морелов она разыгрывала из себя королеву. Она сидела и позволяла Полу и Энни, точно слугам, всячески ей угождать. С миссис Морел она обходилась довольно бойко, а с Морелом покровительственно. Но через день-другой она сбавила тон.

Уильям всегда приглашал Пола и Энни, когда шел прогуливаться со своей невестой. Так было гораздо интересней. А Пол и вправду искренне восхищался Цыганкой; мать даже с трудом прощала ему его постоянное стремленье услужить девушке.

На второй день, когда Лили сказала: «Ох, Энни, ты не знаешь, куда я подевала свою муфту?», Уильям заметил:

— Ты же знаешь, она в спальне. Зачем спрашивать Энни?

И, сердито поджав губы, Лили сама пошла в спальню. Но Уильяма возмущало, что она превращает его сестру в служанку.

На третий вечер Уильям и Лили сидели вдвоем в гостиной у камина, не зажигая света. Без четверти одиннадцать они услышали, что миссис Морел разгребает кочергой уголь в плите. Уильям

вышел в кухню, за ним его любимая.

— Уже так поздно, ма? — спросил он. Мать сидела одна.

— Нет, не слишком поздно, мой мальчик, но обычно я поздней не засиживаюсь.

— Тогда, может, ты пойдешь спать? — предложил он.

— И оставлю вас вдвоем? Нет, мой мальчик, это не в моих правилах.

— Ты нам не доверяешь, ма?

— Доверяю или нет, а я вас не оставлю. Если хотите, можете посидеть до одиннадцати, а я почитаю.

— Иди ложись, Лили, — сказал Уильям своей нареченной. — Нельзя заставлять маму ждать.

— Энни не погасила свечу, Лили, — сказала миссис Морел. — Я думаю, вам будет видно.

— Да, благодарю вас. Спокойной ночи, миссис Морел.

У лестницы Уильям поцеловал свою возлюбленную, и она пошла наверх. А он вернулся в кухню.

— Ты нам не доверяешь, мам? — повторил он не без обиды.

— Мальчик мой, говорю тебе, не в моих правилах оставлять молодого человека с девушкой

одних внизу, когда все остальные уже спят.

И пришлось ему удовольствоваться этим ответом. Он поцеловал мать и пожелал ей спокойной ночи.

На Пасху он приехал один. И уж тогда без конца толковал с матерью о своей возлюбленной.

— Знаешь, мам, когда я не с ней, я про нее и не вспоминаю. И если б никогда больше не увидел ее, то и не вспомнил бы. Но вот вечерами если я с ней, я от нее без ума.

— Странная любовь для женитьбы, — сказала миссис Морел, — если только так она тебя и держит.

— И вправду чудно! — воскликнул Уильям. Его самого это тревожило и озадачивало. — Но все-таки… нас теперь так много связывает, не могу я от нее отказаться.

— Тебе лучше знать, — сказала миссис Морел. — Но если все так, как ты говоришь, я б не назвала это любовью… во всяком случае, не очень-то это похоже на любовь.

— Ох, не знаю я, мама. Она сирота, и…

Так они и не могли ни на чем сойтись. Сын был озабочен, неспокоен. Мать — сдержанна. Все его силы, все деньги уходили на его нареченную. Приехав домой, он едва мог позволить себе сво-

зить мать в Ноттингем.

На Рождество, к великой радости Пола, ему прибавили жалованье — теперь он будет получать десять шиллингов. Он был вполне доволен своей службой у Джордана, но здоровье его страдало от долгого рабочего дня и сидения взаперти. Мать, в чьем сердце и помыслах он занимал все больше места, гадала, как бы ему помочь.

По понедельникам во вторую половину дня он не работал. В мае, в один из понедельников, когда они вдвоем сидели за завтраком, мать сказала:

— По-моему, день будет прекрасный.

Пол взглянул удивленно. Что-то крылось за ее словами.

— Знаешь, мистер Ливерс переехал на новую ферму. Ну, и на прошлой неделе он просил меня навестить миссис Ливерс, я пообещала прийти вместе с тобой, если будет хорошая погода. Пойдем?

— Мамочка, хорошая моя, да это чудесно! — воскликнул он. — Сегодня прямо после обеда и пойдем?

Веселый, довольный, он поспешно зашагал на станцию. По дороге на Дерби искрилось росой вишневое дерево. Алела старая кирпичная ограда парка, весна разгоралась зеленым пламенем. И

круто изгибающаяся шоссейная дорога, покрытая еще по-утреннему прохладной пылью, в узорах солнечного света и тени была безмятежно тиха и спокойна. Деревья величаво склоняли свои широкие зеленые плечи; и, сидя на складе, мальчик все утро представлял себе весеннее раздолье на воле.

Когда в обед он вернулся домой, мать была заметно взволнована.

— Мы идем? — спросил он.

— Как только буду готова, — ответила она.

Вскоре он встал из-за стола.

— Поди оденься, а я вымою посуду, — сказал Пол.

Она послушалась. Сын вымыл кастрюли, привел кухню в порядок и достал материнские сапожки. Они оказались совсем чистые. Миссис Морел была из тех изящных от природы людей, которые могут пройти по грязи, не замарав туфель. Но в обязанности Пола входило их чистить. То были козловые сапожки за восемь шиллингов. Он же считал их самой элегантной обувью на свете и чистил их с таким благоговением, словно то были цветы.

Вдруг миссис Морел появилась в дверях, явно смущенная. На ней была новая блузке Пол вско-

чил и пошел к матери.

— Вот это да! — воскликнул он. — Сногсшибательно!

Она хмыкнула чуть ли не надменно и вскинула голову.

— И вовсе не сногсшибательно! — возразила она. — А очень скромно.

Она вошла в кухню, а сын обходил ее то с одного боку, то с другого.

— Ну, как? — застенчиво спросила она, изображая, однако, гордую светскую даму, — нравится тебе?

— Очень! Ты такая красотка, в самый раз для увеселительной прогулки.

Он обошел ее, оглядел со спины.

— Вот если б я шел по улице позади тебя, я бы сказал: «Вроде эта малышка слишком воображает!»

— А вот и нет, — возразила миссис Морел. — Она не уверена, к лицу ли ей блузка.

— Ну где уж там! Ей охота облачиться в грязно-черное, и похоже будет, словно она завернулась в горелую бумагу. Тебе еще как идет, и ты очень славно выглядишь, верно тебе говорю.

Польщенная, она опять хмыкнула на свой лад, но делала вид, будто ей лучше знать.

— Что ж, она стоила мне только три шиллинга, — сказала миссис Морел. — Готовую за такие деньги не купишь, правда?

— Да уж наверно, — ответил Пол.

— И знаешь, материя хорошая.

— Ужасно славная, — сказал он.

Блузка была белая с черными и лиловыми веточками.

— Боюсь, для меня слишком молодо, — сказала миссис Морел.

— Слишком молодо, — с возмущением воскликнул сын. — Может, тебе купить седой парик и напялить на голову?

— Скоро это будет не нужно, — возразила она. — Я и так быстро седею.

— Вот еще, — сказал он. — На что мне седая мать?

— Боюсь, тебе придется и с такой примириться, мой мальчик, — сдержанно ответила она.

Они отправились очень торжественно, и оттого, что день был солнечный, миссис Морел даже взяла зонтик — подарок Уильяма. Пол, хотя и невысок, был изрядно выше матери. И очень гордился этим.

На рыжеватой земле отливала шелком молодая пшеница. Минтонская шахта помахивала

султанами белого пара, откашливалась и сипло дребезжала.

— Нет, ты только взгляни! — сказала миссис Морел. Мать и сын остановились на дороге посмотреть. Вдоль гребня большого угольного отвала медленно двигалась небольшая группа, вырисовываясь на фоне неба, — лошадь, вагонетка и человек. Они взбирались по скату прямо в небеса. Под конец человек наклонил вагонетку. С оглушительным грохотом пустая порода покатилась по высоченному отвесному склону.

— Мама, присядь на минутку! — сказал Пол, и она села, он быстро делал набросок. Он работал, а она молча смотрела на послеполуденный мир, на поблескивающие среди зелени красные коттеджи.

— Наша земля удивительная, — сказала она, — и удивительно красивая.

— И террикон тоже, — сказал он. — Посмотри, как он горбится, будто живой, какой-то большой и неведомый зверь.

— Да, — сказала она. — Пожалуй.

— А все эти платформы стоят и ждут, будто вереница зверей перед кормушкой, — сказал он.

— И слава Богу, что им есть чего ждать, — сказала миссис Морел. — Значит, на этой неделе

добыча хорошая.

— Но мне нравится, когда вещи вроде одушевленные, когда в них чуешь человека. В этих платформах чуешь человека, ведь всеми ими заправляет человек.

— Да, правда, — сказала миссис Морел.

Они тронулись дальше по дороге, под деревьями. Пол не умолкая что-то рассказывал, и матери все было интересно. Они миновали Незермир, с которого солнечный свет, точно лепестки, легко осыпался к подножью. Потом свернули на дорогу в чьих-то владениях и не без опаски подошли к большой ферме. Яростно залаял пес. Из дома вышла женщина — посмотреть, что происходит.

— Этой дорогой мы пройдем к Ивовой ферме? — спросила миссис Морел.

Пол держался позади, страшась, как бы его не прогнали. Но женщина приветливо объяснила, как им пройти. Мать с сыном пошли через пшеницу, овсы и дальше по небольшому мосточку на луг. Над ними кружились, пронзительно кричали чибисы, поблескивая белыми грудками. Спокойно синело озеро. Высоко в небе парила цапля. На другом берегу, на холме, мирно зеленел густой лес.

— Нехоженая дорога, — сказал Пол. — Прямо

как в Канаде.

— Как тут красиво! — сказала миссис Морел, оглядываясь по сторонам.

— Посмотри, цапля… видишь… видишь, какие ноги?

Он говорил матери, на что смотреть, а на что нет. И ей это нравилось.

— Ну, а теперь куда? — спросила она. — Он говорил мне — через лес.

Лес, темный, обнесенный изгородью, был слева.

— Я все-таки чувствую, что тут утоптано, — сказал Пол. — А у тебя ноги городские, тебе этого не учуять.

Они отыскали небольшую калитку и скоро уже шли по широкой лесной аллее, где по одну сторону густо росли сосны и ели, а по другую дубы обступили спускающуюся под уклон поляну. И среди дубов, под зеленью молодого орешника, на желто-коричневом ковре дубовых листьев голубели озерки колокольчиков. Пол принес матери цветы.

— Тут недавно траву скосили, еще совсем свежая, — сказал он, а чуть погодя принес и незабудки. И при виде ее натруженной руки, которая взяла этот букетик, сердце его опять сжалось от

любви. Мать была счастлива.

Но в конце дороги для верховой езды оказалась ограда, через которую предстояло перелезть. Пол мигом очутился по другую сторону.

— Давай, я тебе помогу, — сказал он.

— Нет, уйди, я сама, по-своему.

Пол стоял внизу, руки наготове, готовый помочь ей. Она осторожно перелезала.

— Ну кто ж так лазит! — презрительно воскликнул Пол, когда она уже благополучно перебралась.

— Эти ненавистные приступки! — воскликнула миссис Морел.

— Нескладешка ты, — сказал он. — Не умеешь их одолеть.

Напротив, у опушки леса, сгрудились невысокие красные фермерские постройки. Мать и сын поспешили вперед. В саду было изобилие яблонь, и яблоневый цвет осыпался на жернов. У изгороди, под нависающими над нею ветвями дубов, прятался глубокий пруд. Здесь в тени стояло несколько коров. Дом и хозяйственные постройки с трех сторон охватывали залитый солнцем четырехугольный двор, обращенный к лесу. Было очень тихо.

Мать и сын вошли в огороженный садик, где

пахло красными левкоями. У раскрытой двери остывали посыпанные мукой хлебы. Курица как раз собралась их клюнуть. И вдруг в дверях показалась девушка в грязном фартуке. Она была лет четырнадцати, с лицом смугло-розовым, с красивой копной коротко стриженных черных кудрей и с темными глазами; смущенно, вопрошающе и чуть обиженно глянув на незнакомцев, она скрылась. Вместо нее тотчас появилась маленькая, хрупкая женщина, румяная, с большими темно-карими глазами.

— О! — воскликнула она, просияв улыбкой. — Вот и пришли. Я так вам рада. — Голос ее звучал задушевно и чуть печально.

Женщины пожали друг другу руки.

— Скажите по совести, мы вам не помешали? — спросила миссис Морел. — Я знаю, какова жизнь на ферме.

— Нет-нет! Всегда приятно видеть новое лицо, мы ведь живем совсем на отшибе.

— Я вас понимаю, — сказала миссис Морел.

Их провели в гостиную, длинную комнату с низким потолком и большим пучком калины в камине.

У женщин завязался разговор, а Пол вышел поглядеть окрест. Он стоял в саду и нюхал лев-

кои, смотрел, что еще здесь растет, и тут из дому вышла та девушка и быстро прошла к груде угля у забора.

— Это ведь махровые розы? — спросил Пол, показывая на кусты у ограды.

Девушка испуганно вскинула на него большие карие глаза.

— Они ведь будут махровые, когда распустятся? — повторил Пол.

— Не знаю, — с запинкой ответила она. — Они белые с розовыми серединками.

— Значит, они как девичий румянец.

Мириам вспыхнула. У нее был прелестный и теплый цвет лица.

— Не знаю, — опять сказала она.

— У вас не так уж много в саду цветов, — сказал Пол.

— Мы здесь первый год, — ответила она холодно и, пожалуй, надменно, отошла и скрылась в доме. А он и не заметил, продолжал свой обход. Вскоре вышла миссис Морел, и они пошли осматривать постройки. Пол был в восторге.

— Вам, наверно, приходится ухаживать за птицей, за телятами и свиньями? — спросила миссис Морел хозяйку дома.

— Нет, — отвечала маленькая миссис Ливерс. —

У меня нет времени на скотину, да и не привыкла я к этому. Меня только и хватает, что на дом.

— Да, я понимаю, — сказала миссис Морел.

Скоро вышла девушка.

— Чай готов, мама, — сказала она тихим мелодичным голосом.

— Спасибо, Мириам, мы сейчас, — с обворожительной улыбкой отозвалась мать. — Вы не против выпить чаю, миссис Морел?

— С удовольствием, — ответила миссис Морел. — Раз он готов.

Пол выпил чаю с матерью и с миссис Ливерс. Потом они пошли в лес, полный колокольчиков, а на тропинках росли влажные незабудки. И мать и сын не уставали восхищаться.

Возвратясь, они застали на кухне мистера Ливерса и Эдгара, старшего сына. Эдгару было лет восемнадцать. Потом вернулись из школы Джеффри и Морис, рослые мальчишки двенадцати и тринадцати лет. Мистер Ливерс был красивый мужчина в расцвете сил, с золотисто-каштановыми усами и голубыми глазами, он привычно щурился, оттого что в любую погоду работал под открытым небом.

Мальчики смотрели на Пола свысока, но он едва ли это замечал. Они пошли собирать яйца

по всем уголкам и закоулкам фермы. Потом стали кормить кур, и тут во двор вышла Мириам. Мальчики на нее и не поглядели. Одна курица с выводком желтых цыплят рылась в куче навоза. Морис поднес ей горсть зерна, и она стала клевать с ладони.

— Сумеешь так? — спросил он Пола.

— Поглядим, — ответил Пол.

Рука у него была маленькая, теплая и, сразу видно, умелая. Мириам наблюдала за ним. Он протянул зерно курице. Та глянула на зерно жадным, блестящим глазом и проворно клюнула. Пол вздрогнул и засмеялся. «Тук, тук, тук!» — стучал клюв по ладони. Пол опять засмеялся, и мальчики присоединились к нему.

— Она ударяет и щиплет, но совсем не больно, — сказал Пол, когда курица склевала все зерна до единого.

— Ну-ка, Мириам, — сказал Морис, — теперь ты попробуй.

— Нет! — воскликнула она, отпрянув.

— Ха! Неженка. Маменькина дочка! — сказали братья.

— Это совсем не больно, — сказал Пол. — Она только чуть-чуть щиплет, даже приятно.

— Нет! — опять крикнула девочка, замотала

головой в черных кудрях и отступила подальше.

— Не сумеет она, — сказал Джеффри. — Ничего она не умеет, только стишки вслух читает.

— С калитки прыгать не умеет, свистнуть не умеет, по льду не прокатится, девчонка ей вдарит, и той сдачи не даст. Ничего не умеет, только чего-то из себя воображает. «Дева озера».[4] Тьфу! — прокричал Морис.

Мириам стояла вся красная от стыда и муки.

— Я могу гораздо больше вашего, — воскликнула она. — Вы сами просто трусы и грубияны.

— Ах, трусы и грубияны! — жеманно повторили братья, передразнивая Мириам.

Морис прокричал, покатываясь со смеху:

Дурак меня не разозлит,
Мужик тихонько говорит.

Мириам ушла в дом. Пол пошел с братьями к фруктовому саду, где у них были сооружены гимнастические брусья. Там они показали чудеса силы. Пол же был не столько силен, сколько проворен, но и это пригодилось. Он потрогал цветок яблони, что покачивался невысоко на ветке.

— Не надо рвать цветок, — сказал Эдгар, стар-

---

[4] Примечания: 4
героиня одноименной поэмы Вальтера Скотта (1771–1832).

ший брат. — На будущий год не будет яблок.

— А я и не думал сорвать, — ответил Пол, отходя.

Мальчики смотрели на него неприязненно; их куда больше влекли привычные развлечения. Пол побрел к дому в поисках матери. На задворках он увидел Мириам, она стояла на коленях перед курятником, напряженно скорчившись, прикусив губу, — на ладони — несколько зерен маиса. Курица злобно следила за ней взглядом. Очень осторожно Мириам протянула к ней руку. Курица скакнула к ней. Девочка отшатнулась, вскрикнула, то ли испуганно, то ли досадливо.

— Она не сделает больно, — сказал Пол.

Мириам вздрогнула, залилась краской.

— Я только хотела попробовать, — тихонько сказала она.

— Видишь, совсем не больно, — сказал он и, положив на ладонь всего два зернышка, дал курице клевать с ладони. — Только смешно, потому что щекотно.

Мириам протянула руку, тотчас отдернула, попробовала снова и с криком отскочила. Пол нахмурился.

— Да я дал бы ей клевать зерно прямо с лица, — сказал он. — Только все-таки она немножко

стукает клювом. А клюет очень аккуратно. Иначе она бы за день наклевалась земли.

Он ждал и хмуро наблюдал. Наконец Мириам позволила курице склюнуть с ладони. Слегка вскрикнула, чуть ли не жалобно — со страху и от досады. Но все-таки позволила, и потом еще раз.

— Ну вот видишь, — сказал мальчик. — Не больно, ведь правда?

Мириам посмотрела на него широко раскрытыми темными глазами.

— Правда, — она засмеялась, все еще взволнованная.

Потом встала и пошла в дом. Похоже было, она почему-то обиделась на Пола.

Он воображает, будто я самая обыкновенная девчонка, думалось ей и хотелось ему доказать, что на самом деле она возвышенная, точно «Дева озера».

Оказалось, миссис Морел уже собралась домой. Она улыбнулась Полу. Он взял у нее большой букет цветов. Мистер и миссис Ливерс провожали их полями. Вечер позолотил холмы; в глубине леса лиловели колокольчики. Тихо было вокруг, слышался лишь шелест листьев и птиц.

— Какое же красивое место, — сказала миссис Морел.

— Да, — ответил мистер Ливерс. — Местечко славное, если б только не кролики. Никакого спасу от них, все пастбище объели. Не знаю, выручу ли с него хоть на ренту.

Он хлопнул в ладоши, и луг подле леса пришел в движение, повсюду запрыгали рыжеватые кролики.

— Просто невероятно! — воскликнула миссис Морел.

Дальше они с Полом пошли уже одни.

— Хорошо как было, правда, мама? — тихо сказал он.

Молодой месяц всплывал в небесах. Мальчик был счастлив до боли. Матери пришлось заговорить о чем попало, потому что и ей хотелось заплакать от счастья.

— С какой бы радостью я помогла этому человеку! — сказала она. — Смотрела бы и за птицей, и за молодняком. И доить бы научилась, и разговаривала бы с ним, и мы бы строили планы. Была бы я его женой, дела на ферме шли бы хорошо, даю слово! Но у миссис Ливерс нет сил… просто нет сил. Нельзя на нее взваливать такую ношу. Мне ее жаль, и его тоже. Право слово, будь он моим мужем, я б не считала его плохим мужем! Хотя она тоже так не считает, и она очень милая.

На Троицу Уильям опять приехал домой со своей невестой. Ему дали неделю отпуска. Погода была прекрасная. По утрам Уильям, Лили и Пол обычно ходили гулять. Уильям мало разговаривал со своей возлюбленной, разве что рассказывал кое-что про свое детство. Зато Пол не замолкая рассказывал им обоим обо всем на свете. Втроем они лежали на лужке у минтонской церкви. С одного края, у фермы Каслов, луг защищали трепещущие под ветром тополя. С живых изгородей наземь опадали лепестки боярышника; в поле полно было крохотных маргариток, ярких розовых смолевок. Двадцатитрехлетний Уильям, долговязый, похудевший, можно сказать костлявый, лежал под солнцем и дремал, а Лили перебирала его волосы. Пол пошел нарвать маргариток покрупнее. Девушка сняла шляпу, открыв волосы, черные, будто конская грива. Пол вернулся и стал вплетать маргаритки в эти черные как смоль волосы — большие белые и желтые звезды и яркую смолевку.

— Ты сейчас будто молодая колдунья, — сказал ей Пол. — Правда, Уильям?

Лили рассмеялась. Уильям открыл глаза и посмотрел на нее. Была в его взгляде и какая-то страдальческая растерянность, и неистовое вос-

хищенье.

— Ну что, он сделал из меня чучело? — спросила она и засмеялась, глядя сверху вниз на жениха.

— Да уж, — улыбнулся Уильям.

Он смотрел на Лили. Казалось, ее красота причиняет ему боль. Взглянул на ее убранную цветами головку и нахмурился.

— Ты выглядишь вполне мило, ты ведь это хотела знать? — сказал он.

И дальше она пошла без шляпы. Немного погодя Уильям опомнился и стал с нею нежен. Подойдя к мосту, он вырезал на дереве сердце и в нем ее и свои инициалы: Л.Л.У.-У.М.

Лили, будто завороженная, не сводила глаз с его сильной, нервной руки в блестящих волосках и веснушках.

Пока гостили Уильям и Лили, в доме все время ощущались печаль и тепло и своего рода нежность. Но нередко Уильям раздражался. Они приехали всего на неделю, а Лили привезла пять платьев и шесть блузок.

— Энни, ты не постираешь мне две блузки и еще вот это? — сказала она.

И когда наутро Уильям и Лили пошли гулять, Энни принялась за стирку. Миссис Морел была возмущена. А Уильям, заметив, как иной раз

невеста обращается с его сестрой, готов был ее возненавидеть.

Воскресным утром Лили была очень хороша в голубом, цвета пера сойки фуляровом шелковистом, свободно ниспадающем платье и в кремовой шляпе с широкими полями и множеством роз, больше темно-красных. Все не могли на нее наглядеться. Но вечером, собираясь выйти из дому, она опять спросила:

— Мордастик, ты взял мои перчатки?

— Какие? — спросил Уильям.

— Новые, черные замшевые.

— Нет.

Обыскали весь дом. Она их потеряла.

— Ну, подумай, мама, — сказал Уильям, — с Рождества она потеряла уже четвертую пару… по пяти шиллингов пара!

— Ты подарил мне только две из них, — возразила Лили.

Вечером, после ужина, он стоял на каминном коврике, она сидела на диване, и казалось, он ее ненавидит. После обеда он ушел один повидаться с каким-то старым другом. Она же сидела дома и листала книжку. После ужина Уильям взялся писать кому-то письмо.

— Вот ваша книга, Лили, — сказала миссис

Морел. — Может, почитаете пока?

— Нет, благодарю вас, — отвечала девушка. — Я просто так посижу.

— Но так ведь скучно.

Уильям с явной досадой, торопливо писал. А заклеивая конверт, сказал:

— Книжку почитать! Да она в жизни ни одной книги не прочла.

— Занимайся, пожалуйста, своим делом! — сказала миссис Морел, рассердясь на преувеличение.

— Нет, правда, мама… она книг не читает, — воскликнул Уильям, вскочил и опять стал на каминный коврик. — В жизни ни одной книги не прочитала.

— Она вроде меня, — вмешался в разговор Морел. — Тоже, видать, не поймет, чего в них, в этих книжках, одна скукота, неохота утыкаться в них носом, и мне тоже.

— Не годится тебе так говорить, — упрекнула миссис Морел сына.

— Но ведь это правда, мама… не может она читать. Что ты ей дала?

— Да просто книжечку Энни Суон. Кому же захочется читать что-нибудь серьезное воскресным вечером?

— Голову даю на отсечение, она и десяти строчек не прочла.

— Ты ошибаешься, — не согласилась мать.

Все это время Лили понуро сидела на диване. Уильям быстро к ней обернулся.

— Ты прочла хоть сколько-нибудь? — спросил он.

— Да, прочла, — был ответ.

— Сколько?

— Не считала я, сколько страниц.

— Расскажи хоть немного, о чем там речь.

Она не смогла.

Лили никогда не шла дальше второй страницы. Уильям, с его живым, деятельным умом всегда читал много. Лили только и понимала, что флирт да пустую болтовню. Он же привык пропускать все свои мысли через восприятие матери; и оттого, когда ему требовалось душевное понимание, а от него ждали нежных поцелуев и любовного щебета, он начинал ненавидеть свою нареченную.

— Знаешь, мама, — сказал Уильям, когда поздно вечером они остались одни, — Лили совсем не знает цены деньгам, такой у нее ветер в голове. Она, когда получает жалованье, возьмет да накупит какой-нибудь дряни вроде marrons

glaces,[5] а я изволь покупать ей сезонный билет и оплачивать всякие непредвиденные покупки, даже белье. И она уже хочет выйти замуж, а мне кажется, мы вполне можем пожениться и в будущем году. Но при таком отношении к жизни…

— Хорош будет брак, — сказала мать. — Я бы еще как следует подумала, мой мальчик.

— Ну, знаешь, я слишком далеко зашел, где уж теперь рвать, — сказал он. — Так что как только смогу, я женюсь.

— Хорошо, мой мальчик. Раз решил жениться, женись, тебя не остановишь. Одно тебе скажу, когда я думаю об этом, я ночей не сплю.

— Она будет молодцом, мама. Как-нибудь мы справимся.

— И она позволяет тебе покупать ей белье?

— Ну, понимаешь, она меня не просила, — начал оправдываться Уильям. — Но один раз утром… а холод был… я встретился с ней на станции и вижу, она вся дрожит, прямо трясет ее. Я тогда спросил, хорошо ли она одета. А она говорит: «Наверно». Тогда я говорю: «А белье у тебя теплое?» И она сказала, нет, бумажное. Я ее спросил, как же это она в такую погоду не надела

---

[5] Примечания: 5
засахаренные каштаны *(фр.)*.

ничего поплотней, а она сказала, ничего поплотней у нее нету. Ну, оттуда у нее и бронхиты! Вот и пришлось повести ее в магазин и купить что-то потеплей. Понимаешь, мама, будь у нас деньги, я их не жалел бы. И должна же она оставлять деньги на сезонный билет. Но нет, она идет с этим ко мне, а я выкручивайся.

— Неважные у тебя виды на будущее, — с горечью сказала миссис Морел.

Уильям был бледен, и на его хмуром лице, когда-то таком беспечном и смеющемся, лежала печать сомнений и страдания.

— Но не могу я теперь от нее отказаться, слишком все далеко зашло, — сказал он. — И потом, в чем-то я без нее не мог бы.

— Мальчик мой, помни, ты ставишь на карту всю свою жизнь, — сказала миссис Морел. — Нет ничего хуже, чем безнадежно неудачный брак. Бог свидетель, мой брак достаточно неудачен и должен был бы чему-то тебя научить; но могло быть и хуже, гораздо хуже.

Уильям оперся спиной о каминную полку, сунул руки в карманы. Высокий, тощий, он, казалось, при желании и на край света отправится, и дойдет. Но по его лицу мать видела, как он страдает.

— Не могу я теперь расстаться с ней, — сказал он.

— Запомни, — сказала она, — разорвать помолвку еще не самое большое зло.

— Нет, теперь я не могу с ней расстаться, — повторил Уильям.

Тикали часы, мать и сын умолкли, и не было между ними согласия, но он не сказал больше ни слова.

— Что ж, иди ложись, сын. Утро вечера мудренее, может, ты и поймешь, как поступить.

Уильям поцеловал мать и ушел. Она поворошила угли в камине. На сердце было тяжко, как никогда. Прежде, при раздорах с мужем, казалось, в ней что-то ломается, но они не сокрушали ее волю к жизни. Теперь сама душа была ранена. Сама надежда сражена.

Не раз Уильям выказывал ненависть к своей нареченной. А в самый последний свой вечер дома он уж вовсе ее не щадил.

— Вот ты не веришь мне, какая она есть, — сказал он матери, — а поверишь, что она проходила конфирмацию трижды?

— Чепуха! — рассмеялась миссис Морел.

— Чепуха или не чепуха, но это чистая правда! Для нее конфирмация — вроде театрального

представления, случай покрасоваться.

— Все не так, миссис Морел! — воскликнула девушка. — Все не так. Это неправда!

— Как неправда! — крикнул Уильям и гневно обернулся к ней. — Один раз конфирмовалась в Бромли, один раз в Бекенхеме и один раз где-то еще.

— Больше нигде! — со слезами возразила Лили. — Больше нигде!

— Нет, еще где-то! А если и нет, почему ты проходила конфирмацию дважды?

— Миссис Морел, первый раз мне было всего четырнадцать, — взмолилась она со слезами на глазах.

— Ну да, — сказала миссис Морел. — Я вполне понимаю, детка. Не обращай на него внимания. Постыдился бы, Уильям, такое говорить.

— Но это правда. Она верующая — у ней были синие молитвенники в бархатном переплете. А вот веры в ней или чего другого не больше, чем в ножке этого стола. Пошла на конфирмацию трижды — ради зрелища и чтоб себя показать, и такая она во всем, во всем!

Девушка с плачем села на диван. Не хватало ей ни силы, ни выдержки.

— А уж что до любви! С таким же успехом мож-

но ждать любви от мухи! Мухе тоже любо сесть на шею…

— Ну довольно, — приказала миссис Морел, — таким разговорам здесь не место. Мне стыдно за тебя, Уильям! Ты ведешь себя недостойно мужчины. Только и знаешь, что придираешься к девушке, а потом делаешь вид, будто помолвлен с нею!

И миссис Морел умолкла, разгневанная, возмущенная.

Уильям ничего не сказал, а недолго спустя повинился, целовал и утешал свою нареченную. Однако то, что он сказал о ней, было правдой. Она стала ему ненавистна.

Когда они уезжали, миссис Морел проводила их до самого Ноттингема. До Кестонской станции дорога была длинная.

— Знаешь, мама, — сказал Уильям, — моя Цыганка — пустышка. Ничто не проникает ей в душу.

— Нельзя так говорить, Уильям, — упрекнула мать, ей сделалось очень неловко; ведь Лили шла рядом.

— Но это же правда, мама. Сейчас она отчаянно влюблена в меня, но умри я, и через три месяца она меня забудет.

Миссис Морел стало страшно. От спокойной горечи в словах сына бешено заколотилось сердце.

— С чего ты взял? — возразила она. — Ничего ты не знаешь и потому не в праве так говорить.

— Он всегда так говорит! — воскликнула Цыганка.

— Через три месяца после моих похорон у тебя появится кто-нибудь другой, а меня забудешь, — сказал Уильям. — Вот она, твоя любовь.

Миссис Морел посадила их в поезд в Ноттингеме и возвратилась домой.

— Меня только одно утешает, — сказала она Полу, — никогда у него не будет достаточно денег, чтоб на ней жениться, это несомненно. И таким образом она его спасет.

Теперь миссис Морел повеселела. Все не так еще страшно. Уильям, конечно же, никогда не женится на своей Цыганке. Мать ждала и держала подле себя Пола.

Все лето письма Уильяма были полны беспокойства; казалось, он живет в неестественном, непомерном напряжении. Порою письма были преувеличенно веселые, обычно же безрадостны и полны горечи.

— Ох, боюсь я, он губит себя из-за этого никчемного создания, не стоит она его любви… не

стоит… она не лучше тряпичной куклы.

Уильяму хотелось снова побывать дома. Иванов день прошел, а до Рождества далеко. В страшном волнении он написал, что сможет приехать на субботу и воскресенье в первую неделю октября, на Гусиную ярмарку.

— Ты нездоров, мой мальчик, — увидев его, сказала мать.

Оттого что он снова с нею, она чуть не расплакалась.

— Да, я нездоров, — сказал Уильям. — Похоже, у меня весь месяц тянется простуда, но сейчас как будто легчает.

Стояли солнечные октябрьские дни. Казалось, он вне себя от радости, будто мальчишка, улизнувший из школы; потом опять молчал, замыкался в себе. Он еще больше похудел, и взгляд у него был загнанный.

— Ты слишком много работаешь, — сказала мать.

Он берет сверхурочную работу, сказал он, чтобы заработать деньги для женитьбы. Он разговорился с матерью лишь однажды, субботним вечером, и говорил о своей возлюбленной с печалью и нежностью.

— И все-таки, знаешь, мам, если б я умер, она

была б безутешна два месяца, а потом стала бы меня забывать. Поверь, она ни разу не приехала бы сюда взглянуть на мою могилу.

— Ну что ты, Уильям, — сказала мать, — зачем об этом говорить, ты ж не собираешься умирать.

— Но так или иначе… — возразил он.

— И она ничего не может с собой поделать. Такая уж она есть, и раз ты ее выбрал… что ж, нечего сетовать, — сказала мать.

Воскресным утром, надевая воротничок, он вздернул подбородок и сказал матери:

— Смотри, как воротничок натер мне шею!

Под самым подбородком шея побагровела, воспалилась.

— Да как же так, — сказала мать. — На, помажь смягчающей мазью. Надо носить другие воротнички.

Он уехал в воскресенье в полночь, за эти два дня дома он, казалось, окреп и поздоровел.

Во вторник утром из Лондона пришла телеграмма, что он болен. Миссис Морел, которая в эту минуту мыла пол, поднялась с колен, позвала соседку, пошла к хозяйке дома, попросила у нее в долг, оделась и отправилась в путь. Она поспешила в Кестон и в Ноттингеме успела на экспресс, направлявшийся в Лондон. В Ноттин-

геме пришлось ждать чуть не час. Маленькая женщина в черной шляпке тревожно спрашивала носильщиков, не знает ли кто, как добраться до Элмерс-энд. Поезд шел три часа. Она примостилась в уголке и, словно оцепенев, за всю дорогу ни разу не шевельнулась. На вокзале Кингс-кросс ей тоже никто не мог сказать, как добраться до Элмерс-энд. С плетеной сумкой, в которой лежала ночная сорочка, расческа и щетка для волос, она переходила от одного встречного к другому. Наконец ее направили в подземку на Кеннон-стрит.

Было шесть часов, когда она добралась до жилища Уильяма. Шторы не были опущены.

— Как он? — спросила она хозяйку дома.

— Не лучше, — ответила та.

Следом за хозяйкой миссис Морел поднялась в комнату Уильяма. Он лежал на кровати, в лице ни кровинки. Одежда разбросана, камин не горит, у постели, на ночном столике, стакан молока. Никто за ним не ухаживал.

— Ну что, сынок! — храбро сказала мать.

Уильям не отозвался. Он смотрел на нее невидящим взглядом. Потом заговорил без всякого выражения, словно повторял под диктовку: «Из-за протечки в трюме корабля сахар отвердел и превратился в камень. Его требуется расколоть

на мелкие куски...»

Он был без сознания. То была его обязанность — проверять груз сахара в лондонском порту.

— С каких пор он в таком состоянии? — спросила хозяйку мать.

— Он воротился домой в понедельник в шесть утра и вроде весь день спал; потом вечером слышим, он разговаривает, а нынче утром он спросил вас. Ну, я послала телеграмму, и мы позвали доктора.

— Вы не зажжете камин?

Миссис Морел пыталась успокоить сына, уговаривала его замолчать. Пришел доктор. Он сказал, это пневмония и еще своеобразное рожистое воспаление, которое началось под подбородком, где натерто воротничком, и распространяется по лицу. Будем надеяться, оно не заденет мозг.

Миссис Морел принялась ухаживать за сыном. Она молилась за Уильяма, молилась, чтобы он ее узнал. Но лицо его все больше бледнело. Ночью мать чего только не делала, а он бредил, бредил и не приходил в сознание. В два часа, во время жестокого приступа, он умер.

Окаменев, миссис Морел час недвижно просидела в его спальне, потом разбудила хозяев.

В шесть утра с помощью приходящей служанки

она обмыла и обрядила сына; потом пошла по мрачным улицам квартала к чиновнику в магистратуре и к доктору.

В девять утра в дом на Скарджил-стрит пришла еще одна телеграмма:

«Уильям умер сегодня ночью. Пусть отец приедет, привезет деньги».

Дома были Энни, Пол и Артур; мистер Морел уже ушел на работу. Все трое детей не вымолвили ни слова. Энни захныкала от страха, Пол отправился за отцом.

Выл чудесный день. Над Бринслейской шахтой в ясном нежно-голубом небе медленно таял белый пар; высоко-высоко позвякивали колеса надшахтного копра; грохот неутомимо гремел, опрокидывал уголь на платформы.

— Мне отец нужен, ему надо ехать в Лондон, — сказал Пол первому встречному у устья шахты.

— Уолтер Морел тебе понадобился. Шагай вон туда и скажи Джо Уорду.

Пол вошел в маленькую контору.

— Мне отец нужен, ему надо в Лондон ехать.

— Отец? А он в забое? Как фамилия?

— Мистер Морел.

— Что, Уолтер? Чего-нибудь стряслось?

— Ему надо ехать в Лондон.

Конторщик подошел к телефону, позвонил в нижнюю конторку.

— Нужен Уолтер Морел. Номер сорок два, дальний забой. Чего-то стряслось, тут его парень.

И он повернулся к Полу.

— Сейчас будет, — сказал он.

Пол побрел к главному стволу. Смотрел, как поднимается клеть с вагонеткой угля. Огромная железная клеть опустилась на свое основание, полную вагонетку откатили в сторону, пустая вагонетка заняла место в клети, где-то прозвенел звонок, клеть поднатужилась и камнем упала в ствол.

Пол не сознавал, что Уильям умер; такая суета вокруг, как же это может быть. Откатчик выталкивал вагонетку из клети, другой рабочий бежал по изгибающейся вдоль дороги насыпи.

— Уильям умер, мама в Лондоне, что ж ей теперь делать? — спрашивал себя мальчик, будто решал головоломку.

Клети поднимались раз за разом, а отца все не было. Наконец подле вагонетки Пол разглядел человека. Клеть опустилась на место, и Морел сошел на землю. Он слегка прихрамывал после какого-то несчастного случая.

— Это ты, Пол? Ему хуже?

— Тебе надо ехать в Лондон.

И они пошли прочь от шахты, откуда люди с любопытством глазели на них. Они вышли со двора шахты и зашагали вдоль железной дороги, где с одной стороны раскинулось освещенное солнцем осеннее поле, а с другой — стеной стояли вагонетки, и Морел спросил испуганно:

— Неужто он помер, сынок?

— Да.

— Когда ж?

В голосе углекопа слышался ужас.

— Нынче ночью. От мамы телеграмма пришла.

Морел прошел еще несколько шагов, потом прислонился к вагонетке, прикрыл рукою глаза. Слез у него не было. Пол глядел по сторонам, ждал. Вагонетка тяжело съезжала с весов. Все видел Пол, только отца не замечал, который словно в изнеможении прислонился к вагонетке.

Морел был в Лондоне лишь однажды. И теперь, испуганный, осунувшийся, отправился туда на помощь жене. Был вторник. Дети остались дома одни. Пол пошел на работу, Артур — в школу, а к Энни пришла подружка, чтоб ей не быть одной.

В субботу вечером, повернув за угол по дороге из Кестона, Пол увидел мать с отцом, они шли со станции Сетли-Бридж. В густых сумерках они

молча, устало брели врозь. Пол приостановился.

— Мама! — окликнул он в темноте.

Миссис Морел не обернулась, словно не слышала. Он опять ее позвал.

— Пол! — безразлично отозвалась она.

Она позволила себя поцеловать, но, казалось, не сознавала, что он рядом.

Такой же оставалась она и дома — маленькая, бледная, молчаливая. Ничего не замечала, ничего не говорила, только и сказала:

— Гроб привезут сегодня вечером, Уолтер. Ты бы позаботился о подмоге. — Потом повернулась к детям: — Мы решили привезти его домой.

И опять она села, сложила руки на коленях, молча уставилась в пространство. Посмотрев на нее. Пол почувствовал, что ему нечем дышать. В доме стояла мертвая тишина.

— Я на работу, ма, — печально сказал он.

— На работу? — безжизненным голосом вымолвила она.

Через полчаса вернулся Морел, растерявшийся, сбитый с толку.

— А куда ж мы его положим, когда уж привезут? — спросил он жену.

— В гостиной.

— Тогда лучше отодвинуть стол?

— Да.

— А гроб поставим на стулья?

— Знаешь, там… Да, наверно, так.

Морел и Пол, взяв свечу, прошли в гостиную. Газового освещения там не было. Отец открутил столешницу большого овального обеденного стола, освободил середину комнаты, потом поставил друг против друга шесть стульев, чтобы гроб можно было поставить на сиденья.

— Другого такого долговязого ни в жисть не видал! — сказал углекоп, старательно делая свое дело.

Пол подошел к большому окну и посмотрел наружу. Из необъятной тьмы выступил исполинский черный ясень. И тьма чуть светилась. Пол вернулся к матери.

В десять вечера Морел крикнул:

— Он здесь!

Все вскочили. Послышался шум — отец отодвигал засовы, отпирал парадную дверь, что вела прямо из уличной тьмы в гостиную.

— Еще свечу принесите, — крикнул Морел.

Энни и Артур пошли на его зов. За ними Пол с матерью. Крепко обхватив ее за талию, он остановился на пороге гостиной. Посреди освобожденной от мебели комнаты по три в ряд

напротив друг друга стояли шесть стульев. Одну свечу Артур поднял у окна, так что свет проходил за кружевную занавеску, а у растворенной парадной двери Энни со свечой подалась вперед, во тьму, блестел медный подсвечник.

Слышался шум колес. На темной улице внизу Пол увидел лошадей, повозку, фонарь и чьи-то бледные лица; он разглядел нескольких человек, углекопов, все в одних рубашках, казалось, они с трудом что-то ворочают в темноте. Наконец появились двое, сгибаясь под тяжелой ношей. То были Морел и его сосед.

— Ровней! — запыхавшись, крикнул Морел.

Вдвоем они поднимались на крутую садовую приступку, пошатываясь вместе с мерцающим в свете свечи краем гроба. Позади видны были руки других мужчин, поднимающих гроб. Морел и Берне, идущие первыми, покачнулись, огромный темный груз накренился.

— Ровней, ровней! — закричал Морел, словно от боли.

Все шестеро, несущие на поднятых руках большой гроб, были уже в садике. Надо было одолеть еще три ступеньки крыльца. Внизу, на черной дороге, светил желтый фонарь похоронных дрог.

— Ну-ка! — сказал Морел.

Гроб накренился, вместе со своей ношей мужчины стали взбираться по ступеням крыльца. Свеча в руках Энни трепетала; когда появились первые мужчины, несущие гроб, девушка всхлипнула, и вот над склоненными головами всех шестерых, на их напряженных руках усилиями этой живой плоти в дом медленно вплывает гроб, точно сама скорбь.

— Ох, сыночек… сыночек! — тихонько причитала миссис Морел, и каждый раз мужчины сбивались с шага и гроб покачивался. — Ох, сыночек… сыночек… сыночек!

— Мама! — всхлипнул Пол, все прижимая ее к себе. — Мама!

Она не слышала.

— Сыночек… сыночек, — повторяла она.

Пол видел, у отца со лба скатываются капли пота. Шестеро мужчин вступили в гостиную, шестеро без курток, в одних рубашках, все заполнили собой, натыкаются на мебель, руки напряжены, ноги подкашиваются. Гроб повернули, осторожно опустили на стулья. На доски его с лица Морела скатился пот.

— Ну и тяжесть! — сказал один углекоп, и пятеро вздохнули, поклонились и, еще дрожа от усилий, вышли за дверь, притворили ее и спусти-

лись с крыльца.

Семья осталась в гостиной наедине с большим полированным ящиком. Когда Уильяма убрали и уложили, оказалось, его рост шесть футов четыре дюйма. Блестящий, коричневый, массивный гроб возвышался точно памятник. Полу подумалось, он теперь останется здесь навсегда. Мать гладила полированное дерево.

Уильяма похоронили в понедельник на маленьком кладбище на склоне холма, что смотрит через поля на большую церковь и дома поселка. Было солнечно, и в тепле пышно распускались белые хризантемы.

После смерти старшего сына миссис Морел невозможно было вызвать на разговор, пробудить в ней былой неугасимый интерес к жизни. Ода замкнулась в себе. Возвращаясь домой из Лондона в день смерти сына, она в поезде всю дорогу думала об одном: «Лучше бы это я умерла!»

Когда вечером Пол приходил домой, домашние дела были уже окончены, и мать сидела, уронив руки на колени, на грубый рабочий фартук. Прежде она переодевалась и надевала черный фартук. Теперь ужин Полу подавала Энни, а мать все сидела, безучастно глядя перед собой, крепко сжав губы. Пол ломал голову, о чем бы ей порас-

сказать.

— Ма, знаешь, сегодня заходила мисс Джордан и говорит, мой набросок шахты очень хорош.

Но миссис Морел не отзывалась. Она не слушала его, но вечер за вечером он все равно заставлял себя что-нибудь рассказывать. Видеть ее такой было нестерпимо. И наконец он спросил:

— В чем дело, мама?

Она не слышала.

— В чем деле? — настаивал он. — Мама, в чем дело?

— Ты знаешь, в чем дело, — гневно ответила она и отвернулась. Пол — ему было уже шестнадцать — пошел спать с тяжелым сердцем. Он был отторгнут и несчастен весь октябрь, ноябрь и декабрь. Мать пыталась очнуться, но тщетно. Она только и могла, что горевать об умершем сыне — такая мучительная выпала ему смерть.

Наконец, двадцать третьего декабря с пятью шиллингами в кармане — хозяйский подарок на Рождество — Пол брел домой, ничего не замечая вокруг. Мать взглянула на вошедшего сына, и сердце ее замерло.

— В чем дело? — спросила она.

— Неможется мне! — отвечал он. — Мистер Джордан дал мне на Рождество пять шиллингов.

Дрожащими руками Пол отдал матери конверт. Она положила его на стол.

— Ты не рада! — упрекнул он, но его била дрожь.

— Где у тебя болит? — спросила миссис Морел, расстегивая на нем пальто.

То был вопрос из прежних времен.

— Просто плохо себя чувствую, ма.

Она раздела сына и уложила в постель. У него воспаление легких, и опасное, сказал доктор.

— Может, он не заболел бы, если б я держала его дома, а не пустила работать в Ноттингеме? — был один из первых ее вопросов.

— Может быть, заболел бы не так тяжело, — сказал доктор.

Миссис Морел поняла, что изменила первейшему своему долгу.

— Надо было думать о живом, а не о мертвом, — сказала она себе.

Пол болел тяжело. Ночами мать спала рядом с ним, сиделку они не могли себе позволить. Ему становилось все хуже, приближался кризис. Однажды ночью он метался, вырываясь из беспамятства с ужасным, отвратительным ощущением, будто тело его разрушается, все клетки неистово стремятся распасться, и его сознание,

подобно безумию, вспыхнуло в последней попытке противоборства.

— Мама, умираю! — вскрикнул он, тяжело приподнялся на подушке, силясь вздохнуть.

Она подняла его, приговаривая вполголоса:

— Ох, сынок мой… сынок!

Это привело его в себя. Он узнал ее. Вся воля его собралась и удержала его. Он припал головой к материнской груди, и от ее любви ему полегчало.

— Даже хорошо, что на Рождество Пол заболел, — сказала его тетушка. — Я уверена, это спасло его мать.

Пол пролежал в постели семь недель. Встал он бледный и хрупкий. Отец еще раньше купил ему алых и золотых тюльпанов в горшке. И вот Пол сидит на диване и оживленно разговаривает с матерью, а тюльпаны пламенеют на окне в лучах мартовского солнца. Этих двоих связывает теперь самая тесная дружба. Жизнь миссис Морел отныне держится Полом.

Уильям как в воду глядел. На Рождество миссис Морел получила от Лили небольшой подарок и письмецо. Сестра миссис Морел получила от девушки письмо к Новому году:

«Вчера вечером я была на балу. Там была очень

милая публика, и я чудесно провела время, — говорилось в письме. — Танцевала все танцы, ни разу не сидела».

С тех пор о ней не было ни слуху ни духу.

После смерти Уильяма Морел и его жена какое-то время были добры друг к другу. Он часто впадал в своего рода оцепенение, сидел, бессмысленно уставясь в пространство широко раскрытыми глазами. Потом вдруг вскакивал и поспешно уходил в трактир «Три очка», однако возвращался совершенно трезвый. Но больше ни за что не пошел бы он прогуляться в сторону Шепстона, мимо конторы, где прежде служил Уильям, и всегда избегал кладбища.

Часть вторая

7. Юношеская любовь

В ту осень Пол много раз бывал на Ивовой ферме. Он подружился с двумя младшими мальчиками. Старший сын, Эдгар, поначалу не снисходил до него. И Мириам тоже дичилась. Боялась, что Пол, как и ее братья, станет смотреть на нее свысока. Она была девушкой романтического склада. Всюду ей чудились героини Вальтера Скотта и влюбленные в них рыцари в шлемах или в киверах с плюмажем. Себя она воображала принцессой, обращенной в свинарку. И она боялась, что этот юноша, хоть он и напоминает чем-то героев Вальтера Скотта, пишет красками, говорит по-французски, и имеет понятие об алгебре, и всякий день ездит поездом в Ноттингем, не сумеет разглядеть в ней принцессу и примет ее за обыкновенную свинарку; оттого и держалась отчужденно.

Ближе всех подруг ей была мать. Обе они были кареглазые, обе, склонны к мистицизму, из тех женщин, что дорожат верой в душе своей, вдыхают ее всем существом и оттого жизнь видят сквозь некую пелену. Для Мириам Христос и Господь Бог составляли единое великое существо,

которое она любила страстно и трепетно в час, когда величавый закат разгорался на западе небосвода, и по утрам Эдит, Люси, Ровена, Брайан де Буа Жильбер, Роб Рой и Гай Мэннеринг[6] шуршали освещенными солнцем листьями, а если шел снег, она сидела одна у себя в комнате наверху. Это было ее жизнью. Что до остального, она тяжко трудилась по дому и ничего бы не имела против этого, если б только чисто вымытые крашеные полы братья сразу же не затаптывали своими грубыми сапогами. Ей отчаянно хотелось, чтобы маленький четырехлетний братишка позволил ей окутывать и душить его своей любовью, благоговейно склонив голову, ходила она в церковь, и ее мучительно коробила вульгарность девиц, поющих вместе с нею в хоре, и грубо звучащий голос священника; она воевала с братьями, которые казались ей неотесанным мужичьем; и не слишком высоко ставила отца, оттого что он не лелеял в душе никакие мистические идеалы, а только того и желал, чтоб жилось полегче да чтоб поесть ему подавали вовремя.

Ей ненавистно было, что она ходит в свинарках. Ей хотелось, чтобы с нею считались. Ей хотелось

---

[6] Примечания: 6
персонажи романов Вальтера Скотта и Чарльза Диккенса.

учиться, думалось, что если бы она могла, как, по словам Пола, может он, читать «Colomba»[7] или «Voyage autour de ma Chambre»,[8] мир обратил бы к ней иной свой лик и смотрел бы на нее уважительней. Нет у нее ни богатства, ни положения, подобающего принцессе. Тем желанней получить образование, чтобы можно было им гордиться. Ведь она не такая, как все, пусть же ее не смешивают с простолюдинами. Образование — единственное отличие, которого она надеялась достичь.

Свою красоту — робкую, безыскусную, трепетно-нежную — она, казалось, ни во что не ставила. Даже и собственной души, столь возвышенной, ей было мало. Она жаждала более надежной опоры для своей гордости — ведь она чувствовала, что непохожа на других людей. На Пола она взирала с легкой задумчивостью. Вообще-то мужчин она презирала. Но Пол оказался какой-то новой породы — живой, легкий, изящный, он бывал и мягким, и печальным, он умен, много знает, и семью его посетила смерть. Жалкие крохи знаний

---

[7] Примечания: 7

«Коломба» — рассказ Проспера Мериме (1803–1870).

[8] Примечания: 8

«Путешествие по моей комнате» — произведение Ксавье де Местра (1763–1862).

этого юноши в ее глазах вознесли его чуть ли не до небес. И однако, она пыталась презирать его, ведь он увидит в ней не принцессу, а всего лишь свинарку. И он едва ее замечал.

Потом он тяжко заболел, стало ясно, он будет очень слаб. Значит, она окажется сильней его. Значит, можно его любить. Если бы в его слабости ей было дано повелевать им, заботиться о нем, а он бы зависел от нее и, так сказать, покоился бы в ее объятиях, как бы она его любила!..

Едва небеса просветлели и зацвели сливы, Пол сел на тяжелую повозку молочника и отправился на Ивовую ферму. Мистер Ливерс добродушно прикрикнул на парнишку, прищелкнул языком, погоняя лошадей, когда в утренней свежести они медленно взбирались на холм. Белые облака плыли своим путем и громоздились за холмами, что пробуждались в эту весеннюю пору. Вода в Незермире была низкая и среди высохших лугов и боярышника казалась особенно голубой.

До фермы было четыре с половиной мили. Раскрывались яркие как малахит почки, заливались певчие дрозды, пронзительно кричали и бранились черные. Мир был нов и пленителен.

Мириам глянула в кухонное окошко и увидела, как в большие белые ворота во двор фермы, при-

мыкающей к еще голой дубовой роще, вступает белая лошадь. С повозки слез юноша в теплом пальто. Он протянул руки, и красивый, румяный фермер передал ему кнут и плед.

Мириам вышла на порог. Почти уже шестнадцати лет, и нежно розовеющая, очень серьезная в этот миг, когда вдруг восторженно распахнулись глаза, очень она была хороша.

— Знаешь, — сказал Пол, смущенно отводя взгляд, — ваши нарциссы уже вот-вот распустятся. Как рано, правда? По-твоему, им холодно?

— Холодно! — певуче, ласково сказала Мириам.

— Бутоны еще зеленые… — робея, он запнулся и замолчал.

— Давай я возьму плед, — еле слышно предложила Мириам.

— Я могу и сам, — ответил Пол, слегка задетый. Но подчинился.

Тут появилась миссис Ливерс.

— Ты наверняка устал и замерз, — сказала она. — Дай-ка мне твое пальто. Оно тяжелое. Ты далеко в нем не ходи.

Она помогла Полу раздеться. К такому вниманию он вовсе не привык. А она чуть не задохнулась под тяжестью пальто.

— Ну что, мать, — со смехом сказал мистер Ливерс по дороге в кухню, размахивая двумя большими мешалками для молока, — груз-то, видать, не по тебе.

Миссис Ливерс взбила для гостя подушки на диване.

Кухонька была крохотная и неправильной формы. Ливерсы поселились в бывшем жилище простого работника. И мебель была старая, ветхая. Но Полу тут нравилось — нравился прикаминный коврик из мешковины, и диковинный закуток под лестницей, и крохотное оконце в самом углу, из которого, если чуть пригнуться, видны сливовые деревья в саду за домом и радующие глаз холмы вдалеке.

— Может, хочешь прилечь? — спросила миссис Ливере.

— Нет-нет, я не устал, — ответил Пол. — До чего же славно выйти из дому, правда? Я видел цветущий терн и много чистотела. Как я рад, что сегодня солнечно.

— Поесть или попить хочешь?

— Нет, спасибо.

— Как поживает мама?

— Мне кажется, она устала. Слишком много у нее дел. Может, немного погодя она вместе со

мной поедет в Скегнесс. Тогда она сможет отдохнуть. Вот бы хорошо.

— Да, — отвечала миссис Ливерс. — Чудо, что она сама не заболела.

Мириам хозяйничала в кухне, готовила обед. Пол пытливо ко всему присматривался. Он побледнел, похудел, но глаза, как всегда, блестели, полные жизни. Он смотрел, как странны, чуть ли не торжественны движения девушки, когда она несет в духовку большой сотейник или заглядывает в кастрюлю. Самый дух тут был совсем не тот, что у него дома, где все кажется таким обыкновенным. Когда во дворе миссис Ливерс громко прикрикнула на лошадь, которая через плетень хотела полакомиться кустами роз, девушка вздрогнула и так поглядела своими черными глазами, будто что-то грубо вломилось в ее мир. И в самом доме и вокруг все дышало тишиной. Мириам казалась девой из волшебной сказки, она заколдована, и душа ее грезит в далеком волшебном краю. И ее выцветшее, старенькое голубое платье и стоптанные башмаки казались поистине романтическими лохмотьями юной нищенки, пленившей короля Коуфечуа.[9]

---

[9] Примечания: 9

персонажи из стихотворения «Юная нищенка» А. Теннисона (1809–1892).

Она вдруг ощутила на себе проницательный, словно всевидящий взгляд голубых глаз гостя. И тотчас ей стало больно из-за стоптанных башмаков и старого поношенного платья. Стало обидно, что все это он видит. Он знает даже, что у нее спущен чулок. Отчаянно покраснев, она скрылась в кладовке. А потом что бы ни делала, руки ее слегка дрожали. Все едва не валилось из рук. Нарушен был сон ее души, и тело трепетало в волнении. Слишком обидно, что он столько видел.

Миссис Ливерс немного посидела, поговорила с Полом, хоть ее и ждали дела. Слишком она была благовоспитанна, чтобы сразу уйти. Но вскоре она извинилась и встала. Немного погодя она заглянула в кастрюлю.

— О Господи, Мириам! — воскликнула она. — В картошке вся вода выкипела!

Мириам вздрогнула, будто ее ужалили.

— Да что ты, мама? — воскликнула она.

— Я бы не расстроилась, Мириам, если б не доверила ее тебе, — сказала мать. И опять заглянула в кастрюлю.

Девушка сжалась как от удара. Темные глаза ее широко раскрылись, она оцепенела на месте.

— Да ведь я всего пять минут назад смотрела, — ответила она, пристыженная, в сознании своего

позора как в тисках.

— Да, — сказала мать, — я знаю, это мигом делается.

— Картошка только чуть-чуть подгорела, — сказал Пол. — Это ведь не важно, правда?

Карие глаза миссис Ливерс обратились на него.

— Было бы не важно, если б не мальчики, — сказала она. — Да только Мириам знает, как они скандалят, когда картошку «прихватило».

— А вы бы не позволяли им скандалить, — подумал Пол.

Немного погодя пришел Эдгар. Он был в гетрах, на башмаки налипла земля. Он был невысок ростом и для фермера держался чересчур чопорно. Мельком глянул на Пола, сухо ему кивнул и спросил:

— Обед готов?

— Почти готов, Эдгар, — извиняющимся тоном ответила мать.

— А я готов пообедать, — сказал молодой человек и углубился в газету. Вскоре ввалились остальные. Подали обед. За столом вели себя довольно грубо. Чрезмерная мягкость и извиняющийся тон матери только подстегивали присущую сыновьям грубость. Эдгар попробовал

картофель, по-кроличьи проворно пожевал, недовольно посмотрел на миссис Ливерс и сказал:

— Картошка подгорела, мать.

— Да, Эдгар. Я на минутку про нее забыла. Если она тебе не по вкусу, может, поешь хлеба.

Эдгар сердито посмотрел через стол на Мириам.

— А Мириам чего делала, почему недогляделa? — спросил он.

Мириам смотрела на брата. Губы ее дрогнули, темные глаза сверкнули, она поморщилась, но не вымолвила ни слова. Опустила темноволосую голову, проглотила и гнев свой и стыд.

— Уж, конечно, трудилась вовсю, — сказала мать.

— Картошки сварить и то у ней ума не хватает, — сказал Эдгар. — Для чего ж ее дома держат?

— А чтоб подъедала все, чего в чулане остается, — подхватил Морис.

— Никак не простят нашей Мириам тот картофельный пирог, — засмеялся отец.

Девушка была совсем уничтожена. Мать сидела молчаливой мученицей, чужая за этим грубым застольем.

Все это озадачило Пола. Он недоумевал, откуда такой накал чувств из-за нескольких подгорелых

картофелин. Мать семейства возводила до некоего священного долга всякую пустячную работу по хозяйству. Сыновей это злило, им казалось, она этим подчеркивает, что они ее недостойны, и они отвечали грубостью да еще глумливой заносчивостью.

То была для Пола пора, когда недавний мальчик становился взрослым. И в доме Ливерсов, где все пронизано было благоговейной духовностью, почудилось ему таинственное очарование. Что-то разлито в самом воздухе. Вот его матерью повелевает разум. А здесь что-то совсем иное, что-то влечет, покоряет, а в иные минуты отталкивает.

Мириам горячо заспорила с братом. Позднее, когда братья опять ушли, мать ей сказала:

— За обедом ты не оправдала моих надежд, Мириам.

Девушка потупилась. И вдруг, устремив на мать горящий взгляд, воскликнула:

— Они просто скоты!

— Но ведь ты обещала не пререкаться с ними, — сказала мать. — И я надеялась на тебя. Для меня невыносимо, когда вы бранитесь.

— Но они такие злые! — воскликнула Мириам, — и… и невежи.

— Да, дорогая. Но сколько раз я тебя просила не

возражать Эдгару? Пусть говорит, что хочет.

— Да с какой стати ему это позволять?

— Разве ты недостаточно сильна, чтобы вынести это, Мириам, ну хотя бы ради меня? Разве ты так слаба, что не можешь не пререкаться с ними?

Миссис Ливерс неколебимо держалась известной заповеди — что надлежит «подставлять другую щеку...». Внушить это сыновьям не удавалось. Дочери поддавались лучше, а Мириам была ее любимица. Мальчики возненавидели эту заповедь с первой же минуты, как ее услышали. У Мириам часто хватало гордости, чтобы подставить другую щеку. Тогда братья переставали ее замечать, она становилась им ненавистна. Но в своем гордом смирении она жила собственной внутренней жизнью.

В семье Ливерсов вечно ощущались несогласие и разлад. Хотя сыновья яростно бунтовали против вечных призывов к их глубинным чувствам — к покорности и гордому смирению, что-то все-таки проникало в их глухие души. Они не умели питать к постороннему обычные человеческие чувства, не умели завязать простую дружбу, но всегда беспокойно искали чего-то более глубокого. Обыкновенные люди казались им слишком

пустыми, незначительными и заурядными. И оттого самое простое общение с кем бы то ни было оказывалось для них непривычно, они становились мучительно неловки, страдали от этого и, однако, в своем высокомерии держались оскорбительно. Под этим скрывалась жажда душевной близости, но, лишенные всякой тонкости, они неспособны были ее достичь, и любой попытке к сближению препятствовало их неуклюжее презренье к другим людям. Неосознанно тоскуя по задушевному общению, они не умели даже просто подойти к кому-то ближе, оттого что считали для себя унизительным сделать первый шаг, считали унизительными те мелочи, из которых складываются обыкновенные человеческие отношения.

Пол был зачарован матерью семейства. Подле нее все обретало духовность, глубинный смысл. Она питала его ранимую, утонченную душу. Вместе они, казалось, извлекали из действительности самое существенное.

Мириам была истинной дочерью своей матери. В солнечные дни после обеда мать и дочь шли вместе с Полом в луга. Они искали птичьи гнезда. В живой изгороди у фруктового сада было гнездо королька.

— Мне очень хочется, чтоб ты его увидел, — сказала миссис Ливерс.

Пол нагнулся и осторожно сунул палец между колючками в круглый вход в гнездо.

— Там так тепло, будто попал пальцем внутрь живого тельца птахи, — сказал он. — Говорят, у птиц гнездо круглое как чашка, потому что они давят на него грудкой. Интересно, как же потолок делается круглым?

И для его спутниц гнездо словно сразу ожило. После этой прогулки Мириам каждый день ходила смотреть на него. Оно стало ей так близко. А однажды, идя как-то с девушкой вдоль живой изгороди, Пол углядел на краю канавы золотые узорчатые россыпи чистотела.

— Мне нравится, когда под солнцем лепестки у них отгибаются назад и делаются плоскими, — сказал он. — Они будто утюжат себя солнцем.

И с тех пор чистотел всегда притягивал ее своими скромными чарами. Это ее неосознанный антропоморфизм побуждал Пола так воспринимать увиденное, и таким оно потом и существовало для нее. Казалось, все сущее в мире начинало для нее существовать лишь после того, как вспыхивало в ее воображении или в душе. Глубинная религиозность отъединяла ее от обыденной жизни, и мир

в ее глазах был то прекрасен, как монастырский сад или рай, где нет места ни греху, ни знанию, то уродлив и жесток.

И вот из этой утонченной духовной близости, из свойственного обоим ощущения таинства природы родилась их любовь.

Сам Пол осознал это очень нескоро. После болезни ему пришлось долгих десять месяцев оставаться дома. На короткое время они с матерью съездили в Скегнесс, и там он был совершенно счастлив. Но даже с приморского курорта писал миссис Ливерс длинные письма о море и побережье. Он привез оттуда дорогие ему наброски плоского морского берега и очень хотел, чтобы мать с дочерью их увидели. Миссис Ливерс они были, пожалуй, интереснее, чем его матери. Для миссис Морел было важно не его искусство, а он сам и его достижения. Но миссис Ливерс и ее дети были, можно сказать, его почитателями. Они воспламеняли его, разжигали в нем стремление работать, тогда как его мать старалась воспитать в нем спокойную решительность, терпение, упорство, неутомимость.

Он вскоре сдружился с сыновьями миссис Ливерс, их грубость оказалась лишь видимостью. Если они чувствовали, что могут положиться

на человека, все они становились на удивление добрыми и славными.

— Пойдешь со мной на поле? — не без колебаний спросил после обеда Эдгар.

Пол пошел с радостью и полдня помогал другу то рыхлить землю тяпкой, то прореживать турнепс. Он часто забирался с братьями Ливерс на сеновал и рассказывал им про Ноттингем и про фабрику Джордана. В ответ они научили его доить и позволяли в свое удовольствие делать нетрудные работы — ворошить сено либо крошить турнепс. Среди лета он вместе с ними работал весь сенокос и вот тогда-то и полюбил их. Семья, в сущности, была отрезана от мира. Молодые Ливерсы чем-то напоминали «Les derniers fils d'line race epuisee».[10] Крепкие и здоровые, все они были чрезмерно уязвимы и робки и оттого одиноки, но уж если кто завоевывал их доверие, они оказывались надежными и чуткими друзьями.

До Мириам очередь дошла позднее. Но Пол вошел в ее жизнь еще прежде, чем она его отличила. Однажды в скучный послеобеденный час, когда мужчины были в поле, а младшие в школе

---

[10] Примечания: 10
последних сынов угасающего рода *(фр.).*

и дома оставались только Мириам с матерью, девушка, поколебавшись, сказала Полу:

— Ты качели видел?

— Нет, — ответил он. — А где?

— В коровнике, — ответила она.

Она всегда колебалась, прежде чем предложить или показать ему что-то. У мужчин и у женщин такие разные представления о том, что достойно внимания, и над многим, что ей мило, чем она дорожит, братья так часто потешались и насмехались.

— Тогда пойдем, — сказал Пол, вскочив.

На ферме было два коровника, слева и справа от амбара. Тот, что пониже и потемней, был рассчитан на четырех коров. Под недовольное кудахтанье потревоженных кур, взлетевших из кормушки, Пол и Мириам прошли к длинному толстому канату, который свисал с балки в темноте над головой и был закинут на крючок в стене.

— Это похоже на трос, — с одобрением воскликнул Пол. И сел на качели, ему не терпелось попробовать. Но тотчас встал.

— Садись покачайся первая, — сказал он девушке.

— Смотри, — сказала она, — мы кладем на сиденье мешки. — Что она и сделала, чтоб Полу было

удобнее. Приятно было об этом позаботиться. Он пока придерживал канат.

— Садись покачайся, — сказал он.

— Нет, я первая не сяду, — ответила Мириам.

И отступила в сторону, тихая, отрешенная.

— Почему?

— Садись ты, — взмолилась она.

Чуть ли не впервые в жизни ей выпало удовольствие уступить мужчине, побаловать его. Пол посмотрел на нее.

— Ну ладно, — сказал он, садясь. — Отойди-ка!

Он оттолкнулся, и вот уже летит по воздуху, чуть ли не прочь из коровника, ведь верх двери откинут, и виден мелкий дождь, грязный двор, понурый скот у черного навеса для повозок, а за всем этим серо-зеленая стена леса. Мириам стоит внизу в малиновом шотландском берете и смотрит на него. Он сверху глянул на нее, и она увидела, как блестят его голубые глаза.

— Замечательные качели, — сказал он.

— Да.

Он взлетал в воздух, каждая частица его взлетала, точно птица, что, упиваясь полетом, устремляется то вверх, то вниз. И сверху он смотрел на девушку. Из-под малинового берета выбиваются темные кудри, а прелестно зардевшееся лицо,

такое покойное, когда она задумчива, поднято к нему. Здесь темно и прохладно. Вдруг со стропил крыши слетела ласточка, метнулась к двери и выпорхнула наружу.

— Я и не знал, что тут сторожит птица, — воскликнул Пол.

Он качался, почти не прилагая усилий. Мириам чувствовала, как он поднимается, потом опускается в воздухе, будто его поддерживает какая-то сила.

— Теперь я умру, — сказал он бесстрастно, мечтательно, словно он сам и есть это замирающее движение качелей. Она смотрела на него завороженно. Вдруг он затормозил и соскочил наземь.

— Я долго качался, — сказал он. — Но качели замечательные… просто замечательные!

Девушку позабавило, что он так серьезно отнесся к развлечению и так доволен.

— Да нет, покатайся еще, — сказала она.

— А ты что ж, не хочешь? — удивился Пол.

— Да не очень. Покачаюсь самую малость.

Она села, а он придержал для нее мешки на сиденье.

— Это так здорово! — сказал он, толкнув качели. — Только подбери ноги, а то ушибешься о кормушку.

Она почувствовала, с какой точностью он подтолкнул ее, в самый подходящий миг, как верно рассчитал силу толчка, и испугалась. Горячая волна страха затопила все ее существо. Она у него в руках. Опять в самый подходящий миг уверенно и неотвратимо он ее подтолкнул. Почти теряя сознание, она вцепилась в канат. И от страха засмеялась. Крикнула:

— Выше не надо!

— Но ты вовсе невысоко, — возразил Пол.

— Но выше не надо.

Он услышал в ее голосе страх и остановился. Подошел миг, когда он должен был опять подтолкнуть качели, и сердце Мириам затопила жаркая боль. Но Пол не качнул. И девушка перевела дух.

— Ты правда не хочешь посильней? — спросил он. — Может, я тебя подержу?

— Нет, лучше я сама покачаюсь, — ответила Мириам.

Он отошел и стал смотреть со стороны.

— Да ведь ты еле двигаешься, — сказал он.

Она сконфуженно засмеялась и почти сразу сошла с качелей.

— Говорят, кто умеет качаться на качелях, тот не будет страдать морской болезнью, — сказал

Пол и вновь уселся на качели. — У меня уж наверняка никогда не будет морской болезни.

И он стал раскачиваться. Что-то в нем ее восхищало. Вот он уже слился воедино с взмывающими и ухающими вниз качелями, весь он, всеми своими фибрами в полете. Ни ей, ни братьям ее не дано такое самозабвенье. А сейчас оно опалило и ее. Как будто, проносясь в воздухе, Пол уподобился пламени и зажег огонь у нее в груди.

И постепенно близость с этой семьей обратилась для Пола в близость с тремя ее членами — с матерью, Эдгаром и Мириам. К матери его влекло то сочувствие и та притягательная сила, которая помогала ему изливать душу. Эдгар стал его закадычным другом. А к Мириам он более или менее снисходил, такой она казалась смиренной.

Но девушка постепенно завоевывала его внимание. Если он приносил свой альбом с набросками, она, а не кто другой, дольше всех раздумывала над последним его рисунком. Потом глянет на него. И вдруг темные глаза ее засветятся, точно воды во тьме, взбаламученные золотой струей, и она спросит:

— Почему мне это так нравится?

И всякий раз от ее пристального, проникающего в душу слепящего взгляда у него перехватывало

дыхание.

— Так почему же? — спрашивал он.

— Не знаю. По-моему, тут сама правда.

— Это оттого… оттого что здесь почти нет определенных очертаний; все зыбко, словно бы я рисовал зыбкое вещество листьев и всего прочего, а не жесткую форму. Определенность мне кажется мертвой. Только вот такая зыбкость и есть подлинная жизнь. Форма это мертвая корка. Истинная сущность зыбка.

И Мириам, прикусив мизинец, размышляла над его словами. Они опять давали ей ощущение жизни, наполняли смыслом то, что прежде ничего для нее не значило. Она ухитрялась найти некую суть в словах, которые он с трудом подбирал для слишком отвлеченных мыслей. Через его речи она постигала то, что ею любимо в вещном мире.

На другой день Мириам сидела на солнышке, а Пол писал сосны, освещенные красным, ослепительным закатным светом. Он работал молча.

— Ага, вот оно! — вдруг сказал он. — Это мне и надо. Теперь посмотри и скажи, что здесь — стволы сосен или возносятся вверх раскаленные уголья, рассекает тьму летучий огонь? Вот вам неопалимая купина, она вовеки не сгорит.

Мириам посмотрела и испугалась. Но почувствовала: стволы сосен великолепны и совсем как живые. Пол закрыл ящик с красками и встал. Вдруг внимательно посмотрел на Мириам.

— Почему ты всегда печальная? — спросил он.

— Печальная? — воскликнула она, испуганно вскинув на него чудесные карие глаза.

— Да, — ответил он. — Ты всегда, всегда печальная.

— Да нет… да ни чуточки! — возразила она.

— Но даже твоя радость будто пламя, рожденное печалью, — настаивал Пол. — Ты никогда не бываешь веселая или даже просто довольная.

— Правда, не бываю, — подумав, сказала Мириам. — А интересно, отчего.

— Оттого что не бываешь, оттого что внутри ты, как сосна, другая, а потом сразу вспыхиваешь, ты не как обыкновенное дерево, у тех просто листья все время трепыхаются и веселые…

Он запутался в собственных словах, но Мириам надолго задумалась над ними, а в Поле встрепенулось что-то незнакомое, показалось, он все стал чувствовать по-новому. Мириам стала ему так близка. И от этого все странно преобразилось.

А иногда он ее ненавидел. Ее младшему братишке было всего пять лет. Он был болезненный

малыш, с огромными карими глазами на необычном хрупком личике — один из «Хора ангелов» Рейнолдса,[11] но было в нем и что-то от эльфа. Мириам часто опускалась на колени и крепко его обнимала.

— Хьюберт, мой Хьюберт! — почти пела она, голос ее звенел безмерной любовью. — Хьюберт, мой Хьюберт!

И, словно баюкая братишку, тихонько покачивалась с ним, лицо ее, озаренное любовью, было приподнято, глаза полузакрыты, голос источал любовь.

— Не надо! — смущенно говорил малыш. — Не надо, Мириам!

— Да-да, ты меня любишь, правда? — бормотала она глубоким гортанным голосом, словно в трансе, и раскачивалась, словно забылась в любовном исступлении.

— Не надо! — повторял малыш, чистый детский лоб прорезала морщинка.

— Ты меня любишь, ведь правда? — бормотала сестра.

— Ну чего ты с ним так носишься? — воскликнул однажды Пол, страдая от неумеренности ее

---

[11] Примечания: 11
Рейнолдс Джошуа (1723–1792) — английский художник.

чувства. — Почему ты не можешь обращаться с ним просто?

Мириам опустила малыша, поднялась, но не сказала ни слова. Присущая ей душевная безудержность, перехлестывающая обычные пределы, приводила Пола в бешенство. Эта бесстыдная обнаженность чувств, прорывающихся по пустякам, коробила его. Он привык к сдержанности своей матери. И в подобные минуты он всей душой, всем сердцем благодарил судьбу, что его мать такая разумная и здравомыслящая.

Внутренняя жизнь Мириам отражалась в ее глазах; обычно темные, темные как храм, они вдруг вспыхивали, словно от пожара. Лицо ее почти неизменно оставалось задумчиво-сосредоточенным. Она могла бы быть одной из тех женщин, что пошли с Марией, когда умер Христос. Тело ее не отличалось гибкостью и живостью движений. Ходила она враскачку, довольно тяжело, в раздумье опустив голову. Она не была неловкой, но почему-то казалось, в каждом ее движении что-то не так. Вытирая посуду, она часто застывала в растерянности, огорченная, оттого что прямо в руках у нее распалась надвое чашка или стакан для вина. Должно быть, от страха и недоверия к себе она вложила в нехитрую работу излишне

много силы. Ей не хватало свободы, непринужденности. Все было сковано ее неумеренностью, избытком силы, не имеющей выхода.

Походка ее почти всегда оставалась чересчур напряженной, стремительной, враскачку. Иногда они с Полом бегали по лугу. Тогда в глазах ее сверкало что-то безудержное, исступленное, и Пола это пугало. Но при этом она была трусиха. Если надо было перелезть через изгородь, она теряла самообладание и в испуге хваталась за его руки. Ему не удавалось уговорить ее спрыгнуть даже с пустячной высоты. Глаза ее расширялись, полные откровенного страха, и веки трепетали.

— Нет! — восклицала она, смеясь и ужасаясь, — нет!

— Да прыгни же! — крикнул он однажды, дернул ее вперед, и она упала с изгороди.

Но ее «Ах!», громкий крик боли, словно она теряет сознание, ранил Пола. Она благополучно опустилась на ноги, и потом у нее уже хватало для этого храбрости.

Она была очень недовольна своей долей.

— Тебе разве не нравится дома? — с удивлением спросил Пол.

— А кому бы понравилось? — ответила она негромко, но горячо. — Что это за жизнь? Я уби-

раю весь день, а братья в пять минут все опять перепачкают и раскидают. Не хочу я сидеть дома.

— Чего ж ты хочешь?

— Хочу что-нибудь делать. Хочу попытать счастья, как все. Почему, если я девушка, меня надо держать дома и не давать никакого ходу? Разве сидя дома я могу попытать счастья?

— Попытать счастья в чем?

— Что-то узнать, учиться, что-то делать. Это ж несправедливо, все потому, что я женщина.

Пол удивился, — с такой горечью она говорила. У него дома Энни, похоже, только радовалась, что она девушка. Меньше ответственности, беззаботней. Ее вполне устраивало, что она не мужчина. А Мириам яростно об этом жалеет. И при всем этом ненавидит мужчин.

— Но это ж все равно — что быть мужчиной, что женщиной, — нахмурился Пол неодобрительно.

— Ха! Разве? Мужчинам дано все.

— По-моему, женщины должны быть довольны, что они женщины, а мужчины — что они мужчины, — сказал Пол.

— Нет! — Мириам покачала головой, — нет! Все дано мужчинам.

— Но чего ты хочешь? — спросил он.

— Хочу учиться. Почему должно быть так, что я ничего не знаю?

— Что? Скажем, математику или французский?

— А почему мне нельзя знать математику? Да! — воскликнула она, глаза ее стали еще огромнее, в них вспыхнул вызов.

— Ну, ты можешь узнать столько, сколько знаю я, — сказал Пол. — Если хочешь, я тебя научу.

Глаза у нее раскрылись еще шире. Какой из него учитель?!

— Согласна? — спросил он.

Она опустила голову, в раздумье пососала палец.

— Д-да, — нерешительно ответила она.

По обыкновению, он и об этом рассказал матери.

— Я хочу учить Мириам алгебре, — сказал он.

— Что ж, надеюсь, ей это пойдет на пользу, — ответила миссис Морел.

Когда в понедельник вечером он пришел на ферму, сгущались сумерки. Мириам как раз подметала кухню и в эту минуту опустилась на колени перед очагом. Все ушли, она была дома одна. Она обернулась к Полу, вспыхнула, темные глаза блестели, прекрасные волосы упали на

лицо.

— Привет! — мягко, певуче сказала она. — Я знала, что это ты.

— Откуда?

— Я знаю твои шаги. Никто не ступает так быстро и твердо.

Пол со вздохом сел.

— Алгеброй готова заняться? — спросил он, доставая из кармана небольшую книжку.

— Но…

Он почувствовал, что она отступает.

— Ты сказала, что хочешь, — упорствовал он.

— Прямо… прямо нынче вечером? — с запинкой спросила Мириам.

— Но я нарочно для этого пришел. И если ты хочешь учить алгебру, надо же когда-нибудь начать.

Она собрала золу в совок, посмотрела на Пола, опасливо засмеялась.

— Да, но прямо нынче! Понимаешь, я этого не ждала.

— О Господи! Кончай с золой и приходи.

Он вышел и сел на каменную скамью на задворках, где проветривались наклонно поставленные большие бидоны для молока. Мужчины были в коровниках. Слышалось, как тоненько звенят,

падая в ведра, струйки молока. Вскоре вышла Мириам с большими зеленоватыми яблоками.

— Такие ты любишь, — сказала она.

Пол откусил кусочек.

— Садись, — сказал он с набитым ртом.

Мириам была близорука и заглядывала ему через плечо. Пола это раздражало. И он сразу отдал ей книгу.

— Вот, — сказал он. — Это просто буквы для обозначения цифр. Буква «а» ставится вместо двойки или шестерки.

Они занимались, Пол говорил, а Мириам, опустив голову, смотрела в книгу. Он объяснял быстро, торопливо. Она молчала. Изредка он спросит — «Поняла?» — а она в ответ только вскинет на него глаза, широко раскрытые, словно бы смеющиеся, но больше испуганные.

— Неужели не поняла? — восклицает тогда Пол.

Он чересчур спешил. Но Мириам ничего не говорила. Он опять ее спрашивал, потом его бросило в жар. Он видел — девушка, так сказать, просит пощады, рот у нее приоткрыт, глаза расширены смехом, в котором и страх, и виноватость, и стыд, и его взяло зло. Но тут появился Эдгар с двумя ведрами молока.

— Привет, — сказал он. — Чего делаете?

— Алгеброй занимаемся, — ответил Пол.

— Алгеброй! — с любопытством повторил Эдгар. И, смеясь, пошел дальше.

Пол куснул забытое яблоко, глянул на жалкую, сплошь исклеванную курами, похожую на кружева капусту, и ему захотелось ее повыдергать. Потом посмотрел на Мириам. Она углубилась в учебник, казалось, поглощена им и, однако, дрожит от страха, что не поймет. Пол рассердился. Она в эти минуты раскраснелась, похорошела. Но, похоже, всей душой молила о снисхождении. Съежившись, чувствуя, что он недоволен, она закрыла учебник. Пол мгновенно смягчился, увидел — ее мучит, что она не поняла объяснений.

Но ученье давалось ей туго. И когда перед уроком она брала себя в руки и казалась такой смиренной, Пол злился. Он кричал на нее, потом ему делалось стыдно, он продолжал урок и опять злился и ругательски ее ругал. Она слушала молча. Иногда, очень редко, защищалась. Сердито смотрела на него влажными темными глазами.

— Ты не даешь мне времени вникнуть, — говорила она.

— Ладно, — отвечал он, кидал учебник на стол и зажигал сигарету. Потом, немного погодя, в

раскаянии возвращался к ней. Так шли эти уроки. Всякий раз Пол был то в бешенстве, то очень кроток.

— Ну, чего у тебя душа уходит в пятки? — кричал он. — Ведь не твоей драгоценной душой ты учишь алгебру. Неужели нельзя просто-напросто пустить в ход мозги?

Бывало, когда он после этих занятий заходил в кухню, миссис Ливерс с упреком посмотрит на него и скажет:

— Не будь так суров с Мириам, Пол. Она, возможно, не очень способная, но, конечно же, старается.

— Я ничего не могу с собой поделать, — отвечал он жалобно. — Я срываюсь.

— Ты ведь не обижаешься на меня, Мириам? — спрашивал он потом.

— Нет, — уверяла она его своим глубоким красивым голосом, — нет, не обижаюсь.

— Не обижайся, такой уж я уродился.

Но помимо своей воли он опять начинал на нее злиться. Странно, никто никогда не доводил его до такого бешенства. Он выходил из себя. Однажды швырнул ей в лицо карандаш. Стало тихо. Она отвернула голову.

— Я не… — начал Пол и умолк, чувствуя сла-

бость во всем теле.

Мириам никогда его не упрекала, никогда на него не сердилась. И нередко он сгорал от стыда. Но опять в нем вскипал гнев, бил ключом; и опять, когда он видел ее напряженное, безответное, чуть ли не бессмысленное лицо, ему хотелось запустить в это лицо карандаш; и все же, когда он видел, что у нее дрожит рука и в муке приоткрыт рот, опять сердце его обжигала боль за нее. И оттого, какие неистовые чувства она в нем будила, его к ней тянуло.

Но нередко он ее избегал и уходил с Эдгаром. Мириам и Эдгар по самой природе своей были полной противоположностью друг другу. Эдгар был рационалист с пытливым умом и смотрел на жизнь с почти научным интересом. Мириам было отчаянно горько, что Пол предпочитает ей Эдгара, ведь она ставила старшего брата куда ниже. Но Пол был с Эдгаром поистине счастлив. Они проводили вдвоем послеобеденные часы в поле или, если шел дождь, плотничали в сарае. Они болтали или Пол учил Эдгара песням, услышанным от Энни, когда она напевала, сидя за фортепиано. А часто все мужчины, с ними и мистер Ливерс, ожесточенно спорили о национализации земли и о подобных вопросах. Пол

уже раньше слышал мнение матери на этот счет, пока разделял его и потому отстаивал. Мириам присутствовала при этих разговорах и участвовала в них, но все время ждала, когда они кончатся и можно будет поговорить с одним Полом.

«В конце концов, — думала она, — если земли национализируют, Эдгар, и Пол, и я все равно от этого ни капли не изменимся». И она ждала, когда Пол к ней вернется.

Он занимался живописью, совершенствуясь в своем искусстве. Он любил вечерами сидеть дома наедине с матерью и работать, работать. Она шьет или читает. А он оторвется от своего дела, взглянет на лицо матери, освещенное живым теплом, и, довольный, вернется к своей работе.

— Ма, мои самые лучшие вещи получаются, когда ты сидишь рядом в качалке, — сказал он.

— А как же! — воскликнула она, будто не веря. Но чувствовала, что сын говорит правду, и сердце ее трепетало в радостной надежде. Многие часы она сидела молча, едва помня, что он трудится тут же, и работала или читала. А он, всем напряжением души направляя карандаш, ощущал в себе, словно прилив новых сил, ее сердечное тепло. То были счастливейшие часы для них обоих, и оба этого не сознавали. Этими вечерами,

что так много значили для них и составляли их истинную жизнь, они не очень-то и дорожили.

Он сознавал, что вышло из-под его рук, только если его одобряли. Закончив зарисовку, он всегда спешил показать ее Мириам. И лишь потом, услыхав слова одобрения, понимал, что же он написал, сам того не сознавая. В общении с Мириам он обретал проницательность; он начинал видеть глубже. У матери он черпал жизненное тепло, силу творить; Мириам стократ умножала тепло, и оно обращалось в свет ясного суждения.

Пол вернулся на фабрику, и теперь ему там стало легче. По средам — благодаря миссис Джордан — его среди дня отпускали с работы на занятия в Школу искусств, и возвращался он уже вечером. А по четвергам и пятницам фабрика теперь закрывалась не в восемь, а в шесть.

Однажды летним вечером они с Мириам возвращались из библиотеки и шли лугом мимо фермы Херода. До Ивовой фермы было всего три мили. Над скошенной травой стояло желтое зарево и темно-красным светом горел цветущий щавель. Постепенно, пока они шли по нагорью, золотое небо на западе покраснело, потом стало малиновым, а потом это зарево сменила холодная синева.

Они вышли на большую дорогу, ведущую к Олфретону, она белела меж лугов, на лугах сгущалась тьма. Здесь Пол заколебался. Ему оставалось до дома две мили, а Мириам на милю дальше. Оба посмотрели на дорогу, бегущую в тени под закатным северо-западным небом. Над гребнем холма на фоне неба чернели застывшие дома Селби и торчали верхушки копров.

Пол посмотрел на часы.

— Девять! — сказал он.

Они стояли, прижимая к себе книги, и обоим не хотелось расставаться.

— Роща сейчас такая красивая, — сказала Мириам. — Вот бы ты поглядел.

Медленно, вслед за нею, он перешел через дорогу, к белой калитке.

— Дома так ворчат, если я запаздываю, — сказал он.

— Но ты же ничего плохого не делаешь, — с досадой возразила Мириам.

Он пошел за нею по укрытому сумерками пощипанному выпасу. В роще охватила прохлада, полутьма, пахло листвой, жимолостью. Они шли молча. В этот вечерний час здесь, среди множества темных стволов, было чудесно. В предвкушении чего-то Пол огляделся.

Мириам хотела показать ему куст шиповника, который заметила прежде. Она знала, куст чудесный. И однако, пока его не увидел Пол, это чудо, казалось, еще не проникло ей в душу. Только Пол может подарить ей эту красоту навсегда. А пока душе чего-то не хватает.

На дорожки уже пала роса. В старой дубовой роще поднимался туман, и Пола взяло сомнение: то ли впереди белесая прядь тумана, то ли просто белеет облачко цветущих хлопушек.

К тому времени, как они подошли к соснам, Мириам уже снедало нетерпение и она была как натянутая струна. А вдруг ее куст исчез. Вдруг она не сумеет его найти, а так хочется! Так страстно мечтала она быть с Полом, когда он остановится перед кустом шиповника. Им предстоит вместе приобщиться чему-то, что вызывает в ней трепет, чему-то святому. В молчании он шел рядом. В эти минуты они были очень близки друг другу. Мириам дрожала, и Пол в смутной тревоге к ней прислушивался.

Дойдя до края рощи, они увидели впереди перламутровое небо и темнеющую землю. Откуда-то с опушки соснового леса повеяло ароматом жимолости.

— Куда теперь? — спросил Пол.

— По средней тропинке, — пробормотала она, вся дрожа.

Но вот тропинка круто свернула, и Мириам остановилась как вкопанная. Со страхом смотрела в широкий просвет меж сосен и в первые мгновенья ничего не могла разобрать: сумрак поглотил все краски. Потом она увидела свой куст.

Она охнула, кинулась к нему.

Куст стоял, не шелохнувшись. Высокий, раскидистый. Ветви его протянулись над боярышником. Длинные гибкие ветки, щедро усыпанные сверкающими во тьме крупными белыми звездами, частой завесой опустились до самой травы. Бутоны, словно выточенные из слоновой кости, и широко раскрывшиеся звезды цветов мерцали среди темной листвы, ветвей и трав. Пол и Мириам стояли плечо к плечу и молча смотрели. Миг за мигом казалось, из темноты выступают еще и еще цветы, и словно от этих светочей что-то разгоралось в душах юноши и девушки. Сумерки клубились вокруг них, точно дым, но сияние цветов все равно не гасло.

Пол заглянул в глаза Мириам. Она была бледна, вся в ожидании чуда, рот приоткрыт, черные глаза устремлены на него. Его взгляд, казалось, проникал в самую душу ее существа. И душа тре-

петала. Вот оно общение, которого она жаждала. Пол отвернулся, словно испытывал боль. Опять повернулся к кусту.

— Они порхают будто бабочки и отряхиваются, — сказал он.

Мириам посмотрела на цветы. Они были белые, одни скромно, благочестиво полузакрытые, другие самозабвенно распахнутые. Куст темный, будто тень. Мириам невольно протянула руку к цветам; подошла, благоговейно дотронулась.

— Пойдем, — сказал Пол.

В воздухе стоял прохладный аромат бледных цветов — чистый, девственный аромат. Отчего-то Полу стало тревожно, показалось, будто он узник. Они шли в молчании.

— До воскресенья, — негромко сказал Пол и свернул к дому; Мириам медленно пошла своей дорогой, чувствуя, что душа радуется благочестивости этой ночи. Пол, спотыкаясь, брел по тропинке. И как только он вышел из лесу на открытый луг, где можно было дышать, кинулся бежать со всех ног. Будто восхитительное исступленье поднялось в нем.

Всякий раз, как он гулял с Мириам и задерживался допоздна, он знал, его мать волнуется и сердится на него, а почему, не понимал. Он вошел

в дом, кинул кепку, а мать посмотрела на часы. До прихода сына она сидела в раздумье, глаза быстро уставали читать. Она чувствовала, эта девушка уводит от нее Пола. И не любила Мириам. «Девчонка из тех, кто высасывает душу мужчины до донышка, вконец его опустошит, — думалось ей, — а он-то простофиля, как раз и позволит себя проглотить. Не даст она ему стать зрелым мужчиной, нипочем не даст». Так что пока Пол бродил с Мириам, миссис Морел все больше себя взвинчивала.

Она посмотрела на часы и сказала холодно, устало:

— Ты нынче вечером далеко ходил.

Душа его, согретая и распахнувшаяся от встречи с Мириам, съежилась.

— Ты, верно, успел побывать у нее дома, — продолжала мать.

Полу не хотелось отвечать. Миссис Морел бросила на него быстрый взгляд, увидела, что волосы у него на лбу влажные от спешки, увидела, что он обижен и по обыкновению сердито хмурится.

— Наверно, она уж очень обворожительна, то-то ты не мог с ней расстаться, в такой поздний час тащился за нею восемь миль.

Он разрывался между еще не рассеявшимися

чарами прогулки с Мириам и сознанием, что мать волнуется. Решил было молчать, не отвечать ни слова. Но не смог ожесточиться в сердце своем и пренебречь матерью.

— Я и правда люблю с ней разговаривать, — с досадой ответил он.

— А больше тебе разговаривать не с кем?

— Гулял бы я с Эдгаром, ты бы слова не сказала.

— Сказала бы, и ты это знаешь. Знаешь, что с кем бы ты ни пошел, я скажу — после того, как ты ездил в Ноттингем, в такой поздний час это для тебя слишком далеко. И потом, — в голосе ее вдруг вспыхнули гнев и презренье, — это отвратительно… ухаживанья парней и девиц.

— Никакое это не ухаживанье! — крикнул Пол.

— Не знаю, как еще ты это называешь.

— Не ухаживанье это! Думаешь, мы крутим любовь и все такое? Мы просто разговариваем.

— Невесть до какого часу и в какой дали, — съязвила она в ответ.

Сердито, рывком Пол схватился расшнуровывать башмаки.

— Отчего ты так злишься? — спросил он. — Просто ты ее невзлюбила.

— Вовсе не невзлюбила. Просто мне не нра-

вится, когда дети увиваются друг за другом, и никогда не нравилось.

— Но ты же не против, когда Энни уходит с Джимом Ингером.

— Они разумнее вас обоих.

— Почему?

— Наша Энни не из этих, кто себе на уме.

Пол не понял, что она имела в виду. Но лицо у матери было усталое. После смерти Уильяма она так и не оправилась, и глаза стали болеть.

— Знаешь, — сказал он, — на природе так славно. Мистер Слит справлялся о тебе. Сказал, он по тебе соскучился. Тебе немножко лучше?

— Мне надо было уже давным-давно лежать в постели, — ответила она.

— Да что ты, мама, сама знаешь, ты бы не легла раньше четверти одиннадцатого.

— Еще как легла бы!

— Ну, мамочка, когда ты мной недовольна, ты чего только не наговоришь!

Он поцеловал ее в лоб, так хорошо знакомый: глубокие морщины меж бровей, зачесанные назад красивые седеющие волосы, что гордо обрамляют виски. Поцеловав мать, он не сразу снял руку с ее плеча. Потом медленно пошел ложиться. Он уже не помнил про Мириам, видел только

зачесанные кверху седеющие волосы над высоким лбом матери. Странно, почему она уязвлена.

При следующей встрече с Мириам он сказал:

— Не давай мне сегодня задерживаться… не поздней, чем до десяти. Моя мама так из-за этого расстраивается.

Мириам задумчиво опустила голову. Спросила:

— Почему она расстраивается?

— Она говорит, когда мне рано вставать, я не должен возвращаться поздно.

— Хорошо, — довольно спокойно, лишь чуть насмешливо сказала Мириам.

Пол обиделся. Но опять задержался допоздна.

Ни Пол, ни Мириам не признали бы, что между ними какая-то там любовь. Для подобной сентиментальности он считал себя слишком здравомыслящим, а она себя — слишком возвышенной. Оба они взрослели с опозданием, и психологическое созревание намного отставало даже от физического. Мириам, как и ее мать, была сверх меры чувствительна. Малейшая вульгарность отталкивала ее, коробила до боли. Братья были неотесанны, но на язык не грубы. Дела фермы все мужчины обсуждали вне стен дома. Однако, быть может, из-за постоянных рождений и зачатий, которые естественны на каждой ферме, Мириам

относилась к этому с особой настороженностью, и малейший намек на возможность подобных отношений леденил ей кровь, вызывал чуть ли не отвращенье. Пол перенял это у нее, и их близость была совершенно невинная, лишенная живых красок жизни. Упомянуть, что кобыла вот-вот ожеребится, и в мысль не приходило.

В девятнадцать лет Пол зарабатывал всего двадцать шиллингов, но был счастлив. Занятия живописью шли хорошо, и вообще жилось неплохо. В Страстную пятницу он затеял прогулку в Хемлок-стоун. Пошли трое его сверстников, а еще Энни и Артур, Мириам и Джеффри. Артур был учеником электрика в Ноттингеме, но праздник проводил дома. Морел, как обычно, спозаранку был на ногах и, посвистывая, пилил во дворе. В семь часов семья услышала, что он накупил горячих булочек с изображением креста по три пенни за штуку; он превесело болтал с девочкой, которая их принесла, и называл ее «милочка». Он отослал нескольких мальчишек, предлагавших еще булочки, объясняя, что их «обошла» девочка. Потом поднялась миссис Морел, и семья вразброд потянулась вниз. Какая же это роскошь для каждого вот так, посреди недели, поваляться в постели и встать поздней обычного. Пол и Артур

до завтрака читали и завтракали, не умывшись, без курток. Еще одна праздничная роскошь. В комнате тепло. И никаких забот и тревог. В доме ощущался достаток.

Пока сыновья читали, миссис Морел прошла в сад. Они теперь жили в другом доме, старом, недалеко от их прежнего на Скарджил-стрит, откуда съехали вскоре после смерти Уильяма. И тотчас из сада раздался крик:

— Пол, Пол! Иди сюда, смотри!

То был голос матери. Он отбросил книгу и вышел. Сад был длинный, протянулся до поля. День стоял серый, холодный, со стороны Дербишира дул резкий ветер. За полем беспорядочно громоздились крыши Бествуда, а над всем этим возвышалась церковь и шпиль церкви конгрегационалистов. А еще дальше леса и холмы, до смутно сереющих на горизонте вершин Пеннинских гор. Пол посмотрел в сад, поискал глазами мать. Вот над молодыми кустами смородины показалась ее голова.

— Иди сюда! — позвала она.

— Зачем? — отозвался он.

— Подойди, увидишь.

Она пришла посмотреть на почки на кустах смородины. Пол направился к ней.

— Подумать только, ведь я могла никогда их не увидеть! — сказала она.

Сын подошел. Под забором, на маленькой клумбе, Перепутались жалкие листочки, какие всегда тянутся из молодых луковиц, и тут же цвели три пролески. Миссис Морел показала Полу на густо-синие цветы.

— Ты только посмотри на них! — воскликнула она. — Я глядела на почки смородины, а потом говорю себе: «Что-то там такое синее, может, пакет от сахара?», и вот видишь! Пакет от сахара! Три пролески, и такие красавицы! Но откуда они тут взялись?

— Не знаю, — сказал Пол.

— Но это же просто чудо! Я-то думала, что знаю в этом саду каждую былинку и каждую сорную травку. А как они хорошо тут пристроились, правда? Видишь, крыжовенный куст их прикрывает. Ничто их не повредило, не тронуло!

Пол присел на корточки, повернул маленькие синие колокольчики.

— Какой чудесный синий цвет! — сказал он.

— Еще бы! — воскликнула миссис Морел. — Наверно, они родом из Швейцарии, говорят, там цветы чудесные. Представляешь, каковы они среди снега! Но откуда они тут взялись? Неужели

их занесло ветром?

И тут Пол вспомнил, что высадил однажды в этом месте горсть жалких луковичек.

— И ничего мне не сказал.

— Нет, я думал, подожду, может, расцветут.

— Вот видишь, что получилось! Вдруг бы я их не заметила. И ведь у меня в саду никогда в жизни не росла пролеска.

Миссис Морел была в восторге, просто ликовала. Сад всегда дарил ей радость. Пол был счастлив за мать, наконец-то она живет в доме, где сад протянулся до самого поля. Каждое утро, после завтрака, она выходила и с удовольствием там бродила. Она и вправду знала там каждую былинку и каждую сорную травку.

Все готовы были отправиться на прогулку. Запаслись едой, и веселая, радостная компания двинулась в путь. У мельницы они перегнулись через стену, с одного конца желоба, по которому мчался поток, бросили в воду листок бумаги и увидели, как его вынесло с другого конца. На станции Эллинг они постояли на пешеходном мостике, перекинутом через пути, полюбовались холодным мерцаньем металла.

— Вы бы видели, как в половине шестого здесь проносится Летучий шотландец! — сказал Лео-

нард, у которого отец был стрелочником. — Ого, как трубит!

И все посмотрели на рельсы — в сторону Лондона, потом в сторону Шотландии, и всех словно коснулось дыхание этих двух сказочных краев.

В Илкестоне перед пивными толпились углекопы, в ожидании когда откроются двери. Тут повсюду царили безделье и праздность. Над Стентон-гейтским литейным цехом вспыхивало пламя. Что ни попадалось на глаза, вызывало в компании Пола споры и разговоры. В Трауэлле они вернулись из графства Дербишир в Ноттингемшир. К Хемлок-стоуну подошли в час обеда. На поле полно было народу из Ноттингема и Илкестона.

Они ожидали увидеть древний и величественный памятник. А оказалось, просто кривой и кособокий обломок скалы, что-то вроде гнилого гриба, одиноко торчит на краю поля. Леонард и Дик сразу принялись вырезать на старом красном песчанике свои инициалы «Л.У.» и «Р.П.», но Пол удержался, он читал в газете язвительные замечания о любителях вырезать свои имена, не умеющих найти иной путь в бессмертие. Потом вся мужская часть компании полезла на скалу, чтобы сверху обозреть окрестности.

Внизу, на поле, повсюду закусывали или веселились фабричные парни и девушки. Дальше виден был сад старого поместья. Его окружала живая изгородь из тиса, по краям газона густо росли желтые крокусы.

— Смотри, — сказал Пол, обращаясь к Мириам. — Какой покой в этом саду!

Она увидела темные тисы и золотые крокусы и с благодарностью подняла глаза на Пола. В окружении всех остальных он, казалось, не принадлежал ей, он был сейчас другой, — не тот ее Пол, который понимал малейшее движение сокровенных глубин ее души, но незнакомец, кто разговаривает на чужом ей языке. Как это больно, даже перестаешь замечать, что тебя окружает. Но вот он вновь к ней вернулся, отбросив свое иное, менее значительное, как ей казалось, «я», и она опять ожила. Ведь он попросил ее посмотреть на этот сад, захотел восстановить их близость. Недовольная происходящим на поле, Мириам повернулась к тихому газону, окруженному густо растущими замкнутыми крокусами. И ощутила покой, чуть ли не блаженство. Будто они с Полом очутились совсем одни в этом саду.

Потом он опять ее оставил и присоединился к остальным. Скоро отправились домой. Мириам

одиноко плелась позади всех. Она не вписывалась в эту компанию; очень редко у нее завязывалось с кем-либо хоть подобие дружбы — единственным ее другом, товарищем, возлюбленным была Природа. Она видела, как устало садится солнце. В темнеющих, холодных живых изгородях кое-где виднелись красные листья. Она задерживалась и собирала их с нежностью, со страстью. Кончики пальцев, движимые любовью, поглаживали их, страсть, заполнившая сердце, их грела.

И вдруг Мириам осознала, что она одна на незнакомой дороге, и заторопилась. За поворотом она увидела Пола; он склонился над чем-то в сосредоточенном, упорном, терпеливом и, кажется, безнадежном раздумье. Мириам замешкалась, присматриваясь.

Пол все стоял посреди дороги, чем-то поглощенный. Позади него яркий солнечный луч, прорезавший обесцвеченный серый вечер, казалось, выхватил его темный силуэт. Он стоял гибкий и собранный, и заходящее солнце словно подарило его ей. Острой болью поразило Мириам внезапное прозрение — ей суждено его полюбить. И она постигла его, постигла в нем редкое богатство, постигла его одиночество. Трепеща, будто при некоем «благовещении», она медленно

пошла к нему.

Он наконец поднял глаза.

— Как? — воскликнул он с благодарностью, — ты меня ждала!

В глазах его залегла глубокая тень.

— Что случилось? — спросила она.

— Вот, пружина сломана, — и он показал, где поврежден его зонтик.

Мгновенно, пристыженная, она поняла, что зонтик сломал не он, виноват ее брат Джеффри.

— Это ведь просто старый зонтик, правда? — спросила она.

Странно, почему он, который обычно не расстраивался из-за пустяков, делает сейчас из мухи слона.

— Но это был зонтик Уильяма, и мама непременно узнает, — негромко сказал он, все еще терпеливо стараясь починить зонтик.

Его слова пронзили Мириам. Да, значит, правильно она его понимает! Она посмотрела на него. Но ощутила его сдержанность и не посмела его утешать, не решилась даже мягко заговорить.

— Пойдем, — сказал Пол. — Ничего у меня не получается. — И они молча пошли по дороге.

В тот же вечер они прогуливались под деревья-

ми у Нижнего луга. Пол заговорил лихорадочно, будто пытался убедить самого себя.

— Знаешь, — с трудом произнес он, — если любишь кого-то, то и он любит.

— Да, — отвечала Мириам. — Так мне мама говорила, когда я была маленькая: «Любовь порождает любовь».

— Вот и по-моему, что-то в этом роде непременно должно быть.

— Надеюсь, — сказала она. — Ведь если не так, любовь могла бы стать просто пыткой.

— Да, но так и есть… по крайней мере для большинства людей, — сказал Пол.

И Мириам, подумав, что он успокоился, почувствовала свою силу. Ту неожиданную встречу с ним на дороге она всегда считала откровением. А этот разговор запечатлелся в ее душе слово в слово, точно некий закон.

Теперь она была за него и для него. Когда примерно в эту пору он задел честь семейства Ливерсов какими-то высокомерно-обидными словами, она вступилась за него, уверенная, что он прав. И в эту пору ей снились про него сны, живые, незабываемые. Позднее сны эти повторились, но стали психологически утонченней.

В пасхальный понедельник та же самая компа-

ния отправилась на экскурсию в замок Уингфелд. Среди суеты праздничной толпы, взбудораженная, в спешке Мириам села в Сизли-бридж в поезд. Сошли они с поезда в Олфретоне. Пол с любопытством присматривался к улице и углекопам с собаками. Тут обитало новое племя шахтеров. Мириам пришла в себя, только когда компания остановилась у церкви. У входа они оробели — как бы из-за сумок с едой их не выставили. Первым вошел тощий забавник Леонард; Пол, который предпочел бы умереть, только бы его не выгнали, вошел последним. По случаю Пасхи церковь была в праздничном убранстве. Казалось, в купели растут сотни белых нарциссов. Неяркий, разноцветный свет вливался в окна, и воздух трепетал, насыщенный нежным ароматом лилий и нарциссов. Все это согрело душу Мириам. Пол опасался, как бы не сделать что-нибудь неподобающее: он проникся царящим здесь духом. Мириам повернулась к нему. Он ответил ей взглядом. Сейчас они были едины. Он не решился пройти ближе к алтарю. И любо ей это было. В молитве рядом с ним душа ее расцветала. Для Пола скудно освещенные храмы всегда были исполнены таинственного очарования. Весь скрытый в нем мистицизм трепетно

пробуждался. Мириам невольно подалась к нему. И вместе они молились.

Она почти не разговаривала с другими спутниками. В разговоре с ней они сразу терялись. И она почти все время молчала.

Когда компания взобралась по крутой тропе к замку, уже перевалило за полдень. Под необыкновенно теплыми живительными лучами солнца все источало нежный свет. Раскрылись фиалки и чистотел. Всех захлестнула радость. Поблескивающая листва пышно разросшегося плюща, бледно-серые крепостные стены, мягкие очертания всего, что окружало развалины, были великолепны.

Замок сложен из твердого, светло-серого камня, наружные стены глухие, невозмутимые. Самые юные шумно выражали свой восторг. Их охватило беспокойство, чуть ли не страх, как бы их не лишили счастья все тут разведать. В первом внутреннем дворе, окруженные высокими, кое-где разрушенными стенами, стояли повозки, оглобли праздно лежали на земле, ободья колес сверкали красно-золотой ржавчиной. И тихо было, ни звука.

Все торопливо заплатили по шестипенсовику и несмело прошли через красивую, безупречных

очертаний арку в следующий внутренний двор. Они робели. Здесь, где некогда была зала, среди каменных плит пола расцветал боярышник. В тени, в стенах вокруг — таинственные расщелины и провалы, разрушенные комнаты.

Перекусив, опять отправились осматривать развалины. На этот раз пошли и девушки, и мужская часть компании исполняла роль проводников и экскурсоводов. В углу стояла высокая башня, казалось, готовая обрушиться, в которой, по слухам, была заключена королева Шотландии Мария.

— Подумать только, что тут ходила королева! — негромко сказала Мириам, поднимаясь по разбитым ступеням.

— Если только могла взобраться, — сказал Пол, — у нее же наверняка был отчаянный ревматизм. С ней наверняка обращались гнусно.

— По-твоему, она этого не заслужила? — спросила Мириам.

— По-моему, нет. Просто она была неугомонная.

Они поднимались выше по винтовой лестнице. Крепкий ветер задувал в бойницы и внутри устремлялся вверх по пролету, надувал, точно шар, юбки Мириам, она смущалась, но вот Пол

ухватил юбку за кайму и стал ее придерживать. Сделал он это совсем просто, как если бы поднял ее перчатку. И это запомнилось ей навсегда.

Старый, красивый плющ густо увил разрушенный верх башни. Здесь было и немало холодных, бледных бутонов желтофиолей. Мириам хотела перегнуться, сорвать ветку плюща, но Пол ей не позволил. Вместо этого ей пришлось ждать у него за спиной, а он срывал их по одной веточке и, как истый рыцарь, по одной протягивал ей. Казалось, башня раскачивается под ветром. Внизу расстилались сельские дали — мили и мили лесов, — но и проблески пастбищ.

Подземелье замка было очень хорошо и прекрасно сохранилось. Пол делал набросок, Мириам стояла рядом. Ей думалось о Марии Шотландской, что не умела понять постигшего ее несчастья и упорно, безнадежно всматривалась в даль, за холмы, откуда не приходила помощь, или сидела здесь, в подземелье, и слушала слова о Боге, такие же холодные, как этот склеп.

Они весело пустились в обратный путь, оглядываясь на свой любимый замок, что стоял на холме такой большой и красивый.

— Представь, если бы ты здесь жила, — сказал Пол.

— Если бы!

— Вот славно было бы тебя навещать!

Сейчас они шли по пустынной местности, среди скал. Пол так любил эти места, а Мириам они казались чужими, хотя отсюда до дому было всего десять миль. Все шли вразброд. Когда по тропе, где под лучами солнца поблескивали несчетные песчинки, пересекали большой, отлого спускавшийся в низину луг, Пол продел пальцы под шнурки ее дорожной сумки, и тотчас Мириам почувствовала, что сзади Энни не спускает с них ревнивых глаз. Но луг омыт был солнечным сиянием, тропинка сверкала, будто усыпанная алмазами, и так редко Пол подавал ей хоть какой-то знак. Пальцы Мириам замерли на шнурках сумки, ощущая прикосновение его пальцев; и мир вокруг был несказанно прекрасен.

Наконец дошли до рассыпавшихся по склонам холма серых домиков селения Крик. За ним возвышалась знаменитая вершина, которую Полу было видно из сада Морелов. Компания взбиралась все выше. Вокруг и внизу раскинулись широкие просторы. Парням не терпелось добраться до вершины. Ее венчал круглый бугор, половина которого была уже снесена, а на нем расположилась прочная приземистая древняя

башня, с которой в старину передавали сигналы в низинные земли, — в Ноттингемшир и Лестершир.

Там наверху, на незащищенном пятачке, ветер дул с такой силой, что устоять можно было только если он пригвождал тебя к стене башни. У самых ног почти отвесно спускалась стена карьера, из которого добывали известняк. Внизу там и сям вставали холмы, ютились крохотные селения — Мэтлок, Эмбергейт, Каменный Мидлтон. Парням непременно хотелось высмотреть Бествудскую церковь далеко слева, в краю, застроенном погуще. Досада брала, что кажется, будто она стоит на ровном месте. Видно было, как холмы Дербишира переходят в однообразие Центральных графств, простирающихся на юг.

Мириам страшилась ветра, но парни им наслаждались. Миля за милей они шагали к Уэтстендуэллу. Все припасы были съедены, путники изрядно проголодались, а денег на обратную дорогу осталось в обрез. Но они ухитрились разжиться булкой и пирогом со смородиной, складными ножами разрезали то и другое на куски и, сидя на ограде подле моста, смотрели, как несется мимо сверкающий деруэнтский экспресс, как на пути из Мэтлока повозки останавливаются

у постоялого двора.

Пол побледнел от усталости. Весь день он был в ответе за всю компанию, и теперь силы его оставили. Мириам понимала это, держалась рядом, и он доверился ей.

Им пришлось час прождать на станции в Эмбергейте. Поезда прибывали, переполненные экскурсантами, которые возвращались в Манчестер, Бирмингем и Лондон.

— Мы вполне могли бы съездить и туда… дома вполне могут подумать, что мы уехали так далеко, — сказал Пол.

Вернулись они довольно поздно. Мириам шла домой с Джеффри, смотрела, как большая, красная, затуманенная, поднимается луна. Она чувствовала, что-то в ней свершилось.

Ее старшая сестра, Агата, была учительницей. Девушки враждовали друг с другом. Мириам считала Агату суетной. Притом ей самой хотелось быть учительницей.

Однажды в субботу после полудня Агата и Мириам одевались у себя наверху. Их комната помещалась над конюшней. Она была невелика, с низким потолком и голыми стенами. Мириам повесила на стену репродукцию картины Веронезе «Святая Екатерина». Она любила эту святую,

что задумалась, сидя у окна. В их комнате окна были слишком малы, не посидишь. Но над окном, выходящим в сад, вился дикий виноград и жимолость, и из него видны были верхушки дубов во дворе, а маленькое окошко в противоположной стене, размером с носовой платок, глядело на восток, на зарю, занимающуюся над милыми сердцу Мириам округлыми холмами.

Сестры почти не разговаривали друг с другом. Агата, светловолосая, маленькая и решительная, взбунтовалась против духа, которым проникнут был дом Ливерсов, против заповеди «подставь другую щеку». Она теперь вышла в мир, на путь к независимости. И утверждала житейские ценности — наружность, умение себя вести, положение в обществе, все то, чему Мириам не придавала значения.

Когда ждали Пола, обеим девушкам нравилось сидеть у себя, а не на глазах у домашних. Приятней было сбежать по лестнице, отворить дверь внизу и увидеть, как он их поджидает. Мириам стояла и с трудом надевала через голову подаренные им четки. Четки запутались в тонких волосах. Но вот наконец они надеты и деревянные красно-коричневые бусины хорошо смотрятся на ее свежей загорелой шейке. Внешне

она уже вполне взрослая, женственная и лицом очень хороша. Но в зеркальце, висевшем на побеленной стене, она видела себя лишь по частям. Агата купила еще одно зеркальце и приспособила его как ей было удобно. Мириам стояла у окна. Вдруг она услыхала хорошо знакомое позвякиванье цепочки и увидела, как Пол распахнул ворота и вкатил во двор свой велосипед. Увидела, что он смотрит на дом, и отпрянула от окна. Он шел небрежной походкой, и велосипед двигался рядом, будто живое существо.

— Пол пришел! — воскликнула Мириам.

— А ты рада, — язвительно заметила Агата.

Мириам замерла в удивлении и замешательстве.

— А ты разве нет? — спросила она.

— Рада, но я не собираюсь ему это показывать, пускай не думает, будто он мне нужен.

Мириам была ошарашена. Потом услышала, как Пол ставит велосипед в конюшне под ними и заговаривает с Джимми, дряхлым конягой, который прежде работал в шахте.

— Ну, Джимми, как живешь-можешь, дружище? Знай, болеешь и нос повесил, а? Стыд и срам, старина, стыд и срам.

Мириам слышала, как заскользила веревка, ко-

гда в ответ на ласку Пола конь поднял голову. До чего любила она слушать его, когда ему казалось, никто кроме лошади его не слышит. Но в ее раю притаилась змея. Мириам старательно разбиралась в себе, стараясь понять, нужен ли ей Пол Морел. Она чувствовала, что, если нужен, есть в этом что-то постыдное. В душе все перепуталось, было боязно, что он и вправду ей нужен. И она строго осудила себя. А потом ее пронзил прежде неведомый стыд. И она внутренне сжалась, точно под пыткой. Нужен ли ей Пол Морел, и понял ли он, что ей нужен? Какое изощренное бесчестье! Ей казалось, душа ее вся корчится от позора.

Агата оделась первая и сбежала вниз. Мириам слышала, как весело она поздоровалась с гостем, ясно представилось, как под стать веселому тону блестят серые сестрины глаза. Она, Мириам, не посмела бы поздороваться так самоуверенно. Однако вот она стоит, обвиняя себя в том, что Пол ей желанен, прикованная к этому позорному столбу. Горько озадаченная, она преклонила колени и стала молиться.

— О Господи, не дай мне любить Пола Морела. Удержи меня от любви к нему, если мне не следует его любить.

Что-то странное в этой молитве остановило ее.

Она подняла голову и задумалась. Что ж плохого в том, что она его любит? Любовь — дар Божий. И однако, она стыдится этого дара. А все из-за него, из-за Пола Морела. Но ведь он тут ни при чем, это ее дело, ее и Господа. Ей дано стать жертвой. Но это Господь принес ее в жертву, а не Пол Морел и не она сама. Несколько минут спустя она опять спрятала голову в подушку.

— Но, Господи, — взмолилась она, — если воля Твоя, чтоб и его любила, сделай так, чтоб я его любила… как любил Христос, который умер во имя душ человеческих. Сделай так, чтобы я любила его щедро, потому что он сын Твой.

Еще некоторое время она стояла на коленях, не шевелясь, глубоко взволнованная, ее черные волосы рассыпались по красным и расшитым лавандовыми веточками квадратам лоскутного одеяла. Как всегда, она погрузилась в молитву всем своим существом. И в слиянии с сыном Божиим, принесенным в жертву, она впала в экстаз самопожертвования, который столь многим душам человеческим дарует глубочайшее блаженство.

Когда Мириам сошла вниз, Пол, откинувшись в кресле, нетерпеливо протягивал Агате картинку, которую принес ей показать, а она смотрела пре-

небрежительно. Мириам глянула на них обоих, и их легкомысленное настроение ее оттолкнуло. Она прошла в гостиную, захотелось побыть в одиночестве.

Только за чаем смогла она заговорить с Полом, но держалась отчужденно, и он подумал, что обидел ее.

Мириам не стала больше ходить каждый четверг в Бествудскую библиотеку. Перед тем она всю весну заходила за Полом, но множество пустяковых случаев и мелких оскорблений со стороны его родных заставили ее понять, как они к ней относятся, и она решила больше не ходить. И вот однажды вечером она объявила Полу, что не станет за ним заходить по четвергам.

— Почему? — резко спросил он.

— Нипочему. Просто лучше не заходить.

— Прекрасно.

— Но… — она замялась, — если ты захочешь меня встречать, мы все равно можем ходить вместе.

— Где встречать?

— Где-нибудь… где хочешь.

— Где попало я не буду тебя встречать. Не понимаю, почему тебе и дальше не заходить за мной. А раз ты не хочешь, я не стану тебя встречать.

И вот с вечерами по четвергам, которыми оба они так дорожили, покончено. Теперь в эти вечера он рисовал. Поняв, как обернулось дело, миссис Морел только фыркнула, очень довольная.

Пол не желал признавать, что у них с Мириам любовь. Их близость была чересчур отвлеченной, чересчур явно связывала только души, вся — размышление и утомительные попытки осознать, что же за ней кроется, и Пол видел в ней лишь платоническую дружбу. Он упорно отрицал, что между ними есть что-то кроме дружбы. Мириам молчала или кротко соглашалась. Глуп он был и не понимал, что с ним происходит: по молчаливому согласию они пропускали мимо ушей замечания и намеки окружающих.

— Мы не любовники, мы друзья, — говорил он Мириам. — Мы-то это знаем. Пусть их болтают. Какая разница, кто что скажет?

Иногда, гуляя с Полом, Мириам робко брала его под руку. Но его всегда это сердило, и она это знала. В душе его начиналась жестокая борьба. Рядом с Мириам он всегда высоко парил в мире отвлеченностей, и естественный жар любви преображался в поток возвышенных мыслей. Именно этого и хотела Мириам. Если он бывал весел и, как она считала, легкомыслен, она жда-

ла, когда он вновь вернется к ней, когда вновь изменится и, хмурясь, вновь вступит в борьбу с собственной душой в страстной жажде обрести понимание. И в этой страстной жажде понимания их души были близки; тут он весь принадлежал ей. Но прежде должен был перенестись в мир отвлеченных рассуждений.

И тогда, если она брала его под руку, ему бывало мучительно. Казалось, сознание его раскалывается. Место, где она касалась его, горело. В нем шла междоусобная война, и оттого он становился жесток с Мириам.

Однажды вечером в разгар лета Мириам зашла к Морелам, разгоряченная от подъема в гору. Пол был один в кухне; слышно было, как наверху ходит его мать.

— Пойдем посмотрим на душистый горошек, — сказал он девушке.

Они вышли в сад. Небо за поселком и церковью было оранжево-красным, и цветник залит таинственным теплым светом, в котором обретал значительность каждый листок. Пол прошел вдоль прелестного, высаженного в ряд душистого горошка, срывал то один цветок, то другой, все кремовые и нежно-голубые. Мириам шла за ним следом, вдыхая их аромат. Цветы обладали

необычайной властью над ней, и ей чудилось, она должна вобрать их в себя. Когда она склонялась к цветку и вдыхала его аромат, можно было подумать, будто цветок и она любовники. Пол ненавидел ее за это. Она выставляла напоказ что-то слишком сокровенное.

Он набрал большой букет, и они вернулись в дом. Он на миг прислушался к неспешным шагам матери наверху, потом сказал:

— Поди-ка сюда, я хочу приколоть их тебе.

Он прикладывал по два-три цветка к ее платью на груди и отходил посмотреть, как это выглядит.

— Знаешь, — сказал он, вынув зажатую в губах булавку, — женщина всегда должна прикалывать себе цветы перед зеркалом.

Мириам засмеялась. По ее мнению, цветы надо прикалывать к платью небрежно, как придется. То, что Пол так старательно прилаживал ей цветы на платье, просто чудачество.

Он даже немного обиделся, что она засмеялась.

— Некоторые женщины так и делают… те, кто выглядит прилично, — сказал он.

Мириам опять засмеялась, да невесело — мало радости, что он равняет тебя с другими женщинами. Услышь она такие слова от любого другого

мужчины, она бы и внимания не обратила. Но услышать их от него было больно.

Он уже почти кончил прикалывать ей цветы и тут услыхал на лестнице шаги матери. Он поспешно вколол последнюю булавку и отвернулся.

— Не говори маме, — сказал он.

Мириам взяла свои книги и стояла в дверях, с огорчением глядя на великолепный закат. И подумала, что не станет она больше заходить к Полу.

— Добрый вечер, миссис Морел, — почтительно сказала она. Прозвучало это так, будто она не чувствовала себя вправе быть здесь.

— А, это ты, Мириам? — суховато отозвалась миссис Морел.

Но Пол настаивал, чтобы все относились благосклонно к его дружбе с Мириам, и миссис Морел была слишком умна, чтобы открыто показать свою неприязнь.

Лишь когда Полу исполнилось двадцать, Морелы смогли позволить себе в праздники куда-то съездить. За время замужества миссис Морел никуда не ездила на праздники, кроме как повидаться с сестрой. Теперь наконец Пол накопил достаточно денег, и все Морелы решили поехать.

Собралась большая компания: несколько подружек Энни, один приятель Пола, молодой человек, который служил там, где прежде служил Уильям, и Мириам.

Было много волнений с заказом комнат. Пол и миссис Морел без конца это обсуждали. Молодежь хотела снять меблированный коттедж на две недели. Мать полагала, что хватит и одной недели, но Пол настоял на двух.

Наконец был получен ответ из Мейблторпа, где подходящий коттедж сдавался за тридцать шиллингов в неделю. Восторгам не было предела. Пол безмерно радовался за мать. Теперь она по-настоящему отдохнет. Вечером они сидели вдвоем и представляли, как все будет. Вошли Энни, Леонард, Элис и Китти. Все бурно ликовали и предвкушали будущие каникулы. Пол поделился новостью с Мириам. Она словно и обрадовалась и призадумалась. А дом Морелов звенел от веселого волнения.

Отправлялись они в субботу утром семичасовым поездом. Пол предложил, чтобы Мириам переночевала у них, ведь иначе ей придется из такой дали идти пешком. Она пришла к ужину. В предвкушении отъезда даже Мириам встретили тепло. Но через считанные минуты

семейство напряженно замкнулось. Пол загодя нашел стихотворение Джин Инджилоу, в котором упоминался Мейблторп, и решил прочесть его Мириам. Прежде он бы нипочем не позволил себе такую сентиментальность — читать стихи своим домашним. Но сейчас они снизошли до него и согласились послушать. Мириам сидела на диване, поглощенная Полом. При встречах она, казалось, всегда была поглощена им, всецело ему предавалась. Миссис Морел ревниво сидела на своем привычном месте. Она тоже собиралась послушать. Даже Энни и отец присутствовали, Морел склонил голову набок, так иной слушает проповедь, сознавая всю важность происходящего. Пол уткнулся в книгу. Тут собрались сейчас все те, кто был ему дорог. И миссис Морел и Энни словно состязались с Мириам, а уж ей надо бы слушать лучше всех и завоевать его благосклонность. Он был в ударе.

— Но что это за «Невеста из Эндерби», которую должны вызванивать колокола? — прервала его миссис Морел.

— Это старинная мелодия, которую исполняли на колоколах, предупреждая о наводнении. Наверно, Невеста из Эндерби утонула во время наводнения, — ответил Пол.

Он понятия не имел, что это на самом деле, но никогда бы не пал так низко, чтобы признаться в этом своим женщинам. Они слушали и верили ему. И он сам себе верил.

— И люди знали, что означает эта мелодия? — спросила мать.

— Да, так же как шотландцы, когда слышали «Лесные цветы»… сразу принимались бить в колокола, начиная с басов, вызванивали тревогу.

— Как же так? — сказала Энни. — Колокол всегда звучит одинаково, как ни звони.

— Но можно начать с басового колокола и кончить высоким дзинь, дзинь, дзинь!

И Пол прошелся по всей гамме. Все решили, что это ловко придумано. Он и сам так решил. И, чуть обождав, продолжал читать стихи.

Когда он кончил, миссис Морел недоуменно хмыкнула:

— Нет, я бы предпочла, чтобы писатели сочиняли не так печально.

— А я не пойму, чегой-то они захотели утопиться, — сказал Морел.

Наступило молчание. Энни встала, чтобы убрать со стола.

Мириам поднялась, хотела помочь с посудой.

— Давай я помогу перемыть, — сказала она.

— Ни за что! — воскликнула Энни. — Сядь. Посуды всего ничего.

И Мириам, которая не умела вести себя по-свойски и настаивать на своем, опять села, начала вместе с Полом рассматривать книгу.

Пол был главой их компании; отец для этого не годился. И какие же он претерпел муки, опасаясь, как бы жестяной сундучок вместо Мейблторпа не выгрузили в Фэрсби. И раздобыть повозку ему оказалось не под силу. Это сделала его храбрая крошка мать.

— Эй! — крикнула она какому-то дядьке. — Эй!

Пол с Энни подошли последними, судорожно смеясь от неловкости.

— Сколько станет доехать до коттеджа у ручья? — спросила миссис Морел.

— Два шиллинга.

— Почему, разве это так далеко?

— Не ближний свет.

— Что-то не верится, — сказала она.

Однако забралась в повозку. В эту старую колымагу набилось восемь человек.

— Видишь, — сказала миссис Морел, — с каждого получается всего по три пенса, а будь это трамвай…

Поехали. У каждого коттеджа, к которому они

подъезжали, миссис Морел восклицала:

— Это он? Вот это он!

Все сидели, затаив дыхание. Повозка проезжала мимо. И раздавался общий вздох.

— Слава Богу, что не эта уродина, — говорила миссис Морел. — Меня прямо страх взял.

Они ехали все дальше и дальше.

Наконец спустились к дому, что стоял один при дороге над дамбой. Чтобы попасть в сад, надо было пройти по мостику, и всех это привело в неистовое волненье. Однако им понравился этот уединенный дом, к которому с одной стороны подступал лиман, и равнинная ширь в белесых заплатах ячменя, желтых — овса, золотистых — пшеницы и зеленых — овощей, что протянулась до самого горизонта.

Пол подсчитывал расходы. Они с матерью всем заправляли. Общий расход — на помещение, еду и все прочее — был шестнадцать шиллингов в неделю на человека. Поутру Пол с Леонардом пошли купаться. Морел раным-рано вышел побродить.

— Пол, — окликнула мать из спальни, — съешь кусок хлеба с маслом.

— Ладно, — ответил он.

И когда вернулся, увидел, что мать во всем

великолепии восседает за накрытым к завтраку столом. Хозяйка дома оказалась молодая. Муж ее был слепой, и она стирала на людей. Поэтому миссис Морел всегда сама мыла в кухне посуду и стелила постели.

— Но ведь ты говорила, ты дашь себе полный отдых, — сказал Пол, — а сама трудишься.

— Тружусь! — воскликнула она. — О чем ты говоришь!

Он любил ходить с ней через поля к поселку и к морю. Она боялась ходить по дощатым мостикам, и он упрекнул — трусит как маленькая. Вообще же он был ее верным рыцарем, словно не сын, а влюбленный.

Мириам видела его совсем мало, разве что когда все остальные уходили слушать местных певцов. Их песни казались Мириам нестерпимо глупыми, так же думал и Пол и самодовольно проповедовал Энни, как бессмысленно их слушать. Однако сам тоже знал все их песни и залихватски распевал их на дорогах. И если ему доводилось их слушать, эта глупость ему очень даже нравилась. Однако Энни он сказал:

— Какая чепуха! В песнях нет никакого смысла. Их может слушать только тот, у кого куриные мозги.

А Мириам он как-то с презреньем сказал об Энни и остальных:

— Они, наверно, у этих дурацких певцов.

Странно было видеть, как поет эти песни Мириам. Твердый подбородок круто вздернут, и, когда пела, она всегда напоминала Полу одного печального ангела Ботичелли, даже если пела всего лишь:

Приди, приди в аллею любви,

Побудь со мною, поговори.

Лишь когда он рисовал или вечером, когда остальные были у певцов, он принадлежал ей. Не умолкая, он рассказывал ей о своей любви к горизонталям: они, эти огромные плоскости неба и земли в Линкольншире, для него символ, воплощенная вечность человеческой воли, так же как неизменно повторяющиеся изогнутые норманнские своды церкви — символ настойчиво, рывками продвигающейся все вперед и вперед, неведомо куда, упрямой человеческой души; в противоположность перпендикулярным линиям и готическому своду, которые, по его словам, рванулись в небо, изведали исступленный восторг и погрузились в созерцание божества. Сам он, по его словам, норманнского склада, а Мириам — го-

тического. Она согласно кивнула даже и на это.

Однажды вечером они с Полом пошли по широкому песчаному берегу в сторону Теддлторпа. Длинные валы накатывали на берег и разбивались в шипенье пены. Вечер выдался теплый. На песчаных просторах не было ни души, только они двое, ни звука, только шумело море. Пол любил смотреть, как оно с грохотом обрушивается на берег. Любил ощущать себя меж шумом моря и тишиной песчаной глади. Рядом была Мириам. Все чувства обострялись. К дому повернули, когда уже совсем стемнело. Путь домой шел через разрыв в дюнах, а потом по заросшей травой дороге между двумя лиманами с морской водой. Вокруг было темно и тихо. Из-за дюн доносился шепот моря. Пол и Мириам шли молча. Внезапно он вздрогнул и остановился. Вся кровь его словно воспламенилась, он едва дышал. Из-за кромки дюн на них уставилась огромная оранжевая луна. Пол замер, не сводя с нее глаз.

Мириам тоже увидела ее и ахнула.

Пол все стоял, глядя на громадную красноватую луну, только ее и было видно в необъятной тьме. Сердце его тяжело-стучало, даже руки свело.

— Что это? — пробормотала Мириам, поджидая его.

Он обернулся, посмотрел на нее. Лица ее, скрытого тенью шляпы и обращенного к нему, он разглядеть не мог. Но она углубилась в себя. Она была чуть испугана, глубоко взволнована и исполнена благоговения. То было ее лучшее душевное состояние. Против него Пол был бессилен. Кровь бушевала у него в груди, точно пламя. Но Мириам оставалась недосягаемой. Огонь опять и опять вспыхивал в крови. Но странно, Мириам этого не замечала. Она ждала, что и он исполнится благоговения. Все еще отрешенная, она все же смутно ощущала его страсть и наконец в тревоге взглянула на него.

— Что это? — опять пробормотала она.

— Это луна, — нахмурясь, ответил Пол.

— Да, — согласилась Мириам. — Какая красота, правда?

Теперь ей хотелось понять, что с ним творится. Кризис миновал.

А Пол сам не знал, что с ним. Он был еще так молод, а близость их такая была отвлеченная, где ему было понять, что он жаждет изо всех сил прижать ее к груди, чтобы утишить гнездящуюся там боль. Он страшился Мириам. А стыд подавил сознание, что он мог желать ее, как мужчина желает женщину. Если при мысли, что такое

возможно, Мириам сжалась как под пыткой. Пол содрогнулся до глубины души. А теперь эта их «чистота» помешала даже первому любовному поцелую. Мириам едва ли справилась бы с потрясением плотской любви, даже страстного поцелуя, и Пол был чересчур скован и уязвим, чтобы решиться ее поцеловать.

Они шли через темный сырой луг, Пол следил взглядом за луной и молчал. Мириам брела рядом. Он ненавидел ее, ему казалось, она каким-то образом виновата, что он стал себя презирать. Он смотрел вперед, и там лишь один огонек светился во тьме — окошко их коттеджа.

Ему любо было думать о матери и об остальном веселом обществе.

— Кроме вас все давным-давно дома! — сказала мать, когда они вошли.

— Ну и что? — с досадой воскликнул Пол. — Уж и пройтись нельзя, если хочется?

— Я полагаю, ты мог бы возвратиться так, чтобы поужинать вместе со всеми, — сказала миссис Морел.

— Я буду поступать как мне нравится, — возразил Пол. — Сейчас совсем не поздно. Буду поступать как мне угодно.

— Прекрасно, — язвительно сказала мать. — То-

гда живи как тебе угодно.

И весь вечер она его больше не замечала. А он делал вид, будто не замечает этого и ему все равно, сидел и читал. Читала и Мириам, стараясь сделаться совсем незаметной. Миссис Морел ненавидела ее, это из-за нее сын стал такой. Прямо на глазах Пол становится нетерпим, самоуверен и невесел. Во всем этом она винила Мириам. Энни и все ее друзья объединились против девушки. Мириам не дружила ни с кем, кроме Пола. Но ее это не слишком огорчало, ведь она презирала незначительность всех этих людей.

А Пол ее ненавидел, потому что каким-то образом она лишила его непринужденности и естественности. И терзался, чувствуя себя униженным.

8. Любовный поединок

Артур закончил обучение ремеслу и получил место на электрической установке в Минтонской шахте. Зарабатывал он совсем мало, но у него была хорошая возможность продвигаться. Однако он был беспокоен и необуздан. Он не пил и не играл в азартные игры. И притом ухитрялся вечно попадать в какие-то неприятности, всегда из-за своей опрометчивой горячности. То пойдет браконьером в лес стрелять зайцев, то, чем возвратиться домой, на всю ночь застрянет в Ноттингеме, то, не рассчитав прыжка, нырнет в Бествудский канал и обдерет грудь об усеявшие дно острые камни и консервные банки.

Однажды, проработав всего несколько месяцев, он опять не явился домой ночевать.

— Не знаешь, где Артур? — спросил Пол за завтраком.

— Не знаю, — ответила мать.

— Дурак он, — сказал Пол. — И если б он что-нибудь натворил, ладно, я не против. Но он наверняка просто не смог оторваться от виста или как благовоспитанный юноша провожал с катка какую-нибудь девицу и уже не смог по-

пасть домой. Дурак он.

— Вряд ли было бы лучше, если б он натворил что-нибудь, из-за чего всем нам было бы стыдно, — возразила миссис Морел.

— Ну, я-то стал бы его больше уважать, — сказал Пол.

— Сильно сомневаюсь, — холодно сказала мать.

Они продолжали завтракать.

— Ты в нем души не чаешь? — спросил Пол.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что, говорят, женщина всегда больше всех любит самого младшего.

— Может, и так… только не я. Нет, меня он утомляет.

— Ты бы и правда предпочла, чтоб он был паинька?

— Я бы предпочла, чтобы он был разумнее, как положено мужчине.

Пол стал несправедлив и нетерпим. Он тоже порядком утомлял мать. Она видела, солнечный свет его покидает, и негодовала.

Они кончали завтракать, и в это время почтальон принес письмо из Дерби. Миссис Морел прищурилась, пытаясь разобрать обратный адрес.

— Дай-ка мне, слепая курица! — и сын выхватил у нее письмо.

Мать вздрогнула и чуть не дала ему пощечину.

— Это от твоего сына Артура, — сказал Пол.

— Что такое!.. — воскликнула миссис Морел.

— «Дорогая мамочка, — читал Пол, — сам не знаю, почему я свалял такого дурака. Приезжай, мамочка, и вызволи меня отсюда. Вместо того чтобы ехать домой, я пошел вчера с Джеком Бредоном и записался в солдаты. Он сказал, ему надоело протирать штаны, и я, сущий болван, как тебе известно, взял да и пошел вместе с ним.

Я вступил в военную службу, но, может, если ты приедешь, они меня отпустят с тобой, дурак я был, и больше никто. Не хочу я служить в армии. Дорогая мама, тебе от меня одни неприятности. Но если ты меня вызволишь, обещаю тебе, у меня прибавится ума и соображенья…»

Миссис Морел опустилась в кресло.

— Ну, каково! — воскликнула она. — И пускай там остается!

— Да, — сказал Пол, — пускай остается.

Оба замолчали. С застывшим лицом, сложив руки на фартуке, мать сидела и думала.

— Ох и тошно мне! — вдруг воскликнула она. — Тошно!

— Ну вот что, — хмурясь, сказал Пол, — не вздумай из-за этого надрывать себе душу, слышишь?

— Что же мне прикажешь, радоваться? — вспылив, накинулась она на сына.

— Нечего делать из этого трагедию, только и всего, — возразил он.

— Дурак он!.. Дурной мальчишка! — воскликнула она.

— В форме он будет прекрасно выглядеть, — раздраженно сказал Пол.

Мать яростно на него набросилась.

— Ах, вот как! — крикнула она. — Чтоб глаза мои его не видели!

— Ему бы в кавалерийский полк. Будет жить в свое удовольствие и выглядеть будет шикарно.

— Шикарно… шикарно!.. уж куда шикарней!.. обыкновенный солдат!

— Ну, а я кто? — сказал Пол. — Обыкновенный канцелярист.

— Это очень много, мой мальчик! — воскликнула мать, она была уязвлена.

— Как так?

— По крайней мере ты человек, а не пешка в красном мундире.

— Я бы не прочь носить красный мундир… или темно-синий, он бы мне больше подошел… если

б только мной не слишком командовали.

Но мать уже не слушала его.

— Надо же, только начал продвигаться по службе… мог бы начать продвигаться… несносный мальчишка… идет и губит всю свою жизнь. А после армии ну какой из него будет толк?

— Его могут отлично вымуштровать, — сказал Пол.

— Вымуштровать!.. Вышибут из него последние мозги. Солдат!.. обыкновенный солдат!.. просто-напросто кукла, которая двигается по команде. Ну и ну!

— Не понимаю, почему ты так огорчаешься, — сказал Пол.

— Где ж тебе понять. Зато я понимаю. — И, переполненная горем и гневом, она откинулась в кресле, оперлась подбородком на руку, которую поддерживала другой рукой.

— А в Дерби поедешь? — спросил Пол.

— Да.

— Толку не добьешься.

— Там видно будет.

— Дала бы ему лучше остаться в армии. Для него это самое подходящее.

— Ну конечно! — воскликнула мать. — Уж ты-то знаешь, что ему подходит!

Она собралась и первым же поездом отправилась в Дерби, повидала сына и сержанта его части. Но все без толку.

Вечером, когда Морел обедал, она вдруг сказала:

— Мне сегодня пришлось съездить в Дерби.

Углекоп поднял глаза, на чумазом лице сверкнули белки.

— Вот как, лапушка? С чего это ты?

— Да из-за Артура!

— А-а… чего ж такое опять?

— Всего-навсего записался в армию.

Морел положил нож, выпрямился на стуле.

— Нет, — сказал он. — Не может такого быть!

— И завтра отправляется в Олдершот.

— Ну и ну! — воскликнул Морел. — Чудеса! — Он задумался на миг, хмыкнул и опять принялся за еду. Вдруг лицо его исказилось гневом. — Чтоб ноги его больше не было в моем доме, — заявил он.

— Придумал! — вскричала миссис Морел. — Такое сказать!

— Верно говорю, — повторил Морел. — Раз его дернула нелегкая записаться в солдаты, пускай дальше сам о себе заботится. От меня ему больше подмоги не видать.

— Можно подумать, ты ему много раньше помогал, — сказала она.

В этот вечер Морел даже постыдился пойти в пивную.

— Ну, ты ездила? — спросил Пол, придя домой.

— Ездила.

— И удалось с ним повидаться?

— Да.

— Что же он сказал?

— Когда я уходила, он расплакался.

— Хм!

— И я тоже заплакала, так что нечего хмыкать!

Миссис Морел волновалась за сына. Она знала, армия не придется ему по вкусу. Так и получилось. Дисциплина была ему невыносима.

— Но доктор говорит, Артур прекрасно сложен, почти идеально, — не без гордости сказала она Полу. — У него все мерки правильные. И знаешь, он хорош собой.

— Он замечательно хорош собой. Но девушки не так за ним бегают, как за Уильямом, правда?

— Да. У него характер другой. Он весь в отца, безответственный.

Желая утешить мать, Пол теперь не так часто уходил на ферму Ливерсов. И на осенней выставке студенческих работ в Замке он выставил два

этюда: акварель — пейзаж и масло — натюрморт, и за оба получил первый приз. Он был рад и счастлив.

— Ма, как по-твоему, что мне присудили за мои работы? — спросил он однажды вечером, вернувшись домой. По глазам сына миссис Морел видела, что он рад. И покраснела от удовольствия.

— Откуда же мне знать, мой мальчик!

— Первый приз за те стеклянные кувшины…

— Хм!

— И первый приз за тот набросок на Ивовой ферме.

— За оба первый?

— Да.

— Хм!

Она сидела розовая, сияющая, хотя так ничего и не сказала.

— Славно, — сказал он. — Правда?

— Правда.

— Отчего ж ты не превозносишь меня до небес?

Мать рассмеялась.

— Мне трудно было бы стащить тебя обратно на землю, — ответила она.

И однако, она была безмерно рада. Когда-то

Уильям приносил ей свои спортивные трофеи. Она и по сей день хранила их и не смирилась с его смертью. Артур красивый… по крайней мере превосходный образчик, и к тому же сердечный, великодушный, и, возможно, в конце концов все у него образуется. А вот Пол должен отличиться. Она очень в него верила, тем больше, что сам он и не подозревал о своих возможностях. Он может многого достичь. Ее жизнь была богата надеждой. Она еще увидит, как сбудутся ее мечты. Ее усилия не напрасны.

За время выставки миссис Морел несколько раз тайно от Пола побывала в Замке. Она бродила по длинной зале, рассматривала другие картины. Да, они хороши. Но не хватает им чего-то такого, что утолило бы ее душу. Иным она завидовала, так они были хороши. Подолгу смотрела, пытаясь найти в них какой-нибудь недостаток. И вдруг ее осенит, сердце так и заколотится. Это же картина Пола! Она знала ее, как если б картина запечатлена была у нее в сердце.

«Имя — Пол Морел — Первая премия».

Так странно это выглядело здесь, на людях, на стенах Галереи Замка, где столько картин она повидала на своем веку. И она огляделась, заметил ли кто-нибудь, что она опять перед тем же

полотном.

Но она была исполнена гордости. И глядя на хорошо одетых дам, что возвращались к себе в усадьбу, говорила про себя:

— Да, вы и важные, и нарядные… но еще вопрос, получил ли ваш сын в Замке два первых приза.

И она шла дальше, самая гордая маленькая женщина в Ноттингеме. И Пол чувствовал, что-то он уже для нее сделал, пусть даже и такую малость. Вся его работа — ее достояние.

Однажды, войдя в ворота Замка, он столкнулся с Мириам. Они виделись в воскресенье, и он не ожидал встретить ее в городе. Она была не одна, и ее спутница поразила Пола — блондинка с угрюмым лицом и вызывающей осанкой. Странно, какой маленькой показалась ссутулившаяся в вечной своей задумчивости Мириам подле этой женщины с великолепными плечами. Мириам испытующе вглядывалась в Пола. Он не сводил глаз с незнакомки, а та не обратила на него ни малейшего внимания. Мириам увидела, как взыграло в нем его мужское начало.

— Здравствуй! — сказал он. — Ты не говорила, что собираешься в город.

— Да, — почти виновато отвечала она. — Я приехала с отцом на конскую ярмарку.

Пол посмотрел на ее спутницу.

— Я тебе рассказывала о миссис Доус, — сказала Мириам, она даже охрипла от волнения. — Клара, ты не знакома с Полом?

— Кажется, я его уже видела, — равнодушно ответила Клара, обмениваясь с ним рукопожатием. У нее были презрительные серые глаза, кожа цвета светлого меда и полные губы, верхняя чуть вздернута то ли в знак презренья ко всем мужчинам, то ли от нетерпеливой жажды поцелуя, скорей первое. И голова надменно вскинута, должно быть, тоже из презренья к мужской половине человечества. На ней была большая несуразная шляпа из черного бобра и нарочито, до вычурности простого покроя платье, которое делало ее похожей на куль. Была она явно бедна и не обладала особым вкусом. Мириам обычно выглядела мило.

— Где же вы меня видели? — спросил Пол.

Она глянула на него, будто не собираясь удостоить ответом. А потом сказала:

— Вы шли с Луи Трейверс.

Луи была одна из спиральщиц на фабрике.

— А вы ее знаете? — спросил Пол.

Никакого ответа. Он повернулся к Мириам.

— Куда вы идете? — спросил он.

— В Замок.

— Каким поездом ты поедешь домой?

— Я не поездом, я еду с отцом. Может быть, и тебе с нами поехать? В котором часу ты освободишься?

— Знаешь, сегодня не раньше восьми, черт подери!

И женщины тотчас пошли дальше.

Пол вспомнил, что Клара Доус дочь давнишней приятельницы миссис Ливерс. Мириам свела с ней знакомство, потому что прежде она работала старшей над спиральщицами у Джордана, а ее муж, кузнец Бакстер Доус, мастерил металлические части для протезов и прочее в этом роде. Мириам надеялась через Клару стать ближе к фабрике и лучше представить, каково там положение Пола. Но миссис Доус жила отдельно от мужа и занялась правами женщин. Считалось, что она умная. Пола это заинтересовало.

Бакстера Доуса он знал и не любил. Тому было года тридцать два. Он иногда проходил через комнату, где сидел Пол, — крупный, хорошо сложенный, красивый, он тоже сразу бросался в глаза. Какое-то было своеобразное сходство между ним и его женой. Та же светлая кожа с золотистым оттенком. Светло-каштановые волосы,

да еще у мужа золотистые усы. И та же вызывающая манера держаться и осанка. Но заметна и разница. Глаза у Бакстера темно-карие, бегающие, распутные. Они были чуть навыкате, и так странно нависали над ними веки, что взгляд казался ненавидящим. Рот тоже чувственный. И во всей повадке наглый вызов, словно он готов сбить с ног всякого, кто посмотрит на него неодобрительно, — быть может, потому, что в душе он и сам себя не одобрял.

Пола он возненавидел с первого же дня. Поймав на себе его бесстрастный, оценивающий взгляд художника, он пришел в ярость.

— Чего уставился? — глумливо и угрожающе рявкнул он.

Пол отвел глаза. Но кузнец имел обыкновение стоять у конторки и разговаривать с Пэплуотом. Речь его, пересыпанная ругательствами, выдавала грубость натуры. И опять он поймал на себе неприязненный, осуждающий взгляд юноши. И круто повернулся, как ужаленный.

— Чего уставился, прыщ на ровном месте? — прорычал он.

Пол чуть пожал плечами.

— Ах ты… — заорал кузнец.

— Отстань от него, — умиротворяюще сказал

Пэплуот, в тоне его слышалось: брось, он просто «тряпка», что с такого возьмешь.

С тех пор всякий раз, как кузнец проходил по комнате, Пол глядел на него все с тем же неодобрительным любопытством и успевал отвести глаза прежде, чем встретиться с ним взглядом. Доуса это бесило. И они молча ненавидели друг друга.

Детей у Клары Доус не было. Когда она ушла от мужа, семьи не стало и она поселилась у матери. Доус стал жить у своей сестры. В том же доме жила сестра его зятя, и откуда-то Пол знал, что эта девушка, Луи Трейверс, теперь его любовница. То была дерзкая, развязная бабенка, она насмешничала над Полом и, однако, заливалась краской, если он после работы шел с ней до станции.

В следующий раз он пошел повидаться с Мириам в субботу вечером. Она ждала его и зажгла в гостиной камин. Остальные, кроме матери, отца и младших детей, ушли из дому, и в гостиной они оказались вдвоем. Комната была длинная, низкая и уютная. На стене висели три его маленьких наброска, а на каминной полке его фотография. На столе и на высоком старом фортепиано розового дерева стояли кувшины с разноцветными листьями. Он сел в кресло, Мириам пристроилась на

коврике перед камином у его ног. Опустилась на колени, будто в молитве, и на ее красивом задумчивом лице играли теплые отсветы пламени.

— Как тебе показалась миссис Доус? — спокойно спросила она.

— Она не очень-то приветлива, — ответил Пол.

— Но, по-твоему, она красивая, да? — глухо спросила Мириам.

— Да… сложена хорошо. Но ни капли вкуса. Кое-что мне в ней нравится. А у нее правда тяжелый характер?

— Не думаю. По-моему, просто ей муторно.

— Почему?

— Ну… а тебе понравилось бы на всю жизнь оказаться связанным с таким вот Бакстером?

— Чего ради тогда она выходила за него замуж, если он так скоро ей опротивел?

— Чего ради! — с горечью повторила Мириам.

— И, на мой взгляд, они подходящая парочка, она ему не уступит, — сказал Пол.

Мириам склонила голову.

— Вот как? — насмешливо вопросила она. — С чего ты взял?

— Погляди на ее рот… он создан для страсти… а посадка головы… — Он откинул голову так же вызывающе, как Клара.

Мириам наклонилась еще ниже.

— Верно, — сказала она.

Посидели молча, он задумался о Кларе.

— А что тебе в ней понравилось? — спросила Мириам.

— Не знаю… кожа, и весь ее склад… и ее… не знаю… какая-то в ней есть неистовость. Я вижу ее как художник, вот и все.

— Понятно.

Он удивлялся, ну почему Мириам так странно пристроилась на коврике и такая она грустная. Его взяла досада.

— А вот тебе она не нравится, да? — спросил он девушку.

Мириам подняла на него большие, ослепительно черные глаза.

— Нравится, — ответила она.

— Нет… не может быть… по-настоящему нет.

— Ну и что? — медленно промолвила Мириам.

— Да не знаю… может, она потому тебе нравится, что у нее зуб против мужчин.

Скорее, еще и поэтому миссис Доус понравилась ему самому, но он-то этого не понял. Опять они сидели молча. Пол хмурил брови, что вошло у него в привычку, особенно когда он бывал с Мириам. Ее пугали эти морщины, хотелось раз-

гладить его лоб. Казалось, это печать человека, который живет в Поле Мореле, но ей чужд.

Среди листьев в кувшине были и алые ягоды. Пол дотянулся, сорвал несколько веточек.

— Почему, если приколоть к твоим волосам красные ягоды, ты станешь похожа на колдунью или на жрицу, но вовсе не на гуляку?

Мириам засмеялась, в смехе явственно звучала боль.

— Не знаю, — сказала она.

Горячими, сильными руками он беспокойно крутил веточку.

— Ну отчего ты не можешь посмеяться? — сказал он. — Ты никогда не смеешься попросту, весело. Ты смеешься только чему-нибудь странному, несообразному и как-то так, будто тебе от смеха больно.

Мириам понурилась, словно он ее бранил.

— Ну что бы тебе хоть раз посмеяться надо мной… ну хоть разок. Я чувствую, нам стало бы легче дышать.

— Но… — Мириам посмотрела на него испуганно, как бы через силу. — Я же смеюсь над тобой… конечно, смеюсь.

— Никогда! Вечно какая-то напряженность. Когда ты смеешься, мне плакать хочется. Этот

смех словно знак, что ты страдаешь. Ты самую душу мою заставляешь хмуриться, погружаешь меня в горькие мысли.

Медленно, безнадежно Мириам покачала головой.

— Но я совсем этого не хочу, — сказала она.

— С тобой я вечно такой возвышенный, будь оно все неладно! — крикнул Пол.

Мириам молчала, думала: «А что ж ты не станешь другим?»

Но он видел ее поникшую, печальную и, казалось, разрывался надвое.

— Понимаешь, сейчас осень, — сказал он, — в такую пору всякий себя чувствует бесплотным духом.

И опять они молчали. Присущая их встречам странная печаль бесконечно волновала Мириам. Пол ей казался прекрасным — глаза его темнели, становились глубокие-глубокие, как бездонные колодцы.

— Ты делаешь меня таким возвышенным! — пожаловался он. — А я не хочу быть возвышенным.

Чуть причмокнув, она вынула изо рта палец и глянула на Пола едва ли не с вызовом. Но все равно в ее огромных темных глазах раскрывалась ее беззащитная душа и во всем ее облике ощущался

тоскливый призыв. Если бы мог он поцеловать ее поцелуем возвышенным и чистым, он поцеловал бы. Но так он не мог ее поцеловать, а по-другому с нею, казалось, невозможно. И она томилась по нему.

Он коротко засмеялся.

— Ну ладно, — сказал он. — Возьми французский учебник и займемся… займемся Верленом.

— Хорошо, — глухо, почти смиренно сказала Мириам.

Она встала и взяла книги. И такая жалость всколыхнулась в нем, когда он посмотрел на ее нервные, красноватые руки, так отчаянно хотелось утешить ее, поцеловать. Но ведь не смел он… или не мог. Что-то его удерживало. Его поцелуи были для нее грешны. До десяти они читали, потом пошли в кухню, и с ее отцом и с матерью Полу опять стало весело. Темные глаза его блестели, в нем было какое-то особое обаяние.

Когда он пошел в сарай за своим велосипедом, оказалось, передняя шина проколота.

— Принеси в каком-нибудь кувшине немного воды, — сказал он Мириам. — Вернусь я поздно, и мне здорово влетит.

Он засветил фонарь-«молнию», снял куртку, перевернул велосипед и поспешно принялся

за починку. Мириам принесла миску с водой и, стоя рядом, следила за его работой. Она любила смотреть на его руки, когда они заняты делом. Он такой гибкий и сильный, и даже когда спешит, в движениях его чувствуется какая-то особая непринужденность. За работой он, похоже, забыл о ней. А ей так нравится, когда он чем-то увлечен. Хорошо бы провести руками по его бокам. Ей всегда хотелось его обнять, но только пока в нем самом не пробудилось желание.

— Ну вот! — сказал он, порывисто поднявшись. — Ты бы могла сделать быстрей?

— Нет! — со смехом ответила Мириам.

Он распрямился. Стоял к ней спиной. Она положила руки ему на бока и быстро провела сверху вниз.

— Какой ты большой! — сказала она.

Пол засмеялся, что-то в ее голосе его покоробило, но под ее руками огненная волна взмыла у него в крови. Казалось, это начало в нем ей невдомек. Словно он неодушевленный предмет. Всегда ей невдомек, что он мужчина.

Он включил велосипедный фонарик, приподнял и с силой опустил машину на пол сарая, проверяя, крепки ли шины, и застегнул куртку.

— Все в порядке! — сказал он.

Мириам попробовала тормоза, зная, что они неисправны.

— Тебе их починили? — спросила она.

— Нет!

— Но почему же?

— Задний еще немного действует.

— Но ведь это опасно.

— Можно затормозить пальцем ноги.

— Хорошо бы ты отдал их в починку, — пробормотала она.

— Не беспокойся… приходи завтра к чаю, вместе с Эдгаром.

— Прийти?

— Ну да… часа в четыре. Я выйду вам навстречу.

— Хорошо.

Она была довольна. По темному двору они прошли к воротам. Пол глянул на дом через незавешенные окна кухни, в теплом свете увидел головы мистера и миссис Ливерс. Таким уютом повеяло. А впереди дорога меж сосен черным-черна.

— До завтра, — сказал он и вскочил на велосипед.

— Поосторожней, ладно? — взмолилась Мириам.

— Ладно.

Голос его уже донесся из темноты. Мириам постояла, следя за лучом его фонарика, что стремительно исчезал во мраке, укрывавшем землю. И медленно-медленно пошла к дому. Над лесом катил Орион, позади едва видный мелькал его пес. Весь мир вокруг был полон тьмы и тишины, лишь слышалось, как в стойлах дышит скот. Мириам истово помолилась — пусть сегодня ночью с Полом ничего не случится. Часто, расставшись с ним, она не спала, тревожилась, не зная, добрался ли он домой в целости и сохранности.

Он съезжал на велосипеде с холмов. По скользкой от грязи дороге приходилось пускать машину своим ходом. Приятно было, когда велосипед катится со второго, более крутого склона, «Давай-давай!» — сказал он. Это было небезопасно, ведь во тьме у подножья холма крутой поворот, да еще пивные фургоны с пьяными, уснувшими возчиками. Казалось, велосипед падает под ним, и любо ему было. Безрассудством мужчина мстит своей женщине. Чувствует, что его не ценят, вот и рискует погубить себя, лишь бы вконец ее обездолить.

Он несся вперед и вперед, и звезды над озером, серебро на черни, казалось, скачут, будто кузне-

чики. Потом начался длинный подъем к дому.

— Смотри, мама! — сказал он и бросил ей на стол ягоды и листья.

Мать только хмыкнула, посмотрела на них и опять отвернулась. Она сидела одна и, как всегда, читала.

— Ведь, правда, хороши?

— Да.

Он понимал, она на него сердится. Чуть погодя он сказал:

— Завтра к чаю придут Эдгар и Мириам.

Она молчала.

— Ты не против?

Она все молчала.

— Или против? — спросил он.

— Ты же знаешь, против я или нет.

— Мне непонятно, почему ты против. У меня полно угощений.

— Вот как?

— Ну почему тебе жалко для них чаю?

— Кому это я пожалела чаю?

— Ну чего ты ощетинилась?

— Ох, пожалуйста, замолчи! Ты пригласил ее на чай, этого вполне достаточно. Она придет.

Он обозлился на мать. Он понимал, это она из-за Мириам. Он сбросил башмаки и пошел спать.

Назавтра, во второй половине дня. Пол пошел встретить друзей. Обрадовался, увидев их еще издали. Домой они пришли около четырех. Всюду было по-воскресному чисто и чинно. Миссис Морел сидела в черном платье и черном фартуке. Она поднялась навстречу гостям. Эдгара приняла радушно, а с Мириам была холодна и недружелюбна. Но Полу показалось, что в коричневом кашемировом платье девушка выглядит очень мило.

Он помог матери приготовить чай. Мириам с удовольствием предложила бы свои услуги, но побоялась. Пол, можно сказать, гордился своим домом. Считал, что у дома теперь есть свое лицо. Стулья всего лишь деревянные и диван старый. Зато каминный коврик и подушки уютные; на стенах эстампы в хорошем вкусе; все просто, без затей, и много книг. Никогда он нисколько не стыдился своего дома, а Мириам — своего, потому что оба были такие, как надо, и теплые. И потом он гордился накрытым столом: чашки прелестные, скатерть тонкая. Не важно, что ложки не серебряные, а рукоятки ножей не костяные, все выглядит так мило. Пока дети подрастали, миссис Морел искусно вела скромное хозяйство, так что тут не было ничего лишнего и неуместного.

Мириам немного поговорила о книгах. Тут она всегда чувствовала себя уверенно. Но миссис Морел держалась неприветливо и скоро обратилась к Эдгару.

Поначалу Эдгар и Мириам садились в церкви на места, принадлежащие миссис Морел. Сам Морел в церковь не ходил, предпочитал пивную. Миссис Морел, маленькая предводительница, садилась во главе их семейного огороженного места, Пол — с другого конца, и поначалу Мириам — рядом с ним. Тогда храм становился родным домом. Он был красивый, с темными скамьями, с тонкими изящными колоннами, и всюду цветы. С детства Пол видел здесь тех же людей на тех же местах. Так сладко и утешительно было полтора часа сидеть рядом с Мириам и вблизи матери, соединяя две свои любви чарами храма. И ему становилось тепло, и душа наполнялась вместе счастьем и верой. Потом он шел с Мириам домой, а миссис Морел проводила остаток вечера со своей старой приятельницей, миссис Берне. И как же обострены были все чувства Пола во время этих вечерних прогулок с Эдгаром и Мириам. Проходя вечером мимо шахт, подле ламповой, подле высоких копров и вереницы вагонеток, мимо неспешно, точно тени крутящихся крыльев

ветряной мельницы, он неизменно испытывал острое, почти нестерпимое ощущение, что Мириам рядом.

Она не слишком долго занимала скамью Морелов. Ее отец опять купил место для своего семейства. Оно находилось под маленькими хорами, напротив скамьи Морелов. Когда Пол с матерью приходили в церковь, скамья Ливерсов неизменно пустовала. Пол пугался, а вдруг Мириам не придет — от них сюда такая даль, и воскресенья нередко выдаются дождливые. Но часто она появлялась, совсем уже поздно, шла большими шагами, опустив голову, лицо скрыто полями темно-зеленой бархатной шляпы. Она садилась напротив, и лицо ее всегда оставалось в тени. Но, увидав ее там, Пол с необычайной остротой ощущал, будто сама душа его затрепыхалась в груди. Это было не то волнение, счастье, гордость, что наполняли его, когда он сопровождал мать; но чувство еще поразительней, какое-то нечеловеческое, доведенное болью до такого напряжения, будто он стремится к чему-то недостижимому.

В ту пору он начал сомневаться в учении церкви. Ему исполнился двадцать один год, Мириам — двадцать. Она начала страшиться весны: та-

кой он становился необузданный и без конца ее обижал. Всю дорогу он безжалостно сокрушал ее верования. Эдгар же этим наслаждался. По натуре он был достаточно бесстрастен и настроен критически. А Мириам страдала, ей было невыносимо больно, когда тот, кого она любила, своим острым, как нож, умом подвергал сомнению веру, в которой она жила, которой руководствовалась, которая была самой ее сутью. Но Пол ее не щадил. Он был безжалостен. И если они оказывались одни, становился еще свирепей, словно готов был погубить ее душу. Он до тех пор обескровливал ее верования, пока она едва не теряла сознание.

«Она торжествует, когда уводит его от меня… торжествует… — восклицала в сердце своем миссис Морел, когда Пол уходил. — Она не как все женщины, она даже мою долю в нем не может мне оставить. Хочет его поглотить. Хочет заставить его раскрыться, чтоб поглотить целиком, чтоб ничего от него не осталось, даже для него самого. Он никогда не будет независимым мужчиной, она его поглотит». Так мать сидела, и бунтовала, и горько размышляла.

А Пол, возвращаясь домой после прогулок с Мириам, был вне себя от муки. Он несся как одержимый, сжав кулаки, кусая губы. С ходу

остановится у изгороди, на несколько минут замрет. И окажется лицом к лицу с огромным провалом тьмы, а на черных склонах светятся крохотные огоньки, а в самом низу, у подножья ночи, неровный отсвет шахты. Таинственно все и грозно. Почему он так истерзан, совсем сбит с толку, не в силах двинуться с места? Почему там, дома, страдает мать? Он знал, она страдает отчаянно. Но почему она должна страдать? И почему при мысли о матери он ненавидит Мириам и так безжалостен к ней? Если Мириам причина страданий его матери, значит, он возненавидит Мириам — а ненавидеть ее ему так легко. Почему она сделала его неуверенным в себе, нестойким, каким-то неопределенным, будто у него нет прочной защитной оболочки, которая помешала бы ночи и пространству вломиться в него? Как ненавистна ему Мириам! А следом — какой прилив нежности и смирения!

И он опять рванется, кинется домой. Мать увидит следы мучений у него в лице и ничего не скажет. Но он должен, должен был заставить ее с ним заговорить. И тогда она рассердится — зачем ходил с Мириам в такую даль.

— Ну почему ты ее не любишь, ма? — в отчаянии спрашивал он.

— Сама не знаю, мой мальчик, — жалобно отвечала мать. — Я старалась ее полюбить, поверь. Старалась опять и опять, но не могу… не могу я!

И безотрадно и безнадежно было ему между ними двумя.

Весной стало совсем худо. Пол был в постоянном напряжении, изменчив, безжалостен. И решил держаться подальше от Мириам. Потом наступали часы, когда он знал, она его ждет. Мать видела, что он не находит себе места. Все валилось у него из рук. Будто какая-то сила притягивала его душу к Ивовой ферме. И тогда, ни слова не сказав, он надевал шапку и уходил. И мать знала, он от нее ушел. Он же, едва оказавшись на знакомой дороге, вздыхал с облегчением. А рядом с Мириам опять становился безжалостен.

Однажды мартовским днем он лежал на берегу Незермира, а Мириам сидела рядом. День был сверкающий, бело-синий. Большие облака, такие ослепительные, плыли над головой, а тени крались по воде. И просветы в небе ясно, холодно синели. Пол лежал на спине в прошлогодней траве и смотрел в небо. Смотреть на Мириам не было сил. Казалось, она желает его, и он сопротивлялся. Он все время сопротивлялся. Он желал отдать ей свою страсть и нежность и не мог. Он чувствовал,

она желает не его, но душу его, извлеченную из тела. Чрез какой-то соединяющий их канал она впитывает всю его силу и энергию. Не желает она идти ему навстречу, чтобы их было двое, чтобы они были вместе — мужчина и женщина. Она хочет впитать его всего в себя. Это доводило его до напряжения, подобного безумию, которое влекло, как наркотик.

Он рассуждал о Микеланджело. А Мириам слушала, слушала с таким чувством, будто прикасается пальцами к самой трепещущей плоти, к самом сердцевине жизни. И это утоляло некую сокровенную жажду. Но под конец она испугалась. Вот он лежит, весь в напряженном поиске, и голос его постепенно наполняет ее страхом — такой он ровный, будто и не человеческий, словно в бреду.

— Довольно, помолчи, — взмолилась она, положив руку ему на лоб.

Он лежал совсем неподвижно, казалось, не в силах шевельнуться, как бы отторгнутый от собственного тела.

— Почему замолчать? Ты устала?

— Да, и тебя это изнуряет.

Он понял, коротко засмеялся.

— Однако ты всегда доводишь меня до этого, —

сказал он.

— Я совсем этого не хочу, — еле слышно промолвила Мириам.

— Только тогда, когда зашла слишком далеко и чувствуешь, что не в силах это вынести. Но бессознательно ты всегда требуешь от меня именно этого. Вероятно, мне и самому это нужно.

И он продолжал, все так же безжизненно:

— Если б только тебе нужен был я сам, а не то, что я тебе выкладываю!

— Мне-то! — с горечью воскликнула она. — Мне! Да разве ты позволил бы завладеть тобою?

— Значит, виноват я, — сказал Пол, беря себя в руки, потом встал и заговорил о каких-то пустяках. Он чувствовал, что непрочно стоит на земле. И смутно ненавидел за это Мириам. И понимал, что ничуть не меньше виноват сам. Но все равно ее ненавидел.

Однажды вечером, примерно в эту пору, он шел с Мириам по дороге к дому. Они стояли у выпаса, примыкающего к лесу, не в силах расстаться. Взошли звезды, но и облака смыкались. Меж ними на западе оба высмотрели свое созвездие — Орион. Оно сверкнуло на миг драгоценными каменьями, и пес бежал низко, с трудом продираясь сквозь облачную пену.

Орион был для них главным меж созвездий. В странные, переполненные волнением часы они вглядывались в него, пока им не начинало казаться, будто и сами они обитают на каждой из его звезд. Но в этот вечер Пол был угрюм и капризен. И Орион в его глазах был просто созвездие как созвездие. Он противился звездным чарам и волшебству. Мириам внимательно присматривалась к настроению возлюбленного. Но он не выдал себя ни единым словом, пока не наступила минута расставанья, когда, мрачно нахмурясь, он смотрел на сгрудившиеся в небе облака, за которыми, должно быть, спокойно шествовал величавый Орион.

Назавтра у него дома предполагалась небольшая вечеринка, звана была и Мириам.

— Я не выйду тебе навстречу, — сказал он.

— Ну что ж, — медленно сказала она, — не очень-то это мило с твоей стороны.

— Да нет... просто моим это не по душе. Они говорят, я тебя люблю больше, чем их. Ты ведь понимаешь, правда? Ты же знаешь, мы с тобой просто друзья.

Мириам была удивлена и оскорблена за него. Эти слова дались ему нелегко. Она ушла, хотелось избавить его от дальнейшего унижения. Мелкий

дождик брызнул ей в лицо, когда она шла по дороге. Оскорбленная до глубины души, она презирала и Пола — колеблется от каждого слова тех, чье мнение для него весомо. И, не отдавая себе в том отчета, она всем своим существом чуяла, что он пытается от нее уйти. Но никогда бы себе в этом не призналась. Она его жалела.

В ту пору Пол стал важной персоной на предприятии Джордана. Пэплуот завел собственное дело, и Пол теперь был старшим над спиральщиками. К концу года, если работа будет идти успешно, ему повысят жалованье до тридцати шиллингов в неделю.

По-прежнему в пятницу вечером Мириам приходила на урок французского. Пол уже не бывал так часто на Ивовой ферме, и при мысли, что ее образованию приходит конец, Мириам горевала; к тому же, несмотря на разлад, им так хорошо было вместе. И они читали Бальзака, писали сочинения и чувствовали себя людьми высокообразованными.

Вечер пятницы у углекопов был вечером получки. Морел «рассчитывался», делил деньги, выданные на забой — либо в Новой гостинице в Бретти, либо у себя дома, — смотря по желанию своих сотоварищей. Баркер заделался трезвен-

ником, так что теперь расчеты происходили в доме Морела.

Энни, которая прежде учительствовала вдали от дома, теперь вернулась. Она все еще сохранила мальчишеские ухватки, притом она была помолвлена и собиралась замуж. Пол изучал композицию.

По пятницам Морел вечерами всегда бывал отлично настроен, разве что жалованье за неделю оказывалось мизерным. Едва пообедав, он суматошно готовился мыться. Когда мужчины рассчитывались, женщины из приличия выходили. Не полагалось им подглядывать за мужчинами, когда они заняты таким истинно мужским делом, как расчеты меж сотоварищами, и еще — не положено им знать, сколько кто заработал. Так что, пока отец плескался в каморке при кухне, Энни уходила провести часок с соседкой. А миссис Морел пекла хлеб.

— Двери затвори! — яростно прорычал Морел.

Энни захлопнула за собой дверь и была такова.

— Только попробуй опять открыть дверь, покуда я моюсь, схлопочешь в зубы, — пригрозил он, весь окутанный мыльной пеной. При этих словах Пол с матерью нахмурились.

Вскоре он выбежал из чулана, мыльная вода

стекала с него, и он дрожал от холода.

— Мать честная! — крикнул он. — Да где ж мое полотенце?

Полотенце висело на спинке стула, у огня, чтоб согрелось, не то бы Морел разбушевался и стал их поносить. Он присел на корточки перед жарким огнем, торопясь обсохнуть.

— Бр-рр-р! — продолжал он, делая вид, будто все еще дрожит от холода.

— Да перестань, что ты как маленький! — сказала миссис Морел. — Вовсе здесь не холодно.

— А ты разденься догола и вымойся в этом чулане, — сказал Морел, вытирая голову, — там что в леднике!

— Я-то не стала бы поднимать столько шуму, — отвечала жена.

— Ясно, ты бы хлопнулась тут замертво, будто чурка.

— А почему это чурка мертвей всего прочего? — с любопытством спросил Пол.

— Кто ж его знает… присловье такое, — отвечал отец. — А только сквознячище там, в чулане, так и продувает между ребер, будто через решетку.

— Ну, тебя не больно продуешь, — сказала миссис Морел.

Морел уныло оглядел свои бока.

— Меня-то! — воскликнул он. — Да я что кролик ободранный. У меня вон все кости выпирают.

— Хотела бы я знать, где они у тебя выпирают, — возразила жена.

— Да везде-е! Мешок костей я, вот чего.

Миссис Морел рассмеялась. У него до сих пор было замечательно молодое тело, мускулистое, безо всякого жира. Кожа гладкая и чистая. Можно бы подумать, это тело мужчины, которому и тридцати нет, вот только слишком много синих шрамов, будто следы татуировки, где угольная пыль забилась под кожу, да еще грудь слишком волосатая. Но он уныло провел ладонями по бокам. Он был совершенно уверен, что раз он не оброс жирком, значит, тощ, как голодная крыса.

Пол взглянул на тяжелые, темные, заскорузлые руки отца со сломанными ногтями, поглаживающие безупречно гладкую кожу на боках, и несоответствие это его ошеломило. Так странно, что это одна и та же плоть.

— У тебя, наверно, раньше прекрасная была фигура, — сказал он отцу.

— Ха! — воскликнул углекоп и огляделся испуганно и робко, совсем по-детски.

— Это правда! — воскликнула миссис Морел. — Если б только он не съеживался весь, будто

старяясь забиться в щель.

— У меня! — воскликнул Морел. — У меня хорошая фигура! Да я всегда был сущий скелет.

— Ты что! — воскликнула жена.

— Вот те крест! — сказал он. — Ты таким только меня и видела, я ж так камнем и качусь под уклон.

Жена сидела и смеялась.

— У тебя железный организм, — сказала она, — и если главное — тело, тебе было дано как никому. Ты бы видел его молодым! — вдруг крикнула она Полу и поднялась, изобразила, какая великолепная осанка была когда-то у мужа.

Морел застенчиво на нее смотрел. Он опять увидел прежнюю ее страсть к нему. Вот что на миг вспыхнуло в жене. Он был смущен, и оробел, и застеснялся. И однако, вновь ощутил былой пыл. Но тотчас почувствовал, в какую развалину он превратился за последние годы. Захотелось вскинуться, сбежать от случившегося.

— Потри мне малость спину, — попросил он жену.

Она принесла хорошо намыленную фланельку и похлопала его по плечам. Он подскочил.

— Ах ты злодейка! — вскричал он. — Тряпка ж холодная как смерть.

— Тебе родиться бы саламандрой, — со смехом сказала она и все терла ему спину. Редко, редко она так его обихаживала. Обычно это делали дети.

— Тебе и на том свете не хватило бы жару, — прибавила она.

— И то, — согласился он. — Как бы сквозняк меня не прохватил.

Но она уже кончила. Кое-как его вытерла, сходила наверх и тут же вернулась с другими брюками. Обсохнув, он натянул рубаху. Потом, красный и лоснящийся, волосы всклокочены, фланелевая рубаха висит поверх шахтерских штанов, он стоял и грел одежду, которую собирался надеть. Поворачивал ее, выворачивал наизнанку, даже подпалил.

— Боже милостивый! — воскликнула миссис Морел. — Да оденься ты!

— А тебе понравилось бы влезать в штаны, ледяные, будто лохань с водой? — сказал он.

Наконец он скинул шахтерские штаны и надел приличные черные брюки. Все это он проделывал на каминном коврике, так же делал бы и при Энни и ее друзьях.

Миссис Морел перевернула в печи хлеб. Потом из большой красной глиняной миски, что стояла

в углу, взяла еще теста, придала ему нужную форму и положила на противень. В эту минуту постучал и вошел Баркер. Спокойный, плотный, небольшого росточка, с таким видом, будто он и сквозь каменную стену пройдет. Черные волосы коротко острижены, голова костистая. Как почти все углекопы, он был бледный, но крепкий и подтянутый.

— Наше вам, хозяйка. — Он кивнул миссис Морел и со вздохом сел.

— Добрый вечер, — приветливо ответила она.

— У тебя башмаки скрипят, — сказал Морел.

— А я и не заметил, — сказал Баркер.

Он сразу несколько стушевался, так бывало со всеми углекопами в кухне миссис Морел.

— А как ваша хозяйка? — спросила она.

Недавно Баркер ей сказал: «У нас не нынче завтра третий будет, вот какое дело».

— Сдается мне, она ничего, — сказал он и почесал в затылке.

— Так когда ждете? — спросила миссис Морел.

— Да теперь в любую минуту не диво.

— А-а. И держится она молодцом?

— Да, что надо.

— Слава Богу, ведь она не очень-то крепкая.

— Да уж. А я опять сглупил.

— Что такое?

Миссис Морел знала, не станет Баркер совершать особые глупости.

— Да сумку хозяйственную не прихватил из дому.

— Возьмите мою.

— Не-е, вам самой понадобится.

— Нет-нет. Я с плетеной хожу.

Она не раз видела, как маленький углекоп деловито покупал в пятницу вечером недельный запас бакалейных товаров и мяса, и восхищалась им. «Баркер ростом мал, а в сто раз больше мужчина, чем ты», — говорила она мужу.

Пришел Уэссон. Был он тощий, на вид не очень-то крепкий, по-мальчишески простодушный, и улыбка глуповатая для отца семерых детей. Но жена его была женщина пылкая.

— Я гляжу, ты меня обошел, — сказал он с бледной улыбкой.

— Ага, — ответил Баркер.

Пришедший снял шапку и размотал длиннейший шерстяной шарф. Острый нос его покраснел.

— Боюсь, вы замерзли, мистер Уэссон, — сказала миссис Морел.

— Да, холодновато, — ответил он.

— Так садитесь к огню.

— Не, уж останусь, где есть.

Оба углекопа сидели в сторонке. И никак нельзя было убедить их подсесть к очагу. Очаг свят в доме, он для семьи.

— Поди сядь в кресло, — весело предложил Морел.

— Не, спасибочки, мне и тут очень даже хорошо.

— Да, правда, сядьте сюда, — настаивала миссис Морел.

Он поднялся и смущенно подошел. И смущенно сел в кресло Морела. То было слишком большой вольностью. Но подле огня его охватило истинное блаженство.

— А грудь у вас как? — поинтересовалась миссис Морел.

Он опять улыбнулся, голубые глаза его повеселели.

— А очень даже ничего, — ответил он.

— А грохочет в груди, будто литавра, — коротко сказал Баркер.

Миссис Морел огорченно прищелкнула языком.

— А фланелевую фуфайку вам сшили?

— Нет покуда, — с улыбкой ответил он.

— Да что ж это вы? — упрекнула она.

— Сошьют, — с улыбкой заверил он.

— Будешь ждать до второго пришествия! — объявил Баркер.

И Баркера и Морела Уэссон раздражал. Но ведь оба они были такие крепыши, словно железные.

Почти уже покончив с одеванием, Морел подвинул к Полу сумку с деньгами.

— Посчитай, сынок, — смиренно попросил он.

Пол с досадой оторвался от своих книг и от карандаша, перевернул сумку вверх дном. На стол выпал запечатанный мешочек с серебром на пять фунтов, а еще соверены и мелочь. Он быстро посчитал, сверился с чеками — там было записано количество угля, — аккуратно уложил деньги. Потом чеки просмотрел Баркер.

Миссис Морел ушла наверх, и трое мужчин подошли к столу. Морел, как хозяин дома, сел в свое кресло, спиной к жаркому огню. У двух его сотоварищей места были попрохладнее. Никто не считал деньги.

— Сколько, мы сказали, причитается Симпсону? — спросил Морел. И они с минуту прикидывали дневной заработок. Потом сумму эту отложили в сторону.

— А Биллу Нейлору?

Эти деньги тоже взяли из общей кучи.

Потом, оттого что Уэссон жил в доме Компании и его квартирная плата была удержана, Морел и Баркер взяли каждый по четыре шиллинга шесть пенсов. И оттого что Морелу уже доставили топливо и он уже не был старшим, Баркер и Уэссон взяли по четыре шиллинга. Дальше все пошло просто. Морел давал каждому по соверену, пока они не кончились; потом по полукроне, пока не осталось ни одной; каждому по шиллингу, пока не осталось ни одного. Если под конец что-то не делилось, Морел брал это и ставил выпивку.

Потом все трое поднялись и ушли. Морел поспешил удрать из дому, пока жена не спустилась. Она услышала, как закрылась дверь, и сошла вниз. Она поскорей заглянула в духовку, на хлебы. Потом посмотрела на стол, увидела оставленные ей деньги. Пол все это время занимался. Но теперь он чувствовал, что мать считает деньги и в ней закипает гнев.

Она опять поцокала языком.

Пол нахмурился. Когда мать сердилась, он совсем не мог заниматься. Она опять пересчитала деньги.

— Жалкие двадцать пять шиллингов! — воскликнула она. — Сколько им выписали?

— Десять фунтов одиннадцать шиллингов, — раздраженно ответил Пол. С ужасом ждал он, что за этим последует.

— А со мной скопидомничает, дает двадцать пять шиллингов, да в эту неделю еще в кассу взаимной помощи! Но я его знаю. Он думает, раз теперь ты зарабатываешь, значит, он больше не обязан содержать семью. Да, и может сам спустить все свои деньги. Но я ему покажу.

— Ох, мама, не надо! — воскликнул Пол.

— Что не надо, скажи на милость? — закричала мать.

— Не заводись опять, я не могу заниматься.

Она тотчас притихла.

— Да, все это очень хорошо, — сказала она — но как прикажешь мне выкручиваться?

— Но оттого, что ты станешь изводиться, легче не станет.

— Хотела бы я знать, как бы поступил в таком положении ты.

— Это ненадолго. Ты сможешь взять мои деньги. Пошел он к черту.

Пол вернулся к своим занятиям, а мать угрюмо завязала ленты шляпки. Ему нестерпимо было, когда она волновалась. Но теперь он стал настаивать, чтобы она с ним считалась.

— Два верхних каравая через двадцать минут будут готовы, — сказала она. — Не забудь про них.

— Ладно, — ответил Пол, и она пошла на рынок.

Он сидел един и занимался. Но, выбитый из колеи, не мог привычно сосредоточиться. Он прислушивался, не стукнет ли калитка. В четверть восьмого раздался негромкий стук и вошла Мириам.

— Совсем один? — спросила она.

— Да.

Будто у себя дома, она сняла свой шотландский берет и длинное пальто и повесила их. Его это взволновало. Словно здесь их общий дом, его и ее. Потом она подошла к нему и стала разглядывать его работу.

— Что это? — спросила она.

— Композиция для декоративных тканей и для вышивки.

Мириам близоруко склонилась над рисунками.

Его взяла досада, что она так пристально рассматривает все, что он делает, вглядывается в него самого. Он пошел в гостиную и возвратился со свернутым коричневым холстом. Осторожно

развернул и разложил на полу. Оказалось, это занавесь, или portiere,[12] на которую по трафарету был нанесен прелестный орнамент из роз.

— Какая красота! — воскликнула Мириам.

Эта ткань с чудесными бледно-красными розами и зелеными стеблями, лежащая у ее ног, была такая простая, и, однако, что-то в ней чудилось греховное. Мириам опустилась перед ней на колени, темные кудри ее упали на лоб. Пол видел, как томно она склонилась к его работе, и сердце учащенно заколотилось. Внезапно она подняла на него глаза.

— Почему этот узор кажется жестоким? — спросила она.

— Что?

— В нем есть что-то жестокое, — сказала Мириам.

— Так ли, нет ли, а он очень хорош, — ответил Пол, любовно сворачивая свою работу.

Мириам в задумчивости медленно поднялась.

— А что ты станешь с ним делать? — спросила она.

— Отошлю к Либерти. Я делал это для мамы, но она, пожалуй, предпочтет деньги.

---

[12] Примечания: 12
портьера *(фр.)*.

— Наверно, — согласилась Мириам.

В голосе Пола слышалась горечь, и ей было его жаль. Для нее-то деньги ничего бы не значили.

Он унес холст в гостиную. А вернувшись, протянул Мириам холст много меньше. То была накидка на подушку с тем же рисунком.

— Это я сделал для тебя, — сказал он.

Мириам потрогала материю дрожащими руками и ничего не сказала. Полу стало неловко.

— О Господи, хлеб! — воскликнул он.

Он вытащил верхние караваи и с силой по ним похлопал. Они испеклись. Он положил их на плиту, чтобы остудить. Потом зашел в чулан при кухне, смочил руки, выгреб из миски остатки белого теста и опустил на противень. Мириам все стояла, склонясь над разрисованной накидкой. Пол принялся счищать с рук налипшее тесто.

— Тебе, правда, нравится?

Она вскинула на него темные глаза, в них пламенела любовь. Он смущенно засмеялся. Потом заговорил о рисунке. Он не знал наслаждения выше, чем рассказывать Мириам о своем любимом занятии. Этим их беседам, когда он говорил о своей работе и задумывал что-либо новое, он отдавался со всем пылом, со всей бушующей в крови страстью. Мириам будила его воображе-

ние. Она не понимала этого, как не понимает женщина, что в утробе своей зачала дитя. Но и для нее и для него то была жизнь.

Во время их разговора в кухню вошла молодая женщина лет двадцати двух, невысокая, бледная, с ввалившимися глазами, но была странная безжалостность в ее облике. Она дружила с семьей Морелов.

— Раздевайся, — сказал Пол.

— Нет, я на минутку.

Гостья опустилась в кресло напротив Пола и Мириам, которые сидели на диване. Мириам чуть отодвинулась от него. Было жарко, пахло свежеиспеченным хлебом. Румяные караваи лежали на плите.

— Вот уж не чаяла увидеть тебя здесь нынче вечером, Мириам Ливерс, — сказала Беатриса.

— Почему же? — севшим голосом пробормотала Мириам.

— Покажи-ка твою обувку.

Мириам не шевельнулась, явно смущенная.

— Видать, неохота, — засмеялась Беатриса.

Мириам выставила башмаки из-под платья. Вид у них был нелепый, нерешительный, просто жалкий, они выдавали застенчивость хозяйки, ее неуверенность в себе. И они оказались заляпаны

грязью.

— Во, видали! Сплошь изгажены, — воскликнула Беатриса. — Кто их тебе чистит?

— Сама чищу.

— Ну и работенка тебя ждет, — сказала Беатриса. — Нынче вечером я бы и для-ради целой оравы парней сюда не притащилась. Да ведь любви слякоть не помеха, верно, голубчик мой Апостол?

— Inter alia, — ответил Пол.

— О Господи. Ты что, на чужих языках лопочешь? Что это значит, Мириам?

Последний вопрос был полон ехидства, но Мириам этого не заметила.

— «Между прочим», по-моему, — смиренно ответила она.

Беатриса высунула язык и зло рассмеялась.

— «Между прочим», Апостол? — повторила она. — Стало быть, по-твоему, любви не помеха ни мать с отцом, ни сестры да братья, ни друзья и подружки, любовь даже и над любимым посмеется?

Она изображала этакую наивность.

— В сущности, любовь — огромная улыбка, — ответил Пол.

— Исподтишка, Апостол Морел… уж ты мне поверь, — сказала Беатриса. И опять разразилась

негромким злым смехом. Все до единого приятели Пола с восторгом нападали на Мириам, и Пол не кидался ее защищать — казалось, он таким образом пользуется случаем ей отомстить.

— Ты все еще преподаешь? — спросила Мириам Беатрису.

— Да.

— Тебя, значит, не уволили?

— Думаю, уволят на Пасху.

— Просто позор — неужели тебя выгонят только за то, что ты не сдала экзамен?

— Кто его знает, — холодно ответила Беатриса.

— Агата говорит, ты ничуть не хуже любой другой учительницы. Нелепость какая-то. Но почему же ты не сдала экзамен?

— Не хватает мозгов, верно, Апостол? — бросила Беатриса.

— Только и хватает, чтоб кусаться, — со смехом ответил Пол.

— Несносный! — крикнула она и вскочила, кинулась к нему и шлепнула по щеке. Ручки у нее были маленькие, очень красивые. Он стиснул ее запястья, а она пыталась вырваться. Наконец высвободилась, обеими руками ухватила его густые темные волосы, затрясла.

— Твоя взяла! — сказал Пол, пальцами пригла-

живая волосы. — Ненавижу тебя!

Беатриса расхохоталась.

— Берегись! — сказала она. — Я хочу сесть рядом с тобой.

— Предпочел бы в соседки ведьму, — сказал он, однако подвинулся, и она уселась между ним и Мириам.

— А как взъерошены его распрекрасные волосы! — крикнула она и расчесала их своей гребенкой. — А до чего прелестные усики! — воскликнула она. Откинула назад его голову и прошлась гребенкой по недавно отпущенным усикам. — Усы у тебя греховные, Апостол, — сказала она. — Рыжие — бесстыжие. Те сигареты у тебя еще есть?

Пол достал из кармана портсигар. Беатриса заглянула в него.

— Подумать только, беру самоновую сигарету, — сказала Беатриса и зажала ее между зубами. Пол поднес зажженную спичку, и Беатриса со вкусом затянулась.

— Покорно благодарю, миленький, — насмешливо изрекла она.

Ее переполняло злорадство.

— Мириам, правда, у него это мило получается?

— Даже очень, — ответила Мириам.

Пол тоже взял сигарету.

— Огоньку, старина? — спросила Беатриса, наклонив к нему свою сигарету.

Пол потянулся к ней прикурить. А она меж тем ему подмигивала. Мириам видела, в глазах у него мерцают озорные искры и полные, чувственные губы вздрагивают. Он стал сам на себя непохож, и это было невыносимо. Такой, как сейчас, он ей чужой, и она для него просто не существует. Она видела, как в красных полных губах подрагивает сигарета. Ей ненавистны были его густые волосы, что в беспорядке упали на лоб.

— Пай-мальчик! — сказала Беатриса и, подняв его подбородок, наградила легким поцелуем в щеку.

— И я тебя сейчас поцелую, — сказал он.

— Нет уж! — она хихикнула, вскочила и отошла. — Вот бесстыдник, а, Мириам?

— Еще какой, — ответила Мириам. — Кстати, Пол, ты не забыл про хлеб?

— Господи! — вскрикнул он и распахнул дверцу духовки.

Оттуда вырвался синеватый дым и запах горелого хлеба.

— Боже милостивый! — воскликнула Беатриса,

подойдя к нему. Он присел на корточки перед дверцей, она заглянула через его плечо. — Вот что значит все на свете позабыть из-за любви, мой милый.

Пол уныло вынимал хлебы. У одного сторона, обращенная к жару, была сожжена дочерна, другой оказался твердым, как кирпич.

— Бедняга мать! — сказал Пол.

— Их надо поскрести, — посоветовала Беатриса. — Дай мне терку для орехов.

Она положила хлебы. Пол принес терку, и Беатриса принялась скоблить обугленную сторону хлеба над разложенной на столе газетой. Пол растворил дверь, чтоб выдуло запах горелого. Беатриса, попыхивая сигаретой, соскребала уголь с несчастных хлебов.

— Право слово, Мириам! На сей раз тебе здорово попадет, — сказала Беатриса.

— Мне? — изумилась Мириам.

— Лучше тебе унести ноги, пока не вернулась его мать. Я-то знаю, почему у короля Алфреда сгорело печенье. Теперь мне понятно! Апостол станет уверять, будто он занимался и забыл про все на свете, понадеется этой байкой отмыться от греха. Приди старушка чуть пораньше, она надавала бы по щекам не бедному королю Алфреду, а

той бесстыднице, которая из-за любви про все на свете позабыла.

Она скоблила хлеб и хихикала. Даже Мириам невольно засмеялась. Пол уныло наводил порядок в духовке.

Хлопнула садовая калитка.

— Скорей! — крикнула Беатриса, протягивая Полу очищенный хлеб. — Заверни его во влажное полотенце.

Пол скрылся в чулане за кухней. Беатриса поспешно сдула в огонь все, что соскоблила, и уселась с невинным видом. В кухню влетела Энни. Резкая в движениях, ловкая, нарядная. Она замигала, ослепленная ярким светом.

— Пахнет горелым! — провозгласила она.

— Это от сигарет, — сдержанно ответила Беатриса.

— А где Пол?

Следом за Энни вошел Леонард. У него было длинное лицо комика и голубые, очень печальные глаза.

— Сдается мне, он вас оставил, чтоб вы разобрались между собой, — сказал он. Сочувственно кивнул Мириам и с мягкой насмешкой глянул на Беатрису.

— Нет, — сказала Беатриса, — он ушел с номе-

ром девятым.

— Мне только что встретился номер пятый, справлялся про него, — сказал Леонард.

— Да… придется нам его делить, как дитя по Соломонову приговору, — сказала Беатриса.

Энни рассмеялась.

— Мм-да, — сказал Леонард. — И какую часть ты выберешь?

— Сама не знаю, — ответила Беатриса; — Пускай сперва выберут все остальные.

— И ты предпочтешь остатки, да? — спросил Леонард, скорчив смешную рожу.

Энни заглядывала в духовку. На Мириам никто не обращал внимания. Вошел Пол.

— Ну и хорош получился у нашего Пола хлеб, — съязвила Энни.

— Осталась бы сама дома да приглядела за ним, — сказал Пол.

— А ты, стало быть, волен заниматься тем, чем тебе угодно, — возразила Энни.

— Он-то волен, а как же! — воскликнула Беатриса.

— По-моему, у него и так был забот полон рот, — заметил Леонард.

— Дорога была жуткая, да, Мириам? — сказала Энни.

— Да… но я всю неделю сидела взаперти…

— И захотелось вроде какого-то разнообразия, — пришел ей на выручку Леонард.

— Ну, невозможно же вечно торчать дома, — согласилась Энни.

Она держалась вполне приветливо. Беатриса надела пальто и вышла вместе с Энни и Леонардом. Ей предстояло встретиться со своим дружком.

— Не забудь про хлеб, Пол наш, Пол, — крикнула Энни. — До свидания, Мириам. По-моему, дождя не будет.

Когда все они ушли, Пол взял обернутый полотенцем хлеб, развернул и с грустью оглядел.

— Ну и ну! — сказал он.

— Но что в конце концов за беда, — с досадой отозвалась Мириам. — Это же пустяки, гроши.

— Да, конечно, но… мать всегда так старается хорошо испечь хлеб, она очень огорчится. Да что толку теперь расстраиваться.

Он унес хлеб в чулан. Между ним и Мириам сейчас ощущался холодок. Он спокойно стоял напротив нее, размышлял, обдумывал свое поведение с Беатрисой. В душе он чувствовал себя виноватым перед Мириам и все-таки радовался. Непостижимо, но почему-то казалось, Мириам

получила по заслугам. Раскаиваться он не станет. А Мириам гадала, о чем это он задумался. Густые волосы в беспорядке нависли у него надо лбом. Ну почему ей нельзя откинуть их со лба, стереть след Беатрисиной гребенки? Почему нельзя притянуть его к себе обеими руками? Ведь тело его такое крепкое, каждая клеточка такая живая. И ведь другим девушкам он бы это позволил, почему же не ей?

Он вдруг ожил. Так стремительно откинул со лба волосы и подошел к ней, что она испуганно вздрогнула.

— Половина девятого! — сказал он. — Надо нам поторопиться. Где твой французский?

Робко и не без горечи достала Мириам свою тетрадь. Каждую неделю она, как умела, вела по-французски подобие дневника своей души. Полу думалось, это единственный способ приохотить ее к сочинениям. И дневник этот был по большей части любовным посланием. Сейчас Пол его прочтет; ей казалось, будто при его теперешнем настроении история ее души будет осквернена. Пол сел рядом с нею. Мириам следила, как его твердая теплая рука строго выправляет ее работу. Он обращал внимание только на французский, вовсе не вчитываясь в ее душу. Но постепенно ру-

ка его забыла свою обязанность. Он читал молча, не шевелясь. И Мириам бросило в дрожь.

«Ce matin les oiseaux m'ont eveille, — читал он. — Il Caisait encore un crepuscule. Mais la petite fenetre de ma chambre etart bleme, et puis jaune, et tous les oiseaux de bois eclaturent dans un chanson vif et resonnant. Tout l'aube tressaillit. J'avais reve de vous. Est-ce que vous voyez aussi l'aube? Les oisaux m'eveillent presque tous les matins et toujours il y a quelque chose de terreur dans le cri des grives. Il est si clair...»[13]

Мириам сидела дрожащая, почти пристыженная. Пол все не произносил ни слова, пытался вникнуть в написанное. Он лишь понимал, что она его любит. И страшился ее любви. Слишком хороша для него эта любовь, он ее не стоит. И виной тому не ее, а его любовь. Пристыженный, он правил ее работу, смиренно писал поверх ее слов.

— Смотри-ка, — негромко сказал он, — причастие прошедшего времени, спрягаемое с avoir,

---

[13] Примечания: 13

Сегодня утром меня разбудили птицы. Еще не рассвело. Но окошко моей комнаты побледнело, потом стало желтое, и все птицы в лесу разом громко, весело запели. Вспыхнул рассвет. Я подумала о вас. Может быть, и вы видели эту зарю? Птицы будят меня почти каждое утро, и в крике дроздов что-то наводит на меня страх. Он такой звонкий... *(фр.).*

требует прямого дополнения, если оно предшествует причастию.

Мириам склонилась над тетрадью, стараясь увидеть и понять. Ее вольно вьющиеся тонкие волосы коснулись его лица. Пол вздрогнул, отшатнулся, словно от раскаленного железа. Он видел, как она вглядывается в страницу, красные губы ее жалобно раскрылись, тонкие прядки черных волос вьются по загорелой румяной щеке. Она густо покраснела, будто гранат. Пол смотрел на нее, и ему трудно стало дышать. Она вдруг подняла на него глаза, глянула. Из этих темных глаз смотрела неприкрытая любовь, и страх, и призыв. И глаза Пола, тоже темные, больно ранили ее. Казалось, они ее подчиняют. Она совсем потеряла самообладание, страх делал ее беззащитной. И Пол знал, прежде чем поцеловать ее, надо самому от чего-то избавиться. И подобие ненависти к ней опять прокралось к нему в сердце. Он вернулся к ее тетрадке.

Внезапно он бросил карандаш, одним прыжком оказался у духовки и вот уже переворачивает хлеб. Для Мириам он был слишком быстр. Она вздрогнула всем телом, и ее пронзила боль. Больно даже просто видеть, как он присел перед духовкой. Какая-то в этом неумолимость,

какая-то неумолимость и в том, как он мигом опрокинул хлеб с противня и снова подхватил. Будь его движения помягче, ей было бы отрадно и тепло. А такой, как сейчас, он причинял ей боль.

Он вернулся, досмотрел ее сочинение.

— На этой неделе ты молодцом, — сказал он.

Мириам видела, он польщен ее дневником. Но это не до конца сняло боль.

— У тебя иногда замечательно получается, — сказал он. — Тебе надо бы писать стихи.

Мириам радостно встрепенулась, потом недоверчиво покачала головой.

— Не верится мне, что я смогу, — сказала она.

— Ты должна попробовать!

Опять она покачала головой.

— Почитаем, или уже слишком поздно? — спросил Пол.

— Поздно… но немножко почитаем, — сказала она просительно.

Ведь сейчас она получала пищу для души на всю следующую неделю. Пол велел ей переписать бодлеровский «Le Balcon».[14] Потом прочел эти стихи. Голос сперва звучал нежно, ласкал слух, но постепенно стал почти грубым. У Пола была

---

[14] Примечания: 14
«Балкон» *(фр.).*

привычка — в минуты сильного волнения губы его страстно и горько приоткрывались, обнажая зубы. Так было и сейчас. Мириам почудилось, он ее презирает. И она не смела взглянуть на него, низко опустила голову. Не понимала она, откуда такое волнение, такое неистовство. И чувствовала себя несчастной. Она не любила Бодлера, совсем не любила… и Верлена тоже.

Взгляни, одна среди лугов
Запела песню дева гор —

вот что питало ее сердце. Как и «Прекрасная Инес». И еще –

Прекрасный мирный этот вечер тих,
Священный час монахине подобен.

Вот эти строки ей сродни. А он гортанно, с горечью читал:

Tu te rappelleras la beaute des caresses.[15]

Он дочитал стихотворение, вытащил хлебы из духовки, подгоревшие пристроил на дне миски, хорошие сверху. Пересушенный каравай, завернутый в полотенце, оставался в чулане.

— Матери лучше до утра не знать, — сказал

---

[15] Примечания: 15
ты снова припомнишь все чудо тех ласк *(фр.).*

он. — Утром она меньше огорчится, чем на ночь глядя.

Мириам подошла к книжному шкафу, посмотрела, какие открытки и письма он получил и что там за книги. Одна книга ее заинтересовала, и она взяла ее с полки. Потом Пол погасил свет, и они вышли. Дверь он не запер.

Вернулся он уже без четверти одиннадцать. Мать сидела в своем кресле-качалке. Энни, перекинув тяжелую косу на спину и облокотясь на колени, уныло притулилась на низкой скамеечке перед камином. На столе лежал неразвернутым неприлично обгоревший хлеб. Пол вошел, едва переводя дух. Все молчали. Мать читала местную газетку. Пол снял пальто и прошел к дивану. Мать порывисто отодвинулась, давая ему дорогу. Все молчали. Ему было сильно не по себе. Несколько минут он сидел, делая вид, будто читает взятый со стола какой-то листок. Потом…

— Я забыл про этот каравай, мама, — сказал он.

Ни мать, ни сестра не отозвались.

— Ну это же пустяки, гроши, — сказал он. — Я могу тебе заплатить за него.

В сердцах он положил на стол три пенса и подтолкнул к матери. Она отвернулась. Крепко

сжала губы.

— Да ты и не знаешь, как маме плохо, — сказала Энни.

Она по-прежнему сидела, уставясь в огонь.

— Почему это ей плохо? — напористо спросил Пол.

— Понимаешь, — сказала Энни, — она насилу добрела до дома.

Пол внимательно посмотрел на мать. Она казалась больной.

— Почему насилу добрела? — спросил он все еще резко.

Мать молчала.

— Я когда пришла, мама сидела в кресле белая, как мел, — сказала Энни, в голосе ее послышались слезы.

— Но почему все-таки? — настаивал Пол. Он нахмурился, глаза вспыхнули волнением.

— Кому угодно стало бы плохо, — сказала миссис Морел, — тащить все эти свертки… мясо, зелень, да еще занавеси…

— Так зачем же ты все это тащила? Незачем было тащить.

— А кто бы принес?

— Пускай Энни покупает мясо.

— Конечно, я бы принесла, но откуда мне бы-

ло знать? А ты, чем бы дождаться маму, ушел с Мириам.

— Что с тобой было, ма? — спросил Пол.

— Наверное, это сердце, — ответила она. У нее и вправду посинели губы.

— А прежде с тобой так бывало?

— Да… довольно часто.

— Тогда почему ж ты мне не говорила?.. И почему не показалась доктору?

Миссис Морел выпрямилась в кресле, рассерженная этим тоном сурового наставника.

— Ты бы ничего и не заметил, — сказала Энни. — У тебя одно на уме — как бы улизнуть с Мириам.

— Вот как… а сама с Леонардом?

— Я без четверти десять уже вернулась.

— По-моему, эта Мириам могла бы не настолько поглощать твое внимание, чтоб ты сжег целую духовку хлеба, — с горечью сказала миссис Морел.

— Тут была и Беатриса, не одна Мириам.

— Очень может быть. Но мы-то знаем, почему сгорел хлеб.

— Почему? — вспыхнул Пол.

— Потому что ты был поглощен этой Мириам, — запальчиво ответила миссис Морел.

— А, понятно… да только это неправда! — сер-

дито возразил Пол.

Тошно и горько ему стало. Схватив газету, он принялся читать. Энни, в расстегнутой блузе, с длинной спущенной косой, пошла спать, сухо пожелав ему спокойной ночи.

Пол все сидел, делая вид, будто читает. Он знал, мать хочет высказать ему свои упреки. И хотел понять, отчего ей стало плохо; ее нездоровье его встревожило. И потому, подавляя желание поскорей укрыться в спальне, он сидел и ждал. Настала напряженная тишина. Громко тикали часы.

— Шел бы ты спать, пока не вернулся отец, — резко сказала мать. — И если хочешь есть, поешь поскорей.

— Ничего я не хочу.

У матери было в обычае купить что-нибудь повкусней для пятничного ужина, для вечера, когда углекопы позволяли себе пороскошествовать. Но Пол был слишком сердит, не до лакомств ему сегодня было. Мать это обидело.

— Представляю, какую бы ты устроил сцену, если б мне вздумалось послать тебя в пятницу вечером в Селби, — сказала миссис Морел. — А вот если за тобой явится она, ты про всякую усталость забудешь. Нет уж, тогда тебе и не до еды, и не до питья.

— Я не могу отпустить ее одну.

— Вот как? А почему она приходит?

— Не по моему приглашению.

— Если б ты не хотел, она бы не приходила…

— Ну, а если я и вправду хочу, тогда что… — ответил он.

— Да ничего, если бы ты был разумен и знал меру. Но тащиться столько миль по грязи, приходить домой в полночь, притом что наутро надо ехать в Ноттингем…

— Если бы мне не надо было в Ноттингем, ты бы все равно сердилась.

— Да, верно, потому что это неразумно. Неужто она так обворожительна, что ты не можешь не провожать ее в такую даль?

Миссис Морел говорила весьма язвительно. Она сидела, отвернувшись от сына, я опять и опять порывисто проводила рукой по своему черному сатиновому фартуку. Полу больно было видеть это беспокойное движение.

— Она и вправду мне нравится, — сказал он, — но…

— Нравится! — все так же едко повторила мать. — Похоже, тебе кроме нее ничто и никто не нравится. Для тебя уже не существуем ни Энни, ни я, никто.

— Что за ерунда, мама… ты же знаешь, я не люблю ее… я… я… говорю тебе, я вовсе ее не люблю… когда мы гуляем, она даже не берет меня под руку, потому что я этого не хочу.

— Тогда почему ты так часто к ней бегаешь?

— Потому что мне и правда нравится с ней разговаривать… я же никогда этого не отрицал. Но любить я ее не люблю.

— А что, больше тебе разговаривать не с кем?

— О том, о чем мы с ней разговариваем, не с кем. Есть очень много такого, что тебе неинтересно, что…

— Например?

Мать допытывалась так напористо, что Пол смешался.

— Ну… живопись… книги. Тебя ведь не занимает Герберт Спенсер?

— Нет, — печально ответила она. — В моем возрасте и тебя бы не занимал.

— Но сейчас-то занимает… и Мириам тоже…

— А ты откуда знаешь, что меня не занимает? — вспылила миссис Морел. — Ты когда-нибудь меня спрашивал?

— Но тебе же все равно, мама, сама знаешь, тебе все равно, что за картина перед тобой, декоративная или какая-нибудь другая, тебе все равно,

в какой манере она написана.

— Откуда ты знаешь, что мне все равно? Ты хоть раз меня спросил? Ты хоть раз попробовал о чем-нибудь таком со мной заговорить?

— Но ведь не это для тебя важно, мама, ты же сама знаешь.

— Тогда что же… что же тогда для меня важно? — вспыхнула она.

Пол нахмурился, так больно ему стало.

— Ты старая, мама, а мы молодые.

Он только хотел сказать, что в ее возрасте интересы другие, чем у него, молодого. Но едва договорив, понял, что сказал не то.

— Да, я прекрасно понимаю… я старая. И, стало быть, надо посторониться, у меня нет с тобой ничего общего. Я гожусь, только чтоб обслуживать тебя… все остальное — для Мириам.

Нестерпимо ему было это слышать. Чутье подсказывало — только им мать и живет. И ведь она-то для него главней всех, самая дорогая на свете.

— Ты неправа, мама, неправа, ты же сама знаешь!

Крик этот глубоко ее тронул.

— А очень похоже, что права, — сказала она уже не так безнадежно.

— Нет, мама… я же правда ее не люблю. Я с ней разговариваю, но хочу возвратиться домой, к тебе.

Он снял воротничок и галстук, обнажив шею, и встал, собрался идти спать. Склонился поцеловать мать, а она обхватила его шею, уткнулась лицом ему в плечо и заплакала, забормотала, и голос ее звучал так необычно, что у Пола все мучительно сжалось внутри.

— Не могу я это вынести. С другой женщиной примирилась бы… только не с ней. Она не оставит мне места, ни чуточки места…

И в нем поднялась ярая ненависть к Мириам.

— И ведь у меня никогда… знаешь. Пол… никогда не было мужа… по-настоящему не было…

Он гладил мать по волосам, губами прижался к ее шее.

— И она прямо с торжеством отнимает тебя у меня… она не такая, как обыкновенные девушки.

— Но я же ее не люблю, ма, — прошептал Пол, опустив голову и в отчаянии пряча от нее глаза. Мать поцеловала его долгим, горячим поцелуем.

— Мальчик мой! — сказала она, голос ее дрожал от страстной любви.

Сам того не замечая, он ласково гладил ее по

лицу.

— Ладно, — сказала она, — теперь иди спать. Утром ты будешь ужасно усталый. А вот и отец… ну, иди. — Она вдруг глянула на него чуть ли не в страхе. — Может, я эгоистка. Если она тебе нужна, бери ее, мой мальчик.

Такое странное у нее стало лицо. Дрожа, он ее поцеловал.

— Ну что ты… мама! — мягко сказал он.

Нетвердой походкой вошел Морел. Шапка съехала у него на один глаз. В дверях он покачнулся.

— Опять вредничаешь? — злобно выпалил он.

В миссис Морел разом вспыхнула ненависть к пьянице, который вот так накинулся на нее.

— Во всяком случае, это занятие трезвое, — сказала она.

— Хм… хм! Хм… хм! — расфыркался Морел. Пошел в коридор, повесил пальто и шапку. Потом слышно стало, как он спустился на три ступеньки в кладовку. Вернулся, зажав в кулаке кусок пирога со свининой. Того самого, что миссис Морел купила для сына.

— Не для тебя это куплено. Даешь мне несчастных двадцать пять шиллингов, и пивом накачался, так уж кормить тебя пирогами со свининой я не стану.

— Чего-о… чего-о? — прорычал Морел, едва удерживаясь на ногах. — Как так не для меня куплено? — Он глянул на мясную начинку и хрустящую корочку и, вдруг разъярясь, кинул кусок в огонь.

Пол вскочил на ноги.

— Швыряйся тем, за что сам платил! — крикнул он.

— Чего… чего! — вдруг заорал Морел, подскочил, сжал кулак. — Я тебе покажу, щенок!

— Ну-ка! — со злым вызовом сказал Пол, пригнув голову. — Давай покажи!

В эту минуту он был бы рад пустить в ход кулаки. Морел тоже изготовился, поднял кулаки, вот-вот прыгнет. Юноша стоял и улыбался одними губами.

Отец зашипел как кошка, изо всех сил размахнулся и едва не угодил в лицо сыну. Но ударить не решился, хотя был на волосок от этого, в последний миг отклонился.

— Вот так! — сказал Пол, он смотрел на губы отца, уже метил в них кулаком. У него руки так и чесались. Но за его спиной раздался слабый стон. Мать сидела бледная как смерть, губы ее посинели. Морел изготовился для следующего удара.

— Отец! — крикнул Пол, голос его зазвенел.

Морел вздрогнул, замер.

— Мама! — простонал Пол. — Мама!

Она попыталась собраться с силами. Глаза были раскрыты и устремлены на сына, но шевельнуться она не могла. Понемногу она приходила в себя. Он уложил ее на диван, кинулся наверх, принес виски, и наконец она отпила немного. По лицу Пола катились слезы. Он стоял подле матери на коленях и не плакал, но по лицу тихо струились слезы. Морел сидел в другом углу, уставив локти в колени, свирепо смотрел на сына.

— Чего с ней такое? — спросил он.

— Обморок! — ответил Пол.

— Хм!

Отец принялся расшнуровывать башмаки. Спотыкаясь, пошел в спальню. То был его последний бой в этом доме. Пол стоял на коленях, гладил руку матери.

— Не хворай, ма… не хворай! — опять и опять повторял он.

— Это пустяки, мой мальчик, — пробормотала она.

Наконец он поднялся, подбросил в камин большой кусок угля и пошуровал там. Потом прибрал в комнате, навел порядок, накрыл стол на утро для завтрака и принес матери свечу.

— Ты уже можешь лечь спать, ма?

— Да, пойду.

— Ложись с Энни, ма, не с ним.

— Нет, я лягу в собственную постель.

— Не ложись с ним, ма.

— Я лягу в свою собственную постель.

Она встала, Пол погасил лампу и пошел наверх за ней по пятам, неся ее свечу. На лестничной площадке он крепко ее поцеловал.

— Спокойной ночи, ма.

— Спокойной ночи!

В неистовой муке Пол зарылся лицом в подушку. И однако, в глубине души он был спокоен, все-таки мать он любит больше. То был горький покой смирения.

Попытки отца на другой день помириться с ним были для него нестерпимым унижением.

Все трое старались забыть вчерашнюю сцену.

9. Поражение Мириам

Пол был недоволен собой и всем на свете. Самой глубокой любовью он любил мать. И просто не мог вынести, если чувствовал, что обидел ее или хоть на миг изменил своей любви к ней. Стояла весна, и между ним и Мириам шло единоборство. В этом году у него был к ней немалый счет. И она смутно сознавала это. Давнее ощущение, возникшее у нее однажды во время молитвы, что в их любви ей суждено быть жертвой, примешивалось теперь ко всем ее чувствам. Втайне она и прежде не верила, что когда-нибудь он будет всецело ей принадлежать. Прежде всего она не верила в себя; сомневалась, сумеет ли стать такой, какою он хотел бы ее видеть. И конечно же, никогда она не представляла себе счастливую долгую жизнь с ним рядом. Впереди ей виделась трагедия, скорбь, жертвоприношение. И в жертвоприношении была гордость, в самоотречении — сила, оттого что она полагалась на свое уменье справляться с повседневностью. Она готова была к чему-то большому, к чему-то глубинному, например, к трагедии. А достанет ли ей заурядной жизни изо дня в день, тут она положиться на себя не могла.

Пасхальные праздники начались счастливо. Пол был самим собой, был ей открыт. Но она чувствовала, что все обернется плохо. В воскресенье под вечер она стояла у окна своей комнаты и смотрела на рощу, у окоема яркого предвечернего неба, на дубы, в чьих ветвях запутались сумерки. Серо-зеленые листья жимолости свисали с ветвей перед окном, и ей показалось, кое-где уже проклюнулись бутоны. Наступила весна, для Мириам пора и любимая и пугающая.

Услышав, что звякнула калитка, она застыла в тревожном ожидании. Были светлые сумерки, Пол вошел во двор, ведя велосипед, который поблескивал на ходу. Обычно он звонил в велосипедный звонок, смотрел на дом и смеялся. Сегодня он шел сжав губы, казался холодным, неумолимым, и в облике его была еще и какая-то неловкость и презренье. Мириам уже слишком хорошо его знала и по напряженной отчужденности этого молодого тела понимала, что происходит у него в душе. Оттого, с какой холодной педантичностью он поставил велосипед, у нее упало сердце.

В боязливом волнении она спустилась по лестнице. На ней была новая тюлевая блузка, которая, по ее мнению, ей шла. Высокий плоеный ворот-

ник, как на портрете королевы Марии Стюарт, придавал ей, как она воображала, особенную женственность и достоинство. В двадцать лет она была великолепно сложена, с высокой грудью. Лицо ничуть не изменилось, по-прежнему было будто прекрасная нежная маска. Но, когда она подняла глаза, они были изумительны. Она боялась Пола. Он ведь заметит ее новую блузку.

Он же, настроенный жестко и насмешливо, развлекал семейство, описывая, как в Старой методистской церкви служил хорошо известный проповедник этой секты. Пол сидел во главе стола, изображал пастыря и прихожан, и его подвижное лицо и выражение глаз, которые бывали так хороши, когда сияли нежностью или искрились смехом, мгновенно неузнаваемо менялись. Его насмешки всегда ранили Мириам, слишком метко били они в цель. Он слишком был умен и безжалостен. Она чувствовала, когда глаза у него такие, как сейчас, жесткие и злорадные, он не пощадит ни себя, ни кого другого. Но миссис Ливерс смеялась до слез, и мистер Ливерс, который только что пробудился от воскресного сна, забавлялся вовсю. Все три брата сидели встрепанные, заспанные, без курток, и то и дело покатывались со смеху. Всему семейству подобные «представле-

ния» доставляли неслыханное удовольствие.

На Мириам он не обратил внимания. Позднее она слышала, он помянул ее новую блузку, слышала, что как художник ее одобрил, но не было в этом ни капли тепла. Она волновалась, с трудом достала с полок чашки.

Когда мужчины пошли доить коров, она рискнула с ним заговорить.

— Ты пришел так поздно, — сказала она.

— Разве? — отозвался он.

Помолчали.

— Трудно было ехать? — спросила она.

— Я не заметил.

Она продолжала быстро накрывать на стол. А когда кончила, сказала ему:

— До чая еще несколько минут. Хочешь, пойдем посмотрим, зацвели ли желтые нарциссы?

Не ответив, он встал. Они вышли в сад за домом, под тернослив с набухающими почками. Холмы и небо были чистые, холодные. Все казалось свежевымытым и каким-то жестким. Мириам поглядела на Пола. Какой он бледный, безучастный. Как жестоко, что его глаза, брови, бесконечно ей милые, могут причинять такую боль.

— Ты устал от ветра? — спросила она. Она чувствовала, он старается не выдать, что измучен.

— Нет, не думаю, — ответил он.

— Дорога, должно быть, трудная… лес так стонет.

— Можешь увидеть по облакам, ветер юго-западный, попутный, ехать было легче.

— Я этого не понимаю, я ведь не езжу на велосипеде, — пробормотала Мириам.

— Разве, чтоб это понять, надо самой ездить на велосипеде? — сказал он.

Ей подумалось: его язвительность совсем ни к чему. Дальше шли молча. Неухоженную кочковатую лужайку за домом окружала колючая живая изгородь, подле нее из узких серо-зеленых листьев тянулись вверх желтые нарциссы. Набухшие бутоны в холоде не раскрылись и остались зеленоватыми. Но иные все же распустились, и золотые зубчатые лепестки так и горели. Мириам опустилась на колени, взяла в ладони испуганно глядящий нарцисс, повернула к себе его золотой лик и склонилась, нежно касаясь его губами, щеками, лбом. Пол стоял поодаль, заложив руки в карманы, и смотрел на нее. Призывно поворачивала она к нему один за другим распустившиеся цветы, все продолжая осыпать их ласками.

— Правда, они великолепны? — пробормотала она.

— Великолепны! Ну, это чересчур… они милые!

Опять она склонилась к нарциссам, хоть он и осудил ее восторженную похвалу. Он смотрел, как она, согнувшись, пылкими поцелуями вбирает в себя цветы.

— Ну почему тебе всегда все надо ласкать! — с досадой сказал он.

— Но я люблю прикасаться к ним, — обиженно ответила Мириам.

— Неужели нельзя просто любить их, а не хватать так, будто ты хочешь вырвать самую их суть? Почему ты не можешь быть посдержанней, хоть немного обуздывать себя, что ли?

Мириам посмотрела на него, жестоко уязвленная, потом стала опять медленно проводить губами по трепещущим лепесткам. Она вдыхала их аромат — был он куда добрее Пола, — и она чуть не заплакала.

— Ты у всего выманиваешь душу, — сказал Пол. — Я бы нипочем не стал выманивать… во всяком случае, действовал бы напрямик.

Он сам не знал, что говорит. Слова вырывались помимо его сознания. Мириам посмотрела на него. Казалось, весь он — точно нацеленное на нее непоколебимое безжалостное оружие.

— Ты вечно у всего выклянчиваешь любовь, — сказал он, — ты будто нищенка, для которой милостыня — любовь. К цветам и то стараешься подольститься…

Мириам мерно покачивалась, проводила губами по цветку, вдыхала его аромат; потом всякий раз, как он до нее донесется, ее будет бросать в дрожь.

— Сама любить не хочешь… у тебя вечная противоестественная жажда быть любимой. Ты не положительная величина, ты отрицательная. Ты поглощаешь, поглощаешь, непременно хочешь насытиться любовью, а в тебе самой, видно, любви не хватает.

Мириам была ошеломлена его жестокостью и уже не слушала. А сам он понятия не имел, что он такое несет. Словно его растревоженная, измученная душа, разгоряченная болезненной страстью, прорывалась этими речами, как электричество искрами. Смысл его слов не доходил до Мириам. Она лишь сидела, вся сжалась от его жестокости и ненависти. Она не умела понимать мгновенно. Все требовало долгих и долгих размышлений.

После чая Пол присоединился к Эдгару и второму брату, не обращая внимания на Мириам. Она

же, безмерно несчастная в этот долгожданный праздничный день, все надеялась. И наконец он поддался и подошел к ней. Она решила непременно докопаться — отчего он сегодня такой. Она думала, что это всего лишь преходящее настроение.

— Мажет, погуляем немного по лесу? — спросила она, зная, что прямой просьбе он никогда не отказывает.

Они прошли до садка для кроликов. На тропе они миновали капкан — узкую подковообразную изгородь из веточек пихты с приманкой из кроличьих кишок. Пол глянул и нахмурился. Она перехватила его взгляд.

— Ужасно, да? — сказала она.

— Не знаю. Разве это хуже, чем если хорек вгрызается в горло кролика? Один хорек или много кроликов? Жить либо одному, либо другому.

Полу трудно давалась горечь жизни. И ей было его жаль.

— Пойдем обратно к дому, — сказал он. — Не хочется мне гулять.

Они прошли мимо куста сирени, бронзовые почки листьев на нем еще не раскрылись. Еще стояла квадратная, бурая, будто каменная колонна, уцелевшая часть скирды. И, когда в последний

раз брали сено, тут осталась вмятина — подобие ложа.

— Давай минутку посидим здесь, — предложила Мириам.

Пол неохотно сел, оперся спиной о стену затверделого сена. Пред ними амфитеатром возвышались и рдели на закате круглые холмы, малыми пятнышками белели фермы, открывались позлащенные луга, темные и, однако, светящиеся леса, и четкие на расстоянии вставали одна за другой верхушки деревьев. К вечеру облака рассеялись, небо на востоке стало нежное, с чистым румянцем, и земля под ним лежала спокойная и щедрая.

— Ведь, правда, красиво? — взмолилась Мириам.

Но он лишь помрачнел. Уж лучше бы все сейчас было уродливо.

В этот миг примчался большой бультерьер с открытой пастью, подпрыгнул, водрузил передние лапы на плечи Пола и принялся лизать его лицо. Пол со смехом отпрянул. Билл оказался для него огромным облегчением. Он оттолкнул пса, но тот опять на него прыгнул.

— Пшел вон, — сказал Пол, — не то я тебе задам.

Но от пса было не так-то легко отделаться. И Полу пришлось с ним побороться. Он отбрасывал Билла, но тот вне себя от радости только буйно накидывался снова и снова. Так они боролись, человек поневоле смеясь, пес — радостно скаля зубы. Мириам смотрела на них. Что-то было жалкое в этом человеке. Так он хотел любить, быть нежным. Он опрокидывал пса упорно и, по сути, ласково. Билл вскакивал, задыхаясь от счастья, вращая карими глазами, что выделялись на белой морде, и опять неуклюже кидался на Пола. Он обожал Пола. Тот нахмурился.

— Билл, ты мне надоел, — сказал он.

Но пес стоял, упершись в бедро Пола двумя дрожащими от любви тяжелыми лапами, и тыкался в него красным языком. Пол отпрянул.

— Нет, — сказал он, — нет… ты мне надоел.

И вот уже пес весело затрусил прочь в поисках новой забавы. А Пол уныло смотрел на холмы и завидовал их спокойной красоте. Ему хотелось уйти и покататься с Эдгаром на велосипеде. Но не хватало мужества бросить Мириам.

— Отчего ты такой грустный? — смиренно спросила она.

— Никакой не грустный, с чего мне грустить? — ответил он. — Такой, как всегда.

Мириам недоумевала, почему всякий раз, как он бывал несносен, он уверял, будто он такой, как всегда.

— Но в чем дело? — ласково допытывалась она.

— Ни в чем!

— О нет! — пробормотала она.

Пол подобрал палку и стал тыкать в землю.

— Ты бы лучше помолчала, — сказал он.

— Но я хочу знать… — возразила Мириам.

Он сердито засмеялся.

— Вечная история, — сказал он.

— Ты ко мне несправедлив, — пробормотала она.

Острым концом он опять и опять вонзал палку в землю, выбрасывал мелкие комья, словно его лихорадило от злости. Мириам ласково и твердо положила руку на его запястье.

— Не надо! — сказала она. — Брось ее.

Он отбросил палку в кусты смородины и откинулся назад. Теперь он окончательно замкнулся.

— Ну что такое? — мягко молила Мириам.

Пол лежал совсем неподвижно, жили только глаза, полные муки.

— Знаешь, — устало сказал он наконец, — знаешь… нам лучше расстаться.

Именно этого она и страшилась. Все вдруг померкло у нее перед глазами.

— Почему? — прошептала она. — Что случилось?

— Ничего не случилось. Просто мы ясно осознаем, что с нами происходит. Это ни к чему…

Мириам ждала в молчании, печально, терпеливо. Не годится сейчас быть нетерпеливой. Теперь он по крайней мере скажет, что его мучит.

— Мы уговорились с тобой, что будем друзьями, — продолжал он глухим бесцветным голосом. — Сколько раз про это говорили! И все равно… это не ограничивается дружбой и никуда нас не ведет.

Он опять замолчал. Она задумалась. О чем это он? Как с ним устаешь. Тут есть что-то, в чем он не уступит. Но надо набраться терпенья.

— Я способен только на дружбу… другого мне не дано… Это мой недостаток. А у нас перекос в одну сторону… Я терпеть не могу, когда равновесие нарушено. Давай покончим с этим.

Под конец она ощутила в его словах накал бешенства. Она любит его больше, чем он ее, вот о чем он говорит. Быть может, он не в состоянии ее любить. Быть может, в ней нет чего-то, что ему нужно. Это неверие в себя всегда скрывалось в

глубочайших тайниках ее души. Слишком глубоко оно таилось, она не осмеливалась ни понять его, ни признать. Быть может, какая-то есть в ней ущербность. Как некий тайный позор, это недоверие к себе всегда заставляло ее держаться в тени. Если так, она обойдется без него. Никогда не позволит себе стремиться к нему. Просто посмотрит, как пойдет дальше.

— Но что случилось? — спросила она.

— Ничего… все дело во мне… просто теперь это выходит наружу. Перед Пасхой мы всегда такие.

Он пресмыкался так неумело, ей стало его жаль. Сама она по крайней мере никогда не барахталась таким жалким образом. В конце концов, больше всего унижен он.

— Чего ты хочешь? — спросила Мириам.

— Ну… я не должен приходить так часто… вот и все. Не годится целиком тобой завладевать, когда я… Понимаешь, какая-то есть ущербность в моем отношении к тебе…

Он говорит ей, что не любит ее, и тем дает ей возможность найти другого. Как он глуп, слеп и постыдно неловок! Что ей другие мужчины! Что ей вообще мужчины! Но он, он! Она любит его душу. Неужели это он в чем-то ущербен? Быть может, и так.

— Но я не понимаю, — хрипло сказала она. — Еще вчера…

Сгущались сумерки, и вечер наполнялся для него разладом и отвращением. А Мириам склонилась под тяжестью страданья.

— Я знаю, — воскликнул он, — никогда ты не поймешь! Никогда не поверишь, что не могу я… физически не могу, все равно как не могу летать, точно жаворонок…

— Чего не можешь? — еле слышно спросила Мириам. Страшно ей стало.

— Любить тебя.

Он отчаянно ненавидел ее в эти минуты, оттого что заставил страдать. Любить ее! Да он же ее любит, она знает. По-настоящему он принадлежит ей. А что не любит физически, плотски, это просто какое-то его извращенье, потому что он знает, она-то его любит. Он глуп как младенец. Он принадлежит ей. Душою он ее желает. Наверно, кто-то его настраивает. Она чувствовала, он подвластен чьему-то чуждому непреклонному влиянию.

— А что говорят у тебя дома? — спросила она.

— Не в этом дело, — ответил Пол.

И она поняла, именно в этом. Она презирала его родных, они такие заурядные люди. Ничему

они не знают истинной цены.

В этот вечер они больше почти не разговаривали. В конце концов Пол поехал с Эдгаром кататься на велосипеде.

Теперь он вернулся к матери. В его жизни то были самые прочные узы. Когда он все заново обдумал, Мириам отступила. От нее осталось только какое-то смутное, призрачное ощущение. И никто другой тоже ничего для него не значил. Лишь одно на свете осталось прочным и не истаяло как дым: место, которое занимала его мать. Любой другой мог стать тенью, раствориться в небытии, только не она. Мать — вот точка опоры, стержень и основа его жизни, от нее он не мог оторваться.

И то же самое значил он для матери. Им теперь держалась ее жизнь. Ведь, в сущности, от жизни за гробом миссис Морел ничего не ждала. Она понимала, что-то сделать мы сможем лишь в этом мире, а для нее деяние значило много. Похоже, Пол намерен подтвердить, что она была права; намерен стать человеком, которого ничто не собьет с ног; намерен как-то существенно изменить лик земли. Что бы он ни делал, она чувствовала, всей душой она с ним заодно, можно сказать, готова вручить ему его инструменты. Ей

нестерпима была его приверженность Мириам. Уильям умер. Надо бороться, чтобы сохранить для себя Пола.

И он к ней вернулся. И душа его была удовлетворена этим самопожертвованием, ведь он остался верен матери. Мать любит его больше всех, и больше всех любит ее он. И однако, ему этого недостаточно. Его новая, молодая жизнь, такая сильная, властная, требует чего-то еще. И он не находит себе места. Мать, видя это, всем сердцем желала бы, чтобы Мириам способна была взять на себя эту его новую жизнь, а корни оставила ей. Пол боролся с матерью чуть ли не так же, как с Мириам.

Прошла неделя, прежде чем он опять пошел на Ивовую ферму. Мириам жестоко страдала, и страшно ей было вновь с ним увидеться. Неужто ей суждено терпеть этот позор — быть им покинутой? Нет, это у него не всерьез, это временное. Он вернется. У нее ключи от его души. Но пока до чего же измучит он ее упорным противоборством. Не хочет она этого.

Так или иначе, в воскресенье после Пасхи он пришел к чаю. Миссис Ливерс ему обрадовалась. Она чувствовала, что-то его беспокоит, что-то тяготит. Казалось, он ищет у нее успокоения.

И она привечала его. Была так добра, что даже держалась с ним уважительно.

Он застал ее в палисаднике среди младших детей.

— Я рада, что ты пришел, — сказала миссис Ливерс, обратив к нему большие милые карие глаза. — День такой солнечный. Я как раз собиралась сходить на луг, впервые в этом году.

Он чувствовал, она будет рада, если он пойдет с ней. Это его успокоило. Они пошли, ведя немудреный разговор, и Пол был кроткий, смиренный. Он готов был заплакать от благодарности, что она так уважительна с ним. Ведь он все время чувствовал себя униженным.

Внизу живой изгороди они увидели гнездо дрозда.

— Яичко показать? — спросил Пол.

— Покажи! — ответила миссис Ливерс. — Это ведь такой верный знак весны и столько в нем надежды.

Он раздвинул колючие ветки, достал яички, протянул их на ладони.

— Они еще совсем горячие… наверно, мы ее спугнули, она сидела на них, — сказал он.

— Ох, бедняжка! — сказала миссис Ливерс.

Мириам не удержалась, коснулась яичек, а

заодно и его руки, в которой, казалось ей, им так хорошо, будто в колыбели.

— Правда, какое-то странное тепло! — негромко сказала она, ей хотелось снова стать ближе к Полу.

— Жар крови, — пояснил Пол.

Она смотрела, как он кладет их на место, — прижался к живой изгороди, рука медленно протягивается меж шипами, ладонь осторожно прикрывает яички. Он весь был этим поглощен. Она любила его таким; казалось, он так простодушен и хорошо ему с самим собой. И невозможно к нему пробиться.

После чая она в нерешительности стояла у книжной полки. Пол взял «Tartaren de Tarascon».[16] Опять они сели на кучу сена у основания скирды. Пол прочел страничку-другую, но безо всякого интереса. Опять прибежал пес, чтоб поиграть, как в прошлый раз. Носом толкнул Пола в грудь. Тот потеребил ему ухо. И тотчас отпихнул.

— Пошел вон, Билл, — сказал он. — Не нужен ты мне.

Билл поплелся прочь, а Мириам со страхом

---

[16] Примечания: 16

«Тартарен из Тараскона» — роман Альфонса Доде (1840–1897).

подумала, что же будет дальше. Пол молчал, и это пугало ее. Она страшилась не вспышки гнева, но спокойной решимости.

Он чуть отвернулся, чтобы она не видела его лица, заговорил медленно, с болью.

— Как ты думаешь… если бы я стал приходить пореже… ты бы смогла кого-нибудь полюбить… другого мужчину?

Значит, вот что все еще сидит в нем.

— Но я не знаю никаких других мужчин. Почему ты спрашиваешь? — тихо ответила она, и в этом тихом голосе он должен бы расслышать упрек.

— Потому что говорят, я не имею права так ходить, раз мы не собираемся пожениться, — выпалил он.

Мириам возмутилась — как смеет кто-то подталкивать их к решению. Она всерьез обозлилась однажды на отца, когда тот со смехом сказал Полу, что он-то знает, почему Пол ходит к ним так часто.

— Кто говорит? — спросила она, подумав, не вмешался ли тут кто-нибудь из ее родных. Оказалось, это не они.

— Мама… и другие. Они говорят, так всякий будет считать, что мы обручены, и сам я тоже

должен так считать, иначе несправедливо по отношению к тебе. Я пытался разобраться — по-моему, я люблю тебя не так, как мужчине положено любить жену. А по-твоему?

Мириам помрачнела, понурилась. Ну почему ей навязывают эту борьбу, сердито думала она. Оставили бы их в покое.

— Не знаю, — пробормотала она.

— По-твоему, мы любим друг друга настолько, что могли бы пожениться? — без обиняков спросил он. Девушку бросило в дрожь.

— Нет, — честно ответила она. — Я так не думаю… мы слишком молоды.

— Мне казалось, ты, при твоей чрезмерности чувств, пожалуй, могла бы дать мне больше… мне ведь тут с тобой не сравниться. И даже теперь… если, по-твоему, так будет лучше… давай обручимся.

Теперь Мириам готова была заплакать. Но и рассердилась. Вечно он точно дитя малое, и пускай им вертят кому как вздумается.

— Нет, я так не думаю, — твердо сказала она.

Он поразмышлял с минуту.

— Понимаешь, — сказал он, — что до меня… мне кажется, ни один человек никогда не сможет полностью мною завладеть… стать для меня всем

на свете… по-моему, это невозможно.

Вот это ей прежде не приходило в голову.

— Да, пожалуй, — промолвила она.

Потом, помолчав, взглянула на него, и темные глаза ее вспыхнули.

— Это все твоя мать, — сказала она. — Я знаю, она меня давно невзлюбила.

— Нет-нет, — поспешно сказал Пол. — На этот раз она, когда говорила, она думала о твоем благе. Она только сказала, если я хочу это продолжать, я должен считать, что мы обручены. — Короткое молчание. — И если я попрошу тебя как-нибудь к нам прийти, ты ведь не откажешься, правда?

Мириам не ответила. Теперь она совсем рассердилась.

— Так как нам быть? — резко спросила она. — Уроки французского мне, видно, надо бросить. У меня как раз пошло дело. Но, наверно, я смогу заниматься и сама.

— Не понимаю, с какой стати нам бросать, — возразил Пол. — Уж конечно, я могу давать тебе уроки.

— Да… и еще воскресные вечера. В церковь я ходить не перестану, для меня это радость, и только там я вижусь с людьми. Но ты вовсе не должен провожать меня домой. Я могу возвра-

щаться одна.

— Ну хорошо, — растерянно отвечал он. — А если я попрошу Эдгара, пускай он ходит с нами, тогда никто ничего не сможет сказать.

Оба умолкли. Что ж, в конце концов, она не так уж многого лишится. Что бы там у него дома ни наговорили, а особой разницы не будет. Только лучше не вмешивались бы они не в свое дело.

— И ты не будешь об этом думать и не станешь из-за этого огорчаться, ладно? — опять заговорил Пол.

— Нет, нет, — не глядя на него, ответила Мириам.

Он замолчал. Нет в нем твердости, думала Мириам. Нет уменья добиваться ясной цели, нет ощущения своей правоты — якоря, который держал бы его.

— Потому что мужчина садится на велосипед… и едет на работу… — продолжал он, — и у него много всяких занятий. А женщина остается со своими мыслями.

— Нет, не стану я беспокоиться, — сказала Мириам. И так она и думала.

Посвежело. Они вернулись в дом.

— Какой Пол бледный! — воскликнула миссис Диверс. — Мириам, напрасно ты ему позволила

сидеть на улице. Ты не простыл, Пол?

— Да нет! — засмеялся он.

Но он чувствовал, что выдохся. Внутренний разлад его измучил. Сейчас Мириам его жалела. Но совсем рано, еще и девяти не было, он поднялся уходить.

— Неужели ты уже собрался домой? — встревожилась миссис Ливерс.

— Домой, — ответил он. — Я обещал вернуться пораньше. — Ему стало неловко.

— Но ведь и впрямь рано, — сказала миссис Ливерс.

Мириам сидела в качалке и молчала. Пол помедлил, ожидая, что она встанет и, как обычно, пойдет с ниц в конюшню за велосипедом. Но она не двинулась с места. Пол растерялся.

— Ну… спокойной ночи всем! — запинаясь, произнес он.

Она вместе с остальными пожелала ему спокойной ночи. Но проходя мимо окна, он заглянул в дом. И Мириам увидела его — бледный, брови сдвинуты, как бывало теперь постоянно, глаза потемнели от боли.

Она поднялась и подошла к двери, чтобы помахать ему на прощанье, когда он станет выезжать из ворот. Он медленно ехал под соснами, чув-

ствуя себя трусом и жалким негодяем. Велосипед на спуске с горы кренился то вправо, то влево. Каким было бы облегченьем сломать себе шею.

Два дня спустя он отправил Мириам книгу и короткую записку, он настойчиво просил ее читать, все свое время занять делом.

В эту пору все дружеские чувства, на какие Пол был способен, достались Эдгару. Пол очень любил семью Ливерсов, очень любил ферму; для него то было самое дорогое место на свете. Родной дом и тот не был ему так мил. Только мать. Но с матерью он был бы счастлив где угодно. А вот Ивовую ферму любил страстно. Любил тесную кухоньку, где топали мужские башмаки, где дремал пес, приоткрыв один глаз из опасения, как бы на него не наступили; где по вечерам горела над столом висячая лампа и так было тихо и мирно. Любил он гостиную Мириам, длинную, с низким потолком, с царившим здесь романтическим духом, с цветами, книгами, с фортепьяно красного дерева. Любил сады и постройки с ярко-красными крышами по незасеянным краям полей, что подбирались к лесу, будто в поисках уюта, и невозделанные изрытые пустыри, уходящие в долину и взбирающиеся на холмы по другую ее сторону. Просто побывать на Ивовой

— и то было отрадно и весело. Пол любил миссис Ливерс, такую не от мира сего, с ее причудливым скептицизмом; любил мистера Ливерса, такого славного, сердечного, душевно молодого; любил Эдгара, который всегда сиял при его появлении, и других братьев, и детишек, и пса Билла, даже свинью Цирцею и индийского бойцового петуха Типпу. Любил еще и все это, не только Мириам. Не мог он от этого отказаться.

И он по-прежнему часто приходил сюда, но больше проводил время с Эдгаром. А к остальному семейству, в том числе и к отцу, присоединялся по вечерам, когда разыгрывали шарады и играли в разные игры. А потом их всех собирала Мириам, и они по дешевому изданию читали «Макбета», распределив между собой роли. Всем это доставляло огромное удовольствие. Радовались и Мириам и миссис Ливерс, наслаждался мистер Ливерс. Потом, усевшись в кружок у камина, все вместе разучивали по нотам песни. Но теперь Пол очень редко оставался наедине с Мириам. Она ждала. Когда с Эдгаром и Полом она возвращалась домой из церкви или из литературного общества в Бествуде, она знала, что его горячие и отнюдь не общепринятые по нынешним временам высказывания обращены к ней. И однако,

она очень завидовала Эдгару, его велосипедным прогулкам с Полом, пятничным вечерам, совместной работе в поле. А ее пятничным вечерам и урокам французского пришел конец. Она почти всегда была одна — гуляла, бродила в раздумье по лесу, читала, занималась, мечтала, ждала. И он часто ей писал.

Однажды воскресным вечером меж ними установилось прежнее согласие. Эдгар остался с миссис Морел, чтобы причаститься, — ему интересно было, как это происходит. И Пол возвращался домой вдвоем с Мириам. Он опять в какой-то мере подпал под ее обаяние. По обыкновению, они обсуждали проповедь. Пол теперь на всех парусах устремился к агностицизму, но к агностицизму столь религиозному, что Мириам не слишком и страдала. В это время им всего ближе была «Vie de Jesus»[17] Ренана.

Мириам была тем пробным камнем, на котором он оттачивал свои убеждения.

Пока он сверял свои идеи с ее душой, ему открылась истина. Она — его пробный камень. Она единственная помогает ему двигаться к постижению истины. Почти бесстрастно она принимала

---

[17] Примечания: 17
«Жизнь Иисуса» *(фр.).*

его доводы и толкования. И почему-то именно благодаря ей он исподволь постигал, в чем он ошибается. И что постигал он, постигала и она. Она чувствовала, без нее ему не справиться.

Они пришли к дому, где царила тишина. Пол достал из окна чулана ключ, и они отворили дверь. При этом он все продолжал рассуждать. Он засветил лампу, поправил огонь в камине и принес ей из кладовой лепешки. Мириам тихонько уселась на диван, тарелку поставила на колени. На ней была большая белая шляпа с розовыми цветочками. Дешевая шляпа, но ему нравилась. Лицо под полями было спокойное, задумчивое, с золотистым загаром и румянцем. Уши, как всегда, прятались под короткими кудрями. Она смотрела на Пола.

Ей нравилось, какой он бывал по воскресеньям. Он надевал черный костюм, в котором видней были его гибкие движения. Ощущение чистоты, определенности исходило от него. Он все излагал ей свои мысли. Внезапно он потянулся за Библией. Мириам нравилось, как он потянулся, — резко, предельно точно. Быстро перелистал страницы и стал читать ей главу из Евангелия от Иоанна. Сидел в кресле и читал, сосредоточенно, голосом, исполненным мысли и только мысли, и

ей казалось, он, сам того не сознавая, пользуется ею, как мастер, поглощенный работой, — своими инструментами. Ей это было по душе. И раздумчивость голоса означала, что ему что-то открылось, и словно открылось через нее, Мириам. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, подальше от него, и однако, с ощущением, будто она и есть тот инструмент, который он крепко держит в руке. Это доставляло ей огромное удовольствие.

Потом он стал запинаться, его охватило смущенье. А когда дошел до стиха «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее», пропустил его, Мириам почувствовала, что ему становится неловко. Не услышав хорошо знакомых слов, она вся сжалась. Он читал дальше, но она уже не слушала. Понурилась от огорчения и стыда. Полгода назад он спокойно прочел бы эти слова. Теперь в его отношениях с ней появилась трещина. Теперь она почувствовала, что-то враждебное встало между ними, чего-то они стыдятся.

Она машинально ела лепешку. Пол опять было принялся за свои доводы, но не смог вновь обрести верный тон. Вскоре пришел Эдгар. Миссис Морел пошла в гости к друзьям. А эти трое отправились на Ивовую ферму.

Мириам печально раздумывала об отчуждении Пола. Чего-то ему недостает. Его невозможно удовлетворить, и он не способен дать ей покой. Теперь у них всегда находится повод для раздоров. Ей захотелось его испытать. Она верила, всего нужней ему в жизни — она. Если бы доказать это и себе и ему, пожалуй, все остальное образуется; тогда можно бы просто довериться будущему.

И вот в мае она пригласила его на Ивовую ферму для встречи с миссис Доус. Что-то есть такое, что нужно ему позарез. Мириам видела, стоило им заговорить о Кларе Доус, и он раздражается, даже злится. Он говорил, она ему не нравится. И, однако, всегда старается разузнать про нее. Что ж, пускай пройдет испытание. У него, конечно же, есть желания высокие и низменные, и уж, наверно, победят желания высокие. Так или иначе, он должен попробовать. Ей не пришло в голову, что ее деление на «высокое» и «низменное» произвольно.

Узнав, что ему предстоит встретиться на Ивовой ферме с Кларой, Пол даже взволновался. Миссис Доус приехала на весь день. Ее тяжелые, темно-русые волосы венчали голову большим узлом. На ней была белая блузка и темно-синяя юбка, и как-то так получалось, что где бы она ни

появилась, все вокруг начинало казаться жалким и незначительным. Она входила в кухню, и кухня становилась крохотной и убогой. Прелестная гостиная Мириам выглядела чопорной и скучной. Клара Доус затмила всех Ливерсов. Им было не так-то легко ее терпеть. Однако держалась она вполне дружелюбно, хотя была, по сути, равнодушна и подчас резковата.

Пол приехал во второй половине дня. Рано приехал. Когда он соскочил с велосипеда, Мириам увидела, он нетерпеливо посмотрел на дом. Если гостья не приехала бы, он был бы разочарован. Мириам вышла ему навстречу, пригнув голову от солнца. Из прохладной зеленой тени листьев выглядывали разрумянившиеся настурции. Девушка стояла, темноволосая, довольная, что видит его.

— А Клара не приехала? — спросил он.

— Приехала, — ответила Мириам своим мелодичным голосом. — Она читает.

Пол завел велосипед в конюшню. Он надел красивый галстук, которым слегка гордился, и носки под цвет.

— Она приехала сегодня утром? — спросил он.

— Да, — ответила Мириам, идя рядом с ним. — Ты обещал привезти мне письмо от того человека

из фирмы Либерти. Ты не забыл?

— Фу, пропасть, забыл! — воскликнул он. — Но ты не отставай от меня, пока не привезу.

— Я не люблю к тебе приставать.

— Любишь или нет, все равно приставай. А с ней теперь приятнее? — продолжал Пол.

— Ты же знаешь, мне с ней всегда приятно.

Пол промолчал. Очевидно, из-за гостьи ему и не терпелось приехать нынче пораньше. И Мириам стало больно. Они вместе шли к дому. Пол отцепил от брюк защипки, но, несмотря на галстук и носки, смахнуть пыль с башмаков поленился.

Клара сидела в прохладной гостиной и читала. Он увидел сзади ее белую шею и поднятые с нее красивые волосы. Она встала, поглядела на него безо всякого интереса. Здороваясь, так протянула руку, будто удерживала его на расстоянии, и заодно что-то ему бросила. Он заметил, как под блузкой обозначилась ее грудь и как красиво изогнулось под тонким муслином плечо.

— Вы выбрали прекрасный день, — сказал он.

— Посчастливилось, — сказала она.

— Да, — согласился он. — Я рад.

Она села, не поблагодарив его за любезность.

— Что вы делали все утро? — спросил он Мириам.

— Видишь ли, — сказала Мириам, хрипло кашлянув. — Клара приехала с отцом… ну и… она тут не так давно.

Клара сидела, облокотясь на стол, держалась отчужденно. Пол заметил, что руки у нее большие, но ухоженные. И кожа на руках, матово-белая, с тоненькими золотистыми волосками, казалась грубоватой. Клару не смущало, что он разглядывает ее руки. Она намеревалась презирать его. Тяжелая рука ее небрежно лежала на столе. Губы она сжала, словно от обиды, и чуть отвернулась.

— Вчера вечером вы были на собрании у Маргарет Бонфорд, — сказал он ей.

Этот обходительный Пол был незнаком Мириам. Клара глянула на него.

— Да, — сказала она.

— А ты откуда знаешь? — спросила Мириам.

— Я зашел туда на минутку перед приходом поезда, — ответил он.

Клара опять пренебрежительно отвернулась.

— По-моему, она очень милое существо, — сказал Пол.

— Маргарет Бонфорд! — воскликнула Клара. — Она куда умней большинства мужчин.

— Я вовсе не говорил, что она не умна, — возразил Пол. — При всем при том она милая.

— И это, разумеется, всего важней, — с презрением бросила Клара.

Он почесал голову несколько озадаченно и досадливо.

— По-моему, это важней, чем ее ум, — сказал он, — он ведь не дарует ей царствие небесное.

— Не о царствии небесном она печется, но о справедливой доле на земле, — возразила Клара. Да таким тоном, будто Пол в ответе за то, что мисс Бонфорд как-то ущемляют.

— Что ж, мне казалось, она женщина сердечная и очень милая, — сказал он, — только уж очень хрупкая. Пусть бы она жила в уюте и покое…

— И штопала мужнины носки, — съязвила Клара.

— Уверен, она не отказалась бы заштопать даже и мои носки, — сказал Пол. — И уверен, заштопала бы хорошо. Так же как я не отказался бы почистить ее башмаки, если б только она захотела.

Но Клара не стала отвечать на его задиристое замечание. Он немного поговорил с Мириам. Клара держалась отчужденно.

— Ну, я, пожалуй, пойду повидаюсь с Эдгаром. Он где-нибудь здесь?

— По-моему, он пошел за углем, — сказала Ми-

риам. — И должен был сразу вернуться.

— Тогда пойду ему навстречу, — сказал Пол.

Мириам не осмелилась задерживать его в их обществе. Он поднялся и вышел.

На верхней дороге, где распустился утесник, он увидел Эдгара, тот лениво шагал рядом с кобылой, которая, кивая головой с белой звездочкой на лбу, тащила громыхающий груз угля. При виде друга молодой фермер просиял. Эдгар был хорош собой, с темными горячими глазами. Одетый в какое-то довольно потрепанное старье, выступал с достоинством.

— Привет! — сказал он, увидав Пола с непокрытой головой. — Куда путь держишь?

— Тебя встречаю. Не выношу эту «Никогда».

Эдгар весело засмеялся, блеснули зубы.

— Что еще за «Никогда»? — спросил он.

— Некая дама… миссис Доус… ей бы впору называться миссис Ворон, который каркает «Никогда».

Эдгар залился смехом.

— Разве она тебе не нравится? — спросил он.

— Не больно нравится, — ответил Пол. — А тебе что, нравится?

— Нет! — в голосе прозвучала глубокая убежденность. — Нет! — Эдгар поджал губы. — Не

сказал бы, что она очень уж в моем вкусе. — Он чуть задумался. Потом спросил: — Но почему ты зовешь ее «Никогда»?

— Понимаешь, — сказал Пол, — если она смотрит на мужчину, она надменно говорит «никогда», и если смотрит на себя в зеркало, высокомерно говорит «никогда», и если оглядывается назад, с отвращением говорит то же самое, и если заглядывает вперед, равнодушно говорит то же.

Эдгар поразмыслил над его словами, мало что из них извлек и сказал со смехом:

— По-твоему, она ненавидит мужчин?

— Это она так думает, — ответил Пол.

— А ты не думаешь?

— Нет, — ответил Пол.

— Значит, она была с тобой мила?

— Ты можешь представить, чтоб она была хоть с кем-нибудь мила? — ответил Пол.

Эдгар засмеялся. Вдвоем они сгрузили уголь во дворе. Пол был довольно неловок, — он знал, Клара может увидеть его из окна. Но она не смотрела.

По субботам в конце дня обихаживали и чистили лошадей. Пол и Эдгар работали вместе, чихая от пыли, что шла от шкур Джимми и Цветка.

— Какой-нибудь новой песне меня не на-

учишь? — спросил Эдгар.

Он работал безостановочно. Когда наклонялся, виден был подрумяненный солнцем загривок, толстые пальцы крепко держали щетку. Пол опять и опять поглядывал на него.

— «Мэри Моррисон»? — предложил Пол.

Эдгар согласился. Он обладал приятным тенором и любил разучивать песни, которым его мог научить друг, а потом пел во время разъездов. У Пола был плохонький баритон, зато хороший слух. Однако пел он тихонько, боялся, Клара услышит. Эдгар ясным тенором повторял каждую строчку. Время от времени они оба принимались чихать, и сперва один, потом другой бранили свою лошадь.

Мириам мужчины раздражали. Так немного им надо, чтобы развлечься, даже Полу. Ей казалось, с ним совсем не вяжется, что какой-нибудь пустяк может всецело его поглотить.

Когда они кончили, настало время пить чай.

— Что это за песня? — спросила Мириам.

Эдгар сказал ей. Разговор перешел на пение.

— У нас бывает так весело, — сказала Кларе Мириам. Миссис Доус неторопливо и с достоинством поглощала пищу. При мужчинах она делалась надменной.

— Ты любишь слушать, когда поют? — спросила ее Мириам.

— Только если поют хорошо, — сказала она.

Пол, разумеется, покраснел.

— То есть если голос первоклассный и отшлифованный? — спросил он.

— По-моему, нечего думать о пении, если голос не отшлифован, — сказала она.

— С таким же успехом можно сказать — пока человек не отшлифовал свой голос, он не вправе разговаривать, — возразил Пол. — Люди ведь обычно поют для собственного удовольствия.

— А другим людям это, возможно, не нравится.

— Тогда пускай эти другие люди обзаведутся пробками для ушей, — возразил Пол.

Мальчики рассмеялись. И стало тихо. Пол густо покраснел и ел в молчании.

После чая, когда все мужчины, кроме Пола, ушли, миссис Ливерс сказала Кларе:

— И вы теперь счастливее?

— Несравненно.

— И удовлетворены?

— Да, потому что свободна и ни от кого не завишу.

— И ни по чему не тоскуете? — мягко спросила миссис Ливерс.

— Со всем этим я распрощалась.

От этого разговора Полу стало сильно не по себе. Он поднялся.

— Потом оказывается, что вечно спотыкаешься как раз о то, с чем распрощался, — сказал он. И пошел к коровникам. Каким же остроумным он себя чувствовал, и его мужская гордость торжествовала. Он шел по выложенной кирпичом дорожке и насвистывал.

Немного погодя к нему пришла Мириам; спросила, пойдет ли он на прогулку с ней и с Кларой. Они отправились к стреллейской мельнице. Шли вдоль ручья со стороны Ивовой фермы и, глядя через просеку на краю леса, где под щедрыми лучами солнца пламенела розовая смолевка, за стволами деревьев и тонкими ветвями орешника увидели — человек ведет через канавы рослого гнедого жеребца. Казалось, огромный рыжий конь медленно движется в романтическом танце средь зеленого марева орешника все дальше в тень, будто в далеком прошлом, среди вянущих колокольчиков, что могли бы расцвести для Дейрдре или Изулт.[18]

---

[18] Примечания: 18

Дейрдре — героиня древнеирландской героической саги «Изгнание сыновей Успеха»; Изулт — возлюбленная Тристана, рыцаря Круглого стола короля Артура.

Все трое стояли зачарованные.

— Быть бы рыцарем, — сказал Пол, — и раскинуть бы здесь шатер. Вот бы красота.

— И заточить нас в нем? — подхватила Клара.

— Да, — ответил он, — и чтоб вы пели со своими служанками, склонясь над вышиванием. А я нес бы ваше знамя — бело-зеленое с лиловым. И на моем щите рядом с женщиной-воительницей были бы вытеснены буквы ОПЖС.[19]

— Вы, конечно, сражались бы за женщину куда охотней, чем дали бы ей самой сражаться за себя, — сказала Клара.

— Несомненно. Когда она сама за себя сражается, она точно собака перед зеркалом — ее приводит в ярость собственная тень.

— А зеркало — это вы? — презрительно усмехнулась Клара.

— Или тень, — ответил он.

— Боюсь, вы чересчур умны, — сказала она.

— Что ж, а вам я предоставлю быть добродетельной, — со смехом возразил он. — Будьте добродетельной кроткой девой, а уж мне позвольте быть умным.

Но Клара устала от его легкомыслия. Глядя на

---

[19] Примечания: 19
общественный и политический женский союз.

нее, Пол вдруг заметил, что, когда она вскидывает голову, лицо у нее становится не презрительное, а несчастное. Сердце его исполнилось нежности ко всем. Он повернулся и мягко заговорил с Мириам, на которую до тех пор не обращал внимания.

На краю леса они повстречали Лимба; худощавый, загорелый сорокалетний человек этот арендовал стреллейскую мельницу и превратил ее в животноводческую ферму. Он небрежно, словно бы устало держал недоуздок могучего жеребца. Все трое остановились, давая ему перейти по камням первый ручей. Пол с восхищением смотрел, как пружинисто ступает громадный конь, олицетворение неисчерпаемой мощи. Лимб остановился перед ними.

— Скажите отцу, мисс Ливерс, три дня назад его телята сломали нижний забор и разбежались, — сказал он странным тонким голосом.

— Который забор? — робко спросила Мириам.

Огромный конь тяжело дышал, рыжие бока ходили ходуном, голова опущена, из-под холки подозрительно смотрят великолепные глазищи.

— Пройдемте немного, — ответил Лимб, — и я вам покажу.

Фермер со своим жеребцом пошли впереди. Жеребец отскакивал вбок, так что тряслись белые

«щетки» над копытами, и вид у него был испуганный, как когда переходил ручей.

— Брось дурачиться, — любовно сказал коню хозяин.

Небольшими прыжками жеребец поднялся на берег, потом, разбрызгивая воду, картинно перешел второй ручей. Клара шла с какой-то мрачной беззаботностью и глядела на него то ли завороженно, то ли презрительно. Лимб остановился и показал на забор под ивами.

— Вон видите, где они прорвались, — сказал он. — Мой работник три раза загонял их назад.

— Вижу, — покраснев, ответила Мириам, словно это она виновата.

— Заглянете к нам? — спросил фермер.

— Нет, спасибо, мы лучше пройдем к запруде.

— Ну, как хотите, — сказал Лимб.

Конь негромко заржал, радуясь, что дом уже так близко.

— Он рад, что вернулся, — сказала Клара, с интересом наблюдая за ним.

Они вошли в калитку и увидели: навстречу от большого дома идет невысокая темноволосая взволнованная женщина лет тридцати пяти. Волосы ее тронуты сединой, темные глаза горят. Она шла, заложив руки за спину. Брат прошел

вперед. Увидев ее, громадный гнедой жеребец опять заржал. Она порывисто подошла к нему.

— Вернулся, мой мальчик! — с нежностью сказала она коню, а не брату. Конь подался к ней, наклонил голову. Она осторожно сунула ему в пасть сморщенное желтое яблочко, которое до той минуты прятала за спиной, потом поцеловала его подле глаз. Конь ответил глубоким, довольным вздохом. Она обняла огромную голову, прижала к груди.

— До чего хорош! — сказала ей Мириам.

Мисс Лимб подняла темные глаза. Взгляд ее устремился на Пола.

— А, мисс Ливерс, добрый вечер, — сказала она. — Вы нас тысячу лет не навещали.

Мириам представила своих друзей.

— Ваш конь славный малый! — сказала Клара.

— Еще бы! — она опять его поцеловала. — Преданный не хуже человека!

— Наверно, преданней большинства мужчин, — сказала Клара.

— Он славный! — воскликнула мисс Лимб, снова обняв коня.

Очарованная гнедым великаном, Клара принялась гладить его по шее.

— Он такой добрый, — сказала мисс Лимб. —

Большие — они всегда такие, правда?

— Он красавец! — ответила Клара.

Ей хотелось посмотреть коню в глаза. Хотелось, чтоб он посмотрел на нее.

— Жаль, он не умеет говорить, — сказала она.

— Но он умеет… почти, — возразила мисс Лимб.

И ее брат пошел с лошадью дальше.

— Зайдете к нам? Пожалуйста, зайдите, мистер… Я не уловила вашего имени.

— Морел, — сказала Мириам. — Нет, мы не зайдем, но мы хотели бы пройти к пруду.

— Ну, да… да, конечно. Вы рыболов, мистер Морел?

— Нет, — ответил Пол.

— Потому что если вы это любите, приходите в любое время, — сказала мисс Лимб. — От субботы до субботы мы почти никого не видим. Я была бы только благодарна.

— А какая рыба тут у вас водится? — спросил Пол.

Они прошли через сад, потом по перемычке и поднялись на крутой берег пруда, укрытого тенью вместе с двумя поросшими лесом островками. Пол шел с мисс Лимб.

— Я бы не прочь тут поплавать, — сказал он.

— Пожалуйста, — сказала она. — Приходите, когда вам угодно. Брат будет очень рад с вами побеседовать. Он такой молчаливый, ведь здесь совсем не с кем поговорить. Пожалуйста, приходите и плавайте.

Подошла Клара.

— Тут глубоко, — сказала она, — и вода такая чистая.

— Да, — сказала мисс Лимб.

— Вы плаваете? — спросил Пол. — Мисс Лимб только что сказала, мы могли бы приходить, когда захотим.

— Но здесь, конечно, есть работники, — сказала мисс Лимб.

Они поговорили еще немного, потом стали подниматься на невозделанный холм, оставив одинокую, с измученными глазами женщину на берегу.

Склон холма был сплошь залит солнцем. Невозделанный, кочковатый, он был отдан во владение кроликам. Все трое шли молча.

Потом Пол сказал:

— При ней как-то не по себе становится.

— Ты это о мисс Лимб? — спросила Мириам. — Мне тоже.

— Что с ней такое? Она что, помешалась на

одиночестве?

— Да, — сказала Мириам. — Такая жизнь не для нее. По-моему, жестоко похоронить ее здесь. Конечно, мне надо бы заходить к ней чаще. Но с ней неуютно.

— Мне жаль ее… да, конечно, но притом она наводит на меня тоску, — сказал Пол.

— По-моему, ей нужен мужчина, — вдруг выпалила Клара.

Мириам и Пол помолчали. Потом он сказал:

— Но это она из-за одиночества помешалась.

Клара не ответила, большими шагами она поднималась в гору. Шла, опустив голову, легко расталкивая ногами мертвые стебли чертополоха, ступала по заросшим травой кочкам, свесив руки. Пол глядел на это красивое тело, и ему казалось, она не гуляет, но пробивается вверх по холму вслепую. Горячая волна захлестнула его. Его одолевало любопытство. Быть может, жизнь обошлась с Кларой жестоко… Он забыл про Мириам, которая шла рядом с ним и что-то ему говорила. Он не ответил, и она взглянула на него. Глаза его были устремлены вперед, на Клару.

— Ты все еще находишь, что она неприятная? — спросила Мириам.

Вопрос прозвучал неожиданно. Он совпадал с

его мыслями.

— Что-то в ней неладно, — сказал он.

— Да, — согласилась Мириам.

На вершине холма оказалось невозделанное поле, с двух сторон укрытое лесом, а с двух других живой изгородью, высокой, но неплотной, из боярышника и кустов бузины. Между разросшимися кустами зияли просветы, через которые вполне мог бы пройти скот, будь он здесь. Трава была ровная, как бархат, вся истоптанная кроликами и разрыхленная у кроличьих норок. Поле было кочковатое, заросло высоким, крупным первоцветом, который никогда не косили. Скопления крепких цветов высились повсюду над грубыми пучками старой, высохшей травы. Это походило на рейд, где теснились высокие сказочные корабли.

Мириам восторженно ахнула и глянула на Пола, темные глаза ее стали огромными.

Пол улыбнулся. Они вместе радовались, глядя на поле цветов. Клара поодаль безутешно смотрела на первоцветы. Пол и Мириам стояли рядом, разговаривали вполголоса. Он опустился на одно колено, быстро рвал самые лучшие цветы, беспокойно передвигаясь от одной группы к другой, и все время тихонько разговаривал. Мириам сры-

вала цветы любовно, неспешно наклоняясь над каждым. Ей всегда казалось, что Пол все делает слишком быстро, будто не для удовольствия, а для изучения. Однако в его букетах было больше естественной прелести, чем в тех, что собирала она. Он любил цветы, но так, словно он им хозяин и имеет на них право. Она же относилась к ним с большим почтением — было в них что-то, чем сама она не обладала.

Цветы были необыкновенно свежие и нежные. Ему хотелось ими упиться. Срывая их, он съедал желтые трубочки. Клара все безутешно бродила по полю. Подойдя к ней, Пол сказал:

— Почему вам не нарвать цветов?

— Это не по мне. Они милее, когда растут.

— Но вам хотелось бы немного цветов?

— Они не хотят, чтоб их трогали.

— Не думаю.

— Не нужны мне трупы цветов, — сказала она.

— Это нелепая, искусственная точка зрения, — сказал он. — В воде они умирают ничуть не быстрее, чем на корню. И к тому же, в вазе они так славно выглядят, так весело. А трупом называют то, что выглядит как труп.

— Все равно, труп это или нет? — не соглашалась Клара.

— По мне, это не труп. Мертвый цветок вовсе не труп цветка.

Теперь Клара махнула на него рукой.

— А даже если и так… какое вы имеете право их срывать? — спросила она.

— Они мне нравятся, и я хочу взять их домой… здесь их сколько угодно.

— И этого достаточно?

— Да. А почему нет? Они наверняка будут чудесно пахнуть в вашей комнате в Ноттингеме.

— И я бы имела удовольствие смотреть, как они умирают.

— Но… ну и умрут, что такого.

На том он ее оставил и пошел, наклоняясь над переплетенными цветами, которые густо усеяли поле, точно бледные, светящиеся сгустки пены. Подошла Мириам. Клара стояла на коленях и вдыхала аромат первоцвета.

— По-моему, если относиться к ним почтительно, им не причиняешь никакого вреда. Важно, с каким чувством их рвешь.

— Да, — согласился Пол. — А впрочем, их берешь, потому что хочется, и все тут. — Он протянул свой букет.

Мириам молчала. Пол сорвал еще несколько цветков.

— Посмотрите вот на эти! — продолжал он. — Сильные, крепкие, как маленькие деревца и как толстоногие мальчишки.

Кларина шляпа лежала неподалеку на траве. Сама она все стояла на коленях и, нагнувшись, нюхала цветы. Пол увидел ее шею, и внезапная острая боль пронзила его, такая красота, и, однако, сейчас ничуть не горделива. Груди под блузкой слегка покачиваются. Изгиб спины сильный и так прекрасен; корсета она не носит. Вдруг, неожиданно для себя, он рассыпал по ее волосам, по шее горсть первоцвета, приговаривая:

Пепел к пеплу, и к праху прах,

Если Бог не примет, быть у черта в зубах.

Прохладные цветы упали Кларе на шею. Она почти жалобно вскинула на него испуганные серые глаза, не понимая, что это он делает. Цветы упали ей на лицо, и она закрыла глаза.

Стоя над нею, Пол вдруг смутился.

— Я думал, вам требуется заупокойная служба, — сказал он, чувствуя себя очень неловко.

Клара странно как-то засмеялась и поднялась, снимая с волос цветы. Взяла шляпу, надела и приколола булавкой. Один цветок, запутавшись,

так и остался у нее в волосах. Пол увидел, но говорить ей не стал. Он подобрал цветы, которыми ее осыпал.

У опушки леса на поле выплеснулись колокольчики и стояли там, будто вода в половодье. Но они уже отцветали. Клара направилась к ним. Пол побрел следом. Колокольчики он любил.

— Поглядите, как они вышли из лесу! — сказал он.

И она обернулась в жарком порыве благодарности.

— Да, — с улыбкой сказала она.

Кровь так и забурлила в его жилах.

— Я подумал, вот в лесных чащах жили дикари, — какой ужас, должно быть, охватывал их, когда они оказывались лицом к лицу с широким простором.

— Вы думаете?

— Интересно, какому из древних племен было страшней, — тому, которое вырывалось из лесной тьмы на залитую светом ширь, или тому, которое из светлых просторов прокрадывалось в лесные дебри.

— Мне кажется, второму, — ответила Клара.

— Да, вы и впрямь чувствуете, как те, кто живет на просторе и с трудом заставляет себя пробиться

во тьму, верно?

— Откуда мне знать, — недоверчиво ответила она.

На этом разговор оборвался.

Вечерело. Долина уже утопала в сумраке. Только напротив Кролейской фермы задержалось пятнышко света. Свет плыл по вершинам холмов. Медленно подошла Мириам, она уткнулась лицом в охапку цветов и шла по щиколотку в пенистой россыпи первоцвета. За нею смутными тенями проступали очертания деревьев.

— Пойдемте? — спросила она.

И все трое повернули назад. Шли молча. Спускаясь по тропе, они как раз напротив видели свет в доме, а на гребне горы, там, где сливался с небом поселок углекопов, — тонкий темный контур с неяркими огоньками.

— Славно погуляли, правда? — спросил Пол.

Мириам негромко согласилась, Клара молчала.

— А вы не согласны? — настаивал он.

Но она шла с высоко поднятой головой и опять не ответила. По тому, как она шла, — будто ей ни до чего нет дела, — Пол видел — худо у нее на душе.

В эти дни Пол повез мать в Линкольн. Она как всегда была оживлена и полна радостного волне-

ния, но, сидя в вагоне напротив нее, Пол подумал, вид у нее болезненный. Ему вдруг почудилось, что она от него ускользает. И ему захотелось удержать ее, привязать к себе, чуть ли не приковать. Как будто надо схватить ее за руку и не отпускать.

До города было уже недалеко, и оба приникли к окну, стараясь увидеть собор.

— Мама, вот он! — крикнул Пол.

Перед глазами возник возвышающийся на равнине собор.

— Ах! — воскликнула миссис Морел. — Так вот он!

Пол смотрел на мать. Ее голубые глаза с тихой пристальностью разглядывали собор. Казалось, она опять ускользнула от него. Что-то передалось ей от вечного покоя этого вознесенного ввысь собора — голубого, величавого на фоне неба, — какая-то обреченность. Что есть, то есть. И всей своей молодой сильной волей он не мог это изменить. Вот перед ним лицо матери, кожа еще свежая, розовая, нежная, но в уголках глаз морщинки, веки чуть приспущены, в складке плотно сомкнутых губ непреходящее разочарование; и печать той же вечности лежит на ней, словно наконец-то она постигла свою участь. Сын

восставал против этого всеми силами души.

— Мама, посмотри, как возвышается он над городом! Подумай, там, у его подножья, улицы, множество улиц! Собор кажется больше самого города.

— Да, правда! — воскликнула мать, вновь оживляясь. Но Пол уже видел ее в минуты, когда она сидела, вперив в собор неподвижный взгляд, и глаза и лицо ее застыли, отражая неумолимость жизни. И чувствовал, эти морщинки в уголках глаз и стиснутые губы доводят его до безумия.

Они зашли перекусить, и миссис Морел это показалось неслыханным расточительством.

— Не воображай, будто я получаю удовольствие, — говорила она, пока ела телячью отбивную котлету. — Не получаю я удовольствия, можешь поверить, не получаю. Подумай только о своих выброшенных на ветер деньгах!

— Никогда не жалей моих денег, — сказал он. — Ты забыла, я молодой человек и сейчас вывожу на прогулку свою девушку.

И он купил ей синие фиалки.

— Немедленно прекратите, сэр! — распорядилась она. — Что мне с ними делать?

— Ничего не надо делать. Постой спокойно!

И прямо посреди Главной улицы он приколол

ей букетик к пальто.

— Такой старухе, как я! — сказала она, нюхая фиалки.

— Понимаешь, — сказал он, — мне хочется, чтоб люди думали, будто мы с тобой страшно светские господа. Так что задери нос.

— Сейчас стукну тебя по голове, — засмеялась миссис Морел.

— Напусти на себя важность! — скомандовал он. — Распуши хвост.

Целый час ушел у него, чтоб провести мать по улице. Она постояла над окном древней стекловаренной печи, постояла перед каменной аркой, всюду она останавливалась и ахала.

Какой-то мужчина подошел к ней, снял шляпу и поклонился.

— Позвольте, я покажу вам город, сударыня.

— Нет, благодарю вас, — ответила она. — Я с сыном.

И Пол рассердился, надо было ей отвечать более величественно.

— Отстань ты от меня! Ха! А вот остатки дома рудокопа и древней печи для плавки олова. Помнишь ту лекцию, Пол?..

Но на соборный холм она поднялась с огромным трудом. Пол этого не заметил. Только вдруг

оказалось, она не в силах произнести ни слова. Он завел ее в маленькую кофейню, и там она отдохнула.

— Это пустяки, — сказала она. — Просто сердце уже не молодое, чего ж от него ждать.

Сын не ответил, лишь посмотрел на нее. И душу его словно стиснули раскаленные клещи. Хотелось заплакать, хотелось яростно крушить все, что попадет под руку. Снова они пустились в путь, шли медленно, потихоньку. И каждый шаг, казалось, тяжестью ложился ему на грудь. Сердце его готово было разорваться. Наконец они дошли до вершины. Мать стояла, очарованно глядя на ворота замка, на фасад собора. Она вся погрузилась в созерцание.

— Это еще гораздо лучше, чем мне представлялось! — воскликнула она.

Но Полу все это было ненавистно. Он ходил за нею повсюду, и тоскливые мысли его одолевали. Они посидели в соборе. На хорах послушали небольшую службу. Мать робела.

— Собор ведь открыт для всех? — спросила она.

— Да, — ответил Пол. — Неужели, по-твоему, у них хватит нахальства нас выставить?

— Уж непременно выставили бы, если б услышали, как ты выражаешься, — возмутилась

миссис Морел.

Во время службы лицо ее опять засияло радостью и покоем. А ему по-прежнему хотелось бушевать, и крушить все подряд, и плакать.

После службы, когда, перегнувшись через ограду, они смотрели на город внизу, Пол вдруг выпалил:

— Ну почему у человека не может быть молодой матери? Зачем ей быть старой?

— С этим она, знаешь ли, ничего не может поделать, — засмеялась мать.

— И почему я не старший сын? Послушай… говорят, у младших есть преимущество… но пойми, ведь это у старших мать молодая. Твоим старшим сыном должен был быть я.

— От меня-то это не зависело, — запротестовала миссис Морел. — Согласись, ты тут виноват не меньше меня.

Он весь побелел, глаза стали бешеные.

— Зачем ты старая? — сказал он вне себя от собственного бессилия. — Почему ты не можешь ходить? Почему не можешь всюду со мной бывать?

— Прежде я могла бы взбежать на этот холм получше тебя, — ответила она.

— А мне-то от этого что? — крикнул Пол, ударив

кулаком по ограде. Потом сник, сказал печально: — Очень дурно с твоей стороны, что ты больна. Малышка, это…

— Больна! — воскликнула мать. — Просто я уже не молода, и ты должен с этим мириться, вот и все.

Они притихли. Но обоим стало безмерно тяжело. За чаем они опять повеселели. Когда они сидели на набережной Брейфорда, глядя на лодки, Пол рассказало встрече с Кларой. Мать засыпала его вопросами.

— С кем же она живет?

— Со своей матерью, на Блюбелл-хилл.

— И им есть на что жить?

— Не думаю. По-моему, они плетут кружева.

— И в чем ее очарованье, мой мальчик?

— Мне не кажется, что она очаровательна, мама. Но она милая. И знаешь, мне кажется, она искренняя… и никакой таинственности, никакой.

— Но она много старше тебя.

— Ей тридцать, а мне двадцать третий год.

— Ты не сказал, чем она тебя привлекает.

— Потому что я и сам не знаю… какая-то она непокорная… бунтующая, что ли.

Миссис Морел задумалась. Она рада была бы,

если бы сын влюбился в какую-нибудь женщину, которая… которая… она сама не знала, в какую. Но он так был тревожен, впадал вдруг в такую ярость, а потом опять его охватывало уныние. Ей хотелось, чтоб он познакомился с какой-нибудь милой женщиной… Не знала она, чего же ей хочется, и не стала разбираться. Во всяком случае, мысль о Кларе не вызывала у нее враждебности.

Энни тоже собралась замуж. Леонард уехал работать в Бирмингем. Однажды, когда он приехал на субботу и воскресенье, миссис Морел ему сказала:

— Ты неважно выглядишь, дружок.

— Не знаю я, — сказал он. — Да я неплохо себя чувствую, ма, ничего такого.

Он по-мальчишески уже называл ее «ма».

— А комнату ты снимаешь хорошую, это правда? — спросила она.

— Да… да. Чудно только, что самому надо наливать себе чай… и некому ворчать, если перельешь, а потом прихлебываешь из блюдца. Вроде уж и вкуса не чувствуешь.

Миссис Морел рассмеялась.

— Значит, ты от этого устал? — сказала она.

— Сам не знаю я. Жениться я хочу, — выпалил он, сплетая и расплетая пальцы и потупясь. Стало

тихо.

— Но ведь ты говорил, ты подождешь еще годок, — воскликнула миссис Морел.

— Ну, говорил, — упрямо ответил он.

Опять миссис Морел задумалась.

— И знаешь, — сказала она, — похоже, Энни транжира. Она скопила всего одиннадцать фунтов. И тебе, дружок, как я понимаю, тоже не много удалось отложить.

Он покраснел до ушей.

— У меня тридцать четыре соверена, — сказал он.

— Ненадолго этого хватит, — возразила миссис Морел.

Он ничего не ответил, только все сплетал и расплетал пальцы.

— И ты ведь знаешь, — сказала она, — у меня нет ничего…

— Мне не надо, ма! — вскричал он с упреком, с болью, густо покраснев.

— Конечно, дружок, я знаю. Я была бы очень рада, будь у меня деньги. Теперь вычти из своих пять фунтов на свадьбу и прочее… остается двадцать девять фунтов. На этом далеко не уедешь.

Он все сплетал и расплетал пальцы, беспомощный, упрямый, не поднимая глаз.

— Но ты всерьез хочешь жениться? — спросила она. — Ты чувствуешь, что тебе это необходимо?

Он посмотрел голубыми глазами ей прямо в глаза.

— Да, — ответил он.

— Тогда мы должны всеми силами тебе помочь, дружок, — сказала она.

Когда он снова поднял голову, в глазах его стояли слезы.

— Не хочу я, чтоб Энни трудно пришлось, — с усилием произнес он.

— Дружок мой, — сказала миссис Морел, — ты человек надежный… у тебя приличная работа. Если б я почувствовала, что и впрямь нужна мужчине, я бы вышла за него, будь у него только жалованье за последнюю неделю и больше ни гроша. Ей, наверно, покажется нелегко начинать жизнь так скромно. Уж такие они, молоденькие девушки. Они думают, им приготовлен прекрасный дом, только того и ждут. А вот я получила дорогую мебель. Но это еще мало что значит.

Итак, свадьбу сыграли чуть не мигом. Приехал домой Артур, в военной форме он был великолепен. Энни выглядела очень мило в своем серебристо-голубом платье, такое можно будет потом надевать по воскресеньям. Морел назвал

ее дурой за то, что она выходит замуж, и с зятем держался холодно. Миссис Морел украсила белым свою шляпку, и блузку отделала белым, и оба сына поддразнивали ее, что она так вырядилась. Леонард был весел и нежен и чувствовал себя преглупо. Пол никак не мог понять, чего ради Энни вздумала выходить замуж. Он очень любил сестру, и она отвечала ему тем же. Все-таки он надеялся, не без грусти, что ее замужество будет удачным. Артур был настоящий красавец в желто-алой форме и понимал это, но втайне стыдился ее. Энни на кухне все глаза выплакала, оттого что расстается с матерью. Миссис Морел всплакнула, потом похлопала ее по спине и сказала:

— Да не плачь, детка, он будет хорошим мужем.

Морел топнул ногой и сказал, дура она, что выходит замуж. Леонард был бледный, взвинченный. Миссис Морел сказала ему:

— Я доверяю ее тебе, дружок, ты теперь будешь за нее в ответе.

— Можете на меня положиться, — сказал он, едва живой от тяжелого испытания. И на этом все кончилось. Когда Морел и Артур легли спать. Пол, как бывало часто, задержался внизу — сидел и разговаривал с матерью.

— Ты не огорчена, что она вышла замуж, нет? — спросил он.

— Я не огорчена, что она вышла замуж… но… но как-то странно, что ей пришлось со мной расстаться. Мне даже тяжело, что она предпочла оставить меня и уйти с Леонардом. Так уж устроены матери… я понимаю, это глупо.

— И ты будешь из-за нее страдать?

— Я вспоминаю день собственной свадьбы и только хочу надеяться, что у нее жизнь сложится по-другому, — ответила мать.

— Но ты можешь ему довериться, по-твоему, он будет ей хорошим мужем?

— Да, да. Говорят, он ей не пара. А я так скажу: если мужчина достойный человек, как Леонард, и девушка его любит… тогда… все будет в порядке. Он ничуть не хуже Энни.

— Значит, ты не против?

— Я бы нипочем не позволила своей дочери выйти замуж, если бы не чувствовала всем сердцем, что ее нареченный — человек стоящий. Но все равно, она ушла — и осталась брешь.

Обоим сейчас было грустно, обоим хотелось, чтобы Энни опять была с ними. В новой черной шелковой блузке с белой отделкой мать казалась Полу сиротливой.

— Я, во всяком случае, никогда не женюсь, ма, — сказал он.

— О, все так говорят, мой мальчик. Ты еще не встретил свою суженую. Вот погоди годок-другой.

— Не женюсь я, мама. Я буду жить с тобой, и у нас будет прислуга.

— А, мой мальчик, говорить легко. Вот посмотрим, когда придет время.

— Какое такое время? Мне почти двадцать три.

— Да, ты не из тех, кто женится рано. Но года через три…

— Я все равно буду с тобой.

— Посмотрим, мой мальчик, посмотрим.

— Но ведь ты не хочешь, чтоб я женился?

— Не хотела бы я думать, что в твоей жизни не будет никого, кто бы тебя полюбил и… нет, не хотела бы.

— И, по-твоему, я должен жениться?

— Рано или поздно это суждено каждому мужчине.

— Но ты бы предпочла, чтобы это было позже.

— Мне будет тяжко… очень тяжко. Знаешь, как говорится:

> *Сын будет мне сыном, пока холостой человек.*

Но дочь мне останется дочерью весь свой век.

— И, по-твоему, я позволю жене отнять меня у тебя?

— Ты ведь не можешь просить ее выйти замуж не только за тебя, но и за твою мать, — с улыбкой сказала миссис Морел.

— Пусть делает, что хочет, а только она не встанет между нами.

— Не встанет… пока не завладеет тобой… а тогда сам увидишь.

— Ничего я не увижу. Пока у меня есть ты, я не женюсь… нет.

— Но я совсем не хочу оставить тебя одиноким, мой мальчик, — вскрикнула она.

— А ты и не оставишь. Тебе сколько? Пятьдесят три! Даю тебе срок до семидесяти пяти. Мне стукнет сорок четыре, и я растолстею. И тогда женюсь на какой-нибудь степенной особе. Вот как!

Мать сидела и смеялась.

— Иди спать, — сказала она, — иди ложись.

— И у нас с тобой будет славный домик, и прислуга, и все будет очень хорошо. И может, на своих картинах я разбогатею.

— Пойдешь ты спать?

— И тогда у тебя будет небольшой экипаж.

Представь... разъезжает маленькая королева Виктория.

— Говорят тебе, иди спать, — сквозь смех сказала она.

Сын поцеловал ее и вышел. Планы на будущее у него всегда были одни и те же.

Миссис Морел сидела, углубясь в свои невеселые мысли, — о дочери, о Поле, об Артуре. Она горевала из-за расставанья с Энни. Семья их так тесно связана. И она чувствовала, ей теперь непременно надо жить, чтобы быть со своими детьми. Ее жизнь так богата. Она нужна Полу, и Артуру тоже. Артур сам не знает, как глубоко он ее любит. Он человек минуты. Еще ни разу жизнь не заставила его осознать себя. Армия дисциплинировала его тело, но не душу. У него отменное здоровье, и он очень красив. Его темные густые волосы плотно облегают небольшую ладную голову. Нос у него какой-то детский, и в темно-голубых глазах есть что-то девичье. Но губы под каштановыми усами полные, красные, вполне мужские, и подбородок твердый. Рот у него отцовский, а нос и глаза в семью ее матери — людей красивых и слабохарактерных. Миссис Морел тревожилась за него. После своей безрассудной выходки он утихомирился. Но как далеко

он вообще может зайти?

Армия ничего хорошего ему не дала. Он отчаянно негодовал на власть младших офицеров. Он терпеть не мог подчиняться, будто он не человек, а животное. Но у него вполне хватало разума, чтобы не брыкаться. И он всячески старался извлечь из своего положения все что можно хорошее. Он умел петь, был парень компанейский. Нередко случались и стычки, но то были обычные мужские проделки, они легко сходили с рук. И он недурно проводил время, хотя его чувство собственного достоинства было подавлено. Желая побольше получить от жизни, он полагался на свою внешность, на хорошую фигуру, благовоспитанность, приличное образование и не бывал разочарован. Однако и удовлетворения не находил. Казалось, что-то его гложет. Никогда он не знал покоя, никогда не бывал один. С матерью он держался смиренно и почтительно. Полом восхищался, любил его и чуть презирал. А Пол, в свою очередь, восхищался им, любил его и тоже чуть презирал.

У миссис Морел было отложено несколько фунтов, оставленных ей отцом, и она решила выкупить сына из армии. Он ошалел от радости. Точь-в-точь мальчишка на каникулах.

Ему всегда нравилась Беатриса Уайлд, а во время отпуска он возобновил с ней знакомство. Она была крепче его, выносливей. Они часто совершали вдвоем далекие прогулки. При этом Артур по-солдатски довольно чопорно подставлял ей для опоры руку калачиком, а она аккомпанировала ему на фортепиано, когда он пел. В эти минуты он расстегивал ворот гимнастерки. Он пел глубоким тенором, при этом краснел, и глаза его блестели. Потом они обычно сидели на диване. Казалось, он выставляет напоказ свое тело — мощную грудную клетку, бока, обтянутые панталонами бедра, — и Беатриса не была к этому равнодушна.

Разговаривая с ней, он любил переходить на диалект. Случалось, она вместе с ним покуривала. Иногда разок-другой затягивалась его сигаретой.

— Не, — сказал он ей как-то вечером, когда она хотела взять у него сигарету. — Не, так дело не пойдет. Лучше я поцалую тебя с дымком, коли ты не против.

— Я затянуться хочу, а вовсе не целоваться, — ответила она.

— Ну дак чего, будет тебе и затяжка и поцалуй.

— Хочу затянуться от твоего окурка, — крикнула Беатриса, пытаясь выхватить у него изо рта

сигарету.

Он сидел, касаясь ее плечом. Была она маленькая и быстрая, как молния. Он едва увернулся.

— Поцалую с дымком, — повторил он.

— Ты противный скареда, Арти Морел, — сказала она, отодвигаясь.

— Поцалуй с дымком желаешь?

Солдат, улыбаясь, наклонился к ней. Лица их почти соприкасались.

— Не смей! — ответила она, отворачиваясь.

Он затянулся, сжал губы и потянулся к ней. Темно-каштановые подстриженные усики ощетинились. Беатриса глянула на его алые вытянутые губы и вдруг выдернула у него из пальцев сигарету и метнулась прочь. Он, вскочив за нею, выхватил гребенку из ее волос на затылке. Беатриса обернулась и кинула в него сигаретой. Он поймал сигарету, сунул в губы и сел.

— Противный! — крикнула она. — Отдай гребенку!

Она боялась, как бы не рассыпалась прическа, сотворенная нарочно для него. Стояла и придерживала волосы руками. А он спрятал гребенку у себя между колен.

— Не брал я ее, — сказал он.

Он говорил, посмеиваясь, и сигарета, зажатая в

губах, вздрагивала.

— Врешь! — сказала Беатриса.

— Вот ей-ей! — со смехом отвечал Артур и показал ей раскрытые ладони.

— Ах ты, бесстыжий бесенок! — воскликнула Беатриса и кинулась в драку, стараясь отнять гребенку, а гребенка была у него под коленями. Она боролась с ним, тянула его за гладкие, туго обтянутые тканью коленки, а он хохотал и наконец, трясясь от хохота, повалился на диван. Сигарета выпала изо рта, чуть не обожгла ему шею. Под нежным загаром он залился краской и все смеялся, смеялся, пока голубые глаза его не ослепли от навернувшихся слез, горло перехватило и он чуть не задохся. Потом он сел. Беатриса вкалывала гребенку в волосы.

— Ты защекотала меня, Беатрис, — хрипло сказал он.

Белая ручка ее мелькнула, точно вспышка, и он получил звонкую пощечину. Он вскочил, свирепо на нее глядя. Они стояли и мерили друг друга взглядами. Понемногу щеки ее залились краской, она опустила глаза, понурилась. Артур сел, мрачно насупился. Беатриса прошла в чулан поправить прическу. Там она украдкой всплакнула, сама не зная почему.

Вернулась она, наглухо замкнувшись. Но то была лишь тонкая пленка, под которой бушевал огонь. Артур, мрачный, взлохмаченный, сидел на диване. Она села напротив, в кресло, и оба молчали. В тишине, точно удары, слышалось тиканье часов.

— Ты злючка, — почти виновато произнес наконец Артур.

— А нечего быть таким бесстыжим, — ответила она.

Опять они надолго замолчали. Артур посвистывал про себя, как посвистывает обычно мужчина, когда он обеспокоен, но хорохорится. Беатриса вдруг подошла и поцеловала его.

— На, получай, бедняжка! — насмешливо сказала она.

Артур поднял голову, с любопытством улыбнулся.

— Поцелуешь? — пригласил он.

— А что, не посмею? — бросила она.

— Давай! — подбивал он, протягивая губы.

Неторопливо, со странной, дрожащей улыбкой, которая, казалось, расплылась по всему ее телу, Беатриса губами прижалась к его губам. И вмиг его руки сомкнулись вокруг нее. Едва кончился этот долгий поцелуй, она откинула голову и по-

ложила свои тоненькие пальцы ему на шею, в просвет расстегнутого воротничка. Потом закрыла глаза, опять отдалась поцелую.

Она поступала по своей воле. Что хотела, то и делала, и вовсе не думала, будто кто-то другой за это в ответе.

Пол чувствовал, как меняется вокруг него жизнь. Юность осталась позади. Теперь у них дом взрослых людей. Энни стала замужней женщиной, Артур предавался удовольствиям на свой, не ведомый семье лад. Так долго они все жили дома и выходили только по своим делам. А теперь жизнь Энни и Артура протекала вне родительских стен. Сюда они приезжали на праздники и на отдых. И странным теперь казался дом, наполовину опустевшим, как гнездо, откуда вылетели птенцы. Пола все сильней одолевало беспокойство. Энни и Артур покинули дом. Ему не терпелось последовать их примеру. Но ведь дом для него подле матери. А все же есть что-то еще, что-то вне дома, что-то, чего ему недостает.

Тревожней и тревожней ему становилось. Мириам не утоляла тревоги. Слабело прежнее неистовое желание быть с нею. Иногда в Ноттингеме он виделся с Кларой, иногда ходил с ней на собрания, иногда встречал ее и на Ивовой фер-

ме. Но вот здесь все становилось непросто. Пол, Клара и Мириам образовали некий треугольник враждебности. С Кларой он острил, разговаривал светски насмешливо, тоном, глубоко чуждым Мириам. Неважно, что происходило перед тем. Она могла сидеть рядом с ним и вести задушевный разговор. Но стоило появиться Кларе, и Мириам переставала для него существовать, и теперь он весь был обращен к гостье.

Мириам провела с ним один чудесный вечер во время сенокоса. Он работал на конных граблях, а закончив, пришел помочь ей укладывать сено в стог. Потом он рассказывал ей о своих надеждах и огорчениях и, казалось, раскрыл ей всю душу. Она будто видела трепещущую ткань его жизни. Взошла луна; они вместе возвращались с луга; казалось, он пришел к ней, потому что отчаянно в ней нуждался, и она его слушала, отдавая ему всю свою любовь и веру. Казалось, он принес ей на хранение лучшее, что в нем есть, и она станет охранять это сокровище всю свою жизнь. Нет, само небо не лелеет звезды верней и вековечней, чем станет она охранять то доброе, что есть в душе Пола Морела. Дальше она пошла домой одна, радостно взволнованная, счастливая своей верой.

А назавтра приехала Клара. Затеяли чаепитие на скошенном лугу. Мириам следила, как вечер становится золотым и опускаются тени. И все это время Пол резвился с Кларой. Он собирал стожки сена один другого выше, и они с Кларой прыгали через них. Мириам игра не пришлась по вкусу, и она стояла в сторонке. Эдгар, Джеффри, Морис, Клара и Пол прыгали. Выиграл Пол — он оказался самым легким. Клара разогорчилась. Бегала она точно амазонка. Полу нравилось, как решительно она устремлялась к стожку и перелетала через него, грудь ее покачивалась, густые волосы растрепались.

— Вы задели сено! — кричал Пол. — Задели!

— Нет! — вспыхнув, она повернулась к Эдгару. — Не задела, правда? Разве прыжок не чистый?

— Не могу сказать, — смеясь, ответил Эдгар.

Никто не мог сказать.

— Да задели вы, — сказал Пол. — Вы проиграли.

— Нет, не задела! — крикнула Клара.

— Да видно же было, — сказал Пол.

— Надери ему за меня уши! — крикнула она Эдгару.

— Не, я не смею, — со смехом ответил Эдгар. —

Сама надери.

— Да задели вы, и ничего тут не поделаешь, — смеялся Пол.

Она взбеленилась. Ее маленькому торжеству перед лицом мальчишек и мужчин пришел конец. В этой игре она забылась. И теперь он мог ее посрамить.

— Бессовестный! — сказала она.

И опять Пол засмеялся тем смехом, что был мучителен для Мириам.

— А я так и знал, не перепрыгнуть вам тот стожок, — поддразнивал он Клару.

Она отвернулась от него. Но каждому было видно, что только его она и слушает, только его замечает, а он — ее. Мужчинам нравилось смотреть, как они сражаются друг с другом. Но для Мириам это было мучительно.

Она видела, Пол может предпочесть низменное высокому. Может изменять самому себе, изменять глубокому Полу Морелу. Есть опасность, что он станет легкомысленным, кинется в погоню за удовольствиями, подобно Артуру или своему отцу. Мириам было горько, что он пренебрегает собственной душой ради ветреных забав с Кларой. Она молчала, исполненная горечи, а тем временем Клара и Пол подшучивали друг над

другом и Пол резвился в свое удовольствие.

А после он стыдился самого себя, хотя нипочем бы в этом не признался, и мысленно падал ниц перед Мириам. Потом опять бунтовал.

— Быть верующим еще не значит веровать, — сказал он. — Сдается мне, когда ворона парит в небе, она тот же верующий. Но она устремляется в небо только потому, что чувствует, полет приведет ее, куда ей требуется, а не потому, что в полете приобщается вечности.

Но Мириам знала, что верующим должно оставаться во всем и во всем ощущать присутствие Бога, что бы это ни было такое — Бог.

— Не верю я, что Бог столько всего знает о себе самом, — воскликнул Пол. — Не знает Бог сущее. И я уверен, вовсе Он не испытывает глубоких чувств.

И Мириам подумала, это он пытается привлечь Бога на свою сторону, потому что он хочет идти своим путем и не отказываться от своих радостей. Они долго сражались друг с другом. Пол вел себя поистине предательски по отношению к ней, даже в ее присутствии, потом стыдился этого, потом каялся; потом проникался к ней ненавистью и опять уходил. И так повторялось без конца.

Мириам задевала его до глубины души. Там

она и оставалась — печальная, задумчивая, бесконечно преданная. А он приносил ей горе. И то сам огорчался за нее, то ненавидел ее. Она была его совестью; и такое у него было чувство, будто совесть его ему не по плечу. Распрощаться с нею он не мог, ведь каким-то образом она удерживала его лучшее «я». Не мог и остаться с нею, ведь все остальное в нем она не принимала, а оно составляло три четверти его существа. Вот он с досады и обращался с ней бессовестно.

Когда Мириам исполнился двадцать один год, он написал ей письмо, какое только ей и могло быть написано.

«Позволь мне в последний раз поговорить о нашей давней, исчерпавшей себя любви. Она ведь тоже меняется, не так ли? Скажи, разве плоть этой любви не умерла, оставив тебе ее неуязвимую душу? Понимаешь, я могу тебе дать любовь духовную, я тебе и давал ее долгое, долгое время, но не воплощенную страсть. Понимаешь, ты монахиня. Я давал тебе то, что мог дать безгрешной монахине — как чуждый всего мирского монах чуждой всего мирского монахине. Тебе это, конечно, дороже. И однако, ты сожалеешь… вернее сожалела, что не было того, другого. Во всех наших с тобой отношениях плоть не при-

сутствует. В разговорах с тобой не чувства меня ведут, но дух. Вот почему не можем мы любить в общепринятом смысле этого слова. Наше чувство не из тех, что годятся на каждый день. Но мы ведь простые смертные, и жить друг с другом бок о бок было бы ужасно — ведь так или иначе с тобой я не могу подолгу быть заурядным, а знаешь, всегда быть вне этого присущего простому смертному состояния значило бы и вовсе его утратить. Когда люди женятся, они должны жить вместе как двое любящих, которые могут вести себя буднично, не испытывая при этом неловкости, — а вовсе не как две души. Так я чувствую.

Следует ли посылать тебе это письмо… не уверен. И однако… лучше понимать. Au revoir».[20]

Мириам прочла письмо дважды, потом запечатала его. Спустя год она сломала печать, чтобы показать письмо матери.

«Ты монахиня… монахиня». — Слова эти опять и опять отдавались у нее в сердце. Ничто из когда-либо сказанного им не проникало в нее так глубоко, непоправимо, будто смертельная рана.

Она ответила Полу через два дня после чаепития на лугу.

---

[20] Примечания: 20
до свидания *(фр.).*

«Наша близость была бы так прекрасна, если бы не одна малая ошибка», — процитировала она. — «Моя ли это ошибка?»

Он почти тотчас ответил ей из Ноттингема, послав одновременно небольшой сборник Омара Хайяма.

«Я рад, что ты ответила. Ты так спокойна, так естественна, я даже устыдился. Какой же я болтун! Мы с тобой часто не понимаем друг друга. Но на все самое главное мы, я думаю, всегда будем смотреть одинаково.

Хочу поблагодарить тебя за то, как ты принимаешь мои рисунки и картины. Многие зарисовки посвящены тебе. Я предвкушаю твой критический разбор, который, к стыду моему и славе, всегда оказывается истинным признанием. Это всего лишь милая шутка. Au revoir».

Так закончилась первая глава его романа. Было Полу в ту пору почти двадцать три, и, хотя он до сих пор оставался девственником, голос плоти, который Мириам так долго чересчур облагораживала, теперь стал особенно сильным. При разговорах с Кларой Доус кровь разогревалась и быстрей устремлялась по жилам, грудь теснило, будто что-то живое там билось, туда переместилось его новое «я», средоточие нового сознания,

предупреждая, что рано или поздно не миновать ему обратиться к той ли, к другой ли женщине. Но он принадлежал Мириам. Она так твердо была в этом убеждена, что он не оспаривал ее права.

10. Клара

В двадцать три года Пол послал один свой пейзаж на зимнюю выставку в Ноттингемском замке. Молодым художником заинтересовалась мисс Джордан, пригласила его к себе домой, где он познакомился с другими художниками. У него стало прорезываться честолюбие.

Однажды утром, когда он мылся в чулане, пришел почтальон. Пол вдруг услышал громкие возгласы матери. Он ринулся в кухню и увидел, она стоит перед камином, неистово размахивает письмом и как безумная кричит «Уррра!».

— Мама, ты что? — воскликнул Пол, ошеломленный и испуганный.

Мать бросилась к нему, на миг обхватила его руками, потом замахала письмом, крича:

— Урра, мой мальчик! Я знала, что мы своего добьемся!

Он ужаснулся — маленькая суровая женщина с седеющими волосами вдруг пришла в такое неистовство. Почтальон прибежал обратно, испугался, что случилось неладное. Они увидели над невысокой занавеской его фуражку с околышем. Миссис Морел ринулась к двери.

— Его картина удостоена первого приза, Фред, — крикнула она, — и продана за двадцать гиней!

— Право слово, это вам не фунт изюму! — сказал молодой почтальон, которого они знали с пеленок.

— Майор Моуртон ее купил, не кто-нибудь! — объявила она.

— Сдается мне, это чего-то да значит, миссис Морел, — сказал почтальон, голубые глаза его блестели. Он радовался, что принес такое счастливое письмо. Миссис Морел вошла в дом и села вся дрожа. Пол боялся, а вдруг она неверно поняла известие и потом будет разочарована. Он внимательнейшим образом прочел письмо один раз, другой. Все правильно. Он сел, сердце его билось от радости.

— Мама! — воскликнул он.

— Разве я не говорила, что так будет? — сказала миссис Морел, стараясь скрыть слезы.

Пол снял с огня чайник и заварил чай.

— Ты ведь не думала, ма… — осторожно начал он.

— Нет, сын… такого я не ждала… но я очень надеялась.

— Но такого не ждала, — сказал он.

— Нет… нет… но я знала, мы своего добьемся.

Теперь к ней вернулось спокойствие, по крайней мере внешне. Пол сидел с расстегнутым воротом сорочки, была видна его молодая, почти девичья шея, в руке полотенце, влажные волосы торчком.

— Двадцать гиней, мама! Тебе как раз столько и нужно, чтобы выкупить Артура. Теперь тебе вовсе ничего не надо занимать. Этого как раз хватит.

— Все я, разумеется, не возьму, — сказала она.

— Но почему?

— Потому что не возьму.

— Ну… ты возьми двенадцать фунтов, а мне оставь девять.

Они попрепирались из-за того, как разделить двадцать гиней. Мать хотела взять только пять фунтов, больше ей не надо. Пол и слышать об этом не хотел. И напряжение чувств разразилось спором.

Вечером вернулся из шахты Морел и сказал:

— Говорят, Пол получил первый приз за свою картину и продал ее лорду Генри Бентли за пятьдесят фунтов.

— Чего только люди не наболтают! — воскликнула миссис Морел.

— Ха! — ответил он. — Я так и говорил, мол, яс-

но, это враки. А они говорят, это Фред Ходжкисон сказывал.

— Можно подумать, я ему сказала такую чепуху!

— Ха! — подтвердил Морел.

Но все равно был разочарован.

— Пол и вправду получил первый приз, — сказала миссис Морел.

Морел тяжело опустился на стул.

— Неужто получил?

И он уставился на жену.

— Но что до пятидесяти фунтов… какая чепуха! — Она помолчала. — Майор Моуртон купил ее за двадцать гиней, так-то.

— Двадцать гиней! Надо же! — воскликнул Морел.

— Да, и она того стоит.

— Ага! — сказал он. — Я же не спорю. А только двадцать гиней за картинку, и ведь он намалевал ее за час-другой!

Он помолчал, гордый сыном. Миссис Морел фыркнула, будто ничего это не значило.

— А денежки когда отдаст? — спросил углекоп.

— Откуда я знаю. Наверно, когда ему доставят картину.

Теперь оба молчали. Вместо того чтобы обедать,

Морел уставился на сахарницу. Черная рука его с изуродованной тяжелым трудом кистью лежала на столе. Жена делала вид, будто не замечает, как тыльной стороной ладони он трет глаза, как размазалась, повлажнела угольная пыль на его черном лице.

— Да, и другой наш парнишка тоже достиг бы не меньше, если б не убили его, — тихо промолвил он.

Мысль об Уильяме острей ножа пронзила миссис Морел. И охватила усталость, потянуло отдохнуть.

Пола пригласили на обед к мистеру Джордану. Он сказал матери:

— Мама, мне нужен смокинг.

— Да, я так и думала, — сказала мать. Она была довольна. Немного помолчала. Потом продолжала: — Есть у нас вечерний костюм Уильяма. Он, я знаю, стоил четыре фунта десять шиллингов, а надевал его Уильям всего три раза.

— А ты не против, чтоб я его носил, ма? — спросил Пол.

— Нет, по-моему, он будет тебе в самый раз… по крайней мере смокинг. Брюки придется подкоротить.

Пол пошел наверх, надел смокинг и жилет и

спустился к матери. Престранно он выглядел в смокинге и жилете при фланелевой рубашке с мягким воротником. Смокинг был ему великоват.

— Портной сумеет подогнать по тебе, — сказала мать, разглаживая плечо смокинга. — Материя превосходная. У меня не хватало духу дать отцу носить брюки от этого костюма, и до чего же я теперь довольна.

И проводя ладонью по шелковому воротнику, она думала о своем старшем сыне. Но этот, в смокинге, достаточно живой. Она провела рукой по его спине, хотела его ощутить. Он живой и принадлежит ей. А тот, другой, умер.

Несколько раз Пол отправлялся на обед в смокинге, который прежде носил Уильям. Каждый раз сердце матери поддерживали гордость и радость. Сын вступает на новую стезю. Запонки, которые она и дети покупали для Уильяма, подошли теперь Полу, он носил одну из парадных рубашек Уильяма. Но выглядел он элегантно. Лицо грубоватое, но доброе и привлекательное. Он не очень-то походил на джентльмена, но сразу видно — настоящий мужчина, думалось ей.

Он рассказывал ей обо всем, что происходило на этих обедах, обо всем, что там говорили. Она

словно сама там побывала. И ему отчаянно хотелось представить ее новым друзьям, людям, которые обедают в половине восьмого вечера.

— Не болтай глупости! — сказала мать. — Зачем я им понадобилась?

— Понадобилась! — сердито возразил он. — Если они хотят водить компанию со мной… а они говорят, что хотят… им и ты нужна, потому что ты ничуть не глупей меня.

— Не болтай чепуху, мой мальчик! — рассмеялась миссис Моррел.

А меж тем она стала беречь руки. Они тоже теперь были изуродованы работой. Кожа блестела, оттого что они постоянно были в горячей воде, и суставы распухли. Но она хотя бы стала беречь их от соды. Она жалела, что они не такие, как были прежде, — маленькие, изящные. И когда Энни принялась настаивать, чтобы она сшила более элегантные блузки, под стать ее возрасту, она подчинилась. Она до того даже дошла, что позволила приколоть ей к волосам черный бархатный бантик. Потом, по обыкновению, насмешливо фыркнула и подумала, что вид у нее нелепый. Но Пол заявил, она выглядит настоящей светской дамой, совсем как миссис Моуртон, и не в пример милее. Семья понемногу преображалась. Только

Морел остался прежним, а вернее, медленно опускался.

Теперь Пол подолгу беседовал с матерью о жизни. Религия отступала у него на второй план. Он отбросил все убеждения, которые могли бы ему помешать, расчистил почву и так или иначе подошел к основополагающему убеждению, что человек сам, собственной душою должен ощущать добро и зло, и должен набраться терпения, и постепенно осознать, каков его Бог. Теперь жить ему стало интересней.

— Знаешь, — сказал он матери, — не хочу я принадлежать к состоятельному сословию. Мне больше нравится мой простой народ. Я принадлежу к простому народу.

— Но если бы кто-то другой так тебе сказал, боюсь, сын, это бы тебя взбесило. Ведь сам ты считаешь себя ровней любому джентльмену.

— По своей сути, — ответил он. — А не по сословной принадлежности, не по образованию или манерам. Но по сути своей я джентльмен.

— Ну что ж, хорошо. Зачем же тогда говорить о простом народе?

— Потому что… понимаешь, разница между людьми не в их сословии, а в них самих. У среднего сословия человек черпает идеи, а у простых

людей — саму жизнь, доброту. Сразу внятно, что они ненавидят и что любят.

— Все это прекрасно, мой мальчик. Но тогда почему тебя не тянет разговаривать с приятелями отца?

— Но ведь они какие-то другие.

— Вовсе нет. Они и есть простой народ. В конце концов, с кем ты теперь поддерживаешь отношения, с простым народом? С теми, кто обменивается мыслями, то есть со средним сословием. Прочие тебе неинтересны.

— Но… есть еще жизнь…

— Не верю я, что у Мириам ты черпаешь больше жизни, чем мог бы почерпнуть у любой образованной девушки… скажем, у мисс Моуртон. Это ты сам смотришь на сословия как сноб.

Она совершенно откровенно желала, чтобы он поднялся в среднее сословие, и понимала, не так уж это и трудно. И желала, чтобы он женился на девушке хорошего происхождения.

Она принялась воевать с беспокойством, которое отравляло ему жизнь. Он все еще виделся с Мириам, не мог ни порвать с ней, ни пройти весь путь до помолвки. И эта нерешительность, казалось, лишала его сил. Больше того, миссис Морел подозревала, что его неосознанно влечет

к Кларе, но та ведь замужем, и матери хотелось, чтобы он влюбился в какую-нибудь из девушек, занимающих более высокое положение. Но он, глупый, не захочет полюбить такую девушку или хотя бы заглядеться на нее именно потому, что она выше его по положению.

— Мальчик мой, — сказала ему мать, — мне кажется, что весь твой ум, и разрыв со старым порядком вещей, и попытка самому распоряжаться своей судьбой не принесли тебе особого счастья.

— А что такое счастье? — воскликнул Пол. — Ничто оно для меня! Как я могу быть счастливым?

Прямой этот вопрос ее встревожил.

— Это тебе самому судить, дружок. Но если бы ты встретил какую-нибудь по-настоящему хорошую женщину, которая сделала бы тебя по-настоящему счастливым… и ты стал бы подумывать, как устроить свою жизнь… когда у тебя появятся средства… чтобы ты мог работать и перестал без конца себя изводить… это было бы для тебя куда лучше.

Пол нахмурился. Мать угодила в самое больное место, в отношения с Мириам. Он откинул со лба взлохмаченные волосы, глаза были полны боли и огня.

— «Лучше» по-твоему значит легче, мама! —

воскликнул он. — В этом вся женская философия жизни… душевное спокойствие и физическое удобство. А я это презираю.

— Ах, вот как! — возразила мать. — И свое состояние ты называешь божественным беспокойством?

— Да. Не в божественности для меня дело. Но будь оно неладно, твое счастье! Если жизнь полна, совершенно неважно, счастливая она или нет. Боюсь, от твоего счастья у меня стало бы сводить скулы.

— А ты никогда его и не пробовал, — сказала она. И вдруг бурно прорвалась вся страстная боль за него. — Но это очень, очень важно! — воскликнула она. — Нет, ты должен быть счастлив, попытайся быть счастливым, жить счастливо. Да разве я вынесу мысль, что твоя жизнь не будет счастливой!

— Твоя-то жизнь была достаточно трудная, мать, но ты живешь не многим хуже, чем те, кто был счастливее. Сдается мне, ты отлично со всем справилась. И я такой же. Мне живется совсем неплохо, разве нет?

— Нет, сын. Ты воюешь… воюешь… и страдаешь. Насколько я вижу, только это и приходится на твою долю.

— Но, родная моя, почему бы нет? Поверь, это лучше, чем…

— Нет, не лучше. И человек должен быть счастлив, должен!

Теперь миссис Морел била дрожь. Такие сраженья между ней и сыном не были редкостью, и, казалось, она борется за самую его жизнь против его желания умереть. Он обнял ее. Она была больна, и он ее жалел.

— Не волнуйся, Малышка, — тихонько говорил он. — Пока жизнь не кажется человеку пустой и ничтожной, все остальное неважно, будь он счастлив или несчастен.

Мать прижала его к себе.

— Но я хочу, чтоб ты был счастлив, — жалостно сказала она.

— Э, родная моя… скажи лучше, что хочешь, чтоб я жил.

Миссис Морел чувствовала, сердце ее разрывается из-за него. Она поняла, если так пойдет, недолго ему жить. Он относится к себе, к своему страданию, к собственной жизни с той горькой небрежностью, которая и есть своего рода медленное самоубийство. И сердце ее разрывалось. Со всей страстью сильной натуры ненавидела она Мириам, которая исподволь лишала его радо-

сти. Матери неважно было, что то была не вина Мириам, а беда. Мириам довела до этого Пола, и миссис Морел ее возненавидела.

Ей так хотелось, чтоб он влюбился в девушку, которая могла бы стать его подругой — образованной и сильной. Но ни на одну из тех, кто выше его по положению, он и не посмотрит. Похоже, ему нравится миссис Доус. Что ж, это по крайней мере здоровое чувство. Мать молилась и молилась, чтобы он не зачах понапрасну. Лишь об этом была ее молитва — не о душе его и не о его добродетели, но чтобы он не зачах понапрасну. И пока он спал, долгими часами она думала о нем и молилась за него.

Незаметно, сам того не ведая, он отошел от Мириам. Артур, едва расставшись с армией, женился. Дитя родилось через полгода после свадьбы. Миссис Морел нашла ему работу в той же фирме, где он служил до армии, за двадцать один шиллинг в неделю. Вместе с матерью Беатрисы она обставила для него двухкомнатный домик. Вот Артур и пойман. Как бы он ни бился, ни брыкался, ему не вырваться. Поначалу он злился, вымещал свою досаду на любящей молодой жене; он приходил в смятение, когда ребенок, хрупкий, болезненный, плакал или доставлял

какие-то хлопоты. Он часами жаловался матери. Она только и говорила:

— Что ж, дружок, ты сам все это устроил, теперь не падай духом.

И вот в нем прорезалась сила воли. Он напористо взялся за работу, осознал свою ответственность, понял, что принадлежит жене и ребенку, и действительно больше не падал духом. Он никогда не был так уж тесно связан с родными. Теперь он совсем от них отошел.

Медленно тянулись месяцы. Благодаря знакомству с Кларой Пол более или менее сблизился с ноттингемскими социалистами, суфражистками, унитариями. Однажды их с Кларой общий приятель из Бествуда попросил его передать миссис Доус записку. Вечером Пол отправился через Снейнтонский рынок к Блюбелл-хилл. Он нашел ее жилище на жалкой улочке, мощенной гранитным булыжником с дорожками из темно-синего желобчатого кирпича. С грубой мостовой, по которой стучали и скрежетали шаги пешеходов, надо было подняться на одну ступеньку к парадному. Коричневая краска на двери такая была старая, что на стыках она облупилась, обнажая голое дерево. Пол стоял на улице и стучал. Раздались тяжелые шаги; и вот уже над ним

возвышается крупная дородная женщина лет шестидесяти. Пол посмотрел на нее снизу. Лицо суровое, неприветливое.

Она впустила его в гостиную, оказалось, вход в нее прямо с улицы. То была маленькая, непроветренная комната-склеп, обставленная мебелью красного дерева и увешанная увеличенными с фотографий портретами усопших. Миссис Рэдфорд оставила его одного. Держалась она высокомерно, чуть ли не воинственно. Через минуту появилась Клара. Она густо покраснела, и он тоже смутился. Похоже, ей неприятно было, что ему открылось, в каких условиях она живет.

— Я подумала, не может быть, что это ваш голос, — сказала она.

Но, как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И из гостиной-усыпальницы она повела его в кухню.

Кухня была тоже маленькая, темноватая, но вся опутанная белыми кружевами. Мать опять сидела подле буфета и тянула нить из широкого кружевного плетенья. Ком пуха и путаница хлопчатобумажных ниток лежали справа от нее, слева — груда кружев шириной три четверти дюйма, а прямо перед нею, на каминном коврике, высилась гора кружевного плетенья. Волнистые

хлопчатобумажные нити покрывали каминную решетку и камин. Пол остановился на пороге, боясь наступить на белые груды.

На столе стояла машина для кружев, лежали игольчатые ленты, коробочка с булавками и на диване — гора натянутых кружев.

Комната вся была полна кружевами, и так здесь было темно и тепло, что белые, снежные груды их казались еще отчетливей.

— Раз пришли, уж вы не обращайте внимания на нашу работу, — сказала миссис Рэдфорд. — К нам, конечно, вроде и не подступиться. Но уж вы садитесь.

Клара, очень смущенная, поставила Полу стул у стены перед белыми грудами. Потом пристыженно заняла свое место на диване.

— От бутылочки пива не откажетесь? — спросила миссис Рэдфорд. — Клара, дай ему бутылочку пива.

Пол запротестовал, но миссис Рэдфорд настаивала.

— По вас видать, оно вам не повредит, — сказала она. — Это чего ж, вы всегда такой бледный?

— Это кожа у меня толстая, вот кровь и не просвечивает, — ответил он.

Стыдясь и досадуя, Клара принесла ему бутыл-

ку пива и стакан. Пол налил немного черной жидкости.

— Что ж, — сказал он, подняв стакан, — ваше здоровье!

— Благодарствуем, — сказала миссис Рэдфорд.

Он пригубил пиво.

— И можете курить, только глядите, не подпалите дом, — сказала миссис Рэдфорд.

— Спасибо, — ответил Пол.

— Чего уж меня благодарить, — сказала она. — Я-то рада опять услышать в доме запах курева. По моему разуменью, дом, где одни женщины, — мертвый, все равно как дом без огня. Я не из пауков, в углу сиднем сидеть мне не радость. Я люблю, когда в доме мужчина, пускай он только на то и годен, чтоб с ним лаяться.

Клара принялась за работу. Ее машинка крутилась, приглушенно жужжа; белое кружево проходило между ее пальцами. Клара отрезала конец и приколола его к намотанному кружеву. Потом опять склонилась над машинкой. Пол не сводил с нее глаз. Она сидела прямая, великолепная. Шея и руки обнажены. От ушей ее еще не отхлынула кровь; мучаясь стыдом и унижением, она опустила голову. Лицо было обращено к работе. Рядом с белизной кружев живая плоть руки

казалась сливочно-белой; крупные, ухоженные кисти двигались размеренно, казалось, ничто не заставит их поторопиться. Не сознавая того, он все не сводил с нее глаз. Он видел склоненную голову и изгиб шеи у плеча; видел завиток темных волос; не спускал глаз с ее светящихся неутомимых рук.

— Я кой-что об вас слыхала от Клары, — продолжала мать. — Вы ведь у Джордана служите, да? — Она непрестанно вытягивала нить.

— Да.

— Вон как, а я еще помню, как Томас Джордан клянчил у меня конфетки.

— Неужели? — засмеялся Пол. — И получал?

— Когда как… позднее-то нет. Потому как он из таких, брать берет, а давать ничего не дает, такой вот он… был такой.

— По-моему, он очень приличный человек, — сказал Пол.

— Что ж, приятно слышать.

Миссис Рэдфорд пристально на него посмотрела. Была в ней какая-то определенность, это ему понравилось. Лицо ее оплыло, но глаза были спокойные, и чувствовалось, что она крепкая, и вовсе она не выглядела старой, а морщинки и обмякшие щеки казались неуместными. В ней

ощущались сила и хладнокровие женщины в расцвете лет. Она все тянула нить, неторопливо и с достоинством. Кружевная ткань неизбежно ползла вверх, покрывала ее фартук и, длинная, спадала сбоку. Руки кружевницы были красивой формы, но блестящие и желтые, будто старая слоновая кость. Не было в них того особенного матового света, которым его так завораживали руки Клары.

— И вы ухаживаете за Мириам Ливерс? — спросила миссис Рэдфорд.

— Н-ну… — замялся Пол.

— Да, она славная девушка, — продолжала та. — Очень славная, но уж больно она не от мира сего, это не по мне.

— Да, есть в ней что-то такое, — согласился он.

— Она нипочем не будет довольна, пока не заимеет крылья, ей надобно летать у всех над головами, — сказала миссис Рэдфорд.

Вмешалась Клара, и он передал ей поручение, с которым пришел. Она разговаривала с ним смиренно. Он застиг ее врасплох за ее нудной работой. И видя ее смирение, он почувствовал, будто сам с надеждой поднимает голову.

— Вам нравится работать на этой машинке? — спросил он.

— А что еще остается делать женщине! — с горечью ответила она.

— Очень это утомительно?

— Более или менее. Да разве не вся женская работа утомляет? Это еще одна шутка, которую сыграли с нами мужчины с тех пор, как мы силой ворвались на рынок труда.

— Ну-ка, замолчи насчет мужчин, — велела ей мать. — Не будь женщины дурами, и мужчины были бы подходящие, вот что я тебе скажу. Коли пробовал какой мужик со мной худо обойтись, так получал сдачи полной мерой. А что поганое они племя, тут и спору нет.

— Но вообще-то они ничего, верно? — спросил Пол.

— Ну, все же не то что женщины, — ответила она.

— А вернуться на фабрику к Джордану вы бы не против? — спросил он Клару.

— Не думаю, — ответила она.

— Вернулась бы, вернулась! — воскликнула мать. — Судьбу бы благодарила, если б могла вернуться. Не слушайте вы ее. Вечно она задирает нос, а не сегодня завтра будет с голоду помирать.

Нелегко же Кларе с мамашей. Пол чувствовал, у него открываются глаза. Может, вовсе не следует

так всерьез принимать Кларину воинственность? Она упорно крутила машинку. Он подумал, ей может понадобиться его помощь, и радостное волнение охватило его. Так во многом ей отказано, так многого она лишена. И рука ее, которая вовек не должна бы подчиняться механизму, движется механически, и голова, что не должна бы склоняться, склонилась над кружевами. Похоже, она на мели и оказалась здесь, среди отбросов жизни, вот и крутит свою машинку. Горько ей, что жизнь выбросила ее за ненадобностью, будто нет от нее никакого толку. Не удивительно, что она протестует.

Она проводила его до дверей. Он стоял внизу, на жалкой улочке, и смотрел на нее. Так хороша и стать ее и осанка, она словно поверженная Юнона. Вот она стоит в дверях, и ее явно коробит убогая улочка и все, что ее окружает.

— И вы поедете к миссис Ходжкисон в Хакнел?

Пол смотрел на нее и болтал лишь бы что. Наконец он встретился взглядом с ее серыми глазами. Было в них молчаливое унижение, мольба глубоко спрятанного страдания. Пол был потрясен, растерян. Ведь прежде ему казалось, она так высокомерна.

Расставшись с ней, он готов был кинуться бе-

гом. Сам не заметил, как дошел до вокзала, и добрался домой, не сознавая, что ее улица осталась позади.

Что-то ему мерещилось, будто Сузан, старшая над спиральщицами, собирается замуж. Назавтра он спросил ее об этом.

— Послушай, Сузан, говорят, ты выходишь замуж. Это правда?

Сузан залилась краской.

— Кто тебе сказал? — спросила она вместо ответа.

— Никто. Просто ходят слухи, будто ты надумала…

— Что ж, это верно, только не надо никому говорить. И вот еще что: я бы рада не выходить!

— Да ну, Сузан, так я тебе и поверил!

— А то нет? Уж поверь. Я бы в тысячу раз охотней осталась тут.

Пол встревожился.

— Сузан, почему?

Девушка еще гуще покраснела, глаза блеснули.

— Потому!

— Разве это необходимо?

Вместо ответа она смотрела на него. Было в нем и чистосердечие и мягкость, из-за которых женщины ему доверялись. Он понял.

— Ох, прости меня, — сказал он.

У нее на глазах навернулись слезы.

— Ничего, увидишь, все будет хорошо. Ты только не унывай, — не слишком весело подбодрил он.

— Ничего тут не поделаешь.

— Да, скверная история. Но уж ты постарайся не падать духом.

Вскоре он снова нашел повод зайти к Кларе.

— Вы не хотели бы вернуться к Джордану?

Она отложила работу, уронила на стол красивые руки и, не отвечая, несколько мгновений смотрела на него. Постепенно щеки ее зарумянились.

— Почему? — спросила она.

Пол немного смешался.

— Ну, потому что Сузан собралась уходить, — ответил он.

Клара опять взялась за работу. Белое кружево, подрагивая и подергиваясь, накручивалось на игольчатую ленту. Пол ждал. Не поднимая головы, она наконец заговорила странно упавшим голосом, почти шепотом:

— Вы уже что-нибудь об этом говорили?

— Кроме вас, никому ни слова.

Опять она долго молчала.

— Я предложу свои услуги, когда об этом будет объявлено, — сказала она.

— Вы обратитесь раньше. Я дам вам знать, когда именно.

Она продолжала крутить машинку и ничего ему не возразила.

Клара поступила на фабрику Джордана. Кое-кто из старших работниц, в том числе Фанни, помнили, как она ими правила, и воспоминание это было не из приятных. Клара всегда была «зазнайка», замкнутая и высокомерная. Она никогда не поддерживала с девушками-работницами отношения на равных. Если ей случалось заметить ошибку, она делала выговор бесстрастно и вполне вежливо, но для провинившейся это было куда обидней, чем если б ее сердито выбранили. С беднягой Фанни, вечно озабоченной горбуньей, Клара неизменно обращалась мягко и сочувственно, а в результате Фанни пролила из-за нее куда больше горьких слез, чем из-за злых языков других мастеров.

Что-то было в Кларе такое, что Полу не нравилось, и многое его задевало. Если она была поблизости, он не мог не смотреть на ее сильную шею, на которой низко росли легкие завитки белокурых волос. Ее лицо и руки покрывал нежный,

едва видный пушок, и, однажды его заметив, Пол уже всегда на него смотрел.

Когда он работал красками в послеобеденные часы, она заходила и застывала рядом. Он сразу ощущал ее присутствие, хотя она не заговаривала, не дотрагивалась до него. Она стояла за шаг-полтора от него, но чувство у него было такое, будто они касаются друг друга. Тогда он уже не мог писать. Он бросал кисти, поворачивался и заговаривал с ней.

Иногда она хвалила его работу, иногда критиковала.

— В этой картине вы неискренни, — бывало, скажет она, и так как в обвинении ее есть доля правды, Пол кипит от гнева.

— Как вам это? — иной раз нетерпеливо спросит он.

С сомненьем хмыкнув, Клара произносит:

— Мне это мало интересно.

— Потому что вы не понимаете, — возразит он.

— Тогда зачем меня спрашивать?

— А я думал, вы поймете.

Случалось, глядя на его работу, она презрительно пожмет плечами. Это бесило его. Он выходил из себя. Он поносил ее и принимался с жаром толковать, что и как он изобразил. Ее это забавля-

ло и поощряло. Но никогда она не соглашалась, что неправа.

За десять лет, что она была связана с женским движением, она почерпнула немало знаний и, обладая той же страстью к учению, что и Мириам, самостоятельно училась французскому и, хоть не без труда, могла читать на этом языке. Ей казалось, она особенная, всему на свете посторонняя, тем более — чужая своему сословию. Девушки-спиральщицы на фабрике Джордана все были из хороших семей. То была маленькая, особая отрасль производства, и к ней относились с известным почтением. В обеих комнатах царил дух благовоспитанности. Но Клара чуждалась и тех, с кем работала.

Однако ничего этого не поведала она Полу. Не из тех она, кто рассказывает про себя. Какая-то тайна ее окружала. Она была такая скрытная, что ему казалось, ей есть что скрывать. Внешняя сторона ее жизни была на виду, внутренний смысл от всех спрятан. Это возбуждало любопытство. А ко всему иногда Пол замечал, что она украдкой мрачно, испытующе смотрит на него исподлобья, и это заставляло его двигаться быстрее. Часто их взгляды встречались. Но в эти мгновения ее глаза были как бы завешены — ничего в них нельзя

было прочесть. Она лишь слегка, снисходительно улыбалась. Она как бы обладала неким знанием и пожинала плоды опыта, ему недоступного, — и потому его неодолимо влекло к ней.

Однажды он увидел у нее на верстаке «Lettres de mon Moulin».[21]

— Как, вы читаете по-французски? — воскликнул он.

Клара небрежно на него глянула. Она обрабатывала на спиральной машине эластичный чулок из лилового шелка, — медленно, размеренно, крутила колесо, порой наклоняясь, то чтобы посмотреть на чулок, то отрегулировать иглы; и тогда ее великолепная шея с пушком и тонкими завитками сверкала белизной на фоне светло-лилового блестящего шелка. Она еще немного поработала и остановилась.

— Что вы сказали? — спросила она, мило улыбаясь.

У Пола глаза сверкнули — так было оскорбительно ее равнодушие.

— Я не знал, что вы читаете по-французски, — очень вежливо сказал он.

— Неужто не знали? — Клара улыбнулась не

---

[21] Примечания: 21

«Письма с моей мельницы» — цикл рассказов Альфонса Доде.

без язвительности.

— Бессовестная хвастунья! — пробормотал он едва слышно.

Наблюдая за ней, он сердито сжал губы. Казалось, она презирает работу, которую делает механически; однако все, что выходило из ее рук, было сработано как нельзя лучше.

— Вам не нравится работать спиральщицей, — сказал он.

— Что ж, всякая работа есть работа, — ответила Клара, словно тут все ей было известно.

Ее холодность изумляла Пола. Сам он все делал с жаром. Она, должно быть, какая-то особенная.

— А чем бы вы предпочли заниматься? — спросил он.

Она снисходительно засмеялась:

— Слишком мало вероятно, чтоб мне когда-нибудь представился выбор, — ответила она. — Я даже не стала тратить время на такие размышления.

— Ну вот! — в свою очередь исполнясь презренья, сказал Пол. — Вы так говорите только потому, что слишком горды, чтобы захотеть чего-то, что вам недоступно.

— Вы прекрасно меня понимаете, — холодно ответила она.

— Я понимаю, вы думаете, будто вы ах какая необыкновенная и, стало быть, работа на фабрике для вас оскорбление на всю жизнь.

Он был очень зол и очень груб. Клара молча, презрительно отвернулась. Он посвистывая пошел прочь, полюбезничал и посмеялся с Хилдой.

Позднее он сказал себе:

— Чего ради я так нагло разговаривал с Кларой? — Он и досадовал на себя и был рад. — Так ей и надо. Хоть она и молчит, от нее так и разит гордостью, — сердито сказал он себе.

Во второй половине дня он спустился в мастерскую. На душу давила тяжесть, от которой хотелось избавиться. Он надеялся этого достичь, угостив ее шоколадкой.

— Хотите конфету? Я купил немножко, надо ж подсластить себе жизнь.

К великому его облегчению, она не отказалась. Он сел на рабочий стол рядом с ее машиной, стал накручивать на палец кусок шелка. Ей нравились его движения, быстрые, неожиданные, точно у молодого животного. Он задумался, болтал ногами. Конфеты были рассыпаны по столу. Клара склонилась над машиной, ритмично крутила колесо, потом перегнулась, чтоб взглянуть на чулок, который свесился под собственной тяже-

стью. Пол смотрел на красивый изгиб ее спины, на свернувшиеся на полу завязки фартука.

— В вас всегда чувствуется какое-то ожидание, — сказал он. — Что бы вы ни делали, вас будто и нет здесь: вы чего-то ждете… точно Пенелопа за своим рукодельем. — И так хотелось ее уколоть, что не удержался, прибавил: — Я буду звать вас Пенелопой.

— Что от этого изменится? — сказала она, старательно передвигая одну из иголок.

— Хоть и ничего, зато мне так нравится. А вы, кажется, забыли, что я ваш начальник. Мне это только что пришло в голову.

— Ну и что? — бесстрастно спросила она.

— А то, что я вправе вами распоряжаться.

— Я в чем-нибудь провинилась?

— Послушайте, зачем же так ехидничать? — сердито сказал он.

— Я не знаю, чего вы хотите, — сказала она, не отрываясь от работы.

— Я хочу, чтобы вы обращались со мной мило и почтительно.

— Может, называть вас сэром? — спокойно спросила она.

— Да, называйте меня сэр. Мне это было бы по вкусу.

— Тогда отправляйтесь, пожалуйста, наверх, сэр.

Он поджал губы, нахмурился. Потом вдруг вскочил.

— Больно вы заносчивы, с вами не сговоришь, — сказал он.

И пошел к другим девушкам. Он чувствовал, не с чего ему так злиться. По правде сказать, он подозревал, что сам чересчур занесся. Ну и пусть, продолжим в том же духе. Клара слышала, как он смеется с девушками в соседней комнате, смеется тем смехом, какой ей ненавистен.

Вечером, после ухода работниц, он прошел по мастерской и увидел подле Клариной машинки свои шоколадки, нетронутые. Там он их и оставил. Утром они все еще лежали там, а Клара сидела и работала. Позднее его окликнула Минни, маленькая брюнетка по прозвищу «Киска»:

— Эй, шоколадки не найдется?

— Виноват, Киска, — ответил Пол. — Хотел всех вас угостить, а потом ушел и забыл про них.

— Да уж, наверно, забыли, — сказала она.

— Я к вечеру еще принесу. Ты же не станешь их есть после того, как они тут валялись, верно?

— Ну, я не привереда, — улыбнулась Киска.

— Чего нет, того нет, — сказал он. — Они, навер-

но, запылились.

Он подошел к столу Клары.

— Простите, что намусорил тут у вас, — сказал он.

Клара багрово покраснела. Он зажал конфеты в горсти.

— Теперь они грязные, — сказал он. — Вам надо было их забрать. Что ж вы их не взяли? Я хотел вам сказать, что оставил их для вас.

Он выбросил конфеты из окна во двор. И глянул на Клару. Под его взглядом она поморщилась.

Среди дня он принес другой кулек.

— Угощайтесь, — сказал он, Кларе первой предлагая конфеты. — Эти новые.

Она взяла одну конфету и положила на стол.

— Да возьмите несколько… на счастье, — сказал он.

Клара взяла еще две и тоже положила их на стол. Потом, в смущении, опять принялась за работу. А Пол пошел дальше по мастерской.

— Бери, Киска, — сказал он. — Только не жадничай!

— Это что ж, все ей? — закричали другие девушки и кинулись к нему.

— Ну, конечно, нет, — сказал он.

Девушки с шумом их окружили. Киска попяти-

лась от товарок.

— Отойдите! — кричала Киска. — Я первая выберу, правда, Пол?

— Не обижай других, — сказал он и пошел прочь.

— Какой же вы душка! — кричали девушки.

— Ценой полушка, — ответил он.

Он прошел мимо Клары, не сказав ей ни слова. Ей казалось, если она дотронется до этих трех сливочных шоколадок, они ее обожгут. Пришлось собрать все свое мужество, чтобы сунуть их в карман фартука.

Девушки любили Пола и побаивались. Если уж он бывал мил, так мил необыкновенно, но если чем-нибудь недоволен, так становился холоден и вовсе их не замечал, обращался с ними так, будто они для него все равно что катушка ниток. И тогда, если они дерзили, он спокойно говорил:

— Не пора ли продолжить работу? — и стоял и наблюдал.

Когда ему исполнилось двадцать три года, в семье как раз было неблагополучно. Артур в те дни собирался жениться. Матери нездоровилось. Отца, стареющего и прихрамывающего из-за разных несчастных случаев, перевели на жалкую, никудышную работу. Мириам была для Пола вечным

укором. Он чувствовал, что должен посвятить себя ей, и не мог. К тому же семье требовалась его помощь. Он разрывался. Он не рад был, что сегодня его день рожденья. Только горше стало.

На фабрику он пришел в восемь. Большая часть служащих еще не являлась. Девушкам полагалось приходить к половине девятого. Когда он переодевал пиджак, его окликнули сзади:

— Пол, Пол, ты мне нужен.

То была Фанни, горбунья, — она стояла на верхней ступеньке лестницы, и лицо ее сияло, озаренное какой-то тайной. Пол удивленно на нее посмотрел.

— Ты мне нужен, — сказала она.

Он стоял в растерянности.

— Иди сюда, — звала она. — Иди сюда, пока не взялся за письма.

Он спустился на несколько ступенек в ее скучную, узкую «завершающую» комнатушку. Фанни шла впереди; черный облегающий лиф платья был короткий — талия приходилась почти под мышками, — а зелено-черная кашемировая юбка чересчур длинная, и когда она большими шагами шла перед молодым человеком, он казался особенно изящным. Она прошла к своему месту в узком конце комнатушки, там, где окно выходи-

ло на колпаки дымовых труб. Пол смотрел на ее тонкие руки и плоские красные запястья, а она беспокойно теребила белый фартук, лежащий перед ней на рабочем столе.

Она была в нерешительности.

— Ты ведь не думал, что мы тебя забудем? — с укором спросила она.

— Почему? — спросил он. В эту минуту он сам забыл про свой день рожденья.

— Еще спрашивает «почему! почему!» Да посмотри сюда! — она показала на календарь, и он увидел — большое черное число «21», а вокруг сотни карандашных крестиков.

— Ой, поцелуи к дню рожденья, — он рассмеялся. — Откуда вы узнали?

— Ага, тебе хочется знать, правда? — насмешничала безмерно довольная Фанни. — Тут по одному от каждого, кроме леди Клары… а кой от кого и по два. Но сколько тут моих, не скажу.

— Да я знаю, ты такая душенька, — сказал Пол.

— А вот и ошибаешься! — возмутилась Фанни. — Вовсе я не люблю разводить нежности. — У нее было сильное, глубокое контральто.

— Вечно ты, притворяешься этакой бессердечной деревяшкой, — со смехом сказал он. — А ведь ты чувствительная, как…

— Уж лучше пусть меня называют чувствительной, чем ледяшкой, — выпалила Фанни. Пол понял, что это камешек в огород Клары, и улыбнулся.

— Неужели ты это обо мне говоришь такие гадости? — смеясь, спросил он.

— Нет, мой птенчик, — с бесконечной нежностью ответила горбунья. Было ей тридцать девять лет. — Нет, мой птенчик, ты ведь не воображаешь, будто ты этакий красавец из мрамора, а все мы просто грязь. Я ведь не хуже тебя, Пол, правда? — Она была в восторге от своего вопроса.

— Так ведь все люди одинаковы, верно? — ответил он.

— Но я не хуже тебя, правда, правда, Пол? — отважно настаивала Фанни.

— Ну, конечно, не хуже. И уж наверняка добрей, великодушней.

Ей стало боязно. Как бы ей не разреветься.

— Я решила, приду-ка пораньше… девчонки уж точно скажут, что я хитрая! Ну, а теперь закрой глаза…

— И открой рот, увидишь, что Господь пошлет, — докончил Пол и так и сделал, ожидая шоколадку. Ему слышно было, как шуршит фартук, как тихонько звякнул металл. — Сейчас

посмотрю, — сказал он.

И открыл глаза. Фанни глядела на него, длинное лицо ее разрумянилось, голубые глаза сияли. На рабочем столе перед ним лежал небольшой пакет с тюбиками красок. Пол побледнел.

— Нет, Фанни, — быстро сказал он.

— Это от нас от всех, — поспешно ответила она.

— Нет, но…

— Они такие, как нужно? — спросила она, радостно взволнованная.

— Господи! Да лучших не сыскать в каталоге.

— Такие самые, как нужно? — воскликнула Фанни.

— Они у меня в маленьком списке, я его составил на случай, когда разбогатею. — Он закусил губу.

Фанни отчаянно разволновалась. Надо ей перевести разговор.

— Всем уж так хотелось тебе их подарить, все внесли свою долю, кроме царицы Савской.

Царица Савская — это Клара.

— А она не присоединилась? — спросил Пол.

— У ней и случая не было, мы ей не сказали. На кой нам, чтоб она все по-своему сделала. Мы вовсе не хотели, чтоб она в это встревала.

Пол посмеялся над Фанни. Он был глубоко тронут. Но пора было уходить. Она стояла совсем близко. И вдруг обхватила его за шею и жарко поцеловала.

— Сегодня тебя разрешается поцеловать, — виновато сказала она. — Ты стал такой белый, у меня аж сердце заныло.

Пол поцеловал ее и ушел. Руки у нее оказались такие худенькие, у него у самого сжалось сердце.

В этот день он повстречался с Кларой в час обеда, когда бежал вниз мыть руки.

— Вы не ушли обедать! — воскликнул он. Обычно она в обед не оставалась на фабрике.

— Да. И я будто пообедала старыми протезами. Сейчас мне необходимо выйти, не то буду чувствовать, словно я вся из отработанной резины.

Но она медлила. И Пол мигом понял, чего она хочет.

— Вы куда-нибудь идете? — спросил он.

Они пошли вместе к Замку. Верхнее платье Клары было очень будничное, чуть ли не уродливое; в помещении же она всегда была одета мило. Неуверенными шагами она шла рядом с Полом, опустив голову и отворотясь от него. Скверно одетая и ссутулившаяся, она предстала сейчас перед ним в самом невыгодном свете. Он с трудом

узнавал ее статную фигуру, в которой словно бы дремала тайная сила. Съежившись под взглядами прохожих, она стала вовсе неприметной.

Парк Замка был зелен и свеж. Взбираясь по крутому подъему, Пол смеялся и болтал, а Клара шла молчаливая, похоже, невесело о чем-то задумалась. У них едва ли хватило бы времени зайти в приземистое квадратное здание, которое венчало отвесную скалу. Они прислонились к стене, в том месте, где утес прямо спускается в парк. Пониже, в ямках, выдолбленных в песчанике, прихорашивались и нежно ворковали голуби. Внизу, в стороне, у подножия скалы, на бульваре в озерцах собственной тени стояли крохотные деревца, и крохотные человечки, смехотворные в своей озабоченности, торопливо семенили кто куда.

— Так и чудится, будто можешь сгрести весь этот люд, точно головастиков, и зажать в горсти, — сказал Пол.

— Да, — со смехом ответила Клара. — Нужно отойти подальше, чтобы увидеть, какие мы есть на самом деле. Деревья куда значительней.

— Только по величине, — сказал он.

Клара язвительно засмеялась.

Дальше, за бульваром, тонкими металлическими нитями обозначались железнодорожные

пути, по обеим сторонам их теснились крохотные штабели досок и бревен, возле них суетились, дымя, игрушечные паровозики. Среди черных отвалов блестела серебряная тесьма канала. Еще дальше, на речном берегу, тесно сгрудились жилища; будто черные ядовитые сорняки, они тянулись плотными рядами и густо засеянными грядками, и там и сям на равнине, рядом с блестящим иероглифом реки, поднимались растения повыше. Крутые отвесные утесы по ту сторону реки казались мелкотой. Широкие пространства то темные, поросшие лесом, то слабо светящиеся полями пшеницы, уходили в туманную даль, где высились синие горы.

— Одно утешение — что город не растет дальше, — сказала миссис Доус. — Он пока только маленькая болячка на зеленом просторе.

— Маленький струп, — сказал Пол.

Ее передернуло. Город она терпеть не могла. Она с тоской смотрела на поля, в которых ей было отказано, лицо ее побледнело, враждебно замкнулось, и она напоминала Полу исполненного муки и раскаяния падшего ангела.

— Но город — это совсем неплохо, — сказал Пол. — Он такой временно. Это непродуманное, нескладное воплощение идеи, мы еще поймем,

какой же он должен быть. Город станет совсем неплохим.

В углублениях скалы, среди нависающих кустов, уютно ворковали голуби. Слева над беспорядочной каменной свалкой городских зданий высилась большая церковь святой Марии, под стать Замку. Глядя в поля, Клара весело улыбнулась.

— Теперь мне лучше, — сказала она.

— Спасибо, — отозвался Пол. — Ай да комплимент!

— А как же! — засмеялась миссис Доус.

— Гм! Стало быть, отбираете левой рукой то, что дали правой, — сказал он.

Она рассмеялась, он ее забавлял.

— Но что с вами было? — спросил он. — Что-то вас тревожило. На лице и сейчас еще печать тревоги.

— Пожалуй, не стоит вам говорить.

— Ну и держите про себя, — сказал он.

Клара покраснела, прикусила губу.

— Нет, — сказала она. — Это все из-за наших девушек.

— А что? — спросил Пол.

— Они уже неделю что-то затевают, а сегодня, кажется, особенно полны своей затеей. Все как

одна. А от меня скрывает, и мне обидно.

— Вот как? — озабоченно спросил он.

— Меня бы не трогало, если б они не тыкали мне в нос, что есть у них какой-то секрет, — продолжала она, голос гневно зазвенел.

— Чисто по-женски, — сказал он.

— Это гадость, низкое злорадство, — ее голос был как натянутая струна.

Пол молчал. Он знал, почему девушки злорадствуют. И ему неприятие было, что из-за него опять повали раздоры.

— Пускай секретничают сколько угодно, — горько рассуждала вслух Клара, — но могли бы не хвастаться, что у них от меня секреты, мне и без того невесело, что я вечно на отшибе. Это… это просто невыносимо.

Пол с минуту раздумывал. Он был в смятении. Даже побледнел, заговорил взволнованно.

— Я вам объясню, в чем деле. Это из-за моего дня рожденья, девушки купили мне целую кучу красок, все вскладчину. Они к вам ревнуют, — он почувствовал — при слове «ревнуют» Клара сделалась высокомерно холодной, — просто потому, что иногда я приношу вам какую-нибудь книгу, — медленно прибавил он. — Но послушайте, это ж пустяк. Не огорчайтесь из-за этого, пожалуйста…

ведь… — он усмехнулся, — вот они торжествуют, а что бы они сказали, если б увидели нас сейчас?

Клара рассердилась на него — зачем так неловко упомянул об их дружеской прогулке. В сущности, это оскорбительно. Но так он скромно держится… и она его простила, хотя и не без труда.

Их руки лежали на грубом каменном парапете крепостной стены. Пол унаследовал от матери изящное сложение, и кисти у него были маленькие и крепкие. А у Клары — большие, под стать ее большим рукам и ногам, но белые и на вид сильные. Глядя на ее руки, Пол лучше ее понимал. «Как она нас ни презирает, все равно ей хочется, чтоб кто-нибудь взял ее руки в свои», — подумалось ему. А Клара смотрела на руки Пола, такие теплые, живые, и показалось, лишь для нее они и живут. Пол невесело задумался, сдвинув брови, уставился вдаль, поверх полей. Хоть и малое, но живописное разнообразие очертаний исчезло; только и осталась безбрежная, темная, связующая всех скорбь и трагедия, одна и та же во всех домах, на берегах реки, у людей и у птиц; лишь по видимости отличались они друг от друга. А теперь, когда очертания словно истаяли, осталась масса, составляющая весь этот край,

темная масса борьбы и боли. Фабрика Джордана, фабричные девушки, мать, большая, вознесенная вверх церковь, городские джунгли — все слилось воедино и каждая частица погружена была во тьму и скорбь.

— Это что, два пробило? — удивленно спросила миссис Доус.

Пол вздрогнул, и все разом обрело форму, всему возвращена была своя особость, непохожесть, дар забывать и радоваться.

Они заторопились назад, на фабрику.

Когда он в спешке проверял еще пахнущую глажкой работу, принесенную из комнаты Фанни, готовясь отправить ее вечерней почтой, пришел почтальон.

— Мистер Пол Морел, — с улыбкой сказал он, вручая Полу пакет. — Почерк дамский! Поосторожней, чтоб девушки не углядели.

Сам любимец девушек, почтальон любил пошутить над их влюбленностью в Пола.

В пакете оказался томик стихов и короткая записка: «Позвольте послать вам это и таким образом покончить с моим пребыванием на отшибе. С наилучшими чувствами и добрыми пожеланиями. К.Д.». Пол жарко покраснел.

— Боже милостивый! — воскликнул он про

себя. — Миссис Доус. Ей же это не по карману. Боже милостивый, кто бы мог подумать!

Его вдруг глубоко тронул ее поступок. Захлестнуло сердечным теплом. Озаренный им, он ощутил ее всю, будто она была тут, рядом — ее руки, и плечи, и грудь, он видел их, чувствовал, чуть ли не заключал их в себе.

Этот Кларин шаг еще больше их сблизил. Девушки подметили, что когда Пол встречался с миссис Доус, он поднимал глаза и здоровался с той особой живостью, которая все им объяснила. Клара не сомневалась, что он ничего такого за собой не замечает, и не подавала виду, что понимает его состояние, лишь, столкнувшись с ним, отворачивалась.

Они очень часто гуляли вместе в обеденный час; делали это совершенно открыто, ничуть не таясь. Все, видно, понимали, что он не отдает себе отчета в своем чувстве и что нет ничего дурного в его поведении. Он разговаривал с ней теперь почти так же пылко, как, бывало, с Мириам, но разговор уже занимал его меньше; собственные умозаключения нисколько его не беспокоили.

Однажды в октябре они пошли выпить чаю. Вдруг им вздумалось остановиться на вершине холма. Пол взобрался на калитку и уселся наверху,

Клара села на приступку. День был тихий-тихий, в легкой дымке, сквозь которую пробивались ярко-желтые снопы света, Пол и Клара молчали.

— Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж? — наконец негромко спросил он.

— Двадцать два.

Она вымолвила это кротко, чуть ли не смиренно. Теперь она ему расскажет.

— Восемь лет назад?

— Да.

— А когда ушли от него?

— Три года назад.

— Пять лет! Вы его любили, когда выходили замуж?

Она помолчала, потом медленно заговорила:

— Я думала, что люблю… более или менее. Я не очень-то про это думала. И он очень хотел этого брака. Я тогда была ужасная скромница.

— И вы пошли на это не слишком обдуманно?

— Да. Кажется, я чуть не всю жизнь была как во сне.

— Точно сомнамбула? Но… а когда вы проснулись?

— А я не знаю, проснулась ли, просыпалась ли хоть раз… с тех пор, как кончилось детство.

— Вы впали в сон, когда становились женщи-

ной? Очень странно! И он вас не разбудил?

— Нет, он так и не достучался, — ответила она безо всякого выражения.

Коричневые птицы пронеслись над живой изгородью, в которой алели на голых ветвях ягоды шиповника.

— Не достучался до чего? — спросил Пол.

— До меня. В сущности, он никогда ничего для меня не значил.

В этот послеполуденный час было так мягко, тепло и туманно. В синеватой дымке рдели красные крыши коттеджей. Полу нравился этот день. Слова Клары чувством он воспринимал, однако понять их не мог.

— Но почему вы ушли от него? Он плохо с вами обращался?

Ее чуть передернуло.

— Он… так или иначе меня унижал. Старался меня затоптать, потому что я оставалась сама по себе. А потом я почувствовала, будто хочу бежать, будто я связана, скована. И мне показалось, низкий он человек.

— Понимаю.

Ничего он не понимал. Спросил:

— И он всегда был низким?

— Отчасти, — не сразу ответила Клара. — И еще

казалось, будто он и правда не может достучаться до моей души. И тогда он делался грубым… он был очень грубый.

— И почему вы в конце концов от него ушли?

— Потому что… потому что он мне изменял…

Некоторое время оба молчали. Клара держалась рукой за воротный столб. Пол прикрыл ее руку своей. Сердце его сильно билось.

— Но вы… вы когда-нибудь… хоть когда-нибудь дали ему такую возможность?

— Возможность? Какую?

— Приблизиться к вам.

— Я вышла за него замуж… и я хотела этого…

Каждый старался, чтобы голос у него не дрожал.

— По-моему, он вас любит, — сказал Пол.

— Похоже на то, — ответила она.

Пол хотел убрать свою руку и не мог. Она помогла ему: сама отняла руку. Помолчав, он снова заговорил:

— И вы без конца от него ускользали?

— Он ушел от меня, — сказала она.

— Наверно, он пытался стать для вас всем на свете, но не сумел?

— Он старался добиться этого грубостью.

Но не по силам оказался им этот разговор. Пол

вдруг спрыгнул с калитки.

— Вставайте, — позвал он. — Пойдем выпьем чаю.

Они нашли домик, где их согласились напоить чаем, и сели в холодной гостиной. Клара налила ему чай. Она совсем притихла. И Пол чувствовал, она опять от него отгородилась. После чая она, грустно задумавшись, уставилась в чашку и все вертела, вертела на пальце обручальное кольцо. Потом рассеянно сняла его, поставила боком на стол и закрутила. Золотое кольцо стало сверкающим прозрачным шаром. Вот оно упало, дрожит на столе. И Клара запускает его волчком снова и снова. Пол, завороженный, не сводил с него глаз.

Но ведь Клара замужняя женщина. А он, Пол, верит в простую дружбу. И он полагал, что ведет себя по отношению к ней вполне честно. Это всего лишь дружба между мужчиной и женщиной, какая вполне возможна между культурными людьми.

Он рассуждал, как очень многие молодые люди его лет. Так трудно ему было разобраться в сексуальной стороне жизни, и он даже вообразить не мог, что когда-нибудь способен будет вступить в подобные отношения с Кларой, или с Мириам, или с любой другой женщиной из тех, с кем был

знаком. Сексуальное желание никак не было для него связано с женщиной, оно стояло особняком. Мириам он любил душой. При мысли о Кларе его бросало в жар, он боролся с ней, знал каждый изгиб ее груди и плеч, словно сам задумал их такими; и, однако, нельзя сказать, чтоб он ее желал. Нет, никогда бы он с этим не согласился. Ведь он связан с Мириам. Если когда-нибудь в далеком будущем ему суждено жениться, его долг жениться на Мириам. Он дал это понять Кларе, и она смолчала, пускай ведет себя как считает нужным. Он приходил к ней, к миссис Доус, когда только мог. При этом часто писал Мириам и изредка ее навещал. Так проходила зима, и, казалось, он стал поспокойнее. И мать уже не так за него тревожилась. Ей думалось, он понемногу отдаляется от Мириам.

Теперь Мириам уже понимала, как сильно его влечет к Кларе; но все еще не сомневалась, что восторжествует его лучшее «я». В сравнении с любовью Пола к ней его чувство к миссис Доус — которая еще и замужем — неглубоко и преходящее. Он непременно к ней вернется, вероятно, утративший отчасти юную свежесть чувства, но избавленный от жажды тех низменных радостей, какие могут ему дать женщины иного склада,

чем она. Она все вынесет, только бы он оставался ей верен душой и вернулся.

В своем нынешнем положении Пол не видел ничего противоестественного. Мириам его старый друг, возлюбленная, и она неотделима от Бествуда, от его родного дома и его юности. Клара друг недавний, и она часть Ноттингема, новой жизни, сегодняшнего окружения. Ему казалось, все совершенно ясно.

В отношениях Пола с миссис Доус часто наступали полосы охлаждения, и тогда они мало виделись, но неизменно сходились опять.

— С Бакстером Доусом вы вели себя ужасно? — спросил Пол. Его это, видно, тревожило.

— В каком смысле?

— Ну, не знаю. Но ужасно, да? Что-нибудь такое, наверно, делали, что совсем его сбивало с ног?

— Да о чем вы, скажите на милость?

— Заставляли его почувствовать, что он ничтожество… я-то знаю, — объявил Пол.

— До чего ж вы умны, мой милый, — холодно сказала Клара.

На этом разговор оборвался. Но после этого она какое-то время оставалась холодна с Полом.

С Мириам она теперь виделась совсем редко. Их дружба не оборвалась, но изрядно остыла.

— Вы в воскресенье пойдете на концерт? — спросила его Клара сразу после Рождества.

— Я обещал прийти на Ивовую ферму, — ответил Пол.

— А-а, ну хорошо.

— Вы не против, нет? — спросил Пол.

— С чего бы это, — ответила Клара.

И Пола взяла досада.

— Знаете, мы с Мириам очень много значим друг для друга… уже семь лет, с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать, — сказал Пол.

— Большой срок, — отозвалась Клара.

— Да. Но как-то она… не ладится у нас…

— А что такое? — спросила Клара.

— Она будто никак не может напиться мной, она ни единому волоску не дала бы упасть у меня с головы и улететь… не отпустила бы его.

— Но вам нравится, чтоб вас не отпускали.

— Нет, — сказал Пол. — Не нравится. Лучше чтоб все было как водится — давать и брать, как у нас с вами. Мне хочется, чтоб женщина меня не отпускала, но только чтоб не держала у себя в кармане.

— Но если вы ее любите, у вас не может быть, как водится, как у нас с вами.

— Может. Тогда бы я любил ее сильней. Я вроде

уж так ей нужен, что просто не могу себя отдать.

— Что значит нужен?

— Душа моя нужна, без тела. И это меня отпугивает.

— И все-таки вы ее любите!

— Нет, не люблю. Я даже ни разу ее не поцеловал.

— Почему? — спросила Клара.

— Сам не знаю.

— Наверно, боитесь ее, — сказала она.

— Нет, не боюсь. Что-то во мне отчаянно отталкивается от нее… такая она хорошая, добродетельная, а я-то ведь не такой.

— Откуда вы знаете, какая она?

— Знаю! Я знаю, ей нужно что-то вроде союза душ.

— Но откуда вы знаете, что ей нужно?

— Мы вместе уже семь лет.

— И вы не поняли в ней главного.

— Чего же?

— Не хочет она никакого единения душ. Это вы сами вообразили. Ей нужны вы.

Слова Клары заставили Пола задуматься. Может, он и вправду ошибается.

— Но она, кажется… — начал он.

— Вы ни разу это не проверили, — сказала

Клара.

11. Испытание Мириам

Наступила весна, и опять началось прежнее безумие и сражение. Теперь Пол знал, ему не миновать идти к Мириам. Но откуда такое нежелание? Все дело лишь в своего рода чрезмерной невинности их обоих, которую ни он, ни она не могут преодолеть, убеждал он себя. Можно бы на ней жениться, но этому мешает обстановка дома, да и не хочет он жениться. Брак — это на всю жизнь, а если они с Мириам близкие друзья, это еще не значит, что им непременно надо стать мужем и женой. Нет, не стремится он к браку с Мириам. А жаль. Он дорого бы дал, чтобы ощутить счастливую жажду жениться на ней, завладеть ею. Тогда почему так не поступить? Есть некое препятствие; какое же? Узы плоти. Плотская близость его отпугивает. Но почему? Рядом с Мириам он оказывается скованным, не может дать волю своему чувству. Какое-то сражение идет в нем, но связать себя с ней он не может. Почему? Мириам его любит. Клара говорила, он даже ей нужен; тогда почему же не обратиться к ней всем существом, не ухаживать за ней, не целовать? Почему, когда во время прогулки она робко берет его под

руку, ему хочется нагрубить ей, отпрянуть от нее? Она вправе на него рассчитывать, он хочет с ней соединиться. Быть может, желание отпрянуть от нее, пугливо отстраниться и есть сама любовь в ее первоначальной безмерной застенчивости? Ведь Мириам вовсе ему не противна. Нет, наоборот — властное желание борется с робостью и невинностью, и они-то и возобладали. Похоже, что девственность — вполне определенная сила, вот она и одержала победу во внутренней борьбе, что разыгралась в каждом из них. Именно с Мириам ему так трудно эту силу преодолеть, и, однако, Мириам ему ближе всех, и ради нее одной хотел бы он иного исхода борьбы. И Мириам вправе на него рассчитывать. Значит, если бы им удалось совладать с собой и все стало бы как должно, они бы поженились, но, пока он не почувствует всем своим существом, что женитьба — радость, он не женится… нипочем. Иначе он не сможет смотреть в глаза матери. Пожертвовать собой и заключить брак, которого не хочешь, — унизительно, это погубило бы его жизнь, свело бы ее к нулю. Он постарается сделать что может.

И притом его переполняет нежность к Мириам. Она всегда грустна, всегда погружена в религиозные мечты о божественном; и сам он для нее

едва ли не божество. Как же можно обмануть ее ожидания? Надо им обоим постараться, и все будет хорошо.

А что происходит вокруг? Среди самых славных знакомых мужчин очень многие никак не могут избавиться от своей девственности. Они так бережно относятся к своим возлюбленным, что скорей потеряют их, чем обидят или поступят несправедливо. Сыновья матерей, чьи мужья грубо расправились с их женской святыней, сами они чересчур нерешительны и робки. Им легче обездолить себя, чем заслужить упрек от женщины; для них возлюбленная подобна матери, и оскорбленное чувство матери слишком в них живо. Они предпочитают обречь себя на безбрачие, лишь бы уберечь возлюбленную от возможных страданий.

Пол вернулся к Мириам. Он смотрел на нее, и что-то в ней было такое, от чего на глазах его едва не навертывались слезы. Однажды она пела, а он стоял позади нее; Энни наигрывала на пианино какую-то песню. Когда Мириам пела, губы ее горько кривились. Она пела будто монахиня, чья песнь обращена к небесам. Такая одухотворенность была в ней, что ему вспомнились губы и глаза ангела, воспевающего Мадонну на картине

Боттичелли. Опять, жгучая, как меч, пронзила боль. Зачем надо требовать от нее то, другое? Зачем это беспощадное сраженье с ней? Он отдал бы правую руку, только бы всегда оставаться с нею мягким и нежным, погрузиться, как она, в грезы и мечты о божественном. Нельзя ее обижать. Полу казалось, в ней воплощено вечное девственное начало; и, думая о ее матери, он видел огромные карие глаза девушки, которая испуганно и потрясение вынуждена была расстаться с девичеством, но что-то такое в ней сохранилось, несмотря на ее семерых детей. При их появлении на свет ее, можно сказать, не принимали в расчет, словно они не рождены ею, а ей навязаны. И она не могла дать им волю, ведь они никогда ей не принадлежали.

Миссис Морел заметила, что Пол опять зачастил к Мириам, и поразилась. Он ничего ей не сказал. Не объяснял, не оправдывался. Если он поздно возвращался и мать его укоряла, он хмурился и властно и враждебно ей возражал:

— Я буду приходить, когда хочу. Я уже не мальчик.

— Что ж она держит тебя до такого часу?

— Я сам задерживаюсь, — отвечал Пол.

— И она тебе позволяет? Ну да ладно, — сказала мать.

Не дождавшись сына, она ложилась, а дверь оставляла незапертой и не спала, прислушивалась, пока он не приходил, зачастую очень не скоро. Бесконечно горько ей было, что сын вернулся к Мириам. Однако она поняла, что вмешиваться и дальше бесполезно. Он теперь ходил на Ивовую ферму не мальчиком, но мужчиной. И она уже над ним не властна. Меж матерью и сыном повеяло холодом. Он почти ничем с ней не делился. Отверженная, мать обслуживала его, по-прежнему стряпала для него и рада была надрываться ради него; но лицо ее опять стало ничего не выражающей маской. Кроме домашней работы ей теперь ничего не оставалось; за всем остальным Пол обращался к Мириам. Мать ему этого не прощала. Мириам убила в нем радость и тепло. Мальчиком он был такой веселый, так полон нежной привязанности; теперь же он стал холоднее и все чаще мрачнел и раздражался. Это напоминало матери Уильяма, но с Полом было хуже. Он отдавался своему чувству все больше и лучше понимал, что с ним происходит. Мать знала, как он страдает оттого, что у него нет женщины, и видела, что он ходит к Мириам. Если он что-то решил, его решения не изменит ничто на свете. Миссис Морел устала. Она наконец начала

сдавать; для нее все кончено. Она мешает сыну.

Пол оставался непреклонен. Он более или менее представлял себе, что чувствует мать. И это только ожесточало его. Он заставлял себя не прислушиваться к ней, но это было все равно что не прислушиваться к своему здоровью. Это подтачивало его силы, но он упорствовал.

Однажды вечером на Ивовой ферме он откинулся в кресле-качалке. Уже несколько недель он разговаривал с Мириам, но до цели своих разговоров не дошел. Теперь он вдруг сказал:

— Мне уже скоро двадцать четыре.

Мириам была погружена в невеселые думы. Теперь она удивленно на него посмотрела.

— Да. А почему ты вдруг это сказал?

Что-то возникло в воздухе, что ее ужаснуло.

— Сэр Томас Мор говорит, что в двадцать четыре можно жениться.

Мириам странно засмеялась.

— Неужели для этого требуется одобрение сэра Томаса? — сказала она.

— Нет, но примерно в эту пору надо жениться.

— Да, — задумчиво ответила Мириам; и ждала.

— Я не могу на тебе жениться, — медленно продолжал Пол, — сейчас не могу, у нас ведь нет денег, и дома на меня рассчитывают.

Мириам почти уже догадалась, что за этим последует.

— Но я хочу жениться сейчас…

— Хочешь жениться? — переспросила она.

— Женщина… ты понимаешь, о чем я.

Мириам молчала.

— Теперь, наконец, мне это необходимо, — сказал Пол.

— Да, — отозвалась она.

— И ведь ты меня любишь?

Мириам с горечью засмеялась.

— Почему ты этого стыдишься? — сказал он. — Перед своим Богом ты бы этого не стыдилась, почему же стыдишься перед людьми?

— Вовсе нет, — серьезно ответила она. — Я не стыжусь.

— Стыдишься, — с горечью возразил Пол. — И это я виноват. Но ты же знаешь, уж такой я есть… и ничего не могу с собой поделать, ведь знаешь?

— Да, знаю, тут ничего не поделаешь, — ответила Мириам.

— Я невероятно тебя люблю… но чего-то мне не хватает.

— В чем? — спросила она, глядя на него.

— Да в себе! Это я должен стыдиться… как духовный калека. Мне стыдно. И это беда. Ну

почему так?

— Не знаю, — ответила Мириам.

— И я не знаю, — повторил Пол. — Может быть, мы оба чересчур пересаливаем с нашей так называемой невинностью? Может быть, такой страх ее потерять и такое отвращение — это своего рода грязь?

В темных глазах Мириам, обращенных на него, вспыхнул страх.

— Ты с ужасом отшатывалась от всего такого, и я заражался от тебя и тоже отшатывался, пожалуй, с еще большим ужасом.

Тихо стало в комнате. Потом Мириам сказала:

— Да, это верно.

— Нас связывает с тобой столько лет душевной близости. У меня такое чувство, что я стою перед тобой почти раздетый. Ты понимаешь?

— Думаю, что да, — ответила она.

— И ты меня любишь?

Она засмеялась.

— Не сердись, — взмолился Пол.

Мириам все смотрела на него, и ей стало его жаль; глаза его потемнели от муки. Жаль его; от их искаженной любви ему еще хуже, чем ей, ведь для нее плотская любовь никогда не будет важна. Неугомонный, он постоянно куда-то ее

толкал, старался найти выход. Пускай поступает как хочет и берет у нее что хочет.

— Нет, — мягко сказала она, — я не сержусь.

Она готова была все ради него вынести, готова страдать ради него. Пол подался вперед, и она положила руку ему на колено. Он взял ее руку и поцеловал; но ему стало не по себе. Как будто он отказывается от себя. Приносит себя в жертву ее непорочности, которую, пожалуй, ни во что не ставит. Зачем страстно целовать ей руку, ведь это только оттолкнет ее, не оставит ничего, кроме боли. И все-таки он медленно привлек Мириам к себе и поцеловал.

Слишком хорошо они друг друга понимали, и ни к чему им было притворяться. Целуя его, Мириам смотрела на его глаза; они устремлены были в пространство, особое темное пламя горело в них, завораживало ее. Пол замер. И она почувствовала, как громко стучит сердце у него в груди.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

Пламя в глазах дрогнуло, заколебалось.

— Я люблю тебя, об этом и думал все время. Просто я был слишком упрямый.

Мириам прильнула головой к его груди.

— Да, — согласилась она.

— Вот и все, — сказал он, голос его прозвучал уверенно, он целовал ее шею.

Потом она подняла голову и взглядом, полным любви, посмотрела ему в глаза. Пламя трепетало, будто пыталось от нее уклониться, и наконец угасло. Пол резко отвернулся. То была трудная минута.

— Целуй, — прошептала Мириам.

Он закрыл глаза и поцеловал ее, и обнимал ее все крепче и крепче.

Однажды, когда она полями возвращалась с ним домой, Пол сказал:

— Я рад, что вернулся к тебе. С тобой так просто, словно ничего не нужно скрывать. Мы будем счастливы?

— Да, — тихонько ответила Мириам, и на глаза ее навернулись слезы.

— Какая-то душевная извращенность заставляет нас избегать именно того, чего мы хотим; нам надо с этим справиться.

— Да, — согласилась Мириам и сама была ошеломлена этим «да».

Было темно, она стояла под склоненными ветками боярышника при дороге, и Пол ее целовал, и пальцы его скользили по ее лицу. В темноте он не мог ее увидеть, только всем телом ощущал

ее рядом, и страсть захлестнула его. Он крепко прижал ее к себе.

— Когда-нибудь ты будешь моей? — пробормотал он, уткнувшись лицом в ее плечо. Трудно ему было.

— Не сейчас, — ответила Мириам.

Его надежды угасли, и упало сердце. Он помрачнел.

— Да, — сказал он.

И ослабил объятия.

— Мне нравится чувствовать твою руку вот тут! — сказала Мириам, прижимая его руку там, где она обхватывала талию. — Мне становится спокойно.

И Пол крепче обхватил ее талию — пусть успокоится.

— Мы принадлежим друг другу, — сказал он.

— Да.

— Тогда почему нам не принадлежать друг другу совсем?

— Но… — Мириам запнулась.

— Я знаю, я требую от тебя многого, — сказал он. — Но ведь для тебя это не так уж опасно… ничего похожего на гетевскую Гретхен. Можешь ты мне в этом довериться?

— Да, конечно, — тотчас уверенно ответила

Мириам. — Дело не в этом… нет, не в этом… просто…

— Что же?

Она уткнулась ему в шею, горестно вскрикнула:

— Не знаю я!

Она, казалось, пришла в волнение, но словно и в ужас. Сердце Пола остановилось.

— Ты же не думаешь, что это противно? — спросил он.

— Нет, теперь нет. Ты ведь мне объяснил, что это не так.

— Ты боишься?

Мириам постаралась овладеть собой.

— Да, просто боюсь, — сказала она.

Пол нежно ее поцеловал.

— Ничего, — сказал он. — Тебе будет хорошо.

Она вдруг обвила его руки вокруг себя, вся сжалась как пружина.

— Я непременно буду твоей, — сказала она сквозь стиснутые зубы.

Сердце его опять бешено заколотилось. Он крепко обнял Мириам, губы его коснулись ее шеи. Она не вынесла. Отпрянула. Пол разжал руки.

— Ты не опаздываешь? — ласково спросила Мириам.

Он вздохнул, едва ли он услышал ее вопрос. Мириам ждала, ей хотелось, чтобы он ушел. Наконец он быстро ее поцеловал и взобрался на изгородь. Оглянулся, но только и увидел во тьме под склонившимися ветвями бледное пятно ее лица. Больше ничего от нее не осталось.

— До свиданья! — тихонько сказал Пол.

Она была сейчас бестелесна, лишь голос да смутно белеющее лицо. Пол отвернулся и, сжав кулаки, кинулся бежать по дороге; а когда оказался у ограды над озером, перегнулся через нее и, ошеломленный, загляделся в темные воды.

Мириам пустилась домой лугами. Людей она не боялась, не боялась пересудов; боялась одного — как все сложится у них с Полом. Да, если он будет настаивать, она ему уступит… но когда она потом думала об этом, у нее уходила душа в пятки. Он будет разочарован, неудовлетворен и тогда уйдет. Но он так настойчив, и важнее этой настойчивости, которой Мириам не придавала особого значения, был страх погубить их любовь. В сущности, Пол, как все мужчины, всего лишь хочет утолить свое желание. Но ведь есть в нем, есть и нечто другое, более глубокое! И этому она может довериться, несмотря на все его желания. Он говорил, что обладание — великое мгновение

в жизни. Оно средоточие всех самых сильных чувств. Может быть, и так. Что-то в этом есть божественное; тогда, с Богом в душе, она покорится и пойдет на эту жертву. Он получит ее. И при этой мысли все тело ее невольно сжималось, словно готовое к сопротивлению; но чрез эти врата страданий Жизнь понуждает ее пройти, и она покорится. Во всяком случае, Пол получит, что хочет, а это ее глубочайшее желание. Она раздумывала и раздумывала, стараясь с ним согласиться.

Теперь Пол ухаживал за ней как возлюбленный. Часто, когда его бросало в жар, Мириам отводила от себя его голову, сжимала его виски ладонями и смотрела ему в глаза. Пол не выдерживал ее взгляда. Ее полные любви темные глаза, серьезные и пытливые, заставляли его отворачиваться. Ни на миг не позволяла она ему забыть. Опять и опять возвращала к мучительному чувству ответственности, и своей и его. Ни на миг нельзя расслабиться, ни на миг нельзя отдаться великому голоду, безликой страсти; его опять обращали в сознательное, мыслящее существо. Словно из самозабвенья страсти она звала его вновь к обыденности, к личным отношениям. Невыносимо! «Оставь меня в покое… оставь меня

в покое!» — хотелось ему крикнуть; а ей хотелось, чтобы он смотрел на нее глазами, полными любви. Не принадлежали ей его глаза, полные темным безличным пламенем желания.

На Ивовой ферме уродилось великое множество вишни. На задах развесистые высокие деревья усыпаны были алыми и темно-красными подвесками под темными листьями. Однажды вечером Пол и Эдгар снимали ягоды. День был жаркий, и теперь в небе клубились тучи, темные и прогретые. Пол взобрался высоко на дерево, выше ярко-красных крыш дворовых построек. Под непрестанное постаныванье ветра дерево слегка покачивалось в волнующем ритме, который будоражил кровь. Пол, ненадежно примостившись на гибких ветвях, качаясь вместе с деревом и уже слегка опьянев, дотянулся до веток, с которых алые бусины вишен свисали особенно густо, и горстями рвал скользкие, прохладные ягоды. Он тянулся всем телом, и вишни, словно прохладные пальцы, касались его ушей, шеи, и их прикосновенье отзывалось вспышкой в крови. В темной листве рдели и открывались взгляду все оттенки красного, от золотисто пунцового до темно-багряного.

Заходящее солнце вдруг пробилось в разрывы

туч. Груды золота вспыхнули на юго-востоке, в мягком желтом сиянии громоздились в небе над головой. Только что сумеречный и серый, ошеломленный мир охватило золотое зарево. Деревья, травы, отдаленные воды, казалось, очнулись от сумерек и просияли.

Мириам, удивленная, вышла из дома.

— До чего красиво! — услышал Пол ее медвяный голос.

Он глянул вниз. На ее запрокинутом лице вздрагивали слабые нежные золотистые блики.

— Как ты высоко! — сказала Мириам.

Подле нее на листьях ревеня лежали четыре мертвые птицы, четыре застреленных вора. Пол увидел свисающие вишневые косточки, совсем обесцвеченные, точно скелеты, плоть склевана дочиста. Опять он глянул вниз, на Мириам.

— Облака горят, — сказал он.

— Какая красота! — воскликнула она.

Сверху она казалась такой маленькой, кроткой, нежной. Пол кинул в нее горстью вишен. Она испугалась, вздрогнула. Он негромко засмеялся мальчишеским озорным смехом и опять забросал ее ягодами. Она отбежала, подхватив на ходу немного вишен. Две пары особенно красивых повесила на уши; и опять посмотрела вверх, на

Пола.

— Тебе еще мало? — спросила она.

— Почти что хватит. Здесь будто на корабле.

— И долго еще ты будешь там сидеть?

— Пока не отгорит закат.

Мириам пошла к ограде, села и загляделась на золотые облака — они распадались, и огромные, озаренные розовым светом развалины плыли в сторону тьмы. Золото запылало алым пламенем, точно вспышка нестерпимой боли. Потом алое померкло, стало розовым, розовое — темно-красным, и вот уже страсть в небе угасла. Весь мир стал темно-серый. Пол быстро слез с дерева, держа корзинку, при этом разорвал рукав рубашки.

— Они прелестные, — сказала Мириам, трогая вишни.

— Я рукав порвал, — отозвался Пол.

Она тронула свисающий треугольный лоскут.

— Придется мне починить, — сказала она. Прореха была у плеча. Мириам сунула в нее пальцы. — Тепло как!

Пол засмеялся. От новой, странной нотки в его голосе у Мириам перехватило дыхание.

— Побудем на воле? — предложил он.

— А дождя не будет? — спросила она.

— Нет, давай немножко погуляем.

Они пошли в поле, а потом к густым посадкам ели и сосны.

— Походим среди деревьев? — спросил Пол.

— Тебе хочется?

— Да.

Среди елей было совсем темно, острые иголки кололи Мириам лицо. Ей стало страшно. Пол такой молчаливый, странный.

— Мне нравится, когда темно, — сказал он. — Вот бы посадки были гуще — чтоб тут была настоящая непроглядная тьма.

Мириам казалось, она сейчас для него только женщина, и он забыл, что она человек, личность.

Он прислонился спиной к стволу сосны, обнял Мириам. Она отдалась ему в руки, но то была жертва, и она принесла ее не без ужаса. Этот погруженный в себя человек с хриплым голосом был ей чужой.

Немного погодя начался дождь. Остро запахло хвоей. Пол лежал, опустив голову наземь, на прошлогодние сосновые иглы, и слушал ровный шум дождя — упорное, напряженное шипенье. Он был подавлен, угнетен. Теперь он понял, что все это время Мириам не была с ним, что ее исполненная ужаса душа оставалась далека от него. Тело его

угомонилось, но и только. Безотрадна, печальна и нежна была его душа, и он с жалостью поглаживал пальцами лицо Мириам. И сейчас она опять глубоко его любила. Он ласковый, он прекрасен.

— Дождь! — сказал Пол.

— Да… на тебя льет?

Мириам потрогала руками его волосы, плечи — проверяла, падают ли на него капли дождя. А он лежал, уткнувшись лицом в прошлогоднюю хвою, и ему было на удивленье покойно. Пускай на него каплет, он не против; он бы лежал и лежал так, хоть бы и промок насквозь; казалось, сейчас все неважно, будто жизнь утекла в небытие, близкое и влекущее. Это странное, спокойное приобщение к смерти было ему внове.

— Надо идти, — сказала Мириам.

— Да, — согласился Пол, но и не шевельнулся.

Жизнь сейчас казалась ему тенью, день — белой тенью; ночь, и смерть, и покой, и бездействие — казалось ему, это и есть бытие. Быть живым, быть упорным и настойчивым — значило не быть. Превыше всего — раствориться в убаюкивающей тьме, слиться с Богом.

— Нас поливает дождь, — сказала Мириам.

Пол поднялся и помог ей встать.

— Жалко, — сказал он.

— О чем ты?

— Что надо идти. Мне так покойно.

— Покойно! — повторила Мириам.

— Никогда в жизни мне не было так покойно.

Они шли, и она держала его руку в своих. Пожимала его пальцы, и страшновато ей было. Казалось, Пол отрешен от нее; страшно было его потерять.

— Ели будто призраки среди тьмы: каждая всего лишь призрак.

Испуганная, Мириам промолчала.

— Все как-то притихло, — продолжал Пол. — Вся ночь в недоуменье и засыпает; вот так, наверно, и в смерти — мы спим в недоуменье.

Прежде ее пугало пробудившееся в нем животное начало, теперь — мистическое. Молча шла она с ним рядом. Дождь стучал по застывшим в давящей тишине ветвям. Наконец Пол с Мириам добрались до сарая для повозок.

— Давай немного постоим здесь, — сказал Пол.

Со всех сторон шумел дождь, он заглушал все остальные звуки.

— Так мне непривычно сейчас и так покойно, — сказал Пол. — Я в согласии со всем вокруг.

— Да, — терпеливо отозвалась Мириам.

Казалось, Пол опять забыл о ее существовании,

хотя и сжимал ее руку.

— Отказаться от своей индивидуальности, то есть от своей воли, от всяких усилий… жить не напрягаясь, погрузиться в своего рода сон, когда сознание бодрствует… по-моему, это так прекрасно; это и есть потусторонняя жизнь… бессмертие.

— Разве?

— Да… и жить той жизнью так прекрасно.

— Это у тебя что-то новое.

— Да.

Немного погодя они вошли в дом. Все с любопытством на них поглядели. У Пола по-прежнему был сосредоточенный, покойный взгляд и ровный голос. И все, словно ощутив эту странную отрешенность, не стали донимать его разговорами.

Примерно в эту пору заболела бабушка Мириам, которая жила в крохотном домике в Буддинтоне, и девушку послали ей в помощь. Там было очень красиво и уютно. Перед домиком — большой сад, окруженный красной кирпичной оградой, у которой росли сливы. На задах — огород, отделенный от поля старой высокой живой изгородью. Славно там было. Дел у Мириам было не слишком много, она вполне успевала и читать, что так любила, и

записывать свои мысли и чувства, в которых так интересно было разбираться.

На праздники бабушке полегчало, и ее повезли на день-другой к дочери в Дерби. Старушка была с причудами и потому могла вернуться совершенно неожиданно, так что Мириам осталась в ее домике одна и очень этому радовалась.

Пол часто приезжал к ней на велосипеде, и обычно они проводили время мирно и счастливо. Он не слишком ее стеснял; но вот в понедельник во время этих праздников ему предстояло провести с ней весь день.

Погода была великолепная. Он попрощался с матерью, сказав ей, куда едет. Она весь день будет одна. Это омрачало его радость; но впереди у него три свободных дня, и он намерен провести их по своему усмотрению. Так сладостно мчаться на велосипеде по утренним дорогам.

Приехал он около одиннадцати. Мириам хлопотала, готовя обед. Разрумянившаяся и хлопотливая, она прелестно выглядела в кухоньке. Пол поцеловал ее и сел, не сводя с нее глаз. Кухня была маленькая и уютная. Диван, покрытый чем-то вроде полотняного чехла в красную и голубую клетку, старого, не раз стиранного, но приятного глазу. В застекленной полке над угловым буфетом

красуется чучело совы. Сквозь листья душистой герани в окно льется солнечный свет. Мириам стряпает в честь Пола цыпленка. Сегодня это их дом, и они муж и жена. Он разбивает для нее яйца и чистит картофель. Мириам, как и его мать, дарит ему ощущение дома, думает Пол; и как же она сейчас хороша, раскрасневшаяся от огня, с упавшими на лоб кудрями.

Обед удался на славу. Как положено молодому мужу, Пол разрезал цыпленка. Все время они увлеченно, без умолку болтали. Потом он вытер вымытые ею тарелки, и они пошли в поле. Веселый ручей сбегал с крутого берега в болотце. Здесь они побродили, нарвали немного еще не отцветшей калужницы и массу больших голубых незабудок. Потом Мириам с охапкой цветов села на берегу, больше всего набралось золотистых кувшинок. Она пригнулась к калужнице, и лицо ее покрылось золотой пыльцой.

— У тебя лицо светится, — сказал Пол, — будто в преображении.

Мириам неуверенно на него посмотрела. Он засмеялся просительно, взял ее руку. Стал целовать ей пальцы, потом лицо.

Мир вокруг был весь залит солнечным светом, он пребывал в покое, но не спал, а трепетал, будто

ждал чего-то.

— Никогда не видел ничего красивей, — сказал Пол. Он крепко сжимал руку Мириам.

— А ручей на бегу тихонько поет… тебе нравится? — Она посмотрела на него с любовью. Глаза у него сейчас были очень темные и очень блестели.

— Правда, день сегодня особенный? — спросил Пол.

Она тихонько согласилась. Она и вправду была счастлива, он это видел.

— Наш день… только мой и твой, — сказал он.

Они еще помешкали. Потом встали, под ногами у них стелился душистый тимьян, с высоты своего роста Пол простодушно посмотрел на Мириам.

— Пойдем? — спросил он.

Молча, взявшись за руки, они пошли домой. По тропинке навстречу Мириам кинулись куры. Пол запер дверь, они остались в домике совсем одни.

Никогда ему не забыть, как она лежала на постели, когда он отстегивал воротничок. Сперва он увидел лишь, как она прекрасна, и красота ее его ослепила. Он и не представлял, что тело может быть таким прекрасным. Он стоял, не в силах ни двинуться, ни заговорить, смотрел на нее и в изумлении чуть улыбался. А потом пришло

желание, и он пошел к ней, но она умоляюще подняла руки, и он посмотрел ей в лицо и остановился. Большие карие глаза смотрели на него спокойно, покорно, с любовью; она лежала так, будто принесла себя в жертву: вот оно для него, ее тело, но глаза, будто у зверька за миг до заклания, остановили Пола, и желание погасло.

— Ты хочешь быть со мной, ты уверена? — спросил он, словно холодная тень пала на него.

— Да, я уверена.

Она была очень спокойна, очень тиха. Только одно она понимала, что так надо ради Пола. А ему нестерпимо это было. Она готова принести себя в жертву, так сильно она его любит. И он должен принять ее жертву. Нет, лучше оказаться бесполым или умереть, мелькнула мысль. Потом он закрыл глаза, чтобы не видеть ее лица, и кровь в нем вновь забурлила.

А потом он ее любил, любил всеми фибрами своего существа. Он ее любил. И, однако, ему почему-то хотелось плакать. Что-то тут было нестерпимое, и он мучился за нее. Он оставался с ней до поздней ночи. Потом ехал домой и чувствовал, что наконец-то он посвящен. Теперь он уже не юноша. Но почему же ноет душа? Почему так сладостна, утешительна мысль об иной, за-

гробной жизни?

Он провел с Мириам всю неделю и, прежде чем страсть его насытилась, довел ее до полного изнеможения. Всякий раз он словно по злой воле не принимал ее в расчет, им владела грубая сила чувства. Но часто так поступать он не мог, и оттого оставалось ощущение провала, приходили мысли о смерти. Если он по-человечески был с нею, он забывал о себе, о своем желании. Если овладевал ею, забывал о ней.

— Когда я прихожу к тебе, ты ведь, в сущности, не хочешь быть со мной? — спросил он однажды, и глаза его потемнели от боли и стыда.

— Конечно, хочу! — сразу ответила Мириам.

Пол посмотрел на нее.

— Нет, — сказал он.

Ее стала бить дрожь.

— Понимаешь, — сказала она, прижав его лицо к своему плечу, чтобы его не видеть, — понимаешь… так, как мы сейчас… разве могу я к тебе привыкнуть? Если б мы поженились, все бы наладилось.

Пол приподнял голову, посмотрел на нее.

— Ты хочешь сказать, что так, как у нас сейчас, это каждый раз потрясение?

— Да… и…

— Ты всегда так скована.

Мириам дрожала от волнения.

— Понимаешь, — сказала она, — я не привыкла к мысли, что…

— Последнее время привыкла, — сказал он.

— Но всю жизнь до этого. Мама говорила мне: «Есть в браке одна сторона, которая всегда ужасна, но приходится терпеть». И я ей верила.

— И все еще веришь, — сказал Пол.

— Нет! — поспешно воскликнула она. — Я, как и ты, верю, что любовь, даже эта ее сторона, вершина жизни.

— Но это не меняет дела, все равно ты к ней не стремишься.

— Нет, не говори так! — взмолилась Мириам, обхватив его голову руками, и стала в отчаянии покачиваться. — Ты не понимаешь. — Она покачивалась, больно ей было. — Я разве не хочу от тебя детей?

— Но не меня.

— Как ты можешь так говорить? Но чтобы иметь детей, надо пожениться…

— Значит, поженимся? Я-то хочу от тебя детей. — Пол почтительно поцеловал ей руку. Мириам смотрела на него, и грустные мысли ее одолевали.

— Мы слишком молоды, — сказала она наконец.

— Двадцать четыре и двадцать три…

— Еще не сейчас, — взмолилась она и все страдальчески покачивалась.

— Когда захочешь, — сказал Пол.

Мириам печально склонила голову. Безнадежность, что слышалась в словах Пола, когда он так говорил, глубоко ее огорчала. Не было тут между ними понимания. В душе она нехотя признавала, что ему трудно.

И после недели любви однажды воскресным вечером, перед сном. Пол вдруг сказал матери:

— Я больше не буду так часто ездить к Мириам, ма.

Мать удивилась, но ни о чем расспрашивать не стала.

— Как хочешь, — сказала она.

И он пошел спать. Но мать пыталась понять, отчего он словно бы притих, успокоился. Пожалуй, она и догадывалась. Однако заговаривать об этом с сыном не стала. Поспешность может только повредить. Она видела, как ему одиноко, и гадала, чем это для него кончится. Он тосковал и стал непривычно тих. И все время чуть хмурил брови, как делал, бывало, в младенчестве, но уже много

лет назад перестал. И вот опять это вернулось. И она ничем не может ему помочь. Он должен идти один, своим собственным путем.

Пол оставался верен Мириам. Лишь однажды он полностью и счастливо слился с ней. Но больше это уже не повторилось. Все сильней становилось ощущение неудачи. Поначалу это лишь печалило. Потом Пол почувствовал, что так продолжаться не может. Хотелось убежать, уехать за границу, что угодно. Постепенно он перестал просить ее о близости. Вместо того, чтобы соединять, близость их разъединяла. И потом он понял, осознал, что это бессмысленно. Сколько ни пытайся что-то изменить, никогда у них ничего не получится.

Последние несколько месяцев он почти не виделся с Кларой. Изредка они прогуливались вместе полчасика в обеденное время. Но Пол всегда берег себя для Мириам. Однако с Кларой он уже не хмурился и опять становился веселым. Она обращалась с ним снисходительно, как с ребенком. Полу казалось, ему это все равно. Но в глубине души его это уязвляло.

Иногда Мириам спрашивала:

— Как там Клара? Последнее время от нее ни слуху ни духу.

— Я вчера минут двадцать с ней гулял, — отвечал Пол.

— Что она рассказывает?

— Не знаю. Мне кажется, болтал один я… как обычно. По-моему, я рассказывал про забастовку и как к ней отнеслись наши работницы.

— Понятно.

Вот он и отчитался перед ней.

Но теплое чувство к Кларе незаметно для него самого отдаляло его от Мириам, хотя он чувствовал себя в ответе за нее, чувствовал, что принадлежит ей. Ему казалось, он ей безупречно верен. Пока чувство к женщине не захватит тебя всецело, точно оценить его силу нелегко.

Пол стал больше времени проводить с приятелями. С Джессопом из Художественной школы, с Суэйном, лаборантом-химиком из университета, с Ньютоном, учителем, а еще с Эдгаром и младшими братьями Мириам. Ссылаясь на работу, он делал наброски и занимался вместе с Джессопом. Он заходил в университет за Суэйном, и они вместе шли в центр города. Возвращаясь поездом вместе с Ньютоном, он заходил вместе с ним в «Луну и звезды» и играл там на бильярде. Объясняя Мириам свое отсутствие встречами с приятелями, он чувствовал себя вполне оправ-

данным. Матери его полегчало. Он ей всегда говорил, где он был.

Летом Клара иногда надевала легкое ситцевое платье с широкими рукавами. Когда она поднимала руки, рукава опадали вниз и красивые, сильные руки обнажались до плеч.

— Минутку! — восклицал Пол. — Не двигайтесь.

Он делал набросок ее руки от кисти до плеча, и в рисунках ощущалось его восхищенье моделью. Мириам всегда внимательно просматривала его альбомы и листы и увидела эти зарисовки.

— По-моему, у Клары очень красивые руки, — сказал Пол.

— Да! Когда ты их нарисовал?

— Во вторник, в мастерской. Ты ведь знаешь, у меня есть уголок, где можно работать. Нередко я успеваю сделать все, что от меня требуется на фабрике, еще до обеда. И тогда всю вторую половину дня занимаюсь своим, а вечером лишь приглядываю за работой.

— Да, — сказала Мириам, перелистывая его альбом для набросков.

Минутами Пол ненавидел Мириам. Ненавидел ее, когда она наклонялась над его рисунками и сосредоточенно их разглядывала. Ненавидел ее

манеру терпеливо его оценивать, будто он обязан отдавать ей отчет в каждом своем душевном движении. Встречаясь с ней, он ненавидел ее за то, что она им завладела не владея, и мучил ее. Берет она все и ничего не дает взамен, говорил он. Во всяком случае, не дает ни капли живого тепла. Вечно замороженная, не наполняет жизнью. Сколько ни пытайся до нее достучаться, все равно не достучишься, будто ее вовсе и нет. Она лишь его совесть, но не подруга. Он ненавидел ее исступленно и обращался с ней день ото дня безжалостней. Так тянулось до следующего лета. И все чаще он виделся с Кларой.

Наконец он заговорил. Однажды вечером он сидел дома и рисовал. Своеобразные у них сложились сейчас отношения с матерью, отношения людей, откровенно недовольных друг другом. Миссис Морел опять обрела уверенность. Пол не собирается связать себя с Мириам. Прекрасно, тогда можно держаться отчужденно до тех пор, пока он сам ей не откроется. В его душе давно зреет буря, и, когда она разразится, он вернется к матери. В этот вечер меж ними повисло странное тревожное ожиданье. Пол лихорадочно, машинально рисовал, пытаясь уйти от самого себя. Было уже поздно. Через открытую дверь прокрал-

ся аромат белых лилий, будто втихомолку бродил вокруг. Пол вдруг встал и вышел из дому.

Ночь была так прекрасна, что он готов был закричать. Тускло-золотой полумесяц опускался за черным платаном в конце сада, и небо неярко, сумрачно багровело. Ближе к дому поперек сада встала смутно-белая стена лилий, и казалось, воздух, как живой, колышется, переполненный их ароматом. Пол прошел мимо клумбы с гвоздиками, чей резкий запах перебил пряный, убаюкивающий аромат лилий, и остановился у белой цветочной стены. Они поникли, будто задохнувшись. Их аромат пьянил Пола. Он прошел дальше, к полю, хотел видеть, как зайдет луна.

На огороженном живой изгородью лугу настойчиво дергал коростель. Луна, все сильней краснея, быстро скользила вниз. Позади Пола крупные цветы наклонялись, будто окликали его. И вдруг его обдало еще одним запахом, каким-то вызывающим и резким. Оглядевшись, Пол обнаружил лиловые ирисы, дотронулся до чувственного зева, до темных, жадных разлапистых лепестков. Что-то он все-таки нашел. Ирисы стояли во тьме прямые, негнущиеся. Их запах был грубым. Луна исчезала за гребнем горы. Вот она скрылась; стало темно. Коростель все дергал.

Пол сорвал гвоздику и круто повернул к дому.

— Иди, мой мальчик, — сказала мать. — Тебе давно пора ложиться.

Он стоял, прижав к губам гвоздику.

— Я порву с Мириам, ма, — спокойно сказал он.

Мать посмотрела на него поверх очков. Он ответил прямым недрогнувшим взглядом. Долгое мгновенье они смотрели друг другу в глаза, потом мать сняла очки. Пол был белый, как полотно. Мужское начало взяло в нем верх, мужчина победил. Матери не хотелось слишком отчетливо его видеть.

— Но я думала… — начала она.

— Понимаешь, я ее не люблю, — сказал Пол. — Не хочу на ней жениться… так что я уйду.

— Но я думала, в последнее время ты решил соединиться с ней, — с недоумением сказала мать. — Потому я и молчала.

— Я решил… хотел… но теперь не хочу. Ничего из этого не выйдет. В воскресенье я с ней порву. Я должен это сделать, разве нет?

— Тебе лучше знать. Ты ведь знаешь, я тебе давно это говорила.

— Теперь я иначе не могу. В воскресенье я с ней порву.

— Что ж, — сказала мать. — Я думаю, это к лучшему. Но последнее время я думала, ты решил с ней соединиться, и я молчала, и продолжала бы молчать. Но скажу тебе, как говорила прежде, не думаю я, что она тебе пара.

— В воскресенье я с ней порву, — сказал Пол, нюхая гвоздику. Он взял цветок в рот. Невольно обнажил зубы, медленно прикусил цветок, рот был полон лепестков. Он выплюнул их в камин, поцеловал мать и пошел ложиться.

В воскресенье он сразу после полудня отправился на Ивовую ферму. Он загодя написал Мириам, что хочет пройтись с ней в поле, к Хакнелу. Миссис Морел была с ним очень ласкова. Он ничего не говорил. Но она видела, каких трудов ему это стоит. Однако необычная твердость в его лице успокаивала ее.

— Ничего, сынок, — сказала она. — Когда все это кончится, тебе станет несравненно лучше.

Пол быстро глянул на мать, удивленно и сердито. Он не нуждался в сочувствии.

Мириам встретила его в конце аллеи. На ней было новое платье узорчатого муслина с короткими рукавами. Короткие рукава открывали ее смуглые руки, такие покорные, вызывающие жалость, — слишком больно было на них смотреть,

и это помогло Полу ожесточиться.

Мириам прихорошилась ради него, и такой свежестью от нее веяло!.. Казалось, она цветет для него одного. Всякий раз, как он взглядывал на нее, теперь уже зрелую молодую женщину, красивую, в новом платье, так горько ему делалось, словно сердце его, которое он держал в узде, вот-вот разорвется. Но он уже решил, решил бесповоротно.

Они сидели среди холмов, и он положил голову ей на колени, а она перебирала его волосы. Она чувствовала, сейчас он «не здесь», как она это называла. Часто, когда они бывали вдвоем, она искала его и не могла найти. Но сегодня она не была к этому готова.

Было около пяти, когда Пол сказал Мириам. Они сидели на берегу ручья, у подмытого края берега, где над желтой землей нависал дерн, и Пол отбивал его палкой, как всегда, когда бывал тревожен и жесток.

— Я все думаю, — сказал он, — нам надо расстаться.

— Почему? — удивленно воскликнула Мириам.

— Потому что продолжать бессмысленно.

— Почему бессмысленно?

— Бессмысленно. Жениться я не хочу. Вообще не хочу жениться. А если мы не собираемся жениться, продолжать бессмысленно.

— Но почему ты говоришь это сейчас?

— Потому что я принял решение.

— А как же тогда эти последние месяцы и все, что ты мне говорил?

— Ничего не могу поделать. Продолжать я не хочу.

— Я тебе больше не нужна?

— Нам надо расстаться… ты будешь свободна от меня, я — от тебя.

— А как же тогда эти последние месяцы?

— Не знаю. Все, что я тебе говорил, мне казалось правдой.

— Тогда почему же теперь ты изменился?

— Я не изменился… я такой, как был… только я знаю, что продолжать бессмысленно.

— Ты не сказал, почему бессмысленно.

— Потому что я не хочу продолжать… и не хочу жениться.

— Сколько раз ты предлагал мне выйти за тебя замуж и я не соглашалась?

— Знаю, но нам надо расстаться.

На минуту-другую оба умолкли. Пол яростно тыкал палкой в землю. Мириам понурилась, пе-

чально задумалась. Он неразумный ребенок. Он точно дитя, которое, вволю напившись, отталкивает и разбивает чашку. Она посмотрела на Пола, чувствуя, что могла завладеть им и добиться от него кое-какого постоянства. Но нет, она беспомощна. И тогда она воскликнула:

— Я как-то сказала, тебе всего четырнадцать лет… а тебе, оказывается, четыре!

Пол все еще свирепо тыкал палкой в землю. Но слова Мириам услышал.

— Ты четырехлетний ребенок, — гневно повторила она.

Он смолчал, но про себя подумал: «Прекрасно, раз я четырехлетний ребенок, на что я тебе нужен? Мне-то еще одна мать ни к чему». Но возражать не стал, оба помолчали.

— А ты своим сказал? — спросила Мириам.

— Маме сказал.

Опять долгое молчание.

— Так чего же ты хочешь? — спросила Мириам.

— Ну, я хочу, чтоб мы с тобой расстались. Все эти годы мы питались друг другом, пора с этим покончить. Я пойду своим путем без тебя, а ты своим без меня. И тогда у тебя будет своя, независимая жизнь.

Есть в этом доля правды, поневоле призналась Мириам, несмотря на переполнявшую ее горечь. Она и вправду чувствовала себя при нем несвободной и, хотя ее это тяготило, ничего не могла поделать. С той минуты, как любовь к Полу стала ей не по силам, она возненавидела свое чувство. И втайне, в глубине души возненавидела и Пола, потому что любила его и он подчинил ее своей власти. Она противилась этой власти. Боролась, пытаясь от него освободиться. И, в сущности, была от него свободна, даже свободнее, чем он от нее.

— И оба мы навсегда останемся в какой-то мере созданиями друг друга, — вновь заговорил Пол. — Ты дала очень много мне, а я — тебе. Теперь давай начнем жить самостоятельно.

— Что ты собираешься делать? — спросила Мириам.

— Ничего… просто быть свободным, — ответил Пол.

Мириам, однако, чувствовала в его желании освободиться влияние Клары. Но умолчала об этом.

— Что же мне сказать маме? — спросила она.

— Своей матери я сказал, что рву с тобой совсем, бесповоротно, — сказал он.

— Я своим не скажу.

Пол нахмурился.

— Как хочешь, — сказал он.

Он знал, что поступил с нею низко, а теперь бросает в беде. И оттого злился.

— Скажи им, что ты не хочешь и не выйдешь за меня замуж, и порвала со мной, — сказал он. — Это близко к правде.

Мириам в задумчивости прикусила палец. Она думала о своих отношениях с Полом. Она так и знала, что этим кончится, с самого начала это понимала. Сбылись ее худшие опасения.

— Всегда… всегда так было! — воскликнула она. — Бесконечное сражение между нами… ты рвался от меня прочь.

Это вышло неожиданно, как вспышка молнии. Сердце Пола замерло. Значит, вот как ей все представлялось?

— Но ведь у нас бывали такие прекрасные часы, так прекрасно нам бывало, мы тогда были по-настоящему вместе! — взмолился он.

— Не было этого! — воскликнула она. — Не было! Ты всегда отталкивал меня.

— Не всегда… не сначала! — защищался Пол.

— Всегда, с самого начала… всегда одно и то же.

Она умолкла, но этого было довольно. Пол ужаснулся. Когда он ехал к Мириам, он хотел ей сказать: «Нам было хорошо, но теперь этому пришел конец». А она, она, в чью любовь он верил, когда сам себя презирал, говорит, что их любовь была вовсе и не любовь. Он всегда рвался от нее прочь? Но ведь это чудовищно. Значит, никогда ничто их по-настоящему не связывало; он всегда воображал что-то, чего вовсе и не было. А она знала. Так много знала и так мало ему говорила. Она знала все время. Все время таила это в глубине души!

Пол молчал, и горько ему было. Наконец их отношения предстали перед ним в совсем ином, беспощадном свете. Это она с ним играла, а не он с ней. Она осуждала его, но держала это про себя, и льстила ему, и презирала его. Презирает его и сейчас. В нем проснулся беспощадный голос разума.

— Тебе надо выйти за человека, который перед тобой преклоняется, — сказал он. — Тогда ты сможешь вертеть им как угодно. Многие мужчины будут перед тобой преклоняться, если ты доберешься до самых сокровенных свойств их натуры. За такого тебе и надо выйти. Такой никогда не будет рваться от тебя прочь.

— Благодарю! — сказала Мириам. — Но больше не советуй мне выйти за кого-нибудь еще. Ты уже раньше мне советовал.

— Хорошо, — сказал Пол. — Больше не буду.

Он сидел молча, и чувство у него было такое, будто не он нанес удар, а его ударили. Восемь лет дружбы и любви, восемь лет его жизни прошли впустую.

— Когда ты это решил? — спросила Мириам.

— Твердо решил в четверг вечером.

— Я знала, этого не миновать, — сказала она.

Ее слова доставили ему горькое удовольствие. «Прекрасно! — подумал он. — Раз она ждала этого, значит, это не застало ее врасплох».

— А Кларе ты что-нибудь сказал? — спросила Мириам.

— Нет. Но теперь скажу.

Мириам помолчала.

— Ты помнишь, что ты мне говорил в прошлом году в доме моей бабушки… нет, даже в прошлом месяце?

— Да, — ответил Пол. — Помню! И это были не пустые слова! Я не виноват, что у нас ничего не получилось.

— Ничего не получилось, потому что тебе захотелось чего-то еще.

— У нас все равно ничего бы не получилось. Ты ведь никогда в меня не верила.

Мириам странно засмеялась.

Пол молчал. Его переполняло чувство, что Мириам его обманула. Он думал, она преклоняется перед ним, а она его презирала. Она позволяла ему болтать невесть что и не возражала ему. Предоставила ему бороться в одиночку. Но ему не давала покоя мысль, что она презирала его, а он думал, она его боготворит. Не должна она была молчать, когда видела, что он ошибается. Она вела нечестную игру. Как он ее ненавидит. Все эти годы она обращалась с ним как с героем, а втайне думала, что он дитя, глупый ребенок. Тогда почему же она позволяла глупому ребенку делать глупости? Сердце Пола ожесточилось.

Мириам переполняла горечь. Она знала… да, конечно, знала! Постоянно, когда он был не с нею, она оценивала его, видела, как он незначителен, глуп, какая он посредственность. Она даже оберегала от него свою душу. Пол не сбил ее с ног, не поверг ниц, даже не так уж ранил. Она знала заранее. Только почему же и сейчас, в эти минуты, она ощущает его странную власть? Его движения — и те завораживают, словно гипноз какой-то. И однако, он презренный, вероломный, измен-

чивый, жалкий. Откуда у нее эта зависимость от него? Почему движение его руки волнует ее, как ничто на свете? Почему так привязана она к нему? Почему даже сейчас, стоит ему глянуть на нее и чего-то от нее потребовать, и она подчинится? Подчинится его мелочным повелениям. Но, когда придет час не ей ему подчиниться, а ему — ей, она возьмет над ним власть и наверняка поведет, куда захочет. Она уверена в себе. Вот только то новое влияние! А, не мужчина он! Он дитя, которое требует новую игрушку. И как бы он ни был привязан душой, его это не удержит. Что ж, придется ему уйти. Но, когда он устанет от своей новой игрушки, он вернется.

Пол долбил землю, пока Мириам до смерти это не надоело. Она встала. Он сидел, сбрасывая комья земли в ручей.

— Зайдем выпьем здесь чаю? — предложил он.

— Хорошо, — согласилась Мириам.

За чаем они болтали о чем попало. Пол держал речь о своей любви к орнаменту (на что его натолкнула гостиная домика, в котором они сидели) и о красоте, которая в нем заключена. Мириам была холодна и тиха. По дороге домой она спросила:

— И мы не будем видеться?

— Не будем… разве что изредка, — ответил Пол.

— И переписываться не будем? — язвительно спросила она.

— Как хочешь, — ответил он. — Мы не чужие… что бы ни случилось, чужими мы не станем. Я иногда буду тебе писать. А ты — как хочешь.

— Понятно, — резко ответила Мириам.

Но Пол был уже в том состоянии, когда ничто больше не ранит. Он решительно расколол свою жизнь. Для него было большим ударом, когда Мириам сказала, что их любовь была постоянным сраженьем. Все остальное уже неважно. Если их любовь так мало значила, стоит ли волноваться, что ей пришел конец.

Пол расстался с Мириам в поле, в конце тропинки между живыми изгородями. В своем новом платье она одна пошла к дому, где должна будет предстать перед своими домашними, а Пол замер на дороге, с болью и стыдом думая, что заставил ее страдать.

Пытаясь вернуть себе самоуважение, он зашел в «Ивушку» выпить стаканчик. Четыре девушки, которые приехали на денек за город, сидели, скромно попивая пиво. На столе лежали шоколадные конфеты. Пол со стаканом виски присел

по соседству. Он заметил, что девушки перешептываются и подталкивают друг друга локтями. Наконец одна, бойкая темноволосая красотка, наклонилась к нему и предложила:

— Хотите шоколадку?

Остальных насмешила ее лихость.

— Ну что ж, — сказал Пол. — Дайте мне какую покрепче… с орехом, с кремом я не люблю.

— Вот, нате, — сказала темноволосая, — эта с миндалем.

Она двумя пальцами взяла конфету. Пол открыл рот. Она сунула ему в рот конфету и покраснела.

— Вот милочка! — сказал Пол.

— А мы подумали, вы такой грустный, — сказала она, — они и подбили меня предложить вам шоколадку.

— Я не прочь и еще одну… с другой начинкой, — сказал Пол.

И вот они уже смеются все вместе.

Домой он вернулся в девять, когда уже темнело. Он вошел молча. Мать ждала его, с тревогой поднялась.

— Я ей сказал, — объявил Пол.

— Я рада, — с огромным облегчением отозвалась мать.

Он устало повесил шапку.

— Я сказал, между нами все кончено.

— Правильно, сынок, — сказала мать. — Сейчас ей тяжко, но в конечном счете так будет лучше. Я знаю. Ты ей не подходил.

Пол неуверенно засмеялся и сел.

— Я так повеселился с девушками в трактире, — сказал Пол.

Мать посмотрела на него. Сейчас он не помнил о Мириам. Он рассказал ей о подружках, с которыми познакомился в «Ивушке». Миссис Морел все смотрела на него. Странной казалась его веселость. За нею скрывались ужас и страдание.

— Теперь поужинай, — очень ласково сказала миссис Морел.

Поев, он сказал с тоской:

— Она говорит, я никогда ей не принадлежал, ма, и вначале тоже, так что для нее это не неожиданность.

— Боюсь, она еще надеется, что это не конец.

— Да, — согласился Пол. — Наверно.

— Ты увидишь, это лучше, что вы расстались, — сказала мать.

— Не знаю я, — безнадежно сказал он.

— Оставь ее в покое, — сказала мать.

Итак, Пол оставил Мириам, и теперь она была одна. Очень мало кому было до нее дело и почти

ни до кого не было дела ей. Она осталась одна, замкнулась в себе и ждала.

12. Страсть

Своим искусством Пол мало-помалу стал зарабатывать на жизнь. Фирма Либерти взяла у него несколько написанных красками эскизов для узорных тканей, и можно было продать еще в два-три места узоры для вышивок, для напрестольной пелены и другие подобные работы. Сейчас он предлагал не очень много работ, но мог предложить больше. К тому же он подружился с художником фирмы керамических изделий и учился искусству своего нового знакомца. Прикладное искусство его очень привлекало. В то же время он неспешно трудился над своими картинами. Он любил писать большие фигуры, полные света, но не просто сотканные из света и отбрасывающие тень, как у импрессионистов; фигуры, довольно четко очерченные, словно бы светились, как иные изображения людей у Микеланджело. И писал он их на фоне пейзажа, соблюдая, как он полагал, верные пропорции. Работал он главным образом по памяти, изображая всех, кого знал. Он твердо верил, что работы его хороши и ценны. Несмотря на приступы уныния, на робость, наперекор всему в работу свою он

верил.

В двадцать четыре года он впервые уверенно сказал матери:

— Мама, я буду выдающимся художником.

Она фыркнула на свой особый лад. Будто не без удовольствия пожала плечами.

— Прекрасно, мой мальчик, поживем — увидим, — сказала она.

— И увидишь, голубка! Придет время — еще загордишься!

— Я и так довольна, мой мальчик, — улыбнулась мать.

— Но кое-что тебе придется менять. Как ты ведешь себя с Минни!

Минни была их маленькая служанка, девчонка четырнадцати лет.

— А чем плоха Минни? — с достоинством спросила миссис Морел.

— Я слышал ее нынче утром, когда ты вышла под дождь за углем, — сказал Пол. — «Ой, миссис Морел! Я ж сама хотела сбегать». Оно и видно, как ты умеешь обращаться со слугами!

— Ну, это просто означает, что она славная девочка, — сказала миссис Морел.

— И ты еще извиняешься перед ней: «Ты ведь не можешь делать два дела сразу».

— Она и вправду была занята, мыла посуду, — возразила миссис Морел.

— А что она тебе ответила? «Да можно было чуток обождать. Гляньте, как вы ковыляете!»

— Да… этакая дерзкая девчонка! — с улыбкой сказала миссис Морел.

Пол, смеясь, посмотрел на мать. Его любовь опять и разрумянила ее и согрела. Казалось, в этот миг ее лицо озарялось солнцем. Пол с удовольствием продолжал работать. Когда мать была счастлива, она казалась совсем здоровой, он даже забыл про ее седые волосы.

И в этом году она поехала с ним отдохнуть на остров Уайт. Это было необыкновенно увлекательно и необыкновенно красиво. Миссис Морел была полна радости и удивления. Но Пол утомил ее слишком долгими прогулками. И однажды с ней случился тяжелый обморок. Таким серым стало ее лицо, так посинели губы! Для Пола это было пыткой. Будто в грудь ему вонзили нож. Потом ей полегчало, и он почти забыл про этот случай. Но тревога в душе осталась, будто незажившая рана.

Расставшись с Мириам, Пол почти тотчас пошел к Кларе. В первый же понедельник после разрыва он спустился в мастерскую. Клара под-

няла на него глаза и улыбнулась. Сами того не ведая, они очень сблизились. Она увидела, что он явно повеселел.

— Привет, царица Савская! — со смехом сказал Пол.

— Что такое? — спросила Клара.

— По-моему, вам это подходит. На вас новое платье.

Клара покраснела, спросила:

— Ну и что с того?

— Идет вам… да еще как! А я мог бы сделать для вас эскиз платья.

— Это разве возможно?

Пол стоял перед ней и объяснял, глаза его блестели. Он приковал к себе ее взгляд. Потом вдруг обхватил ее за плечи. Клара было отшатнулась. А он натянул и разгладил блузку у нее на груди.

— Вот вроде этого! — объяснил он.

Но у обоих лица пылали, и Пол тотчас убежал. Он ее коснулся! От этого ощущения он весь дрожал.

Меж ними уже установилось некое тайное понимание. На следующий вечер он перед поездом зашел с ней на несколько минут в кинематограф. Они сели, и Пол увидел, ее рука лежит подле него. Несколько мгновений он не решался до нее

дотронуться. Кадры плясали, мелькали перед глазами. Наконец он решился взять ее за руку. Рука оказалась большая и крепкая, она заполнила всю его горсть. Он ее сжал. Клара не шевельнулась, не подала никакого знака. Когда они вышли, пора было отправляться на поезд. Пол мешкал.

— До свиданья, — сказала Клара. Пол кинулся через дорогу.

Назавтра он опять пришел и заговорил с ней. Она держалась довольно высокомерно.

— В понедельник погуляем? — спросил он.

Клара отвернулась.

— А Мириам вы доложите? — насмешливо спросила она.

— Я с ней порвал, — ответил Пол.

— Когда?

— В прошлое воскресенье.

— Вы поссорились?

— Нет! Я так решил. И прямо ей сказал, что отныне считаю себя свободным.

Клара промолчала, и Пол опять занялся делом. Какая она спокойная, какая величественная!

В субботу вечером он пригласил ее зайти с ним после работы в ресторан и выпить кофе. Она пошла и держалась очень сухо и отчужденно. До поезда у него оставалось три четверти часа.

— Пройдемся немного, — предложил Пол.

Клара согласилась, и они прошли мимо Замка в парк. Пол ее побаивался. Клара, задумавшись, шла рядом, шла будто обиженно, нехотя, сердито. Пол боялся взять ее руку.

— В какую сторону пойдем? — спросил он, когда они вступили в густую тень парка.

— Все равно.

— Тогда поднимемся по лестнице.

Он круто повернул назад. Они как раз прошли мимо парковой лестницы. Клара стояла, не двигаясь, недовольная, что он вдруг ее оставил. Пол ждал ее. Она стояла отчужденно. Он вдруг обнял ее, недвижимую, всю застывшую, задержал на миг и поцеловал. Потом отпустил.

— Пошли, — виновато сказал он.

Клара пошла за ним. Он взял ее руку, поцеловал кончики пальцев. Шли молча. Когда вышли из тени на свет, он отпустил ее руку. До самого вокзала оба не вымолвили ни слова. Потом поглядели друг другу в глаза.

— До свиданья, — сказала Клара.

И Пол пошел к поезду. Он двигался машинально. Люди заговаривали с ним. До него слабым эхом доносились собственные ответы. Он был как в бреду. Чувствовал одно — если понедельник не

настанет сейчас же, он сойдет с ума. В понедельник он опять ее увидит. Он весь был устремлен туда, вперед. Но вмешалось воскресенье. Невыносимо. Он не увидит ее до понедельника. Помеха — воскресенье, час за часом нестерпимого ожидания. Хоть бейся головой о дверь вагона. Но он сидел не шевелясь. По дороге домой зашел выпить виски, но стало только хуже. Нельзя огорчать мать, вот что важно. Он прикинулся усталым и поспешно ушел к себе. Сидел не раздеваясь, упершись подбородком в колени, и смотрел в окно, вдаль, на гору, где светились редкие огоньки. Ни о чем не думал, не спал, так и сидел, не шевелясь, уставясь невидящим взглядом в окно. Наконец он так замерз, что опомнился, его часы остановились на половине третьего. А уже четвертый час. Он измучился, и однако, нестерпимо знать, что еще только утро воскресенья. Он лег в постель и уснул. Потом весь день до изнеможения ездил на велосипеде. И едва ли помнил, куда его носило. Но завтра уже понедельник. Он спал до четырех утра. Потом лежал и думал. Он понемногу приходил в себя — уже видел себя со стороны, такого, как он есть. После полудня она пойдет с ним пройтись. После полудня! Казалось, ждать еще годы.

Медленно ползли часы. Поднялся отец; Пол слышал, как он бродит по дому. Потом он отправился в шахту — тяжелые башмаки проскрипели по гравию. Петухи все пели. По дороге прогрохотала повозка. Поднялась мать. Расшевелила огонь в камине. Ласково окликнула его. Он отозвался будто со сна. Его маска вела себя как надо.

Он шагает на станцию — еще одна миля! Поезд приближается к Ноттингему. Остановится ли он перед туннелями? Да неважно, все равно он прибудет до обеда. Пол уже на фабрике. Через полчаса придет Клара. Будет хотя бы тут же. Он покончил с письмами. Она будет здесь. А вдруг она не пришла. Пол кинулся вниз. У него перехватило дыхание — он увидел ее сквозь стеклянную дверь. Увидел чуть склоненные над работой плечи и почувствовал, нет сил двинуться с места; и стоять невозможно. Он вошел. Он был бледен, беспокоен, неловок и совершенно холоден. А вдруг она поймет его не так? Не может он быть самим собой в этой маске.

— А после полудня вы придете? — еле выговорил он.

— Я думаю, да, — чуть слышно ответила Клара.

Пол стоял перед ней, не в силах вымолвить ни слова. Она спрятала от него лицо. Опять он

почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он сжал зубы и пошел наверх. Но пока что он все делал правильно, так будет и дальше. Все утро ему казалось, он видит все в отдалении, как бывает под наркозом, а сам он будто накрепко связан, не шевельнуться. И видит поодаль свое другое «я», вносящее записи в гроссбух, и пристально следит, чтобы тот, далекий, он не допустил ошибки.

Но долго он не сможет терпеть эту боль и напряжение. Он работал не отрываясь. Но все еще только двенадцать. Он будто пригвоздил себя к конторке, стоит и работает, работает, с трудом выжимает из себя каждую строчку. Без четверти час, можно все убрать. Он кинулся вниз.

— Встретимся у Фонтана в два, — сказал он.

— Раньше половины третьего я не смогу.

— Хорошо! — сказал Пол.

Клара глянула в его безумные темные глаза.

— Я постараюсь в четверть.

Надо было этим удовольствоваться. Он пошел обедать. И все оставался под наркозом, а минуты тянулись нескончаемо. Он шагал по улицам милю за милей. Потом подумал, как бы не опоздать к месту встречи. В пять минут третьего он был у Фонтана. Последние четверть часа пытка была такой утонченной, никакими словами не

выразишь. Сущее мученье слить себя живого со своей маской. Потом он увидел Клару. Пришла! Дождался.

— Вы опоздали, — сказал он.

— Всего на пять минут, — возразила она.

— Я бы вас так не подвел, — засмеялся он.

На ней был темно-синий костюм. Пол любовался ее прелестной фигурой.

— Вам не хватает цветов, — сказал он и пошел в ближайший цветочный магазин.

Клара молча вошла за ним. Он купил ей яркие, кирпично-красные гвоздики. Вспыхнув, Клара приколола их к жакету.

— Цвет красивый, — сказал Пол.

— Я предпочла бы не такой резкий, — сказала Клара.

Пол засмеялся.

— Вы шествуете, точно алый цветок, и боитесь ослепить людей, — сказал он.

Клара опустила голову, стесняясь встречных. Они шли по улице, и Пол посмотрел на нее сбоку. Ушко — так хочется его коснуться, нежный овал лица. И своеобразная полнота во всем облике, словно наполненность спелого колоса, что чуть клонится под ветром, кружит ему голову. Будто его волчком запустили по улице и все перед гла-

зами идет кругом.

Потом они сидели в трамвае, Клара прислонилась к нему полным плечом, и он держал ее за руку. Он чувствовал, что наркоз проходит и уже можно дышать. Кларино ухо, полускрытое светлыми волосами, совсем близко. Так трудно справиться с искушением его поцеловать. Но они не одни в вагоне. И все-таки, может, поцеловать? Он ведь сейчас не существует сам по себе, он неотделим от нее, так же как озаряющий ее солнечный свет.

Он мельком глянул в окно. Шел дождь. Увенчанная замком скала, что возвышалась над городом, была иссечена дождем. Трамвай пересек широкое черное полотно Центральной железной дороги, миновали белую ограду загона для скота. Потом покатили по грязной Уилфорд-роуд.

Клара легонько покачивалась в лад движению трамвая, а так как она прислонилась к Полу, она, покачиваясь, опиралась на него. Сильный, гибкий, он был полон неисчерпаемой энергии. Лицо грубое, грубо высеченные черты, совсем заурядные; но глубоко сидящие глаза полны жизни и совсем околдовали ее. В них пляшут веселые искорки, и, однако, они спокойны, но вот-вот в них вспыхнет смех. С губ тоже готов сорваться

торжествующий смех, но нет, они не смеются. В нем таится острая тревога ожиданья. Клара задумчиво прикусила губу. Рука Пола крепко сжимала ее руку.

Они отдали две монетки по полпенни у турникета и прошли по мосту. В Тренте вода поднялась очень высоко. Бесшумно, вкрадчиво скользил полноводный поток под мостом. Дождь лил вовсю. Половодье выплеснулось и на берег, там и сям мерцали плоские озерца. В сером небе кое-где вспыхивали серебряные проблески. На Уилфордском кладбище при церкви намокли от дождя георгины — влажные темно-пунцовые шары. На дорожке, идущей вдоль зеленого приречного луга, вдоль колоннады вязов не было ни души.

Серебрящиеся темные воды, и зеленые прибрежные луга, и расцвеченные золотом вязы окутала легкая дымка. Безмолвно мчалась мимо река, и струи сплетались и изгибались, точно некое хитроумное, сложное существо. Клара, невесело задумавшись, шла рядом с Полом.

— Почему вы ушли от Мириам? — наконец вызывающе спросила она.

Пол нахмурился.

— Потому что захотел уйти, — ответил он.

— Почему?

— Потому что не хотел с ней оставаться. И не хотел жениться.

Клара помолчала. Они пошли по грязной дорожке. С вязов капало.

— Вы не хотели жениться на Мириам или вообще не хотите жениться? — спросила она.

— И на ней и вообще, — ответил Пол. — И то и другое!

Всюду стояли лужи, приходилось петлять между ними.

— А что она сказала? — спросила Клара.

— Мириам? Она сказала, что я четырехлетний ребенок и что я всегда рвался от нее прочь.

Клара несколько минут обдумывала его слова.

— Но какое-то время вы были по-настоящему близки? — спросила она.

— Да.

— И теперь она вам больше не нужна?

— Да. Я знаю, это нехорошо.

Клара опять задумалась.

— Вам не кажется, что вы обошлись с ней довольно скверно? — спросила Клара.

— Согласен. Надо было оставить ее давным-давно. Но продолжать было бессмысленно. Злом зла не поправишь.

— А на самом деле сколько вам лет? — спро-

сила она.

— Двадцать пять.

— А мне тридцать, — сказала она.

— Я знаю.

— Скоро будет тридцать один… или уже тридцать один?

— Не знаю я, и мне все равно. Какое это имеет значение?

Они были у входа в Рощу. Мокрая красная дорожка, скользкая от опавших листьев, поднималась по крутому поросшему травой берегу. По обе стороны, точно колонны в нефе собора, стояли вязы, ветви их образовали высокий свод, с которого падали засохшие листья. Было безлюдно, тихо, сыро. Клара стояла на верхней ступеньке перелаза, и Пол держал ее за руки. Смеясь, она смотрела сверху ему в глаза. Потом спрыгнула. Коснулась его грудью; он задержал ее, покрыл ее лицо поцелуями.

Они пошли вверх по красной, крутой и скользкой дорожке. Скоро Клара выпустила его руку и обвила ее вокруг своей талии.

— Ты так крепко держал мою руку, даже сдавил вену, — сказала она.

Они все шли. Кончиками пальцев Пол чувствовал, как покачивается ее грудь. Все вокруг

притихло и точно вымерло. Слева, в проеме меж стволами и ветвями вязов, краснела пахотная земля. Справа, глядя вниз, можно было видеть верхушки вязов, что росли далеко внизу, изредка доносилось журчанье реки. Иногда внизу взгляду открывался полноводный, плавно текущий Трент и заливные луга, пасущиеся на них коровы казались крохотными.

— Тут все едва ли изменилось с тех пор, как сюда захаживал малыш Керк Уайт, — сказал Пол.

А сам неотрывно смотрел на ее шею пониже уха, где румянец переходил в золотистую белизну, на чуть надутые безутешные губы. Идя по дорожке, Клара задевала его, и он был весь, как натянутая струна.

На полпути меж колоннами вязов, там, где роща поднималась над рекой всего выше, они замедлили шаг. Пол повернул и повел Клару по траве, под деревьями, растущими вдоль дорожки. Красный утес круто уходил среди деревьев и кустарника вниз к реке, которая то мерцала, то темнела сквозь листву. Далеко внизу ярко зеленели заливные луга. Пол и Клара стояли, клонясь друг к другу, молча, пугливо касаясь друг друга всем телом. Быстрый всплеск донесся снизу, с реки.

— Почему ты возненавидела Бакстера Доуса? — спросил наконец Пол.

Великолепным движеньем Клара повернулась к нему. Вот они, ее губы, шея; глаза полузакрыты, грудь призывно выставлена. У Пола вырвался смешок, он закрыл глаза и поцеловал ее долгим крепким поцелуем. Их губы слились, тела впечатались друг в друга, сплавились. Не сразу они оторвались друг от друга. Они стояли у самой дорожки.

— Спустимся к реке? — предложил Пол.

Клара посмотрела на него, все оставаясь в его объятиях. Пол перешагнул через кромку откоса и стал спускаться.

— Скользко, — сказал он.

— Ничего, — ответила Клара.

Красная глина уходила вниз почти отвесно. Пол скользил, перебирался с одного клочка земли, поросшего травой, на другой, цеплялся за кусты, дотянулся до крохотной площадки у подножья дерева. Смеясь от волнения, ждал там Клару. На ее туфли налипла красная глина. Ей трудно давался спуск. Пол нахмурился. Наконец он поймал ее руку, и вот она стоит рядом. Утес возвышается над ними и круто уходит вниз. Клара раскраснелась, глаза сверкают. Пол глянул на длинный

спуск у их ног.

— Опасно, — сказал он, — или по крайней мере грязно. Может, вернемся?

— Только не из-за меня, — поспешно ответила Клара.

— Ну, ладно. Видишь, помочь я тебе не смогу, буду только удерживать. Дай мне твой сверточек и перчатки. Бедные твои туфли!

Они примостились на спуске, под деревьями.

— Что ж, я пошел дальше, — сказал Пол.

И он двинулся, пошатываясь, скользя, до следующего дерева, с размаху в него врезался, захватило дух. Потом очень осторожно, хватаясь за травы и ветки, пошла Клара. Так они малопомалу спустились к самой реке. С досадой Пол увидел, что половодье затопило тропинку и красный склон обрывался прямо в воду. Пол уперся каблуками и с силой выпрямился. Веревка на свертке с треском лопнула, коричневый сверток упал, отскочил в воду и плавно поплыл прочь. Пол уцепился за дерево.

— Будь оно все неладно! — в сердцах крикнул он. И тотчас засмеялся. Клара опасливо спускалась к нему.

— Осторожно! — предупредил Пол. Он стоял, прислонясь спиной к дереву, и ждал. — Теперь

иди, — крикнул он, разведя руки.

Клара кинулась бегом. Пол поймал ее, и теперь они стояли рядом и смотрели, как темная вода подмывает обнаженный край берега. Упавшего свертка уже и след простыл.

— Подумаешь, — сказала Клара.

Пол прижал ее к себе и поцеловал. Тут хватало места только для их ног.

— Вот поди ж ты, — сказал Пол. — Но тут виден чей-то след, так что, я думаю, мы опять найдем и тропинку.

Полноводная река текла плавно, изгибаясь. На другом берегу, в безлюдных низинах, пасся скот. Справа над Полом и Кларой вздымался утес. Они стояли, прислонясь к дереву, в напитанной влагой тишине.

— Попробуем двинуться дальше, — сказал Пол; и они с трудом пошли по красной глине с впечатанными в нее следами чьих-то подбитых гвоздями башмаков. Они разгорячились, раскраснелись. Облепленные глиной туфли стали неподъемно тяжелыми. Наконец отыскалась прерванная дорожка. Она была усыпана камнями, нанесенными течением реки, но все-таки идти стало легче. Ветками путники счистили глину с подошв. Сердце у Пола колотилось часто

и сильно.

Поднявшись на невысокую площадку, он вдруг увидел двух людей, молча стоящих у края воды. Сердце у него екнуло. Те двое удили. Пол поднял руку, остерегая Клару. Она замешкалась, застегнула жакет. И они пошли рядом.

Рыбаки обернулись, с любопытством посмотрели на эту пару, нарушившую их безмятежное уединение. У них был разложен костер, но он уже угасал. Все молчали. Рыбаки опять отвернулись к реке, застыли, точно статуи, над мерцающей водой. Клара шла пунцовая, опустив голову; Пол посмеивался про себя. Но вот они уже скрылись за ивняком.

— Хоть бы они утонули, — тихонько сказал Пол.

Клара промолчала. Они с трудом пробирались вперед по узенькой тропинке у самой воды. Внезапно она исчезла. Красный глинистый берег перед ними отвесно обрывался в воду. Пол стоял, сжав зубы, и про себя чертыхался.

— Это просто невозможно! — сказала Клара.

Пол стоял, выпрямившись, и смотрел по сторонам. Прямо перед ними река обтекала два островка, поросших ивняком. Но до них не добраться. Утес, высившийся над головой, отвесно

спускался к воде. Позади, неподалеку, расположились рыбаки. На другом берегу, в безлюдье этого дня, бесшумно пасся скот. Пол опять в сердцах чертыхнулся про себя. Бросил взгляд на круто уходящий вверх берег. Неужто нет иного пути, как взбираться вверх на открытую всем взорам тропу?

— Постой, — сказал Пол и, вдавив каблуки в глинистую крутизну, стал проворно взбираться вверх. Он вглядывался в подножье каждого дерева. Наконец увидел то, что искал. Две березы стояли на склоне бок о бок, и меж их корнями была небольшая ровная площадка. Она усыпана влажными листьями, но это ничего. Рыбакам она, пожалуй, не видна. Пол кинул на землю дождевик и помахал Кларе, чтоб шла к нему.

Клара стала с трудом подниматься. Добралась, молча, печально посмотрела на Пола и положила голову ему на плечо. Он крепко обхватил ее и огляделся. Да, они, можно сказать, в безопасности, видны лишь маленьким издалека коровам на другом берегу. Пол впился губами в ее шею, там, где, он чувствовал, бьется пульс. Вокруг тишина, ни звука. Не было сейчас никого и ничего, только они двое.

Когда Клара встала. Пол, который все время

смотрел в землю, вдруг увидел — черные, мокрые корни берез сбрызнуты алыми лепестками гвоздик, точно каплями крови; и красные маленькие брызги падают с Клариной груди, катятся по платью к ногам.

— Твои цветы погибли, — сказал он.

Приглаживая волосы, она посмотрела на него печально. Он вдруг пальцами дотронулся до ее щеки.

— Ну почему ты такая печальная? — укорил он ее.

Она грустно улыбнулась, словно в душе ощущала свое одиночество. Он гладил ее щеку, целовал ее.

— Не надо! — сказал он. — Не огорчайся!

Клара крепко сжала его пальцы, неуверенно засмеялась. Потом уронила руку. Пол откинул ей со лба волосы, провел пальцами по вискам, легко коснулся их губами.

— Не тревожься ты, — тихонько молил он.

— Да нет, я не тревожусь! — и засмеялась ласково, покорно.

— Тревожишься! А ты не тревожься, — нежно упрашивал он.

— Не буду! — утешила она и поцеловала его.

Пришлось одолевать крутой подъем на утес.

Они взбирались наверх добрых четверть часа. Добравшись, наконец, до ровной, поросшей травой площадки. Пол сорвал шапку, утер пот со лба и перевел дух.

— Теперь мы опять на ровном месте, — сказал он.

Тяжело дыша, Клара села на травянистую кочку. Щеки ее разрумянились. Пол поцеловал ее, и она уже не сдерживала радость.

— А теперь я отчищу твои туфельки и приведу тебя в порядок, чтоб ты могла показаться на глаза приличным людям, — сказал он.

Он стал на колени у ее ног и с помощью палки и пучков травы принялся за дело. А Клара запустила пальцы в его густые волосы, притянула к себе его голову и поцеловала.

— Что ж прикажешь мне делать, — засмеялся, глядя на нее. Пол. — Чистить туфельки или забавляться любовью? Отвечай!

— Все, что я пожелаю, — ответила Клара.

— Сейчас я твой чистильщик и больше никто!

Но они все смотрели друг другу в глаза и смеялись. Потом целовались частыми легкими поцелуями.

Потом Пол поцокал языком, совсем как его мать, и сказал:

— Когда рядом женщина, никакое дело не делается, скажу я тебе.

И опять принялся отчищать туфли и тихонько напевал себе под нос. Клара потрогала его густые волосы, а он поцеловал ее пальцы. И все трудился над ее туфлями. Наконец они стали выглядеть пристойно.

— Вот и готово! — сказал Пол. — Ну не мастер ли я приводить тебя в приличный вид? Вставай! Ты сейчас безупречна, как сама Британия.

Теперь он почистил собственные башмаки, вымыл в луже руки и запел. Они пошли в поселок Клифтон. Пол был без ума от Клары; каждое ее движение, каждая складочка одежды восхищали его, бросали в жар.

Старушка, у которой они пили чай, глядя на них, развеселилась.

— Вот бы денек выдался для вас получше, — сказала она, хлопоча у стола.

— Да нет! — засмеялся Пол. — Мы все говорим, до чего он хорош.

Старушка глянула на него с любопытством. Какая-то особая привлекательность была в нем, он весь светился. Его темные глаза смеялись. Он поглаживал усики, и в движении его было довольство.

— Неужто вы и впрямь так говорите! — воскликнула она, и ее старые глаза просияли.

— Правда! — засмеялся Пол.

— Значит, денек и впрямь неплохой, — сказала старушка.

Она все хлопотала, не хотелось ей уходить от них.

— Может, еще хотите редиску? — предложила она Кларе. — У меня есть в огороде... и огурец тоже.

Клара зарумянилась. Она была сейчас очень хороша.

— От редиски я не откажусь, — ответила она.

И старушка весело засеменила из комнаты.

— Знала бы она! — тихонько сказала Клара Полу.

— Но она не знает, и это только доказывает, что мы хотя бы с виду вполне чинная парочка. На тебя глядя и архангел бы ничего дурного не заподозрил, и я, конечно, тоже ни на что худое не способен... так что... если от этого ты мило выглядишь, и людям отрадно на нас смотреть, и самим нам радостно... что ж, мы их, в общем, не так уж и обманываем!

Они опять принялись за еду. Когда они собрались уходить, старушка застенчиво подошла к

ним с тремя георгинами — они уже распустились, были аккуратные, как пчелы, и лепестки в красных и белых крапинках. Довольная собой, старушка остановилась перед Кларой со словами:

— Не знаю, может… — и старческой рукой протянула цветы.

— Какая прелесть! — воскликнула Клара, принимая цветы.

— И все ей одной? — с укором спросил старушку Пол.

— Да, все ей одной, — широко улыбаясь, ответила та. — На вашу долю и так хватит.

— А я все-таки один у нее попрошу, — поддразнивал Пол.

— Ну это уж ее дело, — с улыбкой сказала старушка. И весело сделала книксен.

Клара притихла, ей стало неловко. По дороге Пол спросил ее:

— Неужели ты чувствуешь себя преступницей?

Она глянула на него испуганными серыми глазами.

— Преступницей? Нет.

— Но, похоже, ты думаешь, что поступила дурно?

— Нет, — сказала она. — Я только думаю, если б они знали!

— Если б они знали, они перестали бы нас понимать. А так, как сейчас, они понимают, и им это нравится. Какое нам до них дело? Здесь, где только деревья и я, ты ведь вовсе не чувствуешь, что поступаешь дурно?

Он взял ее за плечо, повернул к себе лицом, заглянул в глаза. Что-то его заботило.

— Мы ведь не грешники, а? — сказал он, беспокойно нахмурясь.

— Нет, — ответила Клара.

Он со смехом ее поцеловал.

— По-моему, тебе нравится твоя крохотная доля вины, — сказал он. — По-моему, в глубине души Ева была очень довольна, когда понурясь уходила из Рая.

Но Клара, хоть и притихшая, вся светилась, и он радовался. Когда он в поезде один возвращался домой, оказалось, он безмерно счастлив, и соседи-пассажиры необыкновенно милые, и вечер прекрасен, и вообще все замечательно.

Дома он застал мать за книгой. Здоровье ее пошатнулось, и лицо стало бледное, цвета слоновой кости, чего прежде Пол не замечал, а уже потом запомнил навсегда. Она ни разу ему не

пожаловалась, что чувствует себя неважно. В конце концов, думала она, не так уж ей худо.

— Ты сегодня поздно, — сказала она, посмотрев на сына.

Глаза его блестели, он так и сиял. Он улыбнулся матери.

— Да, я был с Кларой в Клифтонской роще.

Мать снова на него посмотрела.

— Но ведь пойдут разговоры, — сказала она.

— Почему? Известно, что она суфражистка и все такое. А если и пойдут разговоры, что за важность?

— Конечно, может, ничего плохого в ваших прогулках и нет, — сказала мать. — Но ты ведь знаешь, каковы люди, и уж если она попадет им на язык…

— Ну, я ничего не могу тут поделать. В конце концов, их болтовня не так уж безумно важна.

— По-моему, тебе следует подумать о Кларе.

— Я и думаю! Что могут сказать люди?.. Что мы вместе гуляем. Мне кажется, ты ревнуешь.

— Ты же знаешь, не будь она замужем, я была бы рада.

— Что ж, дорогая, она живет с мужем врозь и выступает с трибуны, а стало быть, все равно выделяется из общего стада, так что, сколько я

понимаю, особенно терять ей нечего. Нет, собственная жизнь для нее ничто, а раз ничто — грош цена такой жизни. Теперь она со мной… и жизнь обрела цену. Значит, она должна платить… нам обоим придется платить! Люди слишком боятся платить, они предпочитают умереть с голоду.

— Хорошо, сын. Посмотрим, чем это кончится.

— Хорошо, мать. Я буду стоять на своем.

— Посмотрим!

— А она… она ужасно мила, ма. Правда, правда! Ты не представляешь!

— Это ведь не то что жениться на ней.

— Это, наверно, лучше.

Они помолчали. Полу хотелось кое-что спросить у матери, но он побаивался. Потом все же спросил нерешительно:

— Ты бы хотела ее узнать?

— Да, — суховато ответила миссис Морел. — Я хотела бы узнать, что она такое.

— Но она милая, ма, право же! И ни чуточки не вульгарная!

— А я ничего такого не говорила.

— Но мне кажется, ты так думаешь… что она не такая уж хорошая… Говорю тебе, она лучше, чем девяносто девять людей из сотни! Лучше, поверь! Она справедливая, честная, прямая! Нет в ней ни-

какой неискренности и никакого высокомерия. Не придирайся к ней!

Миссис Морел вспыхнула.

— Вовсе я к ней не придираюсь. Вполне возможно, что она такая, как ты говоришь, но…

— Но ты ее не одобряешь, — докончил Пол.

— А ты ждал, что одобрю? — холодно возразила миссис Морел.

— Да… да!.. будь у тебя хоть что-то за душой, ты бы радовалась! Ты правда хочешь ее увидеть?

— Я же сказала, что хочу.

— Тогда я ее приведу… привести ее сюда?

— Как тебе угодно.

— Тогда я непременно приведу ее сюда… как-нибудь в воскресенье… к чаю. Если ты вообразишь о ней что-нибудь скверное, я тебе не прощу.

Мать засмеялась.

— Как будто что-то от этого изменится! — сказала она.

И он понял, что победил.

— Но когда она рядом, мне так хорошо, ма! Она на свой лад королева.

Иногда, возвращаясь из церкви. Пол немного прогуливался с Мириам и Эдгаром. До фермы он с ними не доходил. Мириам держалась с ним почти совсем как прежде, и с нею он не чувствовал себя

неловко. Однажды вечером он провожал ее одну. Поначалу они говорили о книгах — тема для них самая надежная. Миссис Морел как-то сказала, что их с Мириам роман подобен костру из книг — стоит перестать подкладывать тома, и он угаснет. Мириам, в свою очередь, хвасталась, что Пол для нее — открытая книга и в любую минуту она может указать пальцем главу и строку, на которой он сейчас находится. Сам же он, по натуре легковерный, не сомневался, что Мириам знает его как никто другой. И, обыкновенный эгоист, он любил разговаривать с ней о себе. Очень скоро их разговор перешел на его дела. Ему безмерно льстило, что он так ей интересен.

— А много ли ты писал последнее время?

— Я… да не особенно! Сделал набросок Бествуда — вид из нашего сада; кажется, он наконец получился. Это чуть ли не сотая попытка.

Так они разговаривали. Потом Мириам спросила:

— Ты последнее время где-нибудь был?

— Да, в понедельник после обеда ходил с Кларой в Клифтонскую рощу.

— Погода была не самая лучшая, правда? — сказала Мириам.

— Но мне хотелось проветриться, и было хоро-

шо. Трент такой полноводный.

— И в Бартоне были? — спросила Мириам.

— Нет, мы попили чаю в Клифтоне.

— Вот как! Наверно, славно было.

— Очень! Такая там веселая старушка! Подарила нам несколько огромных георгинов, неописуемо красивых.

Мириам опустила голову, печально задумалась. У Пола и в мыслях не было что-нибудь от нее скрывать.

— А почему ей вздумалось подарить вам цветы? — спросила Мириам.

Пол рассмеялся.

— Мы ей понравились… мы были веселые, наверно, поэтому.

Мириам прикусила палец.

— А домой ты вернулся поздно? — спросила она.

Тон ее наконец рассердил Пола.

— Поездом семь тридцать.

— А-а!

Несколько минут шли молча. Пол злился.

— Ну и как Клара? — спросила Мириам.

— По-моему, как нельзя лучше.

— Вот это хорошо! — отозвалась Мириам не без иронии. — Кстати, а что с ее мужем? О нем что-то

ничего не слышно.

— Он нашел другую женщину, и у него тоже все хорошо, — ответил Пол. — По крайней мере, так я думаю.

— Понятно… ты в точности не знаешь. А не кажется тебе, что женщине нелегко в таком положении?

— Еще бы — ужасно!

— Это так несправедливо! — сказала Мириам. — Мужчина живет как ему заблагорассудится…

— Что ж, пускай и женщина так живет, — сказал Пол.

— Разве она может? А если и сможет, подумай только, в каком положении она окажется!

— Ну и что?

— Нет, это невозможно! Ты не понимаешь, как женщина за это расплачивается…

— Нет, не понимаю. Но если женщина только и живет своей распрекрасной репутацией, что ж, на такой скудной пище и осел бы с голоду сдох!

Итак, Мириам теперь по крайней мере ясно, как Пол ценит добродетель, он, конечно, и поступать будет соответственно.

Мириам никогда ни о чем не спрашивала его прямо, но ухитрялась узнавать достаточно.

В следующий раз, когда Пол увиделся с Мири-

ам, заговорили о браке, потом о браке Клары и Доуса.

— Понимаешь, — сказал Пол, — ей никогда не казалось, будто брак — это так безумно важно. Она думала, это просто, раз-два и готово… этого не миновать… а Доус… что ж, многие женщины душу прозакладывали бы, только бы его заполучить — так что почему бы и не Доус? А потом она почувствовала себя femme incomprise[22] и обходилась с ним скверно, это уж как пить дать.

— И она от него ушла, потому что он ее не понимал?

— Наверно. Наверно, она была вынуждена. Речь ведь не только о понимании, речь о жизни. С ним она была жива лишь наполовину; вторая половина ее «я» дремала, была приглушена. И дремала сама femme incomprise, и ее непременно надо было пробудить.

— А что он?

— Не знаю. Он, пожалуй, любит ее как умеет, но он дурак.

— Это вроде того, как у твоих родителей, — сказала Мириам.

— Да. Но мама поначалу, наверно, была счаст-

---

[22] Примечания: 22
непонятой женщиной *(фр.).*

лива с отцом и удовлетворена. Я думаю, это была страсть, оттого она и не ушла от отца. Так или иначе они были привязаны друг к другу.

— Понимаю, — сказала Мириам.

— Вот что, по-моему, должно быть у человека, — продолжал Пол, — самое настоящее, подлинно жаркое чувство к другому… хотя бы раз в жизни, только раз, даже если оно длится всего каких-нибудь три месяца. Понимаешь, глядя на мою мать, сразу видишь, у нее наверняка было все, что ей необходимо, чтобы жить и развиваться. В ней нет и намека на ощущение, что жизнь прошла впустую.

— Да, правда, — сказала Мириам.

— И я уверен, с моим отцом у нее поначалу была подлинная жизнь. Она отведала этой жизни, и сама это понимает. В ней это чувствуется, и в нем тоже, и в сотнях людей, которых встречаешь каждый день; а раз ты это испытал, тебе уже все нипочем, дальше можно жить и набираться уму-разуму.

— А что именно испытал? — спросила Мириам.

— Трудно сказать, когда с другим человеком тебя связывает подлинное чувство, ты испытываешь что-то большое, значительное, и это тебя

меняет. Словно оплодотворяет душу — и потом можно жить и дозревать.

— И по-твоему, у твоей матери так было с твоим отцом?

— Да. И в глубине души она благодарна ему за то, что он дал ей это, даже теперь благодарна, хотя они очень далеки друг от друга.

— И по-твоему, у Клары этого никогда не было?

— Уверен.

Мириам задумалась. Она понимала, чего жаждет Пол, — ей казалось, это словно крещение огнем страсти. И пока он это не испытает, он не успокоится. Может, и ему, как иным мужчинам, необходимо перебеситься; а когда насытится, его перестанет снедать беспокойство, он остепенится и вручит свою жизнь ей. Что ж, раз ему так надо, пускай идет и получит, чего ищет, — что-то большое и значительное, как он это называет. Во всяком случае, когда он это получит, окажется — ему это не нужно, он сам так сказал, ему понадобится другое, то, что может дать она, Мириам. Он захочет, чтоб им завладели, и тогда сможет работать. Горько ей было, что ему нужно уйти, но ведь отпустила бы она его в трактир выпить виски, значит, можно отпустить и к Кларе, ведь он найдет у нее такое, что утолит его жажду,

освободит, и тогда она им завладеет.

— А своей матери ты сказал про Клару? — спросила Мириам.

Она понимала: вот на чем будет испытана серьезность его чувства к другой; понимала, если сказал матери, значит, у Клары он ищет чего-то жизненно важного, а не просто удовольствия, за каким мужчина идет к проститутке.

— Сказал, — ответил Пол. — И в воскресенье Клара придет на чай.

— К вам домой?

— Да, я хочу, чтоб мать ее увидела.

— Вот как!

Помолчали. Все пошло быстрей, чем она думала. Как это горько, что он способен покинуть ее так быстро и так бесповоротно. И примет ли Клару его семья, ведь к ней самой они отнеслись так враждебно?

— Я могла бы зайти по дороге в церковь, — сказала Мириам. — Мы с Кларой давным-давно не виделись.

— Хорошо, — удивленно сказал Пол и невольно обозлился.

В назначенное воскресенье он после полудня пошел в Кестон на станцию встретить Клару. Стоя на платформе, он пытался понять, есть ли у

него какое-нибудь предчувствие.

Приедет ли она, что подсказывает сердце? — спрашивал он себя. А сердце странно сжималось. Пожалуй, это дурной знак. И вдруг он почувствовал — нет, не приедет! Конечно, не приедет, и не поведет он ее полями домой, как рисовалось в воображении, придется возвращаться одному. Поезд опаздывает, день будет потерян, и вечер тоже. Он обозлился, почему она не едет. Зачем обещать, если не можешь сдержать обещание?.. Может, она не поспела на поезд… с ним самим сто раз так бывало… но ей-то с какой стати опоздать именно на этот поезд. Он озлился на нее до бешенства.

Вдруг Пол увидел, что поезд подползает, подкрадывается из-за угла. Ну вот и поезд, а она, конечно, не приехала. Зеленый паровоз, отдуваясь, двигался вдоль платформы, тащил за собой вереницу коричневых вагонов, несколько дверей отворились. Нет, не приехала! Нет! Да вот же она! В черной шляпе с большущими полями! Пол вмиг оказался рядом.

— Я думал, ты не приедешь, — сказал он.

Со смехом, чуть задыхаясь, Клара протянула ему руку; глаза их встретились. Он быстро повел ее по платформе, быстро-быстро говорил, ста-

раясь скрыть свои чувства. Как она хороша! На ее шляпе красовались крупные шелковые розы цвета тусклого золота. Костюм темного сукна чудесно обтягивал грудь и плечи. Пол шел с нею и раздувался от гордости. И чувствовал, что станционные служащие, которые его знали, глазеют на Клару восхищенно и с благоговением.

— Я был уверен, что ты не приедешь. — Пол нерешительна засмеялся.

Она в ответ рассмеялась, чуть ли не вскрикнула.

— А я еду и думаю, вдруг ты не встречаешь, что тогда делать, — сказала Клара.

Он порывисто взял ее за руку, и так они шли по узкой дорожке вдоль станционного забора. Потом пошли в сторону Наттола. День был мягкий, голубой. Повсюду лежали побуревшие листья; в живой изгороди подле леса пламенело множество ягод шиповника. Он собрал несколько штук с черенками.

— Хотя ты бы должна укорить меня, что я отнимаю еду у птиц, — сказал Пол, пристраивая их ей на груди жакета, — но в здешних местах корма много, и птицы не очень-то зарятся на шиповник. Весной сколько угодно ягод гниет на земле.

Так он болтал, едва сознавая, что говорит, знал

только, что пристраивает ягоды на грудь ее жакета, а Клара терпеливо стоит и ждет. И смотрит на его быстрые руки, полные жизни, и ей кажется, впервые она что-то по-настоящему видит. До этой минуты все было смутно.

Они подошли близко к шахте. Копер недвижно чернел среди полей, огромный отвал шлака поднимался чуть ли не прямо из овсов.

— Как жаль, что здесь шахта среди всей этой красоты! — сказала Клара.

— Ты так думаешь? — отозвался Пол. — Понимаешь, я так к ней привык, мне бы ее недоставало. Да. И мне нравится, что они тут повсюду. Мне нравятся вереницы вагонеток, и высокие копры, и пар днем, и огни ночью. Мальчишкой я всегда думал, что столб пара днем и столб огня ночью это и есть шахта с ее паром, и огнями, и тлеющими отвалами… и я думал, над ней всегда пребывает Господь.

Чем ближе они подходили к дому, тем молчаливей становилась Клара и, казалось, медлила, робела. Пол сжал ее пальцы. Она покраснела, но не ответила на пожатие.

— Тебе разве не хочется зайти к нам? — спросил он.

— Да нет, хочется, — ответила Клара.

Пол не догадывался, что у него в доме Клара окажется в странном, нелегком положении. Ему казалось, привести ее домой все равно что познакомить мать с одним из своих приятелей, только милее их.

Дом, где жили Морелы, стоял на уродливой улице, сбегающей с крутого холма. Сама по себе улица была ужасна. Но дом Морелов был получше многих других. Старый, закопченный, с большим эркером и общей стеной с другим домом, он, однако, казался мрачным. Но стоило Полу отворить дверь в сад, и все изменилось. Там был солнечный полдень, иной мир. При дорожке росли пижма и невысокие деревца. Напротив окна зеленела солнечная лужайка, окаймленная старой сиренью. Сад протянулся дальше, в нем было множество растрепанных хризантем, освещенных солнцем, платан и за ним луг, а дальше, если смотреть поверх коттеджей с красными крышами, во всем сиянии осеннего послеполуденного часа поднимались горы.

Миссис Морел в черной шелковой блузе сидела в качалке. Ее темные с сединой волосы были гладко зачесаны наверх, открывая высокий лоб и упрямые виски, лицо было бледное. Клара, испытывая мучительную неловкость, вошла за

Полом на кухню. Миссис Морел поднялась. И Кларе подумалось — вот настоящая дама, даже немного чопорная. Молодая женщина отчаянно волновалась. Сейчас она казалась почти печальной, почти покорной.

— Мама… Клара, — представил их друг другу Пол.

Миссис Морел подала гостье руку и улыбнулась.

— Пол много мне про вас рассказывал, — сказала она.

Клара вспыхнула.

— Надеюсь, вы не против, что я пришла, — запинаясь, вымолвила она.

— Мне очень приятно было услышать, что Пол приведет вас к нам, — ответила миссис Морел.

Пол смотрел на них, и сердце его сжималось от боли. Рядом с цветущей, пышной Кларой мать казалась совсем маленькой, болезненно-бледной, Отжившей свой век.

— День такой славный, ма, — сказал он. — И мы видели сойку.

Мать посмотрела на него — он повернулся к ней. И подумала, в своем темном, хорошо сшитом костюме он кажется настоящим мужчиной. Но притом бледный, отрешенный; удержать такого

трудно любой женщине. На сердце стало тепло, а потом она пожалела Клару.

— Оставьте свои вещи в гостиной, — приветливо предложила она молодой женщине.

— Спасибо вам, — отозвалась Клара.

— Пойдем, — сказал Пол и повел ее в небольшую, выходящую на фасад комнату, обставленную мебелью красного дерева, со стареньким фортепиано и мраморной пожелтевшей каминной полкой. Горел огонь в камине, и повсюду были разбросаны книги и чертежные доски.

— Я свои вещи оставляю лежать, где лежат, — сказал Пол. — Так куда проще.

Кларе нравились все эти принадлежности художника, и книги, и фотографии разных людей. Скоро Пол уже объяснил ей: вот Уильям, вот возлюбленная Уильяма в вечернем туалете, вот Энни с мужем, вот Артур с женой и с их малышом. У Клары было такое чувство, будто ее ввели в семью. Пол показал ей фотографии, книги, свои наброски, и они немного поболтали. Потом вернулись в кухню. Миссис Морел отложила книгу, которую читала. На Кларе в этот день была блузка тонкого шелка в узенькую черную и белую полоску; причесалась она совсем просто — волосы подняла и скрутила на макушке. Она казалась

сдержанной, чинной.

— Вы поселились на Снейнтонском бульваре, — сказала миссис Морел. — Когда я была девушкой… да какое там девушкой… когда я была молодой женщиной, мы жили на Минерва-Террас.

— Да что вы! — сказала Клара. — У меня там подруга в доме номер шесть.

И беседа завязалась. Они разговаривали о Ноттингеме, о его жителях, это обеим было интересно. Клара все еще волновалась, миссис Морел все еще держалась с подчеркнутым достоинством. Слова выговаривала очень ясно и четко. Но Пол видел, они поладят.

Миссис Морел примерялась к молодой женщине и поняла, что легко одерживает верх. Клара вела себя почтительно. Она знала, с каким необычайным уважением Пол относится к матери, и страшилась встречи, представляя миссис Морел суровой и холодной. И поразилась, увидев эту маленькую внимательную женщину, которая так охотно поддерживает разговор. Однако ж почувствовала, что, как и у Пола, не хотела бы оказаться у нее на дороге. Такая в его матери ощутима твердость и уверенность, будто она никогда в жизни ничего не опасалась.

Скоро сверху спустился Морел, он поспал по-

сле обеда и сейчас был взлохмаченный и зевал. Он скреб седую голову, тяжело ступал ногами в одних носках, из-под незастегнутого жилета торчала рубаха. Совсем неуместная фигура.

— Это миссис Доус, отец, — сказал Пол.

Тогда Морел подтянулся. Клара отметила про себя, что он и кланяется и пожимает руку совсем как Пол.

— Вон что! — воскликнул Морел. — Очень рад вас видеть… ей-ей рад. Да вы не стесняйтесь, мы вам рады. Располагайтесь поудобней, будьте как дома.

Клара удивилась этому потоку любезностей. Старый углекоп оказался такой галантный! До чего ж очаровательный!

— И вам пришлось издалека ехать? — поинтересовался Морел.

— Всего лишь из Ноттингема, — ответила Клара.

— Из Ноттингема! Чудный денек вам выдался для поездки.

Потом он юркнул в чулан ополоснуть лицо и руки и по привычке прошел оттуда к огню и стал вытираться.

За чаем Клара ощутила воспитанность и самообладание, царившие в этом доме. Миссис Морел

держалась очень непринужденно. Не прерывая беседы, она разливала и подавала чай, это делалось будто само собой. На овальном столе было вдоволь места; фарфор с узором из темно-синих ив на белоснежной накрахмаленной скатерти казался прелестным. В вазочке стояли желтые хризантемы. Клара с радостью почувствовала, она здесь к месту, словно придает законченность этому застолью. Но ее немного пугало редкостное умение всех Морелов, даже отца, владеть собой. Она прониклась их духом, здесь ощущалось душевное равновесие. Казалось, спокойствие и ясность властвуют здесь, каждый остается самим собой и все — в согласии друг с другом. Кларе это было отрадно, но в глубине души ее затаился страх.

Пока Клара с матерью разговаривали. Пол убрал со стола. Он входил и выходил, будто подгоняемый ветром, и Клара ощущала движения его быстрого сильного тела. Он появлялся и исчезал, точно неожиданно залетавший лист. Чуть не всем своим существом она была с Полом. По тому, как она сидела наклонясь вперед, будто слушая, миссис Морел понимала, что Клара не слышит ее, одержима другим, и опять пожалела гостью.

Пол убрал со стола и вышел в сад, предоставив

женщин друг другу. День был солнечный, в легкой дымке, тихий и теплый. Поглядывая в окно, Клара видела, как он бродит среди хризантем. Ей казалось, какие-то чуть ли не осязаемые узы привязали ее к нему; однако, когда он подвязывал к палочкам отягощенные цветами стебли, таким легким было каждое изящное, ленивое его движение, так явно он был отрешен, свободен от всех и вся, что в беспомощности своей она едва не закричала.

Миссис Морел встала.

— Позвольте мне помочь вам с посудой, — сказала Клара.

— Да ее так мало, я мигом вымою, — возразила та.

Но Клара вытерла чайную посуду и радовалась, что так поладила с матерью Пола; но до чего мучительно, что нельзя пойти за ним в сад. Наконец она разрешила себе выйти и почувствовала, будто ее отпустили с привязи.

Над дербиширскими холмами догорал золотой день. Пол стоял в дальнем конце сада у густо растущих бледных маргариток и смотрел, как последние пчелы вползают в улей. Услыхал шаги Клары, легко к ней повернулся и сказал:

— На сегодня наши труженицы отлетались.

Клара подошла и остановилась рядом. За низкой красной оградой перед ними тянулись сельские угодья, а вдалеке — холмы в золотистой дымке.

В эту минуту в садовую калитку входила Мириам. Она видела, как шла к Полу Клара, видела, как он обернулся, и вот они стоят бок о бок. Что-то в том, как, оказавшись рядом, они словно отгородились от всего мира, подсказало Мириам, что все свершилось между ними, что они уже, как ей подумалось, женаты. Очень медленно шла Мириам по присыпанной шлаком длинной садовой дорожке.

Клара сорвала коробочку с мальвы и надломила, чтоб высыпались семена. Повыше ее склоненной головы розовые цветы глядели во все глаза, будто защищая ее. Последние пчелы сваливались в улей.

— Считай денежки, — засмеялся Пол, когда она высыпала на ладонь плоские семена. Она подняла на него глаза.

— Я богатая, — сказала она с улыбкой.

— Сколько у тебя? Фью! — он щелкнул пальцами. — Могу я обратить их в золото?

— Боюсь, что нет, — засмеялась Клара.

Смеясь, они посмотрели друг другу в глаза. И тут

же заметили Мириам. Раз — и все изменилось.

— Привет, Мириам! — крикнул Пол. — Ты ведь сказала, что придешь!

— Ну да. А ты забыл?

Она обменялась рукопожатием с Кларой, сказала:

— Как-то странно видеть тебя здесь.

— Да, — отозвалась Клара. — Мне странно быть здесь.

Обе помешкали.

— Тут славно, правда? — сказала Мириам.

— Мне очень нравится, — ответила Клара.

И Мириам поняла, что Клару тут приняли, как ее саму никогда не принимали.

— Ты пришла одна? — спросил Пол.

— Да. Я пила чай у Агаты. Мы идем в церковь. Я на минутку, хотела повидать Клару.

— Что ж ты не пришла на чай к нам? — сказал он.

Мириам коротко засмеялась, и Клара с досадой отвернулась.

— Тебе нравятся хризантемы? — спросил Пол.

— Да, они очень хороши, — ответила Мириам.

— Какие тебе нравятся больше всех? — спросил он.

— Сама не знаю. Пожалуй, те, бронзовые.

— Ты, наверно, еще не все видела. Пойдем, посмотришь. Идемте, Клара, посмотрите, какие предпочтете вы.

Он повел их обеих в ту часть сада, где цветы всех оттенков неровной густой каймой тянулись вдоль дорожки до самого луга. Пол отметил про себя, что положение, в котором он очутился, нисколько его не смущает.

— Смотри, Мириам, — вот эти белые из твоего сада. Здесь они не так хороши, правда?

— Да, — сказала Мириам.

— Но они выносливей. У вас там они лучше защищены и вырастают большие, нежные, но быстро вянут. Мне нравятся вот эти маленькие желтые. Сорвать тебе несколько?

В церкви зазвонили колокола, звон разнесся над поселком, над лугом. Мириам взглянула на колокольню, гордо возвышавшуюся среди крыш, что там и тут жались друг к другу, и вспомнила зарисовки, которые как-то принес ей Пол. Тогда все было по-иному, но он и теперь еще не ушел от нее. Она попросила у него какую-нибудь книжку почитать. Он кинулся в дом.

— Как! Это Мириам? — холодно спросила мать.

— Да, она говорила, что зайдет повидаться с Кларой.

— Так ты ей заранее сказал? — язвительно отозвалась мать.

— Да. А почему бы нет?

— В самом деле, почему бы нет, — сказала миссис Морел и опять углубилась в книгу. Пол наморщился от материнской иронии, досадливо нахмурился и подумал: «Ну почему я не могу поступать по-своему?»

— Ты в первый раз видишь миссис Морел? — спросила Клару Мириам.

— Да. Но она такая славная!..

— Да, — сказала Мириам, опустив голову. — В некоторых отношениях она очень хорошая.

— Уж наверно.

— Пол тебе много про нее рассказывал?

— Да, немало.

— Вот как!

И, пока он не вернулся с книгой, они больше не разговаривали.

— Когда надо ее отдать? — спросила Мириам.

— Все равно, — ответил Пол.

Клара захотела вернуться в дом, а Пол решил проводить Мириам до калитки.

— Когда приедешь на Ивовую ферму? — спросила та.

— Трудно сказать, — ответила Клара.

— Мама просила передать, что будет тебе рада в любое время, если захочешь приехать.

— Спасибо. Я бы с удовольствием приехала, но не знаю, когда смогу.

— Ну и хорошо! — не без горечи воскликнула Мириам и отвернулась.

Она шла по дорожке, прижав губы к цветам, которые сорвал для нее Пол.

— Может, ты все-таки зайдешь? — предложил Пол.

— Нет, спасибо.

— Мы собираемся в церковь.

— Вот как, значит, я вас увижу! — Горько стало Мириам.

— Да.

Они расстались. Пол чувствовал себя виноватым перед ней. А ей было горько, и она его презирала. Ведь он все еще принадлежит ей, и однако, у него есть Клара, и он привел ее к себе домой, и в церкви будет сидеть с ней подле матери, и даст ей тот самый молитвенник, который в давние времена давал ей. Ей слышно было, как он бегом кинулся к дому.

Но вошел он не сразу. Остановился на траве и услышал голос Клары, а потом ответ матери:

— Есть у Мириам одно свойство, которое мне

отвратительно, в ней сидит ищейка.

— Да, — живо отозвалась мать, — да. Вот хоть сейчас, ну разве это не отвратительно!

Пола обдало жаром, он возмутился, что они так судят о Мириам. Какое у них право так говорить! Однако от их слов почему-то вспыхнула ненависть к Мириам. Потом душа взбунтовалась против Клары — почему она позволяет себе так говорить о Мириам! В конце концов, если уж говорить о добродетели, Мириам выше Клары. Он вошел в дом. Мать была явно взволнована. Она постукивала ладонью по ручке дивана, как делают женщины, когда их терпению приходит конец. Полу всегда невыносимо было видеть это движение. Все молчали, потом заговорил он.

В церкви Мириам увидела, он нашел для Клары нужный псалом в Псалтири, как находил прежде для нее. И во время службы он видел Мириам в другой стороне храма, шляпа отбрасывала густую тень на ее лицо. Каково ей видеть рядом с ним Клару? Прежде он об этом не подумал. Он чувствовал, что обходится с Мириам безжалостно.

После службы он пошел с Кларой через Пентрич. Был темный осенний вечер. Они попрощались с Мириам, и, когда оставили ее одну, у Пола сжалось сердце. «Но так ей и надо», — сказал он

про себя, и почти приятно было у нее на глазах уйти с другой, такой красивой.

В темноте пахло влажными листьями. Они шли, и теплая рука Клары безвольно лежала в его руке. Противоречивые чувства раздирали его. В душе бушевал бой, и худо ему было.

Они шли, и на Пентричском холме Клара прислонилась к нему. Он обнял ее за талию. Они шли, и он чувствовал под рукой упругое движенье ее тела, и уже не так сжималось сердце из-за Мириам, и кровь быстрей побежала по жилам. Он прижимал Клару ближе, ближе.

И она сказала тихонько:

— Ты все продолжаешь с Мириам.

— Только разговариваю. У нас и прежде мало что было, кроме разговоров, — с горечью сказал он.

— Твоя мать ее не любит, — сказала Клара.

— Да, не то бы я на ней женился. Но теперь все кончено, совсем!

В голосе его вдруг прорвалась ненависть.

— Иди я сейчас с ней, мы бы долго и скучно рассуждали о «Христианском таинстве» или о другом каком-нибудь занудстве. Слава Богу, я не с ней!

Несколько минут шли молча.

— Но ты не можешь совсем от нее отказаться, — сказала Клара.

— Не отказываюсь, потому что и отказываться не от чего, — сказал Пол.

— Для нее — есть от чего.

— Не понимаю, почему бы нам с ней на всю жизнь не остаться друзьями, — сказал Пол. — Но только друзьями.

Клара отклонилась от него, отодвинулась.

— Ты почему отодвигаешься? — спросил он.

Клара не ответила, но отодвинулась еще дальше.

— Почему тебе вздумалось идти одной? — спросил он.

Опять никакого ответа. Она шла обиженная, повесив голову.

— Потому что я хотел бы дружить с Мириам! — воскликнул он.

Клара не ответила.

— Говорю тебе, между нами только и есть, что слова, — твердил Пол, стараясь снова ее обнять.

Клара противилась. Он вдруг шагнул и встал, преградив ей дорогу.

— Будь оно неладно! — воскликнул он. — Что еще тебе надо?

— Беги лучше за Мириам, — съязвила Клара.

Кровь забурлила у него в жилах. Он вздернул верхнюю губу, словно оскалился. Клара угрюмо сгорбилась. Было темно, вокруг ни души. Пол вдруг обхватил ее, перегнул назад и яростным поцелуем приник к ее лицу. Она неистово вырывалась, увертывалась. Он крепко ее держал. Жадные, неумолимые губы его нашли ее рот. Грудь мужчины твердо как камень прижала ее грудь. Клара, беспомощная, обмякла в его объятиях, и он целовал ее, целовал.

Послышались шаги, кто-то спускался с холма.

— Выпрямись! Выпрямись! — хрипло сказал он, до боли стиснул ее руку. Не удержи он ее, она без сил упала бы наземь.

Она вздохнула и как во сне пошла с ним рядом. Они шли в молчании.

— Мы пойдем лугами, — сказал Пол, и тогда она пробудилась.

Но она позволила помочь ей переступить через изгородь и молча шла рядом с ним по первому темному лугу. Она знала, эта дорога в Ноттингем и на станцию. Пол озирался, что-то высматривал. Они вышли на голую вершину холма, где темнели развалины ветряной мельницы. Тут Пол остановился. Они стояли рядом в темноте и глядели на рассыпанные в ночи огни, пригоршни

мерцающих точек, поселки, лежащие там и тут во тьме, на холмах и в низинах.

— Мы будто бредем среди звезд, — сказал он с неуверенным смешком.

Потом крепко обнял ее. Клара отвернула лицо, угрюмо вполголоса спросила:

— Сколько времени?

— Не важно, — хрипло взмолился Пол.

— Нет, важно… важно! Мне надо идти!

— Еще рано, — сказал он.

— Сколько времени? — настаивала Клара.

Со всех сторон их окружала черная ночь, усыпанная и расцвеченная огоньками.

— Не знаю.

Клара положила руку ему на грудь, пытаясь нащупать часы. Пол почувствовал — по телу разлился огонь. Клара добралась до его жилетного кармана, а он стоял и тяжело дышал. В темноте она видела часы — бледный кружок, но цифр не различить. Она склонилась над часами. Пол все тяжело дышал и наконец опять ее обнял.

— Мне не видно, — сказала Клара.

— Ну и пусть.

— Да нет же, мне пора! — отворачиваясь, сказала она.

— Погоди! Я посмотрю! — Но и он ничего не

увидел. — Я зажгу спичку.

Втайне он надеялся, что уже слишком поздно и на поезд она не поспеет. Она увидела светящийся фонарь его ладоней, заслонивших огонек; вот и лицо его осветилось, взгляд устремлен на часы. Мгновенье — и опять стало темно. Перед глазами черно, лишь на земле у ноги еще рдеет спичка. А где же Пол?

— Ну что? — испуганно спросила Клара.

— Тебе уже не успеть, — услышала она из тьмы его голос.

Молчание. Клара чувствовала, она в его власти. Когда он отвечал, она слышала, как зазвенел его голос. И страшно ей стало.

— Сколько времени? — подчеркнуто спокойно, безнадежно спросила она.

— Без двух минут девять, — через силу он сказал правду.

— Дойду я отсюда до станции за четырнадцать минут?

— Нет. Во всяком случае…

В шаге-другом от себя она различала во тьме его силуэт. И хотелось сбежать.

— Неужели не успею? — жалобно сказала она.

— Если поспешишь, — резко ответил Пол. — Но ведь ты легко дойдешь и до трамвая. Это всего

семь миль, я тебя провожу.

— Нет, я хочу попасть на поезд.

— Но почему?

— Я… я хочу попасть на поезд.

Голос его вдруг изменился.

— Хорошо, — сухо, жестко сказал он. — Тогда идем.

И он нырнул в темноту впереди нее. Она побежала следом, готовая расплакаться. Теперь он стал груб, безжалостен. Она бежала за ним по кочковатым темным лугам, задыхалась, чуть не падала. Но двойной ряд огней на станции приближался. И вдруг:

— Вот он! — крикнул Пол и припустился бегом.

Послышался отдаленный перестук колес. Точно светящаяся гусеница, справа сквозь ночь двигался поезд. Перестук колес стих.

— Он сейчас на виадуке. Ты как раз успеешь.

Клара бежала, задыхаясь, и вот, наконец, она в поезде. Свисток отправления. И Пола нет. Нет! И она в вагоне, вокруг полно народу. Как это жестоко!

Пол повернулся и кинулся домой. Он и опомниться не успел, как очутился в кухне. Он был очень бледен. А глаза темные, и что-то зловещее в них, словно он пьян. Мать посмотрела на него.

— Ну и в хорошем же виде у тебя башмаки! — сказала она.

Он глянул на ноги. Потом сдернул пальто. Мать подумала, уж не пьян ли он.

— Значит, она успела на поезд? — спросила мать.

— Да.

— Ее-то туфли, надеюсь, не так перемазаны. Понять не могу, куда ты ее таскал!

Какое-то время Пол сидел молча, не двигаясь.

— Понравилась она тебе? — наконец нехотя спросил он.

— Да, она мне понравилась. Но тебе она надоест, сын. Сам знаешь.

Он промолчал. Мать заметила, как трудно он дышит.

— Ты что, бежал? — спросила она.

— Нам пришлось бежать к поезду.

— Ты себя загоняешь. Поди-ка выпей горячего молока.

Молоко отлично бы его подбодрило, но он отказался и пошел к себе. Не сняв покрывала, повалился ничком на кровать и заплакал слезами ярости и боли. Было и физически больно, так что он в кровь искусал губы, а смута в душе мешала думать, даже чувствовать.

Вот как она со мной обходится, а? — снова и снова мысленно повторял он, прижимаясь лицом к одеялу. И ненавидел Клару. Опять он возвращался к той сцене, и опять в нем вспыхивала ненависть.

Назавтра он держался замкнуто, отчужденно, как никогда. Клара была очень кроткая, можно сказать ласковая. Но он был сух, с оттенком презренья. Она вздыхала, оставалась все так же кротка.

Однажды вечером на той же неделе в Ноттингеме в Королевском театре в «Даме с камелиями» играла Сара Бернар. Полу хотелось увидеть эту старую знаменитую актрису, и он пригласил на спектакль Клару. Мать он попросил оставить для него-ключ на окне.

— Значит, брать билеты? — спросил он Клару.

— Да. И надень смокинг, пожалуйста! Я никогда не видела тебя в смокинге.

— Да что ты, Клара! Надо же, я — в театре в смокинге! — запротестовал он.

— Ты не любишь смокинг? — спросила она.

— Ну раз тебе очень хочется, надену. Но буду чувствовать себя дураком.

Она посмеялась над ним.

— Тогда почувствуй себя дураком, ради меня,

согласен?

От такой просьбы у него кровь забурлила в жилах.

— Видно, не миновать мне этого.

— Зачем тебе понадобился чемоданчик? — спросила Пола мать.

Он отчаянно покраснел.

— Клара просила, чтобы я… — начал он.

— Какие же у вас места?

— Первый ярус… по три с половиной шиллинга!

— Ого! — насмешливо воскликнула мать.

— Ну это же в кои веки, — сказал Пол.

Он переоделся на фабрике, надел пальто и шапку и встретился с Кларой в кафе. Она была с одной из своих подруг-суфражисток. На ней было старое длинное пальто, которое совсем ей не шло, голова повязана полушалком, который Пол терпеть не мог. К театру пошли втроем.

Клара еще на лестнице сняла пальто, и оказалось, она в подобии вечернего платья, открывающего руки, шею и часть груди. Волосы модно причесаны. В этом платье, зеленом, шелковом, простого покроя, она была очень хороша. Да, она великолепна. Видишь всю фигуру, словно обтянутую легкой тканью. Пол смотрел на нее и прямо

ощущал упругость и нежность этого стройного тела. Он крепко сжал кулаки.

И ему предстояло весь вечер сидеть, касаясь ее прекрасной обнаженной руки, смотреть на сильную шею, гордо поднятую над сильными плечами, на грудь под зеленым шелком, на изгибы рук и ног под облегающим платьем. Каким-то уголком души он опять ее возненавидел — зачем обрекает его на муку этой близости. Но и любил ее, когда, вскинув голову, она смотрела прямо перед собой, чуть надув губы, задумчивая, неподвижная, будто покорилась судьбе, которая сильнее ее. Ничего она не могла с собой поделать; она оказалась во власти чего-то, что важнее ее самой. Вечностью веяло от нее, будто от задумчивого сфинкса, и Пол ощутил властное желание ее поцеловать. Он уронил программку и низко нагнулся, чтобы, поднимая, украдкой поцеловать Кларину ладонь и запястье. Как мучительна ее красота. Она сидела не шевелясь. Лишь когда погас свет, чуть склонилась, подалась к нему, и он тихонько гладил ее кисть, руку. Слабый запах духов исходил от нее. Опять и опять накатывали раскаленные волны крови, каждая на миг глушила его сознание.

Спектакль шел своим чередом. Пол видел его

будто из дальней дали, будто драма развертывалась неведомо где, но, кажется, где-то в глубинах его существа. Он стал Клариными полными руками, ее шеей, ее вздымающейся грудью. Кажется, это и есть он. Где-то там все еще играют актеры, и он сливается с драмой. Сам по себе он не существует. Серые, а то черные глаза Клары, ее грудь, что льнет к нему, ее рука, что он сжимает в своих руках, — только это и есть на свете. И он мал, беспомощен, а она, облеченная силой, возвышается над ним.

Лишь антракты, когда загорался свет, причиняли ему четко выраженную боль. И хотелось куда-нибудь сбежать, пока снова не станет темно. Сбитый с толку, он плутал в поисках выпивки. Потом огни гасли, и он опять оказывался во власти странной безумной реальности, в которой слились Клара и драма на сцене.

Спектакль продолжался. Пол был одержим желанием поцеловать крохотную голубую венку, что примостилась в изгибе Клариного локтя. Он чувствовал эту жилку. Кажется, пока он не прижался к ней губами, жизнь его приостановилась. Поцеловать ее, непременно! Но кругом люди! И все-таки он быстро наклонился и коснулся ее губами. Усы пощекотали нежную плоть. Клара

вздрогнула, отдернула руку.

Но вот спектакль кончился, зажгли свет, публика аплодировала, Пол очнулся, глянул на часы. Его поезд уже ушел.

— Придется мне идти домой пешком! — сказал он.

Клара посмотрела на него.

— Уже так поздно? — спросила она.

Пол кивнул. Потом подал ей пальто.

— Люблю тебя! Ты так хороша в этом платье, — пробормотал он, пригнувшись к ее плечу, среди шумной толчеи.

Она все молчала. Они вышли из театра. Пол увидел идущих мимо людей, извозчиков, что поджидали седоков. Ему показалось, он встретился с горящими ненавистью карими глазами. Но не узнал их. Они с Кларой повернули, бессознательно направляясь к вокзалу.

Поезд уже ушел. Придется идти пешком десять миль.

— Не страшно, — сказал Пол. — Мне будет только приятно…

— А может, переночуешь у нас? — краснея, предложила Клара. — Я могу лечь с мамой.

Пол посмотрел на нее. Глаза их встретились.

— А что скажет твоя мама? — спросил он.

— Она не будет против.

— Ты уверена?

— Конечно!

— Значит, я пойду к тебе?

— Если хочешь.

— Хорошо.

И они повернули в другую сторону. На первой же остановке сели в трамвай. Свежий ветер дул им в лицо. Улицы были темны. Трамвай поспешал, покачивался. Пол сидел, крепко зажав в руке Кларину руку.

— А твоя мама уже легла? — спросил он.

— Возможно. Надеюсь, что нет.

Единственные прохожие, они быстро шли по молчаливой темной улочке. Клара юркнула в дом. Пол замешкался.

— Входи, — сказала она.

Пол мигом оказался на крыльце, и вот он уже в комнате. В двери напротив появилась мать, большая, недружелюбная.

— Кого это ты привела? — спросила она.

— Это мистер Морел, он опоздал на поезд. Я подумала, мы можем приютить его на ночь, не то ему придется отшагать десять миль.

Миссис Рэдфорд хмыкнула.

— Твое дело! Раз ты его пригласила, будет го-

стем, я-то не против. Хозяйка здесь ты!

— Если я вам не по душе, я могу и уйти, — сказал Пол.

— Не, не, еще чего! Заходите, располагайтесь! Вот только по вкусу ли вам будет, что я ей на ужин сготовила.

Ужин состоял из тарелочки жареной картошки и кусочка бекона. Стол был накрыт кое-как, на одного.

— Можете взять еще бекону, — продолжала миссис Рэдфорд. — А жареной картошки больше нету.

— Мне неловко вас беспокоить, — сказал Пол.

— Еще извиняться вздумал! Это не по мне! Вы ведь приглашали ее в театр, верно? — в вопросе слышалась насмешка.

— Ну и что? — неловко засмеялся Пол.

— Ну, так чего ж говорить про кусочек бекона! Снимайте пальто.

Большая, осанистая, она пыталась оценить, что же происходит. А тем временем хозяйничала у буфета. Клара взяла у Пола пальто. В комнате горела лампа, было очень тепло и уютно.

— Вот те на! — воскликнула миссис Рэдфорд. — И красавчики же вы оба, скажу я вам! Чегой-то вы так вырядились?

— По правде говоря, мы и сами не знаем, — сказал Пол, чувствуя себя мышью в лапах кошки.

— Нет места в нашем доме для этаких франтов, коли вы невесть чего об себе вообразили, — съязвила она. И это был злой выпад.

Оба они, и Пол в смокинге и Клара в зеленом платье с обнаженными плечами, порядком смутились. Оба чувствовали, что в этой кухонке им надо быть друг для друга защитой.

— Нет, вы только гляньте, как расцвела! — продолжала миссис Рэдфорд, показывая на Клару. — Чего она надумала, на кой это все?

Пол посмотрел на Клару. Она вспыхнула, даже шея пошла красными пятнами. Не сразу он сказал:

— И ведь вам приятно видеть ее такую?

Они сейчас были в ее власти. Сердце его все время громко стучало, нервы натянуты. Но он ей не поддастся.

— Это мне-то приятно! — крикнула старуха. — Чего ж приятного, коли она ведет себя дура дурой!

— Я видал, иные люди ставят себя в положение и поглупее, — сказал он. Теперь он защищал Клару.

— Вон что! Это когда ж? — ехидно отозвалась

старуха.

— А когда они похожи на пугало, — отвечал Пол.

Большая, грозная, миссис Рэдфорд застыла на каминном коврике с вилкой в руке и ответила не сразу.

— Обои дураки, и те и эти, — наконец сказала она и отвернулась к жаровне.

— Нет, — упрямо возразил Пол. — Люди должны выглядеть как можно лучше.

— И по-вашему, вот это и значит выглядеть мило! — крикнула мать, презрительно ткнув вилкой в сторону Клары. — Это… это похоже, будто она толком и не одета!

— Да просто вам завидно, что сами не можете вот так щегольнуть, — засмеялся Пол.

— Я-то! Да я с кем хочешь могла б пойти в вечернем наряде, была бы охота! — последовал презрительный ответ.

— А чего ж не захотели? — задал он вполне уместный вопрос. — Или ходили?

Миссис Рэдфорд молчала. Перевернула на сковороде бекон. У Пола колотилось сердце, кажется, он всерьез ее обидел.

— Я-то! — наконец воскликнула миссис Рэдфорд. — Нет, не ходила я! И когда в услужении

была, раз увижу, какая из служанок пошла из дому с голыми плечами, я уж знала, дешевка она, и на танцульку идет.

— А вы что, такая уж благонравная были, не до танцулек? — спросил Пол.

Клара сидела, не поднимая головы. Глаза Пола потемнели и недобро блестели. Миссис Рэдфорд сняла с огня сковороду, стала выкладывать ему на тарелку кусочки бекона.

— Вон этот ишь как славно поджарился! — сказала она.

— Зачем же класть мне самый лучший! — сказал Пол.

— А она сама взяла, что хотела, — был ответ.

В презрительном тоне миссис Рэдфорд послышалась снисходительность, и Пол понял, она смягчилась.

— Все-таки возьми немножко, — предложил он Кларе.

Униженная, одинокая, она подняла на него серые глаза.

— Нет, спасибо! — сказала она.

— Ну почему ты не хочешь? — ласково настаивал он.

Кровь огнем полыхала в жилах. Миссис Рэдфорд опять села, большая, внушительная, отчужден-

ная. Пол оставил Клару, все внимание направил на мать.

— Говорят, Саре Бернар пятьдесят, — сказал он.

— Пятьдесят! Шестьдесят ей! — услышал он в ответ.

— А ведь и подумать невозможно, — сказал он. — Я и сейчас готов был вопить от восторга.

— Интересно, как бы это я стала вопить из-за потаскухи шестидесяти лет! — сказала миссис Рэдфорд. — Пора ей вспомнить, что она бабушка, а не катамаран визгливый…

Пол засмеялся.

— Катамаран — лодка у малайцев, — сказал он.

— А у меня это то, что я говорю, — возразила она.

— Моя мать тоже иногда совсем не те слова говорит, и спорить с ней бесполезно, — сказал Пол.

— Она, глядишь, надает вам затрещин, — добродушно сказала миссис Рэдфорд.

— Она бы рада, и грозится, ну, я, бывает, и подставлю ей скамеечку.

— А вот с моей матерью, что хуже всего, — сказала Клара, — ей и скамеечка не требуется.

— Но до этой вот мадамы матери и длинной дубинкой не достать, — не осталась в долгу мис-

сис Рэдфорд.

— А я думаю, мадаме дубинка не по вкусу, — со смехом возразил Пол. — Мне, например, не по вкусу.

— Вас обоих надо бы треснуть по башке, вам бы это пошло на пользу, — вдруг рассмеялась миссис Рэдфорд.

— Что это вам так не терпится задать мне жару? — спросил Пол. — Я ведь ничего у вас не украл.

— Да уж. Буду смотреть в оба, — засмеялась мамаша.

Вскоре ужин был окончен. Миссис Рэдфорд сидела в своем кресле. Пол закурил. Клара пошла наверх, вернулась с пижамой и повесила ее проветрить на каминную решетку.

— А я об ней позабыла, — сказала миссис Рэдфорд. — Откуда она взялась?

— Из моего комода.

— Хм! Ты ее для Бакстера покупала, а он не стал носить, да? — она засмеялась. — Сказал, на что, мол, ему в кровати штаны. — Она доверительно повернулась к Полу: — Терпеть не мог эти самые пижамы.

Молодой человек пускал колечки дыма.

— Так ведь кому что нравится, — засмеялся он.

Потолковали о достоинствах пижамы.

— Моей матери нравится, когда я в пижаме, — сказал Пол. — Она говорит, я будто Пьеро.

— Сдается мне, пижама вам к лицу, — сказала миссис Рэдфорд.

Немного спустя Пол взглянул на небольшой будильник, тикающий на каминной полке. Была половина первого.

— Забавно, — сказал он. — Но после театра не ляжешь сразу спать, надо несколько часов, чтоб успокоиться.

— Да уж, самое время успокоиться, — сказала мамаша, убирая со стола.

— А ты устала? — спросил Пол Клару.

— Ничуть, — ответила она, избегая его взгляда.

— Сыграем партию в крибидж? — предложил он.

— Я забыла, как в него играть.

— Что ж, я опять тебя научу. Можно нам перекинуться в карты, миссис Рэдфорд? — спросил он.

— Делайте чего хотите, — ответила та. — Только ведь поздно.

— Одна-две партии вгонят нас в сон, — ответил Пол.

Клара принесла карты и, пока он их тасовал, сидела и вертела на пальце обручальное кольцо.

Мамаша мыла в чулане посуду. Пол чувствовал: чем дальше, тем труднее в доме дышать.

— Пятнадцать два, пятнадцать четыре, пятнадцать шесть и восемь!..

Часы пробили час. Игра все продолжалась. Миссис Рэдфорд покончила с мелочами, которые надо переделать перед сном, заперла дверь, налила воды в чайник. А Пол все сдавал карты да подсчитывал. Кларины плечи и шея не давали ему покоя. Ему казалось, он видит, где начинается ложбинка между грудей. Не мог он сейчас уйти от Клары. А она следила за быстрыми движениями его рук и чувствовала — ноги и руки ее слабеют. Так она близко, он все равно что касается ее, но нет, не все равно. Он распалился. Как же он ненавидел эту мамашу. Она все сидит, клюет носом, но не сдается, упрямая. Пол глянул на нее, потом на Клару. Она встретила его взгляд — гневный, насмешливый, безжалостный, как сталь. Ответила ему взглядом, полным досады. Теперь он знал, она-то с ним заодно. И продолжал игру.

Наконец мамаша решительно встряхнулась и сказала:

— Не пора ли вам обоим ложиться?

Пол молча продолжал игру. Так она ему ненавистна, эта мамаша, убить ее готов.

— Еще минутку, — сказал он.

Старуха поднялась, упрямо проследовала в чулан, возвратилась со свечой для Пола, поставила ее на каминную полку. И опять уселась. Ненависть обожгла Пола, он бросил карты.

— Ладно, тогда мы кончим, — сказал он, но в голосе его был вызов.

Клара видела, он крепко сжал губы. И опять на нее посмотрел. Это было как сговор. Она склонилась над картами, покашляла, прочищая горло.

— Ну, слава Богу, кончили, — сказала миссис Рэдфорд. — Вот, возьмите. — И сунула Полу согретую пижаму. — И свечу прихватите. Ваша комната будет как раз над этой. Там их всего две, не больно запутаешься. Ну, спокойной ночи. Отдыхайте на здоровье.

— Да уж отдохну, я всегда хорошо сплю, — сказал он.

— А как же, в ваши годы так и полагается, — отозвалась она.

Пол пожелал Кларе спокойной ночи и пошел. Выскобленные добела деревянные ступени витой лестницы при каждом шаге скрипели и трещали. Он упрямо поднимался. Увидел две двери одна напротив другой. Он вошел в свою комнату, хлопнул дверью, но на задвижку не запер.

Комната оказалась маленькая, с широкой кроватью. На туалетном столике с зеркалом лежали несколько Клариных шпилек, щетка для волос. В углу закрытые материей висели ее платья, юбки. Даже пара чулок на спинке стула. Пол внимательно оглядел комнатку. На полке две книжки, которые он ей дал почитать. Он разделся, сложил свой костюм, сел на кровать и прислушался. Потом задул свечу, лег и уже через минуту провалился в сон. И вдруг щелк! сна как не бывало, и он корчится в муках. Будто, когда он почти уже уснул, что-то ожгло его, привело в бешенство. Он сел, скрестив ноги по-турецки, и, не шевелясь, вглядываясь во мрак, прислушался. Где-то на улице услышал кошку, потом тяжелые, твердые шаги матери, потом отчетливые слова Клары:

— Ты не расстегнешь мне платье?

Недолгая тишина. Наконец голос матери:

— Ну вот, готово. А ты наверх не идешь?

— Нет, еще нет, — спокойно ответила дочь.

— Ну чего ж, ладно! Если, по-твоему, еще не так поздно, сиди. Только смотри приходи, пока я не легла, а то разбудишь.

— Я недолго, — сказала Клара.

И Пол услышал медленные шаги мамаши вверх по лестнице. В его дверь сквозь щели просочился

свет свечи. Мамаша платьем задела за дверь, и у Пола екнуло сердце. Потом стало темно, щелкнула задвижка. Неспешно, неторопливо она готовилась ко сну. Прошло много времени, наконец в ее комнате все стихло. Пол был весь как натянутая струна, чуть дрожа сидел он на кровати. Дверь прикрыта неплотно. Когда Клара пойдет наверх, он ее перехватит. Он ждал. Мертвая тишина. Часы пробили два. Потом внизу звякнула кочерга о каминную решетку. Он уже не мог совладать с собой, сдержать дрожь. Если он сейчас же не пойдет, он просто умрет.

Он поднялся, вздрагивая, постоял. Потом шагнул к двери. Он старался ступать легко. Громко, как выстрел, скрипнула первая ступенька. Старуха шевельнулась в постели. На лестнице темно. У ее подножья в щель двери, что ведет в кухню, пробивается свет. Пол на миг остановился. Потом машинально двинулся дальше. Ступеньки скрипели под его шагами, и по спине забегали мурашки, а вдруг позади наверху сейчас отворится мамашина дверь. Он не сразу нашарил дверь у подножья лестницы. Задвижка щелкнула и открылась. Он вошел в кухню и с шумом захлопнул за собой дверь. Теперь мамаша уже не рискнет спускаться.

И вдруг он остановился как вкопанный. Клара стояла на коленях спиной к нему на груде снятого белья, лежащего на каминном коврике, и грелась перед огнем. Она не оглянулась, сидела подавшись вперед, красивая округлая спина обращена к нему, а лица не видно. Греется перед камином в свое удовольствие. Красный отблеск лежит на одном ее боку, теплая и темная тень — на другом. Руки лениво опущены.

Неистовая дрожь сотрясла Пола, он стиснул зубы и кулаки, стараясь овладеть собой. И пошел к ней. Положил руку ей на плечо, другой рукой взял ее за подбородок, хотел поглядеть в лицо. Она вздрогнула раз, другой, а головы не подняла.

— Прости! — пробормотал он, спохватясь, что руки у него ледяные.

Она пугливо вскинула на него глаза, точно зверек, которому грозит смерть.

— У меня руки такие холодные, — пробормотал Пол.

— Мне приятно, — прошептала она и закрыла глаза.

Она сказала, и он ощутил на губах ее дыхание. Руками она обхватила его колени. Свисающий шнурок его пижамы коснулся ее, и она вздрогнула. А Пол согрелся подле камина, и дрожь

утихла.

Наконец, не в силах больше так стоять, он поднял ее, и она уткнулась головой ему в плечо. Он гладил ее медленно, ласково, с бесконечной нежностью. Она прильнула к нему, стараясь спрятаться в его объятиях. Он крепко ее прижал. Тогда, наконец, она посмотрела на него, молча, умоляюще, пытаясь понять, надо ли ей стыдиться.

Глаза его были темные, глубокие, очень спокойные. Словно и сама ее красота и то, что он завладел этой красотой, ранили его и печалили. С болью смотрел он на нее, и страшно ему стало. Он ощутил свое ничтожество перед нею. Она лихорадочно целовала его глаза, один, потом другой, льнула к нему. Она отдала себя ему. Он ее крепко сжимал. То была минута счастья почти мучительного.

Она стояла, позволяя восхищаться собой и трепетать от радости. Его обожание было целительно для ее уязвленной гордости, для нее самой, делало ее счастливой. Помогло ей распрямиться, вновь обрести гордость. Слишком долго ее гордость была оскорблена. Слишком долго никто не понимал ее истинную цену. И вот она вновь излучает радость и гордость. Настал час

выздоровления, признания.

Пол посмотрел на нее, он весь сиял. Они засмеялись, глядя друг на друга, и он прижал ее к груди. Часы отмеряли секунды, проходили минуты, а эти двое все стояли, тесно прижавшись друг к другу, прильнув губами к губам, точно статуя, изваянная из одной глыбы.

И опять беспокойно, жадно по ее телу зашарили, заскользили его пальцы. И одна за другой вздымались горячие волны крови. Клара положила голову ему на плечо.

— Пойдем ко мне в комнату, — прошептал Пол.

Она посмотрела на него и покачала головой, безутешно дрогнули губы, в глазах — страсть. Пол смотрел на нее в упор.

— Да! — сказал он.

Опять она покачала головой.

— Почему нет? — спросил он.

Она смотрела на него горестно, все тем же полным страсти взглядом, и опять покачала головой. Глаза Пола стали жесткими, он отступился.

Потом, уже в постели, он удивлялся, почему она отказалась прийти к нему открыто, не таясь от матери. Ведь тогда все стало бы ясно и определенно. И она могла бы провести с ним ночь, не

надо было бы, как сейчас, ложиться с матерью. Странно это, непонятно. И почти сразу он уснул.

Утром он проснулся, услышав чей-то голос. Открыл глаза и увидел — на него смотрит большая, величественная миссис Рэдфорд. В руке у нее чашка чаю.

— Вы чего ж, вздумали проспать до Судного дня? — сказала она.

Он сразу рассмеялся.

— Да ведь, наверно, еще и пяти нет, — сказал он.

— Ну, хочешь — не хочешь, полвосьмого уже, — сказала она. — Вот я вам чаю принесла.

Он потер лицо, откинул со лба встрепанные волосы и встряхнулся.

— Да что ж это как поздно! — проворчал он.

Досадно стало, что его разбудили. А миссис Рэдфорд это позабавило. Из фланелевой пижамы торчала его шея, округлая, белая, совсем девичья. Он сердито взлохматил волосы.

— Что толку скрести голову, — сказала она. — Часы назад не повернешь. Ну, долго еще мне тут стоять с чашкой в руках?

— Да ну ее, чашку! — буркнул Пол.

— Надо было пораньше лечь, — сказала мамаша.

Он глянул на нее, бесстыдно засмеялся.

— Я лег раньше вас, — сказал он.

— Скажет тоже! — воскликнула она.

— Это ж надо, чтоб мне подали чай в постель! — сказал он, помешивая в чашке. — Моя мать подумала б: конченый я человек.

— Неужто она вам никогда чайку в кровать не подаст? — спросила миссис Рэдфорд.

— Ей это и в мысль не придет, все равно что на голову стать.

— Своих я всегда баловала! Потому они у меня такие дурные, — сказала мамаша.

— Вы одну только Клару и могли избаловать, — сказал он. — А мистер Рэдфорд на небесах. Так что вы и есть хуже всех.

— Я не хуже всех, только уступчивая я, — сказала она, выходя из комнаты. — Только дурная я, вот чего!

За завтраком Клара была тиха, но поглядывала на Пола как-то по-хозяйски, и это его бесконечно радовало. Мамаше он явно пришелся по душе. Он заговорил о своей живописи.

— Ну какой вам толк изводиться да надрываться, крутиться и вертеться — и все из-за этих ваших картинок? — воскликнула миссис Рэдфорд. — Хотела бы я знать, что вам от них за радость? Жили

бы лучше в свое удовольствие.

— А я ж в прошлом году получил за них больше тридцати гиней.

— Да неужто! Дело серьезное, а все одно, прорва времени на это идет, зря вы это.

— И мне еще должны четыре фунта. Один обещал мне заплатить пять фунтов, если напишу его, и его супругу, и их пса, и их дом. А я вместо пса написал кур, спорить он не стал, так я уж один фунт скостил. Противная работенка, и пса я невзлюбил. Но картинка вышла неплохая. Что мне делать с этими четырьмя фунтами, когда получу?

— Здрасте! Вам лучше знать, куда свои деньги девать, — сказала миссис Рэдфорд.

— А я хочу эти четыре фунта пустить на ветер. Съездим на денек-другой к морю?

— Кто?

— Вы, Клара и я.

— Чего, на ваши деньги! — не без возмущенья воскликнула старуха.

— А почему нет?

— Гляжу я, вы живо себе шею сломаете в скачке с препятствиями, — сказала она.

— Лишь бы удовольствие получить, а денег не жалко! Поедем?

— Нет, уж это вы промеж себя договаривайтесь.

— А вы не против? — спросил Пол, дивясь и радуясь.

— Против я, нет ли, делайте как хотите, — заявила миссис Рэдфорд.

13. Бакстер Доус

Через день-другой после того, как Пол был с Кларой в театре, он выпивал с приятелями в «Чаше пунша», когда туда вошел Доус. Муж Клары заметно полнел, вялые веки полуприкрыли карие глаза, и уже нет в его теле былой здоровой крепости. Он очень заметно сдавал. После ссоры со своей сестрой он поселился в дешевых меблированных комнатах. Любовница ушла от него к человеку, который намерен был на ней жениться. Одну ночь Доус провел в каталажке за пьяную драку, и еще он был причастен к одному весьма сомнительному пари.

Они с Полом, бесспорно, были врагами, и, однако, существовало меж ними ощущение своеобразной близости, точно втайне они связаны друг с другом, так подчас бывает между людьми, которые и двумя словами не перекинулись. Пол часто думал о Бакстере Доусе, часто хотел сойтись с ним, завязать дружбу. Он понимал, что и Доус часто думает о нем, подвластный какому-то странному притяжению. Однако их направленные друг на друга взгляды неизменно были враждебны.

По положению на фабрике Пол был выше Доуса, так что именно ему следовало предложить тому выпить.

— Что будете пить? — спросил он.

— С таким кровопивцем компанию не вожу! — ответил Доус.

Пол с пренебреженьем пожал плечами и отвернулся.

— Аристократия, можно сказать, та же военщина, — продолжал Пол, обращаясь к окружающим. — Взять хотя бы Германию. Там тысячи аристократов существуют за счет армии. Они отчаянно бедны, а жизнь тянется отчаянно медленно. Вот они и надеются на войну. Для них война — возможность преуспеть. Пока нет войны, они никчемные бездельники. А в войну начальники да командиры. Вот и выходит, им необходима война!

Здешние любители судить и рядить обо всем на свете не жаловали Пола — слишком он вспыльчивый и властный. Людей постарше него он раздражал своей напористостью и самоуверенностью. Слушали его молча, а когда замолкал, не огорчались.

Сейчас Доус прервал этот поток красноречия, спросил Пола громко, с издевкой:

— Вы чего ж, позавчерашний день в театре всего этого набрались?

Пол посмотрел на него, глаза их встретились. И он понял, Доус видел, как они с Кларой выходили из театра.

— Что это он там про театр? — спросил один из приятелей Пола, пользуясь случаем поддеть его и учуяв возможность развлечься.

— А в смокинг вырядился, расфрантился, — с усмешкой сказал Доус, презрительно кивнув в сторону Пола.

— Ишь какой, — сказал общий друг. — С девкой и все как полагается?

— Ясно, с девкой! — сказал Доус.

— Ну-ка, ну-ка, выкладывай! — крикнул их общий друг.

— А чего, я уж выложил, — сказал Доус, — сдается мне, и Морел слышал, и все.

— Провалиться мне на этом месте! — сказал общий друг. — И с ним и впрямь была девка?

— Девка, лопни мои глаза… Верное слово!

— А ты почем знаешь?

— Сдается мне, он у ней и ночевал…

Все вволю посмеялись над Полом.

— А она кто такая? Знаешь ты ее? — спросил их общий друг.

— Еще как, — сказал Доус.

Опять взрыв хохота.

— Тогда выкладывай, — сказал их общий друг.

Доус помотал головой и отхлебнул пива.

— Чудно, чего ж он сам-то не говорит, — сказал Доус. — Ничего, вскорости расхвастается.

— Ну-ка, Пол, — сказал его приятель, — так не годится. Мог бы и признаться.

— В чем признаться? Что сводил человека в театр?

— Послушай, парень, если ничего тут худого не было, скажи нам, кто она такая, — требовал друг.

— Да она такая-растакая, — сказал Доус.

Пол был взбешен. Доус, усмехаясь, утер пальцами свои золотистые усы.

— Разрази меня!.. Из этаких, а? — сказал общий друг. — Пол, дружище, ну и удивил ты меня. Стало быть, ты ее знаешь, Бакстер?

— Самую малость вроде!

Он подмигнул Полу.

— Ладно, — сказал Пол. — Я пошел!

Общий друг, удерживая его, положил руку ему на плечо.

— Нет уж, парень, — сказал он, — ты так легко не отделаешься. Мы желаем получить полный отчет об этом дельце.

— Вот и получайте его от Доуса, — сказал Пол.

— Уж не увиливай, сознавайся, малый, раз наделал делов, — заявил друг. И тут Доус такое сказал, что Пол выплеснул ему в лицо полкружки пива.

— Эй, мистер Морел! — крикнула буфетчица и зазвонила в звонок, призывая вышибалу.

Доус сплюнул и кинулся было на молодого человека. Но между ними встал дюжий парень в рубашке с закатанными рукавами и брюках в обтяжку.

— Ну-ка! — сказал он, грудью напирая на Доуса.

— Выходи! — крикнул Доус.

Побелев, дрожа от ярости, Пол оперся о медный поручень стойки. Он ненавидел Доуса — пропади он пропадом! — но, заметив, как у того намокла прядь на лбу, подумал — до чего жалок. И не двинулся с места.

— Выходи, ты… — выдохнул Доус.

— Хватит, Доус, — крикнула буфетчица.

— Пойдем, — дружелюбно-настойчиво говорил Доусу вышибала, — иди-ка подобру-поздорову.

И полегоньку подталкивал буяна к двери.

— Это вот он, подонок, кашу заварил! — кричал Доус, не без опаски тыча пальцем в сторону Пола Морела.

— Да что вы это выдумываете, мистер Доус! — возразила буфетчица. — Сами знаете, вы первый начали.

А вышибала все напирал на Доуса, и тот отступал, пока не оказался в дверях, на ступенях, ведущих на улицу; тогда он круто обернулся.

— Ладно же, — сказал он, в упор глядя на своего соперника.

Странное у Пола было чувство к этому человеку — жалость, почти нежность, и вместе дикая ненависть. Цветная дверь захлопнулась, в пивной стало тихо.

— Так ему и надо! — сказала буфетчица.

— Да ведь погано, когда тебе в глаза плеснут пивом, — сказал общий друг.

— А я рада, что он получил, так и знайте, — сказала буфетчица. — Вам еще налить, мистер Морел?

Она нерешительно взяла стакан Пола. Он кивнул.

— А он такой, Бакстер Доус, ему на все наплевать, — сказал один из сидящих в пивной.

— Фу! И впрямь так! — сказала буфетчица. — Горластый он, да, а крикуны они народ никчемный. Какой сладко говорит, он и есть сам дьявол!

— Вот что, Пол, — сказал друг, — ты теперь,

парень, кой-какое время поберегись.

— Вы ему не попадайтесь, и всего делов, — сказала буфетчица.

— А боксировать можешь? — спросил один из приятелей.

— Даже и не пробовал, — ответил Пол, все еще очень бледный.

— Могу тебя поучить, — предложил приятель.

— Спасибо, у меня времени нет.

И скоро он распрощался.

— Подите с ним, мистер Дженкинсон, — шепнула буфетчица и подмигнула ему.

Дженкинсон кивнул, взял шапку, от души пожелал всем доброй ночи и последовал за Полом.

— Обожди, дружище. Нам вроде по пути.

— Не по вкусу это мистеру Морелу, — сказала буфетчица. — Не станет он теперь сюда ходить. Жалко, с ним поговорить одно удовольствие. А Бакстер Доус так и просится за решетку, вот что я вам скажу.

Пол скорее умер бы, чем рассказал матери про эту стычку. Его терзали муки унижения и неловкости. Теперь о многом в своей жизни он с матерью не мог говорить. У него появилась своя отдельная жизнь — жизнь сексуальная. Остальное он еще делил с ней. Но что-то он вынужден от

нее утаивать, и это раздражало. Некое молчание установилось между ними, и в этом молчании Пол ощущал — ему надо защищаться, мать его осуждает. И минутами ненавидел ее и рвался из этого рабства. Жизнь его жаждала свободы от материнских уз. Ведь его жизнь — точно замкнутый круг, поистине возвращаешься на круги своя и не двигаешься дальше. Мать его родила, любила, делила с ним жизнь, и всю свою любовь он отдал ей, и не свободен двигать вперед собственную жизнь, по-настоящему полюбить другую женщину. Сейчас он, сам того не ведая, противился влиянию матери. Многим с нею не делился, они стали далеки друг от друга.

Клара была счастлива, почти уже уверена в нем. Наконец-то он принадлежит ей; а потом опять пришла неопределенность. Пол шутя рассказал ей о стычке с ее мужем. Клара вспыхнула, серые глаза засверкали.

— В этом весь Бакстер, — воскликнула она. — Дубина! Не место ему среди порядочных людей.

— А ты вышла за него, — напомнил Пол.

Она вскипела.

— Да, вышла! — крикнула она. — Но откуда мне было знать!

— Похоже, раньше он был довольно славный, —

сказал Пол.

— По-твоему, это я его таким сделала! — воскликнула она.

— Да нет же! Он сам таким сделался. Но что-то в нем есть…

Клара внимательно посмотрела на возлюбленного. Что-то в нем ей ненавистно, какое-то бесстрастное неприятие ее, какая-то холодность, из-за которой истинно женская душа ее ожесточилась против него.

— И что же ты собираешься делать? — спросила она.

— То есть?

— С Бакстером.

— А что тут сделаешь? — возразил Пол.

— Надеюсь, ты сумеешь его одолеть, если дойдет до драки? — сказала она.

— Нет. Я не любитель пускать в ход кулаки. Забавно. Ведь у большинства мужчин это врожденное — сжать кулаки и вдарить. А у меня этого нет. Уж если сражаться, я предпочел бы нож или пистолет.

— Тогда обзаведись чем-нибудь таким, — сказала она.

— Нет, — засмеялся он. — Я не любитель пускать кровь.

— Но он тебя исколошматит. Ты его не знаешь.

— Ладно, — сказал Пол, — посмотрим.

— И ты позволишь ему тебя исколошматить?

— Возможно, если ничего не смогу сделать.

— А если он тебя убьет? — сказала Клара.

— Я бы пожалел и его, и себя.

Клара помолчала.

— Зла на тебя не хватает! — воскликнула она.

— Не в первый раз слышу, — засмеялся Пол.

— Ну почему ты такой глупый? Ты Бакстера не знаешь.

— И не хочу знать.

— Понятно, но не даваться же ему в руки.

— А что прикажешь делать? — со смехом спросил Пол.

— На твоем месте я бы носила с собой револьвер, — сказала Клара. — Я знаю, Бакстер опасен.

— Как бы мне не отстрелить себе пальцы, — сказал он.

— Не отстрелишь. Но неужели ты не запасешься оружием? — взмолилась она.

— Нет.

— Ничем-ничем?

— Нет.

— И дашь ему разделаться с тобой?

— Да.

— Дурак ты!

— Правильно!

Клара в сердцах стиснула зубы.

— Да я сама готова тебя исколотить, — крикнула она в ярости.

— Почему?

— Позволить такому вот Бакстеру с собой разделаться!

— Если он возьмет верх, можешь к нему вернуться, — сказал Пол.

— Хочешь, чтоб я тебя возненавидела? — спросила Клара.

— Просто говорю тебе, — ответил он.

— А еще уверяешь, что любишь! — негромко, негодующе воскликнула она.

— Выходит, я должен расправиться с ним, чтоб доставить тебе удовольствие? — сказал он. — Но представляешь, какую бы он тогда получил надо мной власть.

— Ты думаешь, я дура! — воскликнула Клара.

— Ну что ты. Но ты меня не понимаешь, моя милая.

Оба помолчали.

— Но нельзя же подставлять себя под удар, — взмолилась Клара.

Он пожал плечами и процитировал:

Тому, кто в праведность облек
Свой чистый дух бесстрастный,
Толедский ни к чему клинок
И яд стрелы опасный.

Она пытливо на него посмотрела.

— Хотела бы я тебя понять, — сказала она.

— Да тут и понимать нечего, — засмеялся Пол.

Клара опустила голову, задумалась.

Несколько дней Пол не видел Доуса; но однажды утром, взбегая по лестнице из комнаты спиральщиц, он нос к носу столкнулся с тяжеловесным кузнецом.

— Ах ты!.. — крикнул тот.

— Извините! — сказал Пол и пошел дальше.

— Извините, — передразнил Доус.

Пол негромко насвистывал «Средь девушек меня оставь».

— Недолго тебе свистать, парень! — сказал кузнец.

Пол пропустил угрозу мимо ушей.

— Ты мне ответишь за тот фокус в пивной.

Пол прошел к своему столу в углу комнаты и стал листать гроссбух.

— Поди скажи Фанни, мне нужен заказ по распоряжению 097, быстро! — велел он рассыль-

ному.

Доус стоял в дверях, высокий, угрожающий, смотрел на макушку молодого человека.

— Шесть плюс пять одиннадцать, семь — один плюс шесть, — вслух подсчитывал Пол.

— Слышь, что я говорю! — сказал Доус.

— Пять шиллингов девять пенсов! — сказал Пол и записал в книгу. — Что такое? — спросил он.

— Я тебе покажу, что такое, — сказал кузнец.

Пол продолжал считать вслух.

— Тварь трусливая… кишка тонка со мной как положено!

Пол схватил тяжелую линейку. Доус вздрогнул. Пол прочертил несколько линий в гроссбухе. Доус осатанел.

— Ну смотри, поганец, где ни то мы с тобой встретимся, и уж ты у меня заткнешься!

— Ладно, — сказал Пол.

И кузнец тяжело шагнул прочь. В эту минуту раздался резкий свист. Пол подошел к переговорной трубке.

— Да! — сказал он и стал слушать. — А-а… да! — Послушал, засмеялся. — Сейчас спущусь. У меня тут гость.

По его тону Доус чуял, он разговаривал с Кларой. И опять шагнул к нему.

— Ах ты паршивец! — сказал он. — Сейчас я тебя угощу! Покажу тебе, как нахальничать, бесстыжая харя!

Конторщики, сидящие тут же, подняли головы. Появился рассыльный Пола, он принес что-то белое.

— Фанни говорит, если б вы ее предупредили, все было бы готово еще вчера вечером.

— Хорошо, — сказал Пол, глянув на чулок. — Отложи его.

Доус стоял растерянный, беспомощный от ярости. Морел обернулся.

— Извините, я на минутку, — сказал он Доусу и хотел бежать вниз.

— Стой, куда припустился! — заорал кузнец, схватив его за плечо. Пол круто повернулся.

— Эй! Эй! — в страхе крикнул рассыльный.

Из-за стеклянной перегородки своего кабинетика выбежал Томас Джордан.

— В чем дело, в чем дело? — старчески пронзительным голосом спрашивал он, подбегая.

— Да просто я хочу рассчитаться с этим… вот и все, — вне себя ляпнул Доус.

— Что это значит? — резко спросил Томас Джордан.

— То и значит, — сказал Доус, однако пылу в

нем поубавилось.

Морел оперся о конторку, смущенно усмехнулся.

— Что у вас тут такое? — резко спросил Томас Джордан.

— Сам не знаю, — Пол покачал головой и пожал плечами.

— Не знаешь, не знаешь! — заорал Доус. Красивое лицо исказила ярость, он выпятил подбородок, изготовил кулак.

— Вы кончили? — громко, свысока спросил старик. — Подите займитесь делом, и чтоб я не видел вас здесь утром навеселе.

Доус медленно повернулся к нему всем своим крупным телом.

— Навеселе! — сказал он. — Кто это навеселе? Трезвый я, не хуже вашего.

— Слышали мы эту песню, — оборвал старик. — А теперь уходите, да поживей. Здесь не место хулиганить.

Кузнец презрительно, сверху вниз посмотрел на хозяина. Его большие, чумазые, однако отлично вылепленные руки беспокойно сжимались и разжимались. Пол вспомнил, это руки Клариного мужа, и его ожгло ненавистью.

— Уходите, пока вас не выставили! — резко

сказал Томас Джордан.

— Кто ж это меня выставит? — заухмылялся Доус.

Мистер Джордан вздрогнул, шагнул к кузнецу и, небольшого росточка, крепко сбитый, показывая на дверь, стал напирать на скандалиста.

— Вон с моей фабрики… вон! — говорил он.

Он схватил руку Доуса.

— Не тронь! — сказал кузнец, дернул локтем, от толчка маленький фабрикант, шатаясь, отлетел.

Никто не успел его поддержать, старик натолкнулся на податливую, на пружине, дверь. Она распахнулась, Томас Джордан пролетел полдюжины ступенек в комнату Фанни. Миг замешательства, и вот уже и мужчины и девушки кинулись к нему. Доус постоял, с горечью посмотрел на все это и пошел прочь.

Томаса Джордана изрядно тряхнуло, он ушибся, но и только. Однако он был вне себя от ярости. Он уволил Доуса и подал на него в суд за оскорбление действием.

Полу Морелу пришлось давать показания на суде. Его спросили, с чего все началось, и он ответил:

— Доус воспользовался случаем оскорбить миссис Доус и меня за то, что однажды вечером

я сопровождал ее в театр; тогда я плеснул в него пивом, и он хотел мне отомстить.

— Cherchez la femme![23] — улыбнулся судья.

После чего назвал Доуса дрянью и прекратил дело.

— Вы провалили дело, — рявкнул на Пола Джордан.

— Не могу с вами согласиться, — ответил Пол. — И ведь вы, надо думать, не хотели, чтобы его осудили?

— Тогда зачем, по-вашему, я подал в суд?

— Ну, прошу прощенья, если я показал не то, что надо.

Клара тоже порядком рассердилась.

— Зачем тебе понадобилось впутывать мое имя? — сказала она Полу.

— Лучше назвать его открыто, чем чтоб его шептали по углам.

— Обошлось бы и без того и без другого, — заявила она.

— Нас от этого не убыло, — равнодушно сказал Пол.

— Тебя-то, может, и нет, — возразила Клара.

— А тебя? — спросил он.

---

[23] Примечания: 23
Ищи женщину! *(фр.)*

— Вовсе незачем было меня упоминать.

— Виноват, — сказал он, но голос его вовсе не прозвучал виновато.

Ничего, успокоится, беспечно подумал он. И Клара и вправду успокоилась.

Пол рассказал матери о падении мистера Джордана и о суде над Доусом.

Миссис Морел пытливо посмотрела на сына.

— Что же ты обо всем этом думаешь? — спросила она.

— По-моему, Доус дурак, — ответил Пол.

Однако же ему было очень не по себе.

— Ты когда-нибудь задумывался, чем это все кончится? — спросила мать.

— Нет, — ответил он, — все уладится само собой.

— Это верно, в конце концов все улаживается само собой, да только не так, как нам бы хотелось, — сказала мать.

— И тогда волей-неволей с этим миришься, — сказал он.

— Не так-то легко ты примиришься с тем, что тебе придется не по вкусу, — сказала она.

Пол продолжал быстро набрасывать эскиз.

— А ее мнение ты когда-нибудь спрашиваешь? — сказала наконец миссис Морел.

— О чем?

— О тебе, обо всем этом.

— Мне все равно, какого она мнения обо мне. Она по уши в меня влюблена, но это у нее не очень серьезно.

— Столь же серьезно, как твое чувство к ней.

Пол удивленно посмотрел на мать.

— Да, — сказал он. — Ты права. Наверно, что-то со мной не то, не умею я любить. Обычно когда она рядом, я и правда ее люблю. Иной раз, когда я вижу в ней только женщину, я ее люблю, ма. Но, когда она разговаривает и судит о чем-нибудь, я часто ее не слушаю.

— А ведь она не глупей Мириам.

— Возможно. И люблю я ее больше Мириам. Но почему же они не могут меня удержать?

Последний вопрос прозвучал почти жалобно. Мать отвернулась, сидела, глядя в одну точку, тишина была в ней, печаль и, пожалуй, самоотречение.

— Но ты бы не хотел жениться на Кларе? — спросила она.

— Нет. Вначале, может, и хотел. Но почему… почему я не хочу жениться на ней ли, на ком-нибудь еще? Иногда у меня такое чувство, мама, будто я приношу женщине горе.

— Каким образом?

— Сам не знаю.

Он продолжал рисовать с каким-то даже отчаянием; ведь он коснулся самой сути своей тревоги.

— А что до желания жениться, — сказала мать, — у тебя впереди еще уйма времени.

— Да нет, ма. Я даже люблю Клару, и Мириам любил, но жениться, отдать себя им не мог. Не могу я стать чьей-то собственностью. Похоже, им требуется мое «я», а это я не могу им отдать.

— Тебе еще не встретилась подходящая женщина.

— И пока ты жива, не встретится, — сказал Пол.

Мать сидела очень тихая. Опять ее охватила усталость, словно последние силы иссякли.

— Поживем — увидим, мой мальчик, — сказала она.

Полу казалось, все возвращается на круги своя, и это бесило его.

Клара и вправду была страстно влюблена в него, и он в нее — когда им владела страсть. Днем он нередко забывал о ней. Она работала в том же помещении, но Пол этого не помнил. Он был занят делом, не до нее ему было. Она же, сидя в

комнате спиральщиц, все время ощущала, что он наверху, физически ощущала его присутствие в этом доме. Она все время ждала, что вот сейчас он войдет в дверь, а когда он входил, ее это ошеломляло. И по большей части он забегал накоротке, а с нею бывал небрежен. Официальным тоном давал ей указания, держал ее в постоянном страхе. Она его слушала всем напряжением ума. Боялась что-то не так понять или не запомнить, но это было жестоко по отношению к ней. Ей хотелось прикоснуться к нему. Она знала каждый изгиб его тела под жилетом, и тянуло к нему прикоснуться. Начальнический голос доводил ее до исступленья… Хотелось прорваться через эту фальшивую маску, сорвать ничтожный покров деловитости, который придавал ему жесткость, вновь добраться до человека; но она не смела, и, не одарив ее ни каплей тепла, он исчезал, а ей опять не терпелось его увидеть.

Пол знал, что каждый вечер, когда они не видятся, Клара тоскует, и отдавал ей немало времени. Дни часто были для нее мукой, зато вечера и ночи наполняли обоих блаженством. В эти часы они молчали. Подолгу сидели рядом, или бродили во тьме, и лишь изредка обменивались какими-нибудь ничего не значащими словами.

Но ее рука была в его руке, и в груди он ощущал тепло от недавнего прикосновения ее груди, и вечного разлада с самим собой как не бывало.

Однажды вечером они шли вдоль канала, и что-то не давало ему покоя. Клара чувствовала, он сейчас не с ней. Все время он негромко настойчиво насвистывал. Клара вслушивалась, и свист этот говорил ей больше его слов. Грусть и неудовлетворенность были в этой мелодии, и что-то подсказывало Кларе — не удержать ей Пола. Она шла молча. А когда подошли к разводному мосту, Пол сел и уставился на отраженные в воде звезды. Далеко он сейчас от нее. Она все думала свое.

— Ты так и останешься у Джордана? — спросила она.

— Нет, — без размышлений ответил Пол. — Нет, я уеду из Ноттингема, отправлюсь за границу… скоро.

— За границу? Зачем?

— Не знаю!.. Не по себе мне.

— Но чем же ты займешься?

— Мне сперва надо найти какую-нибудь постоянную работу, связанную с рисованием, и как-то начать продавать мои картины, — сказал он. — Я делаю успехи. Я это знаю.

— И когда ты хочешь уехать?

— Не знаю. Пока жива мать, я вряд ли уеду надолго.

— Ты не можешь ее оставить?

— Надолго не могу.

Клара посмотрела на звезды в черных водах. Они покоились там очень белые, пристальные. Какая пытка знать, что Пол ее покинет… но почти так же больно, когда он рядом.

— А если б ты заработал побольше денег, что б ты стал делать?

— Буду жить с матерью в каком-нибудь славном домике поближе к Лондону.

— Понятно.

Оба долго молчали.

— Может, стану приезжать повидаться с тобой, — сказал Пол. — Не знаю. Не спрашивай, что я буду делать. Не знаю я.

Опять молчание. На воде дрожали и раскалывались звезды. Дохнул ветер. Пол вдруг подошел к Кларе, положил руку ей на плечо.

— Не спрашивай ты меня о будущем, — несчастным голосом сказал он. — Ничего я не знаю. Все равно будь со мной сейчас, хорошо?

И Клара его обняла. В конце концов, она ведь замужем, и нет у нее права даже на то, что он ей дает. И она так ему нужна. Она обнимала

его, несчастного. Обволакивала своим теплом, утешала, любила его. Пускай ничто не омрачит эту минуту.

Пол поднял голову, словно хотел заговорить.

— Клара, — через силу вымолвил он.

Она страстно обхватила его, рукой прижала его голову к груди. Не может она слышать страдание в его голосе. Душа ее полна страха. Она всю себя готова ему отдать, всю без остатка, но вот знать она не хочет. Не вынесет она этого. Пускай ее тепло его успокоит… успокоит. Она стояла, обняв его, и нежно поглаживала, и было в нем сейчас что-то незнакомое… пугающе непостижимое. Успокоить бы его, пусть забудет обо всем на свете.

Скоро смятение в его душе улеглось, и он обо всем забыл. Но сейчас во мраке была с ним не Клара, то была просто женщина, страсть, что-то, что он любил, едва ли не боготворил. Но то была не Клара, и она ему покорилась. Из-за его неприкрытого голода, из-за неминуемости его любви, из-за какой-то слепой, жестокой, первобытной силы, овладевшей им, ужасен был для Клары этот час. Но она понимала, его душа заледенела, он пронзительно одинок, и как же прекрасно, что он к ней пришел; и совсем просто приняла она его, ведь этот его жгучий голод больше и ее

и его самого, а душа ее остается. Пусть он от нее уйдет, все равно она утолит его голод, потому что любит его.

В поле все время кричали чибисы. Пол приник к ней и не сразу понял, что же это изгибается у его лица, полное такой силы жизни, и что за голос слышен во мраке. Потом сообразил: это трава, и кричит чибис. А тепло — дыхание Клары. Он поднял голову, посмотрел ей в глаза. Они были темные, сверкающие, незнакомые, сама окружающая жизнь, необузданная у своего истока, вглядывалась в его жизнь и, уж вовсе ему не знакомая, раскрывала ему свое лоно; в испуге он ткнулся лицом в шею женщины. Что она такое? Сильная, незнакомая, необузданная жизнь, что дышит рядом с его жизнью в этот ночной час. И жизнь эта настолько больше их самих, что он унялся. Они встретились, и встреча эта вобрала в себя и устремленные к ним стебли разнотравья, и крик чибиса, и звездный круговорот.

Когда они встали, они увидели, у живой изгороди напротив пробираются еще любовники. Казалось, так и должно быть; ночь укрывает их всех.

После этой ночи оба они, узнавшие безмерность страсти, притихли. Они ощущали себя малы-

ми детьми, испуганными и недоумевающими, точно Адам и Ева после того, как утратили невинность, и осознали величие силы, которая гнала их из рая через великую ночь и великий день человечества. Для обоих то было посвящение и искупление. Они поняли собственное ничтожество, поняли, как ошеломителен живой поток, что давно уже подхватил их, и обрели душевный покой. Если ими завладела такая великая и великолепная сила, полностью вобрала их в себя, чтобы они поняли, что они лишь песчинки в ошеломительной волне, которая воодушевляет всякую былинку в ее росте, и всякое дерево, и все живое, что ж тогда беспокоиться о себе? Пускай несет их поток жизни, и они будут находить хоть какое-то умиротворение друг в друге. Они вместе прошли испытание, ничто не может свести его на нет, ничто не может его отнять; они, можно сказать, обрели веру в жизнь.

Но Клара не была удовлетворена. Она понимала, что-то произошло огромное, что-то огромное объяло ее. Но не удержало. И наутро ощущение уже стало иным. Да, им было дано понять, но удержать в себе это ощущение она не смогла. Пусть бы оно повторилось, пусть будет что-то постоянное. Она не до конца осознала происшедшее. Думала,

ей недостает Пола. А на него нельзя положиться. Ведь того, что между ними было, возможно, никогда больше не будет; он может от нее уйти. Не завладела она им, и вот неудовлетворена. Она побывала там, но не ухватила… чего-то… она сама не знала, чего… что она жаждет получить.

В то утро Пол был умиротворен и в душе счастлив. Казалось, он был крещен огнем страсти и теперь обрел покой. Но не Клара была тому причиной. Страсть вспыхнула благодаря ей, но не к ней. Едва ли они стали хоть сколько-нибудь ближе друг другу. Они словно оказались слепыми орудиями великой силы.

Когда Клара увидела его в тот день на фабрике, сердце ее обратилось в каплю огня. Вот оно его тело, его лоб. Ярче разгорелся огонь в груди; надо удержать Пола. А он, такой успокоенный, такой размягченный, продолжал отдавать распоряжения. Она пошла за ним в темный, уродливый подвал и обняла. Он ее поцеловал, и опять его стала жечь страсть. Кто-то подошел к двери. Пол кинулся вверх по лестнице, Клара, двигаясь как лунатик, вернулась в свою комнату.

После этой встречи огонь медленно угасал. Все ясней и ясней становилось Полу, что происшедшее с ним тогда было безлико, обращено не к

Кларе. Он ее любит. Полон огромной нежности к ней, после того как пережил с нею вместе такое глубокое чувство; но не сможет она укрепить и сделать устойчивой его душу. Оказалось, он искал в ней то, чего в ней нет и быть не может.

А она желала его, и желание сводило ее с ума. Увидев его, она непременно должна была к нему прикоснуться. На фабрике, когда он с ней разговаривал о лечебных чулках, она украдкой проводила рукой по его боку. Она шла за ним в подвал, чтоб на ходу его поцеловать; она не сводила с него глаз, полных невысказанного томления и неудержимой страсти. Пол боялся, вдруг она забудется и бесстыдно выдаст себя перед другими работницами. В обеденный час, прежде чем уйти, она неизменно его дожидалась, чтоб он ее обнял. Она словно стала беспомощна, чуть ли не тяготила его, и он злился.

— Ну что тебя вечно тянет целоваться и обниматься? — сказал он. — Всему свое время.

Клара подняла на него глаза, в них блеснула ненависть.

— Так уж и вечно? — сказала она.

— Вечно, даже когда я прихожу поговорить о работе. Работа есть работа…

— А любовь что такое? — спросила Клара. —

Для нее отведены особые часы?

— Да, не рабочие часы.

— И ты составишь для нее расписание в зависимости от того, когда кончается работа на фабрике?

— Да, и в зависимости от того, свободны ли мы от всяких дел.

— Значит, любовь позволена только в свободное время?

— Только, и даже в свободное время не всегда… Та любовь, которая выражается в поцелуях.

— Так-то ты о ней думаешь?

— Этого вполне достаточно.

— Я рада, что ты так думаешь.

И какое-то время Клара была с ним холодна — она просто ненавидела его; и, пока она была холодна и презрительна, пока опять его не простила, ему было не по себе. Но, когда все началось сызнова, они ничуть не стали ближе. Ему потому удавалось ее удерживать, что она никак не могла им насытиться.

Весной они вместе поехали к морю. Сняли комнаты в небольшом коттедже неподалеку от Теддлторпа и жили там как муж и жена. Иногда к ним приезжала миссис Рэдфорд.

В Ноттингеме знали, что Пол Морел и миссис

Доус проводят время вместе, но толком ничего известно не было, Клара всегда держалась обособленно, а Пол казался таким бесхитростным и простодушным, и никого это особенно не занимало.

Пол любил Линкольнширский берег, а Клара любила море. Ранним утром они часто ходили вместе купаться. Серый рассвет, заболоченные, пустынные, тронутые зимой низины, богатые травами соленые болота близ моря — этого было вполне довольно, чтоб развеселить его душу. Едва они сходили со своего дощатого мостика на дорогу и им открывались бесконечные однообразные просторы чуть темнее неба, и море, такое маленькое за подступавшими к нему песчаными дюнами, сердце Пола до краев наполняла всеобъемлющая неумолимость жизни. В эти минуты Клара его любила. Он такой одинокий, сильный, и в глазах горит прекрасный свет.

Их пробирал холод, тогда Пол бежал с ней наперегонки к зеленому перешейку. Бегала она хорошо. Щеки ее заливал румянец, шея была обнажена, глаза сияли. Ему нравилось, что она такая пышная, почти тяжеловесная, и, однако, быстрая. Сам он был легок, она же устремлялась вперед в великолепном напряженье. Разогрев-

шись, они шли рука об руку.

Небо порозовело, бледная луна, клонящаяся к западу, поблекла. Смутные просторы стали оживать, отчетливо вырисовывались растения с крупными листьями. Среди больших, холодных дюн Пол с Кларой прошли к прибрежной полосе. Длинная, пустынная, она стонала под бременем рассвета и прибоя; океан был плоский, темный, с белой каймой. Над сумрачными водами рдело небо. Огонь быстро растекался среди облаков и рассеивал их. Густой румянец отгорел, обратился в оранжевый, оранжевый — в тускло-золотой, и в блеске золота взошло солнце, огненные отблески рассыпались по волнам, будто неведомая дева прошла вдоль берега с переполненным ведром, расплескивая свет.

Длинные волны глухо ударялись о берег. Чайки, точно брызги, кружились над пенной кромкой прибоя. Крик их казался сильнее их самих. Берег уходил вдаль, таял в утреннем свете, песчаные дюны, кое-где поросшие пучками трав, будто оплывали, становясь вровень с прибрежной полосой. Возвышавшийся справа от них Мейблторп казался крохотным. Им одним принадлежал сейчас весь этот простор — плоский берег, море, и восходящее солнце, и негромкий шум волн, и

резкие крики чаек.

Они нашли теплую впадину среди дюн, куда не достигал ветер. Пол стоял и смотрел на море.

— Красиво как, — сказал он.

— Пожалуйста, не сентиментальничай, — сказала Клара.

Ей досадно было, что он стоит и не сводит глаз с моря, точно какой-то одинокий романтик. Пол засмеялся. Она быстро разделась.

— Сегодня хорошая волна, — с торжеством сказала она.

Она плавала лучше него; он стоял и лениво глядел на нее.

— Ты не идешь? — спросила она.

— Сейчас, — ответил он.

Кожа у нее очень светлая, бархатистая, полные плечи. Налетающий с моря ветерок обдувает ее тело, ерошит волосы.

Утро окрасилось чудесным прозрачным золотом. Призрачные покровы теней, казалось, уплывают прочь на север и на юг. Клара стояла, чуть поеживаясь от прикосновения ветра, что шевелил пряди волос. За белотелой обнаженной женщиной поднимается морская трава. Вот Клара глянула на море, потом посмотрела на него. Он не сводил с нее темных глаз, которые она

любила, а понять не могла. Поеживаясь, смеясь, она скрестила руки на груди.

— У-у, как холодно-то будет! — сказала она.

Пол подался вперед и поцеловал ее, вдруг крепко прижал к себе и опять поцеловал. Она ждала. Он посмотрел ей в глаза, потом вдаль, на бледные пески.

— Иди же! — спокойно сказал он.

Клара обняла его, притянула к себе, страстно поцеловала и пошла.

— Но ты будешь купаться? — спросила она.

— Сейчас.

Она шла, тяжело ступая по мягкому, словно бархат, песку. А Пол, стоя на дюне, смотрел, как просторный бледный берег принимает ее в свои объятия. Она становилась все меньше, очертания стирались, казалось, большая белая птица с трудом движется по песку.

Будто белый камешек на пляже, будто клок пены перекатывается по песку, сказал он себе.

Как медленно-медленно бредет она по широкому звучащему взморью. Но вот пропала из виду. Солнечное сиянье затмило ее. И опять он ее увидел, всего лишь белое пятнышко, что движется у белой ворчащей кромки моря.

Какая же она крохотная! — сказал он себе.

Потерялась, точно песчинка на песчаном берегу, — просто крупинка, которую несет по берегу, крохотный белый пузырек пены, можно сказать, ничто среди этого утра. Почему же она увлекла, поглотила меня?

Утро было полностью нарушено — Клара скрылась в воде. Во всю даль и ширь взморья песчаные дюны, поросшие синим песчаным тростником, и сверкающие воды дружно сияли в необъятном, ничем не нарушаемом уединении.

Что она такое, в конце концов? — думал он. Вот приморское утро, огромное, извечное и прекрасное; а вон она, беспокойная, всегда неудовлетворенная и недолговечная, как пузырек пены. Что в конце концов она для меня значит? Она частица чего-то большого, как пузырек пены — частица моря. Но она-то что такое? Не ее я люблю.

Испуганный собственными невольными мыслями, которые, казалось, звучали так отчетливо, что само утро могло их услышать, Пол разделся и быстро побежал по песку. Клара его ждала. Она махнула ему рукой, волна подняла ее, опустила, плечи ее — в море жидкого серебра. Пол перепрыгнул через буруны, и вот уже ее рука у него на плече.

Пол был неважный пловец и не мог долго

оставаться в воде. Клара, торжествуя, резвилась вокруг него, щеголяя своим превосходством, которому он завидовал. Солнечное сияние щедро и празднично разливалось по морю. Минуту-другую они смеялись, потом наперегонки побежали назад к песчаным дюнам.

Тяжело дыша, они вытирались, и Пол не сводил с нее глаз, она запыхалась, лицо смеялось, блестели мокрые плечи, покачивалась и пугала его грудь, которую она сильно терла полотенцем, и он опять подумал: «Но она великолепна, она даже важнее и этого утра, и моря. Ведь верно?.. Верно?..»

Увидев устремленный на нее взгляд темных глаз, Клара со смехом остановилась.

— На что ты смотришь? — спросила она.

— На тебя, — смеясь, отвечал Пол.

Глаза их встретились, и вот он уже целует ее плечо в пупырышках гусиной кожи и при этом думает: «Что же она такое? Что она такое?»

В то утро она любила его. Была в его поцелуях какая-то отрешенность, безжалостность, неудержимость, словно им движет лишь его воля и никак не Клара, не ее желание.

Позднее он ушел писать этюды.

— Съезди с матерью в Саттон. Я такой скуч-

ный.

Клара стояла и смотрела на него. Он понимал, она хотела бы пойти с ним, но он предпочитал быть один. Когда Клара с ним, он будто узник, не может глубоко вздохнуть, будто что-то на него давит. Она чувствовала, он хочет от нее освободиться.

Вечером он опять к ней вернулся. В темноте они ходили по берегу, потом немного посидели, укрывшись в дюнах.

— Похоже, — сказала она, когда они сидели, глядя на темное море, где не видно было ни огонька, — похоже, ты любишь меня только ночью… а днем не любишь.

Он чувствовал себя виноватым и все пропускал меж пальцев холодный песок.

— Ночь — для тебя, — ответил он, — а днем я хочу быть сам по себе.

— Но почему? — спросила Клара. — Почему даже теперь, когда мы с тобой на отдыхе?

— Не знаю. Не могу я днем заниматься любовью.

— Но быть рядом вовсе не всегда значит заниматься любовью, — сказала она.

— Когда мы вместе, всегда, — возразил Пол.

Горько ей стало.

— Ты вообще-то хотела бы, чтоб мы поженились? — с любопытством спросил он.

— А ты? — в свою очередь спросила Клара.

— Да, да. И пускай бы у нас были дети, — медленно ответил Пол.

Клара сидела, опустив голову, ковыряла песок.

— Но ты же, в сущности, не хочешь развестись с Бакстером? — сказал он.

Она ответила не сразу.

— Нет, — это прозвучало очень продуманно, — пожалуй, нет.

— Почему?

— Не знаю.

— У тебя такое чувство, что ты — его?

— Нет, пожалуй, нет.

— Тогда что же?

— Я думаю, это он — мой, — ответила она.

Некоторое время Пол молчал, слушал ветер, дующий с хрипло ворчащего темного моря. Потом сказал:

— И ты, в сущности, никогда не хотела быть совсем моей?

— Конечно же, я — твоя, — ответила она.

— Нет, — возразил Пол, — ты ведь не хочешь развестись.

Этот узел они развязать не могли, и они отказа-

лись от этого, взяли то, что могли, а чего достичь не могли, на то закрыли глаза.

— По-моему, ты обращалась с Бакстером ужасно, — как-то раз сказал он.

Он почти ждал, что Клара ответит ему, как ответила бы его мать:

— Ты думаешь о собственных делах, а о других людях мало что знаешь.

Но, к его удивлению, Клара не отмахнулась от него.

— Почему? — спросила она.

— Наверно, ты приняла его за ландыш, посадила в подходящий горшок и соответственно за ним ухаживала. Ты решила, что он очень нежное растение и незачем ему быть каким-то сорняком. Ты этого не допустишь.

— Никаким ландышем я его не воображала.

— Ты воображала его не тем, кто он есть. Вот что такое женщина. Ей кажется, будто она знает, что хорошо для мужчины, и уж расстарается, чтоб он это получил; и неважно, что он голодает, изводится, не получая того, что ему нужно, — завладев мужчиной, она дает ему то, что, по ее разумению, для него хорошо.

— А ты что делаешь? — спросила Клара.

— Я думаю, что же в таком случае запою я, —

засмеялся Пол.

И вместо того, чтобы отхлестать его по щекам, она приняла его слова всерьез.

— Думаешь, я хочу тебе дать то, что для тебя хорошо? — спросила она.

— Надеюсь. Но любовь должна давать ощущение свободы, а не неволи. С Мириам я чувствовал себя точно осел на привязи. По ее мнению, я должен кормиться на ее делянке и больше нигде. Отвратительно!

— А сам ты позволил бы женщине поступать как ей хочется?

— Да, я постарался бы, чтоб ей самой хотелось меня любить. А если не любит… что ж, я ее не держу.

— Был бы ты такой замечательный, как на словах… — заметила Клара.

— Я был бы просто чудо, так ведь я и есть чудо, — засмеялся Пол.

Оба молчали и ненавидели сейчас друг друга, хотя и посмеивались.

— Любовь — собака на сене, — сказал Пол.

— Кто же из нас собака? — спросила Клара.

— Ну, конечно, ты.

Итак, сражение между ними продолжалось. Клара знала, не бывает минуты, когда он при-

надлежал бы ей всецело. Какая-то его часть, и немалая, жизненно важная, ей не подвластна — и не пыталась заполучить эту часть, или хотя бы понять, что же это такое. А Пол знал, в некотором смысле Клара все еще ощущает себя женой Доуса. Доуса она не любит, никогда его не любила, но не сомневается, что он-то ее любит, по крайней мере зависит от нее. И есть в нем некая надежность, какой она никогда не ощущала в Поле Мореле. Страсть к этому молодому человеку насытила ее душу, принесла известное удовлетворение, уменьшила недоверие к себе, сомнение. Какова бы она ни была, она поверила в себя. Она словно нашла себя самое, все существо ее обрело определенность и законченность. Любовью утвердилась зрелость ее «я»; но Клара никогда не считала, что ее жизнь отдана Полу Морелу или его жизнь — ей. В конце концов они расстанутся, и до самой смерти она будет тосковать о нем. Но теперь она по крайней мере это знает и отныне в себе уверена. Пожалуй, это справедливо и для Пола. Оба они друг через друга получили крещение жизнью, но теперь у каждого свое предназначение. Туда, куда влечет Пола, ей с ним не по пути. Рано или поздно они должны будут расстаться. Пусть бы даже они поженились, пусть были верны друг

другу, все равно он бы волей-неволей ее покинул, шел своей одинокой дорогой, а ей осталось бы лишь заботиться о нем, когда он придет домой. Но это невозможно. Каждому из них нужен тот, кто пойдет с ним рядом.

Клара поселилась у матери на Мепперли-Плейнс. Однажды вечером, когда они с Полом шли по Вудбороу-роуд, им повстречался Доус. Еще издали что-то в осанке встречного показалось Полу знакомым, но в ту минуту он был поглощен своими мыслями, и лишь его глаз художника приметил незнакомца. И вдруг он рассмеялся, повернулся к Кларе, положил руку ей на плечо со словами:

— Мы идем рядом, но я в Лондоне и воображаю, будто спорю с Орпеном,[24] а ты где?

В этот-то миг и прошел мимо Доус, чуть ли не вплотную к Морелу. Пол глянул, увидел темные карие глаза, горящие, полные ненависти и притом усталые.

— Кто это был? — спросил он Клару.

— Бакстер, — ответила она.

Пол снял руку с ее плеча и обернулся, словно вновь отчетливо увидел человека, идущего на-

---

[24] Примечания: 24

Орпен Уильям (1878–1931) — английский художник.

встречу. Доус по-прежнему держался прямо, на ходу плечи расправлены, голова вскинута; и, однако, взгляд был ускользающий, подозрительный, словно ему хотелось пройти мимо людей незамеченным, украдкой дознаться, что каждый о нем думает. Казалось, и руки его хотят спрятаться. Одежда на нем старая, брюки порваны на колене, и платок на шее грязный; но шапка все так же лихо надета набекрень. Увидев его, Клара почувствовала себя виноватой. Прочла в его лице усталость, безнадежность, и ей стало больно, и оттого всколыхнулась ненависть к нему.

— Неважный у него вид, — сказал Пол.

Однако нотка сострадания в его голосе прозвучала как упрек, и Клара ожесточилась.

— Это вылезла наружу его грубая душа, — сказала она.

— Ты его ненавидишь? — спросил Пол.

— Вот ты говоришь — женщины жестокие, — сказала Клара, — знал бы ты, до чего жестоки мужчины с их тупой силой. Они просто не знают, что на свете существует женщина.

— Неужели и я такой? — спросил он.

— Нет, — ответила она.

— Неужели я не знаю о твоем существовании?

— Обо мне-то ты ровно ничего не знаешь, — с

горечью сказала она, — обо мне — ничего!

— Не больше, чем знал Бакстер? — спросил Пол.

— Пожалуй, даже меньше.

Он был озадачен, беспомощен, зол. Вот она идет, неведомая ему, хотя они такое испытали вместе.

— Зато уж ты меня прекрасно знаешь, — сказал Пол.

Клара не ответила.

— А Бакстера ты знала так же хорошо, как меня? — спросил он.

— Он бы мне этого не позволил, — сказала она.

— А я позволил тебе узнать меня?

— Мужчины этого не желают. По-настоящему они не подпускают нас к себе, — сказала она.

— А я тебя разве не подпустил?

— Подпустил, — медленно ответила она. — Но сам ко мне так и не подошел. Ты не можешь вылезти из своей скорлупы, не можешь. Бакстеру это удавалось лучше.

Пол призадумался. Он злился на Клару, что она отдавала предпочтение Бакстеру.

— Сейчас, когда Бакстер уже не твой, ты начинаешь его ценить.

— Нет, я только вижу теперь, чем он от тебя отличается.

Но Пол чувствовал, она им недовольна.

Однажды вечером, когда они полями возвращались домой, она задала ему вопрос, который его ошарашил:

— Как по-твоему, эта… ну, сексуальная сторона… она важна?

— То есть самый акт?

— Да. Это для тебя хоть сколько-нибудь важно?

— Как же это можно разделить? — сказал Пол. — Тут завершение всего. В нем находит наивысшее выражение вся наша близость.

— Для меня не так, — сказала она.

Пол смолчал. В душе вспыхнула ненависть. Стало быть, Клара не удовлетворена им даже в том, в чем, казалось ему, они как нельзя лучше подходят друг другу. Значит, чересчур он ей верил.

— У меня такое чувство, будто ты мне не принадлежишь и будто ты берешь не меня… — медленно договорила Клара.

— А кого же?

— Просто ты берешь что-то для себя. Было прекрасно, и потому я не решалась об этом думать. Но я ли тебе нужна или это «что-то»?

Опять Пол чувствовал себя виноватым. Неужели он забывает о Кларе, просто берет женщину? Но ведь это уже излишние тонкости.

— Когда Бакстер был со мной, по-настоящему со мной, я и вправду чувствовала, он весь мой, — сказала она.

— И это было лучше?

— Да, да. В этом была большая полнота. Хотя ты дал мне больше, чем дал он за всю нашу с ним жизнь.

— Или мог дать.

— Да, пожалуй. Но себя ты никогда мне не отдаешь.

Пол сердито нахмурился.

— Когда я начинаю тебя любить, я взлетаю, как лист на ветру.

— И забываешь обо мне, — докончила Клара.

— Значит, такие минуты для тебя ничто? — спросил он, каменея от горечи и боли.

— Нет, что-то в них есть. И иногда ты увлекаешь меня за собой… сразу… и… за это я готова на тебя молиться… но…

— Обойдемся без «но», — сказал он, загораясь и осыпая ее поцелуями.

Клара безмолвно покорилась.

Пол сказал правду. Обычно, когда он любил ее, сила чувства все увлекала за собой — разум, душу, плоть — как Трент бесшумно увлекает своим течением водовороты и все сплетенья и

переплетенья струй. Постепенно разные мелкие упреки и чувствица исчезали, а с ними и мысль, все подхватывал стремительный поток. И сам он был уже не мужчина, способный мыслить, но воплощение властного инстинкта. Кисти обращались в живые существа, руки, ноги, тело обретали собственную жизнь и сознание и, не властные его воле, жили сами по себе. И казалось, могучие зимние звезды, как и он, полны жизни. В нем и в звездах бушевало одно и то же пламя, и та же радостная сила, что не давала склониться папоротнику у его лица, наполняла крепостью его тело. Будто и его, и звезды, и темные травы, и Клару подхватил исполинский язык пламени и рвется все дальше и ввысь. Все подле него вдруг оживало, но было покойно, совершенно по сути своей и с ним заодно. Это поразительное спокойствие каждой частицы бурного круговорота жизни казалось высочайшим блаженством.

И Клара понимала, именно это привязывает к ней Пола, и безоглядно доверялась страсти. Но слишком часто страсть не оправдывала ее ожиданий. Лишь изредка они достигали высоты той ночи, когда кричали чибисы. Постепенно некоторое привычное напряжение стало портить их любовь, или, бывало, чудесные мгновенья

наступали для каждого порознь и не было уже той полноты. И потому казалось, Пол предается любви один; часто оба сознавали, что встреча не оправдала их надежд, оказалась не такой, как хотелось. Пол уходил с мыслью, что в этот вечер между ними лишь образовалась трещинка. В их любви появлялось все больше привычности, лишенной чудесного очарования. Постепенно они стали вводить новшества, чтобы хоть отчасти вернуть чувство полноты. Они пристраивались близко, опасно близко к реке, так что черные воды едва не касались лица Пола, и это возбуждало, или предавались любви на окраине города в ложбинке под забором, огораживающим дорожку, где иногда кто-нибудь проходил, и слышно было, как близятся шаги, и, кажется, ощущалось, как отзывается на них земля, и слышались разговоры прохожих — странные пустяки, не предназначенные для чужих ушей. А после, оба пристыженные, невольно отдалялись друг от друга. Он стал ее слегка презирать, будто она это заслужила!

Однажды поздним вечером Пол простился с Кларой и решил лугами идти к Дейбрукской станции. Было совсем темно, и, хотя давно уже наступила весна, казалось, вот-вот пойдет снег. До поезда оставалось маловато времени, и Морел

заспешил. Город кончается почти внезапно, на краю крутого обрыва; дома с желтыми огоньками стоят здесь лицом к лицу с тьмой. Пол перешагнул через приступку живой изгороди и сбежал по откосу, в луга. Среди, фруктовых деревьев теплым светом сияло окно фермы. Пол оглянулся. Позади, на краю откоса, чернели на фоне неба дома, будто дикие звери, и с любопытством вглядывались во тьму желтыми глазами. Это сам город, свирепый и нескладный, вглядывался в облака за спиною Пола. Что-то шевельнулось под ивами у пруда. Было слишком темно, не разобрать, кто там.

Пол подошел уже к следующей живой изгороди и тут заметил, что к ней кто-то прислонился. Человек этот посторонился.

— Добрый вечер! — сказал он.

— Добрый вечер! — не глядя на него, ответил Морел.

— Пол Морел? — спросил человек.

И Пол узнал Доуса. Тот заступил ему дорогу.

— Попался, а? — сказал он с запинкой.

— Я опоздаю на поезд, — сказал Пол.

Лица Доуса он не видел. Когда тот говорил, казалось, у него стучат зубы.

— Теперь ты у меня получишь, — сказал Доус.

Морел попытался пройти; Доус стал перед

ним.

— Скинешь, что ль, пальто, — спросил Доус, — или на него и ляжешь?

Пол испугался, не спятил ли тот.

— Но я не умею драться, — сказал он.

— Ну и ладно, — отозвался Доус, и не успел Морел опомниться, как его отбросил назад удар в лицо, и он едва удержался на ногах.

В глазах у него потемнело. Уклоняясь от нового удара, он сорвал с себя пальто, пиджак и швырнул их на Доуса. Тот свирепо выругался. Морел остался в одной рубашке, разъяренный, был теперь начеку. Все тело его сжалось в кулак. Драться он не умеет, значит, надо пустить в ход соображенье. Доуса теперь он различал и в темноте, всего лучше видел грудь рубашки. Доус споткнулся об одежду Пола, потом кинулся на него. Губы молодого человека были разбиты в кровь. И отчаянно хотелось дать в зубы противнику, хотелось мучительно! Он рванулся через приступку, Доус полез за ним, и — раз! — Пол двинул его в зубы. И даже вздрогнул от удовольствия. Сплевывая, Доус медленно приближался, Пол струхнул; он повернулся назад, к изгороди, хотел стать на приступку. Вдруг невесть откуда на него обрушился чудовищный удар, прямо в

ухо, и, беспомощный, он опрокинулся наземь. Он слышал тяжелое дыхание Доуса, будто дышал дикий зверь; потом Доус пнул его в колено, и такая боль пронзила Пола, что он вскочил и слепо кинулся на врага. Тот бил его, пинал, но теперь Пол не чувствовал боли. Точно дикая кошка, он вцепился в Доуса, который был крупней его, и, наконец, потеряв присутствие духа, тот рухнул наземь. С ним свалился и Пол. Не помня себя, бессознательно схватил противника за горло и прежде, чем в ярости и муке Доус вырвался, Пол обмотал кулаки шарфом и костяшками пальцев надавил тому на горло. Он не думал, не чувствовал, один лишь инстинкт владел им. Его тело, такое неожиданно сильное, вдавилось в сопротивляющееся тело Доуса, ни единый мускул не расслабился. Пол ничего не сознавал, тело само убивало другого человека. Чувства и разум молчали. Он лежал, крепко прижавшись к врагу, тело приспособилось к единственной цели — задушить его, в нужную минуту, безмолвно, настойчиво, неизменно, с той именно силой, какая требовалась, оно сопротивлялось попыткам врага освободиться, и оттого, что попытки освободиться становились все яростней, все неистовей, костяшки пальцев вдавливались еще глубже. Все

крепче вжималось тело Пола в чужое тело, точно винт, что постепенно увеличивает давление, и наконец что-то сломлено.

Тут-то Пол разом ослабил напор, удивление и недоброе предчувствие захлестнули его. Доус поддавался. Морел осознал, что творит, и во всем теле вспыхнула боль; он совершенно растерялся. Внезапно Доус опять стал бешено сопротивляться. И вот руки Пола выкручены, вырваны из опутавшего их шарфа, и он, беспомощный, отброшен в сторону. Он слышит хриплое, прерывистое дыхание противника, но, ошеломленный, не может двинуться с места; еще не опомнясь, он ощутил наносимые ногами удары и потерял сознание.

Рыча от боли, точно зверь, Доус пинал распростертое на земле тело соперника. Вдруг неподалеку, за лугами, свистнул паровоз. Доус обернулся, подозрительно уставился во тьму. Что там приближается? Перед его глазами потянулись огни поезда. Ему почудилось, сюда идут. Он устремился через луг к Ноттингему и, пока шел, смутно ощутил на ноге место, где башмак угодил по какой-то кости парня. Сызнова в нем эхом отозвался тот удар, и он заспешил, стремясь оказаться подальше.

Понемногу Морел пришел в себя. Он знал, где он и что произошло, но двигаться решительно не хотелось. И лежал, не шевелясь, и легкий снежок щекотал ему лицо. Приятно было лежать совсем, совсем тихо. Время шло. Подниматься не хотелось, но снег все поторапливал его. Наконец очнулась воля.

— Нечего здесь лежать, — сказал он. — Это глупо.

И все-таки не двинулся с места.

— Я ведь сказал, что встану, — повторил он. — Что ж я не встаю.

И все-таки далеко не сразу он сумел взять себя в руки и шевельнуться; потом постепенно поднялся. Боль ошеломила, его замутило, потемнело в глазах, но голова оставалась ясной. Пошатываясь, он нашарил пальто и пиджак, натянул, доверху застегнул пальто. Не сразу отыскал шапку. Он не знал, кровоточит ли еще лицо. Слепо побрел назад к пруду, при каждом шаге мутило от боли, наконец дошел, вымыл лицо и руки. Ледяная вода ожгла болью, зато окончательно привела в чувство. Пол вскарабкался на холм, к трамваю. Добраться к матери… непременно надо добраться к матери… он был одержим этим. Насколько мог, он прикрыл лицо и мучительно,

трудно брел вперед. Снова и снова земля уходила из-под ног и охватывало тошнотворное чувство, будто проваливаешься в пространство; так, будто в ночном кошмаре, он продолжал путь, пока не оказался дома.

Все спали. Пол посмотрел в зеркало. Лицо землисто-бледное, перемазано кровью, поистине лицо мертвеца. Пол умылся и пошел спать. Ночь прошла в бреду, а когда утром открыл глаза, на него смотрела мать. Ее голубые глаза… только их он и хотел видеть. Она здесь, он у нее в руках.

— Ничего особенного, ма, — сказал он. — Это Бакстер Доус.

— Скажи, где больно, — негромко сказала мать.

— Не знаю… плечо. Скажи, что я упал с велосипеда, ма.

Он не мог двинуть рукой. Скоро Минни, девочка-служанка, принесла ему наверх чаю.

— Ваша мама до смерти меня напугала… взяла и упала в обморок, — сказала она.

Вот это не было сил вынести. Когда мать стала поить его чаем, он ей так и сказал.

— А теперь я бы на твоем месте покончила с ними со всеми, — негромко сказала миссис Морел.

— Непременно, ма.

Мать укрыла его.

— И не думай больше об этом, — сказала она. — Просто постарайся уснуть. Доктор придет не раньше одиннадцати.

Оказалось, у Пола вывихнуто плечо, а на второй день открылся острый бронхит. Мать ходила бледная как смерть и очень худенькая. Обычно она сидела и смотрела на сына, а потом устремляла взгляд в пространство. Что-то было между ними, о чем ни он, ни она не смели заговорить. Его навестила Клара. И после он сказал матери:

— Я от нее устал, ма.

— Да. Лучше бы ей не приходить, — отозвалась миссис Морел.

На другой день пришла Мириам, но она показалась Полу совсем чужой.

— Знаешь, ма, ни к чему они мне, — сказал он.

— Боюсь, что так, сын, — печально ответила мать.

Всем было сказано, что он разбился, когда ехал на велосипеде. Вскоре он опять смог ходить на службу, но теперь что-то постоянно терзало его душу, и тошно ему было. Он пошел к Кларе, но, похоже, ее и не увидел. Ему не работалось. Они с матерью как будто даже стали избегать друг друга. Встала между ними какая-то тайна, и это

невозможно было вынести. Пол не отдавал себе в этом отчета. Знал только, что жизнь его выбита из колеи, того гляди разобьется вдребезги.

Клара не понимала, что с ним творится. Только чувствовала, она больше для него не существует. Даже приходя к ней, он ее словно не замечал; постоянно мысли его где-то витали. Она чувствовала, она хватается за него, а он где-то далеко. Ее это мучило, и она мучила его. Целый месяц она держала его на расстоянии. Он ее возненавидел, и однако, против воли его тянуло к ней. По большей части он проводил время в мужской компании в кабачке «У Джорджа» или в «Белой лошади». Мать прихварывала, была сдержанна, тиха, сумрачна. Что-то в ней страшило Пола, он не осмеливался на нее смотреть. Глаза ее, казалось, потемнели, на бледном лице еще отчетливей проступила желтизна; но хоть и с трудом, она все еще хлопотала по хозяйству.

В канун Троицы Пол сказал, что на четыре дня поедет в Блэкпул со своим приятелем Ньютоном. Тот был большой, веселый и притом немного пройдоха. Пол сказал, что матери хорошо бы погостить недельку в Шеффилде у Энни. Может, перемена обстановки пойдет ей на пользу. Миссис Морел побывала в Ноттингеме у доктора. Он

сказал, что у нее не в порядке сердце и пищеварение. Ехать в Шеффилд ей не хотелось, но она согласилась; она теперь делала все, чего хотел сын. Пол пообещал на пятый день приехать следом за нею к Энни и побыть там до окончания праздника. Так и договорились.

Два приятеля весело отправились в Блэкпул. Когда Пол на прощанье поцеловал мать, она была оживлена. Уже на станции Пол забыл про все заботы. Четыре дня выдались безоблачные — ни единой тревоги, ни единой мысли. Молодые люди просто жили в свое удовольствие. Пола словно подменили. Ничего не осталось от него прежнего — не тревожили ни Клара, ни Мириам, ни мать. Он всем им писал, матери письма самые длинные, но веселые, читая их, она всякий раз смеялась. Сын прекрасно проводил время, как и положено молодому человеку в таком месте, как Блэкпул. Но в глубине души затаилась некая тень.

Пол веселился вовсю и с удовольствием предвкушал, что побудет с матерью в Шеффилде. Один день с ними проведет и Ньютон. Поезд опаздывал. С шутками, смехом, зажав в зубах трубки, молодые люди вскочили со своими чемоданами в трамвайный вагон. Пол купил матери воротни-

чок из настоящих кружев, вот станет она носить обновку и можно будет ее за это поддразнивать.

Энни жила в славном домике, по хозяйству ей помогала девочка-служанка. Пол весело взбежал на крыльцо. Он надеялся, что мать, смеясь, встретит его в прихожей, но дверь отворила Энни. Казалось, она ему не рада. На миг он замер в смятении. Энни подставила ему щеку.

— Мама больна? — спросил он.

— Да, не совсем здорова. Не огорчай ее.

— Она лежит?

— Да.

И тогда странное чувство охватило его, будто солнечный свет погас у него в душе и все объяла тень. Он поставил чемодан и кинулся вверх по лестнице. Несмело отворил дверь. Мать сидела в постели в темно-розовом халате. Она посмотрела на сына робко, с мольбой, будто стыдясь самой себя. Мертвенная бледность разлита была по ее лицу.

— Мама! — сказал Пол.

— Я уж не чаяла тебя дождаться, — весело ответила она.

Но он лишь упал на колени подле кровати, зарылся лицом в одеяло и сквозь мучительные рыдания повторял:

— Мама… мама… мама!

Исхудалой рукой она медленно гладила его по волосам.

— Не плачь, — говорила она. — Не плачь… это пустяки.

Но ему казалось, это его кровь выходит слезами, и он рыдал от ужаса и боли.

— Не плачь… не плачь, — слабым голосом повторила мать.

И медленно гладила его по волосам. Потрясенный до глубины души, он рыдал, и каждая клеточка его тела болью отзывалась на эти слезы. Наконец он затих, но поднять голову не решался.

— Как ты поздно. Где ты был? — спросила мать.

— Поезд опоздал, — ответил он невнятно, все еще уткнувшись в одеяло.

— Вечно он опаздывает, этот несчастный лондонский! Ньютон приехал?

— Да.

— Ты, конечно, голодный, а вас ждет обед.

Пол с усилием поднял голову, посмотрел на мать.

— Что у тебя, ма? — без обиняков спросил он.

— Просто небольшая опухоль, мой мальчик, — ответила она, отведя глаза. — Ты не беспокойся.

Она появилась… эта шишка… уже давно.

И опять он не сдержал слез. Ум был ясным и жестким, но тело сотрясали рыдания.

— Где? — спросил он.

Она приложила ладонь к боку.

— Вот здесь. Но ведь опухоли выжигают.

Пол поднялся, растерянный, беспомощный, как дитя. Может, все так, как она сказала? Да, заверял он себя, так и есть. А меж тем плотью своей и кровью он с первой минуты в точности знал, что это такое. Он сел на кровать, взял мать за руку. Всю жизнь у нее было одно-единственное кольцо — обручальное.

— Когда тебе стало худо? — спросил он.

— Это началось вчера, — покорно ответила миссис Морел.

— Боли!

— Да. Но не сильней, чем нередко бывало дома. По-моему, доктор Ансел паникер.

— Не следовало тебе ехать одной, — сказал он не столько ей, сколько себе.

— Как будто в этом дело! — мигом возразила мать.

Они помолчали.

— Теперь иди пообедай, — сказала она. — Уж конечно, ты проголодался.

— А сама ты обедала?

— Да, я ела отличную камбалу. Энни так заботлива.

Они немного поговорили, и Пол пошел вниз. Он был бледен, держался через силу. Ньютон очень ему сочувствовал.

После обеда Пол пошел в чулан помочь Энни с посудой. Девочку-служанку отправили с каким-то поручением.

— Это и правда опухоль? — спросил Пол.

Энни заплакала.

— Какая боль у нее вчера была… в жизни не видела, чтоб кто-то так страдал! — воскликнула она. — Леонард как сумасшедший кинулся за доктором Анселом, а когда мама добралась до кровати, она сказала: «Энни, погляди, у меня на боку шишка. Что это, а?» Я как посмотрела, думала, сейчас упаду. Представляешь, Пол, огромная, как два моих кулака. Я говорю: «Боже милостивый, ма, когда ж она выросла?» А мама мне: «Она у меня давным-давно, детка». Я думала, я умру. Пол, честное слово. Боли мучили ее дома сколько месяцев, и никто за ней не ухаживал.

Слезы навернулись у него на глаза и тотчас высохли.

— Но она ведь бывала у доктора в Ноттингеме…

и ни слова мне не говорила, — сказал он.

— Будь я дома, я бы сама увидела, — сказала Энни.

Полу казалось, все это дурной сон. Во второй половине дня он отправился к доктору. То был проницательный и славный человек.

— Но что это за болезнь? — спросил Пол.

Доктор посмотрел на молодого посетителя, переплел пальцы.

— Должно быть, это большая опухоль, которая образовалась в диафрагме, — медленно сказал он, — и, возможно, ее удастся вылущить.

— А оперировать нельзя? — спросил Пол.

— В этом месте нельзя, — ответил врач.

— Вы уверены?

— Безусловно!

Пол задумался.

— Вы уверены, что там опухоль? — спросил он потом. — Почему доктор Джеймсон в Ноттингеме ничего такого не обнаружил? Мать часто у него бывала, и он лечил ее сердце и расстройство пищеварения.

— Миссис Морел не говорила доктору Джеймсону об этой шишке, — ответил врач.

— И вы не сомневаетесь, что это опухоль?

— Нет, я не уверен.

— Что еще это может быть? Вы спрашивали мою сестру, не было ли у нас в семье рака? Может это быть рак?

— Не знаю.

— Что вы думаете делать?

— Я бы хотел ее обследовать вместе с доктором Джеймсоном.

— Тогда так и сделайте.

— Вам надо с ним договориться. Притом, что он едет из Ноттингема, гонорар его будет не меньше десяти гиней.

— Когда бы вы хотели, чтобы он приехал?

— Я зайду сегодня вечером, и мы это обсудим.

Кусая губы. Пол ушел.

Доктор сказал, матери можно спуститься к чаю. Сын пошел помочь ей. На ней был темно-розовый халат, подарок Леонарда Энни, она была уже не так бледна и опять казалась совсем молодой.

— В этом халате ты выглядишь очень мило, — сказал Пол.

— Да, он так мне идет, что я сама себя не узнаю, — отозвалась она.

Но стоило ей встать, она снова побледнела. Пол помог ей, почти нес ее. На верхней площадке лестницы силы вконец ее оставили. Он поднял ее, торопливо снес вниз, уложил на диван. До

чего она легкая, хрупкая. Лицо как у мертвой, синие губы крепко сжаты. Глаза открыты — все те же голубые глаза, в которых он всегда находил опору, — и она смотрела на него с мольбой, будто хотела, чтоб он ее простил. Пол поднес к ее губам коньяку, но губы не разжались. Она не сводила с него пытливых глаз. Только в них была еще и жалость. По лицу Пола непрестанно катились слезы, но ни один мускул не дрогнул. Он непременно хотел дать ей хоть каплю коньяку. Скоро она смогла проглотить одну чайную ложечку. И откинулась назад, так она устала. По лицу сына все катились слезы.

— Но это пройдет, — задыхаясь, сказала она. — Не плачь!

— Я не плачу, — сказал сын.

Немного погодя ей опять полегчало. Пол стоял на коленях подле дивана. Они смотрели друг другу в глаза.

— Не хочу я, чтоб ты из-за этого беспокоился, — сказала мать.

— Не буду, ма. Полежи тихонько, и скоро тебе опять станет лучше.

Но он был белый как полотно, даже губы побелели, и в глазах обоих было понимание. У матери глаза такие голубые, необыкновенно голубые,

совсем как незабудки! Полу казалось, будь они другого цвета, ему было бы легче все это вынести. У него будто медленно рвалось сердце. Так он стоял на коленях, держал ее за руку, и оба молчали. Потом вошла Энни…

— Ты ничего? — робко спросила она мать.

— Конечно, — ответила миссис Морел.

Пол сел и начал рассказывать ей про Блэкпул. Ее все интересовало.

Через день-другой он поехал в Ноттингем сговориться с доктором Джеймсоном о консилиуме. Денег у Пола, в сущности, не было. Но он мог взять в долг.

Мать обычно ходила к доктору на общедоступные консультации, субботним утром, когда плата была чисто символическая. Сын тоже пошел в субботу. Приемная полна была женщин из самых бедных семей, они терпеливо ждали, сидя на идущих вдоль стен скамьях. Полу подумалось о матери — и она вот так же сидела здесь в своем черном костюмчике. Доктор опаздывал. У всех женщин лица были испуганные. Пол спросил сестру, нельзя ли ему увидеть доктора, как только тот придет. Так и условились. Терпеливо сидящие по стенам женщины с любопытством глазели на молодого человека.

Наконец появился доктор. Это был человек лет сорока, красивый, загорелый. Схоронив горячо любимую жену, он посвятил себя исцелению женских недугов. Пол назвался, назвал фамилию матери. Доктор ее не вспомнил.

— Номер сорок шестой М, — сказала сестра, и врач посмотрел в свою записную книжку.

— У нее большая шишка, возможно, опухоль, — сказал Пол. — Но доктор Ансел хотел вам написать.

— А, да! — сказал врач, вынимая из кармана письмо. Он был очень приветлив, любезен, деловит и добр. Завтра же он приедет в Шеффилд.

— Кто ваш отец? — спросил он.

— Углекоп, — ответил Пол.

— Вероятно, человек не слишком состоятельный?

— Это… я об этом позабочусь, — сказал Пол.

— А вы сами кто? — улыбнулся доктор.

— Я служащий на протезной фабрике Джордана.

Доктор опять улыбнулся.

— Н-ну… чтоб поехать в Шеффилд! — сказал он, соединив кончики пальцев и улыбаясь глазами. — Восемь гиней?

— Спасибо! — сказал Пол, покраснев, и встал. —

И вы приедете завтра?

— Завтра… воскресенье? Да! Не скажете, когда примерно поезд во второй половине дня?

— Есть один, прибывает в четыре пятнадцать.

— А до дома на чем добраться? Или надо будет пройти пешком? — доктор все улыбался.

— Там есть трамвай, — сказал Пол. — Трамвай в сторону Западного парка.

Доктор записал.

— Благодарю! — сказал он и пожал Полу руку.

Затем Пол пошел домой повидаться с отцом, который оставлен был на попечение Минни. Уолтер Морел теперь уже сильно поседел. Пол застал его в саду, отец копался в земле. Из Шеффилда Пол загодя ему написал. Отец и сын обменялись рукопожатием.

— Привет, сын! Прибыл, значит? — сказал отец.

— Да, — ответил сын. — Но я сегодня же назад.

— Ишь ты! — воскликнул углекоп. — А ты хоть чего поел?

— Нет.

— Всегда с тобой так, — сказал Морел. — Пошли.

Он боялся упоминаний о жене. Оба вошли в дом. Пол ел молча. Отец с перемазанными землей

руками, с закатанными рукавами рубашки сидел напротив в кресле и смотрел на сына.

— Ну, а она-то как? — несмело спросил он наконец.

— Она может сесть, ее можно снести вниз попить чаю, — сказал Пол.

— Слава Богу! — воскликнул Морел. — Значит, буду в надежде, скоро домой вернется. А чего говорит этот ноттингемский доктор?

— Он завтра поедет осмотрит ее.

— Вон что! Сдается мне, это станет недешево!

— Восемь гиней.

— Восемь гиней! — У Морела перехватило дыхание. — Ну, где ни то возьмем.

— Я сам могу заплатить, — сказал Пол.

Оба помолчали.

— Мама надеется, что Минни хорошо о тебе заботится, — сказал Пол.

— Да у меня-то все хорошо, было бы и у ней так, — ответил Морел. — А Минни, она добрая душа, благослови Бог девчонку! — Он сидел унылый, понурый.

— Мне надо выйти в полчетвертого, — сказал Пол.

— Лихо тебе придется, парень! Восемь гиней! А когда, думаешь, она сможет воротиться?

— Посмотрим, что скажут завтра доктора, — сказал Пол.

Морел тяжко вздохнул. Дом казался непривычно пустым, и Полу подумалось, какой отец стал потерянный, заброшенный и старый.

— Ты на той неделе съезди навести ее, — сказал он.

— Так, может, она тогда уж домой воротится, — с надеждой сказал Морел.

— А если нет, надо будет тебе съездить, — сказал Пол.

— Где ж мне взять на это денег, — сказал Морел.

— И я напишу тебе, что скажет доктор, — сказал Пол.

— Да ты мудрено пишешь, мне ничего не понять, — сказал Морел.

— Ладно, напишу просто.

Просить Морела ответить на письмо было бессмысленно — он, пожалуй, только и умел, что нацарапать свою подпись.

Доктор приехал. Леонард счел своим долгом встретить его в наемном экипаже. Осмотр занял не много времени. Энни, Артур, Пол и Леонард тревожно ожидали в гостиной. Врачи спустились к ним. Пол быстро посмотрел на обоих. Он ведь

уже ни на что не надеялся, разве что когда обманывал сам себя.

— Возможно, это опухоль, надо подождать, тогда будет видно, — сказал доктор Джеймсон.

— А если это подтвердится, вы сможете ее вылечить? — спросила Энни.

— Вероятно, — ответил он.

Пол положил на стол восемь с половиной соверенов. Доктор Джеймсон пересчитал деньги, вынул из кошелька флорин и положил на стол.

— Благодарю, — сказал он. — Мне жаль, что миссис Морел так больна. Но надо посмотреть, что тут можно сделать.

— А оперировать нельзя? — спросил Пол.

Доктор помотал головой.

— Нет, — сказал он. — И даже если б было можно, у нее не выдержало бы сердце.

— У нее такое плохое сердце? — спросил Пол.

— Да. Вы должны быть с ней осторожны.

— Очень плохое?

— Нет… э-э… нет, нет! Просто будьте осторожны.

И доктор отбыл.

Тогда Пол принес мать вниз. Она лежала у него на руках доверчиво, как ребенок. Но когда он стал спускаться по лестнице, припала к нему, обеими

руками обхватила шею.

— Боюсь я этих ужасных лестниц, — сказала она.

И Пол тоже испугался. В другой раз он попросит Леонарда снести мать. Он чувствовал, больше он на это не решится.

— Ему кажется, это просто опухоль! — крикнула матери Энни. — И ее можно будет вылущить.

— Я знала, что он так скажет, — презрительно отозвалась миссис Морел.

Она притворилась, будто не заметила, что Пол вышел из комнаты. А он сидел в кухне и курил. Потом безуспешно попытался стряхнуть с пиджака серый пепел. Посмотрел внимательней. То был седой волос матери. Какой длинный! Пол снял его, и волосок потянуло к трубе. Пол выпустил его. Длинный седой волос взлетел и исчез во мраке холодного камина.

На утро перед отъездом на фабрику он поцеловал мать. Было совсем рано, и они были одни.

— Не беспокойся, мой мальчик! — сказала она.

— Не буду, ма.

— Не надо, это было бы глупо. И береги себя.

— Хорошо, — ответил он. И прибавил не сразу: — Я приеду в субботу и привезу отца, ладно?

— Наверно, он хочет приехать, — ответила мис-

сис Морел. — Во всяком случае, если он захочет, ты не удерживай.

Пол опять ее поцеловал и ласково, нежно отвел прядь волос с ее виска, будто она была его возлюбленная.

— Ты не опаздываешь? — прошептала она.

— Ухожу, — совсем тихо сказал Пол.

Но еще несколько минут сидел и отводил с висков матери темные и седые волосы.

— Тебе не станет хуже, ма?

— Нет, сынок.

— Обещаешь?

— Да. Мне не станет хуже.

Пол поцеловал ее, накоротке обнял и ушел. Этим ранним солнечным утром он бежал на станцию бегом и всю дорогу плакал; он сам не знал почему. А мать думала о нем, широко раскрытыми голубыми глазами неподвижно глядя в пространство.

Во второй половине дня он пошел пройтись с Кларой. Они посидели в рощице, где цвели колокольчики. Пол взял ее за руку.

— Вот увидишь, — сказал он Кларе, — она не поправится.

— Ну ты же не знаешь! — возразила та.

— Знаю, — сказал он.

Она порывисто прижала его к груди.

— Постарайся не думать об этом, милый, — сказала она. — Постарайся не думать об этом.

— Постараюсь, — пообещал он.

Он ощущал прикосновение ее груди, согретой сочувствием к нему. Это утешало, и он ее обнял. Но не думать не мог. Просто говорил с Кларой о чем-то другом. И так бывало всегда. Случалось, она чувствовала, что он начинает мучиться, и тогда умоляла:

— Не терзайся, Пол! Не терзайся, хороший мой!

И прижимала его к груди, укачивала, успокаивала, как ребенка. И ради нее он гнал от себя тревогу, а, едва оставшись один, снова погружался в отчаяние. И что бы ни делал, неудержимо текли невольные слезы. Руки и ум были заняты. А он невесть почему плакал. Само естество его исходило слезами. С Кларой ли он проводил время, с приятелями ли в «Белой лошади», — он был равно одинок. Только он сам и тяжесть в груди — ничто другое не существовало. Иногда он читал. Надо же было чем-то занять мысли. Для того же предназначалась и Клара.

В субботу Уолтер Морел отправился в Шеффилд. Таким несчастным он казался, таким заброшенным. Пол кинулся наверх.

— Отец приехал, — сказал он, целуя мать.

— Правда? — утомленно отозвалась она.

Старый углекоп вошел в комнату не без страха.

— Ну как живешь-можешь, лапушка? — сказал он, подходя, и поспешно, робко ее поцеловал.

— Да так себе, — ответила она.

— Вижу я, — сказал Морел. Он стоял и смотрел на жену. Потом утер платком слезы. Таким беспомощным он казался и таким заброшенным.

— Как ты там, справлялся? — спросила она устало, словно разговор с мужем отнимал силы.

— Ага, — ответил он. — Бывает, малость задолжаю, сама понимаешь.

— А обед она тебе вовремя подает? — спросила миссис Морел.

— Ну, разок-другой я на нее пошумел, — сказал он.

— Так и надо, если она не поспевает. Она рада все оставить на последнюю минуту.

Жена кое-что ему наказала. Он сидел и смотрел на нее как на чужую, и стеснялся, и робел, и словно бы потерял присутствие духа и рад сбежать. Жена чувствовала, что он рад бы сбежать, что сидит как на иголках и хотел бы вырваться из трудного положения, а должен, прилично

случаю, медлить, и оттого его присутствие так ее тяготило. Он горестно свел брови, уперся кулаками в колени, растерянный перед лицом истинного несчастья.

Миссис Морел мало изменилась. Она пробыла в Шеффилде два месяца. Изменилось одно — к концу ей стало явно хуже. Но она хотела вернуться домой. У Энни дети. А она хочет домой. И вот в Ноттингеме наняли автомобиль — слишком она была больна, чтобы ехать поездом, — и солнечным днем ее повезли. Был в разгаре август, тепло, празднично. На воле, под голубым небом, всем им стало видно, что она умирает. И однако она была веселее, чем все последние недели. Все смеялись, болтали.

— Энни! — воскликнула миссис Морел. — Вон под тот камень метнулась ящерица!

Морел знал, что она приезжает. Он растворил парадную дверь. Все напряженно ждали. Собралось чуть не пол-улицы. Послышался шум большого автомобиля. Улыбаясь, миссис Морел ехала по своей улице домой.

— Только посмотрите, сколько народу меня встречает! — сказала она. — Но ведь я и сама бы так поступила. Здравствуйте, миссис Мэтьюз. Как поживаете, миссис Харрисон?

Слов ее ни та, ни другая не услыхали, но они видели, она улыбается, и кивали в ответ. И все между собой говорили, что у нее на лице печать смерти. На их улице ее приезд был величайшим событием.

Морел хотел сам внести жену в дом, но слишком он был стар. Артур взял ее на руки, как ребенка. У камина, где прежде стояла качалка, поставили большое, глубокое кресло. Больную раскутали, усадили, она пригубила коньяку и теперь оглядела комнату.

— Не думай, будто мне не нравится твой дом, Энни, — сказала она, — но как же приятно снова оказаться у себя дома.

И, охрипнув от волнения, отозвался Морел:

— Истинно, лапушка, истинно.

А Минни, забавная девчонка, сказала:

— Да как же мы вам рады.

В саду весело желтели заросли подсолнечников. Миссис Морел посмотрела в окно.

— Вот они, мои подсолнечники! — сказала она.

14. Освобождение

— Кстати, — сказал доктор Ансел однажды вечером, когда Пол Морел был в Шеффилде, — у нас в больнице в инфекционном отделении лежит человек из Ноттингема… Доус. Похоже, у него нет родных.

— Бакстер Доус! — воскликнул Пол.

— Он самый… Крепкий, видно, был парень, здоровяк. В последнее время у него были какие-то неприятности. Вы его знаете?

— Он одно время работал там же, где я сейчас.

— Вот как? Вы что-нибудь о нем знаете? Он все время мрачно настроен, не то пошел бы уже на поправку.

— О его домашних обстоятельствах знаю только, что он живет отдельно от жены и, по-моему, немного опустился. Но, может быть, вы скажете ему, что я здесь? Скажите, я его навещу.

При следующей встрече с доктором Пол спросил:

— Ну что Доус?

— Я его спросил, знает ли он человека из Ноттингема по имени Морел, — ответил доктор. — А он так на меня посмотрел, будто вот-вот вцепится

мне в глотку. Тогда я сказал: «Я вижу, имя вам знакомо. Это Пол Морел». И сказал ему, что вы здесь и хотели бы его навестить. А он буркнул: «Чего ему надо?» — словно вы полицейский.

— Согласен он, чтоб я пришел? — спросил Пол.

— Ничего он не скажет… все равно, согласен он, не согласен, или ему наплевать, — ответил доктор.

— Почему?

— Я и сам хотел бы это понять. Целыми днями лежит мрачный. Слова из него не вытянешь.

— По-вашему, можно мне к нему зайти?

— Можно.

Какую-то связь ощущали между собой эти два соперника, особенно после того, как подрались. Пол отчасти чувствовал себя виноватым перед Бакстером и даже ответственным за него. И в его теперешнем душевном состоянии ощущал почти болезненную близость к Доусу, который ведь тоже страдает и отчаивается. Кроме того, их столкнула безмерная, ничем не прикрытая ненависть, а это тоже какие-никакие, но узы. Во всяком случае, в той первобытной драке встретились два пробудившихся в обоих дикаря.

С запиской от доктора Ансела Пол отправился в инфекционную больницу. Сестра милосердия,

молодая крепкая ирландка, провела его в палату.

— К вам посетитель, Ворон, — сказала она.

Доус круто обернулся, испуганно буркнул:

— А?

— Кар-рр! — передразнила сестра. — Только и умеет каркать! Я привела к вам гостя. Скажите-ка «спасибо», покажите, что умеете вести себя прилично.

Темными испуганными глазами Доус быстро глянул на стоящего позади сестры Пола. Взгляд его был полон страха, недоверия, ненависти к страдания. Морел встретил взгляд этих быстрых темных глаз и замешкался. Оба страшились своей сущности, что обнажилась в драке.

— Доктор Ансел сказал мне, вы здесь, — сказал Морел и протянул руку.

Доус машинально обменялся с ним рукопожатием.

— Ну, я и решил зайти, — продолжал Пол.

Никакого ответа. Доус лежал, уставясь в стену напротив.

— Скажите «кар-рр»! — поддразнила сестра. — Скажите «кар-рр», Ворон.

— Как его дела, ничего? — спросил ее Пол.

— А как же! Лежит и воображает, будто сию минуту помрет, — сказала сестра, — вот боится

словечко вымолвить.

— Зато вам охота с кем-нибудь поболтать, — засмеялся Пол.

— Вот именно! — засмеялась и она. — Тут всего-то два старика да парнишка, который бесперечь хнычет. И впрямь не везет! До смерти хочу услыхать голос Ворона, а он только и знает, что каркает.

— Плохо ваше дело! — сказал Морел.

— Ведь правда? — сказала сестра.

— Выходит, меня сам Бог послал, — смеялся Пол.

— Ну прямо спустил с небес! — засмеялась сестра.

Скоро она оставила мужчин одних. Доус похудел и опять стал красивый, но словно погас. Как сказал доктор, он пребывал в мрачности и оттого ни на шаг не продвигался к выздоровлению. Словно его бесил каждый удар его сердца.

— Худо вам пришлось? — спросил Пол.

Доус опять быстро на него глянул.

— Что в Шеффилде делаешь? — спросил он.

— У меня мать заболела, она гостит у моей сестры на Терстон-стрит. А вы что тут делаете?

Ответа не последовало.

— Давно вы в больнице? — спросил Морел.

— Сам толком не знаю, — проворчал Доус.

Он лежал, уставясь в стену напротив, будто старался уверить себя, что никакого Морела тут нет. Пол почувствовал, в нем поднимается ожесточение и злость.

— Это доктор Ансел сказал мне, что вы здесь, — сухо проговорил он.

Доус молчал.

— Брюшной тиф скверная штука, я знаю, — настойчиво продолжал Морел.

Вдруг Доус сказал:

— Зачем пожаловал?

— Потому что доктор Ансел сказал, у вас тут никого знакомых нет. Верно это?

— Нигде у меня никого нет, — сказал Доус.

— Очевидно, вы сами никого знать не хотите.

Опять молчание.

— Как только сможем, увезем мать домой, — сказал Пол.

— А чего с ней? — спросил Доус с присущим больному интересом к болезням.

— Рак у нее.

Опять молчание.

— Но мы хотим отвезти ее домой, — сказал Пол. — Придется нанимать автомобиль.

Доус лежал, задумавшись. Потом сказал:

— А попросил бы Томаса Джордана, пускай одолжит тебе свой.

— Места не хватит, — ответил Пол.

Доус подумал, поморгал.

— Тогда Джека Пилкингтона попроси, он одолжит. Ты ж его знаешь.

— Думаю, лучше нанять, — сказал Пол.

— Ну и дурак, если станешь нанимать, — сказал Доус.

Исхудав за время болезни, он опять стал красивым. Полу жаль его было, уж очень измученные у него глаза.

— Вы здесь нашли работу? — спросил он.

— Я только приехал, и сразу меня схватило, — ответил Доус.

— Вы хотите в санаторий? — спросил Пол.

Лицо Доуса опять омрачилось.

— Ни в какой такой санаторий я не поеду, — сказал он.

— Мой отец был в санатории на побережье, и ему понравилось. Доктор Ансел направил бы вас.

Доус задумался. Было ясно, он боится опять выйти в жизнь, на люди.

— У моря сейчас было бы совсем неплохо, — продолжал Морел. — Дюны нагреты солнцем, и

прибой не чересчур силен.

Доус не отозвался.

— Господи, да если знаешь, что опять сможешь ходить и плавать, все остальное пустяки! — вырвалось у Пола, слишком он был несчастен, чтобы сдерживаться.

Доус быстро глянул на Пола. Его темные глаза не посмели бы встретиться ни с чьими глазами на свете. Но от неподдельного страдания и беспомощности, прозвучавших в голосе Пола, ему словно полегчало.

— У ней далеко зашло? — спросил он.

— Она тает, как свеча, — ответил Пол. — Но она не унывает… бодрая!

Он закусил губу. И через минуту поднялся.

— Ну, я пойду, — сказал он. — Вот я оставляю вам полкроны.

— Не надо, — пробормотал Доус.

Морел не ответил, просто оставил монету на столе.

— Когда опять буду в Шеффилде, постараюсь забежать, — сказал он. — Может, захотите повидать моего зятя? Он работает у Пайкрофта.

— Не знаю я его, — сказал Доус.

— Он хороший малый. Сказать ему, чтоб зашел? Он принес бы вам газеты, почитаете.

Доус не ответил. Пол ушел. Он подавил глубокое волнение, которое в нем вызвал Доус, и его бросило в дрожь.

Матери он ничего не сказал, но на другой день все рассказал Кларе. Это было в обеденный час. Последнее время они редко вместе гуляли, но в тот день Пол позвал ее в парк при замке. Они сели там, а вокруг сияли под солнцем алые герани и желтые кальцеолярии. Клара держалась настороженно и казалась обиженной.

— Ты знаешь, что Бакстер в больнице в Шеффилде и у него брюшной тиф? — спросил Пол.

Серые глаза поглядели испуганно, Клара побледнела.

— Нет, — со страхом ответила она.

— Он поправляется. Я навестил его вчера… мне сказал доктор Ансел.

Новость ошарашила Клару.

— Он очень плох? — виновато спросила она.

— Был очень плох. Сейчас ему лучше.

— Что он тебе сказал?

— Да ничего! Мрачный такой лежит.

Далеки они сейчас были друг от друга. Пол сообщил ей что знал.

Клара стала замкнутая, молчаливая. В следующий раз, когда они пошли пройтись и он взял ее

под руку, она высвободилась и шла чуть поодаль. А он так нуждался в утешении.

— Ну почему ты такая неласковая? — спросил он.

Клара не ответила.

— В чем дело? — спросил Пол, обхватив рукой ее плечи.

— Не надо! — сказала она, высвобождаясь.

Пол оставил ее в покое, отдался своим грустным мыслям.

— Ты расстроилась из-за Бакстера? — спросил он наконец.

— Я с ним вела себя мерзко! — сказала она.

— А сколько раз я тебе говорил, что ты плохо с ним обошлась, — отозвался Пол.

Теперь они были враждебны друг к другу. Каждый думал о своем.

— Я с ним обходилась… да, я плохо с ним обходилась, — сказала Клара. — А теперь ты обходишься плохо со мной. Так мне и надо.

— То есть как это я плохо с тобой обхожусь? — спросил Пол.

— Так мне и надо, — повторила она. — Я никогда им не дорожила, а теперь ты не дорожишь мной. Но так мне и надо. Он любил меня в тысячу раз больше, чем ты.

— Неправда! — вскинулся Пол.

— Правда! По крайней мере, он меня хотя бы уважал, а ты — не уважаешь.

— Уважал он тебя, как же! — сказал Пол.

— Да, уважал! Это я виновата, что он стал такой отвратительный… теперь я понимаю. Понимать ты меня научил. А любил он меня в тысячу раз больше.

— Ну ладно, — сказал Пол.

Только одного он сейчас хотел, пусть его оставят в покое. Он едва справляется и со своим горем, хватит с него. Клара только мучит его, с ней только устаешь. И он распрощался с ней без сожаленья.

При первой же возможности Клара поехала в Шеффилд проведать мужа. Встреча не удалась. Но Клара оставила ему розы, фрукты и деньги. Она хотела к нему вернуться. И не, то чтобы она его любила. Когда она смотрела на него в больнице, ее сердце не согревалось любовью. Ей лишь хотелось смириться, стать перед ним на колени. Хотелось жертвовать собой. Ей ведь не удалось вызвать в Мореле подлинную любовь к себе. Ей стало страшно. Душа жаждала покаяния. И оттого она преклонила колена перед Доусом, и ему это доставило редкостное удовольствие. Но

расстояние между ними было еще очень велико, слишком велико. Мужчину это пугало. Женщину скорее радовало. Ей нравилось, что она служит ему через разделяющую их пропасть. И она была теперь горда.

Пол Морел раза два навестил Доуса. Что-то вроде дружбы завязалось у них, хотя они все равно оставались яростными соперниками. Но никогда они не упоминали стоящую между ними женщину.

Миссис Морел становилось все хуже. Поначалу ее сносили вниз, изредка даже в сад. Она сидела в кресле, опираясь спиной о подушку, улыбающаяся и такая милая. На белой руке сияло золотое обручальное кольцо, волосы старательно причесаны. И она смотрела на заросли отцветающих подсолнечников, на распускающиеся хризантемы, на георгины.

Они с Полом боялись друг друга. Он понимал, что мать умирает, и она тоже это понимала. Но оба притворялись, будто сохраняют бодрость. Каждое утро, проснувшись, он в пижаме шел к ней в комнату.

— Ты спала, моя родная? — спрашивал он.

— Да, — отвечала она.

— Не очень хорошо?

— Нет, неплохо!

И сын понимал, что она не сомкнула глаз. Он видел, как под одеялом она прижимает рукой то место, где живет боль.

— Худо было? — спрашивал он.

— Нет. Побаливало, но это пустяки.

И по старой привычке презрительно фыркала. Лежа, она казалась совсем девочкой. И все время не сводила с него голубых-голубых глаз. Но под глазами темнели болезненные круги, и опять Пола пронзала боль.

— День солнечный, — говорил он.

— Прекрасный день.

— Хочешь, я тебя снесу вниз?

— Посмотрим.

И он шел готовить ей завтрак. Весь день напролет только о ней он и думал. От этой нескончаемой боли его лихорадило. Потом, возвращаясь ранним вечером домой, он заглядывал в окно кухни. Матери там не было; значит, она не вставала.

Он взбегал вверх по лестнице и целовал ее. И даже спросить было страшно:

— Ты разве не вставала, голубка?

— Нет, — отвечала мать. — Все из-за этого морфия, я от него такая усталая.

— Наверно, доктор дает тебе слишком много, —

говорил Пол.

— Да, наверно, — отвечала она.

Подавленный, он садился у ее постели. По привычке она лежала на боку, свернувшись как ребенок. Каштановые и седые волосы разлохматились над ухом.

— Не щекотно тебе? — спрашивал сын, ласково отводя их в сторону.

— Щекотно, — отвечала она.

Их лица были совсем близко. Ее голубые глаза улыбались его глазам, будто девичьи — теплые, смеющиеся, полные любви и нежности. И Пол задыхался от ужаса, от тоски и любви.

— Надо заплести тебе волосы, — сказал он. — Лежи тихо.

И он стал позади нее, распустил ей волосы, зачесал их назад. Они были точно коричнево-серые длинные, тонкие шелковые нити. Голова уютно примостилась между плеч. Закусив губу, в каком-то забытьи он легко проводил по ее волосам щеткой и заплетал косу. Казалось, все происходит не наяву, не укладывалось это в его сознании.

Вечерами Пол часто работал у нее в комнате, временами поднимал глаза. И неизменно ловил на себе взгляд голубых материнских глаз. И когда их глаза встречались, она улыбалась. И маши-

нально он опять принимался за работу, и из-под его рук выходила красота, но он не отдавал себе в этом отчета.

Случалось, он входил к ней очень бледный, тихий, глаза опасливо и настороженно блуждали, точно он упился до зеленых чертиков. Обоих страшило, что рвутся скрывающие их друг от друга покровы.

Тогда мать притворялась, будто ей лучше, оживленно болтала, с преувеличенным интересом судила и рядила о всяких чепуховых новостях. Все оттого, что оба уже пришли в то состояние, когда вынуждены всерьез заниматься пустяками, чтобы не поддаться главному, страшному, что означало бы конец самой личности каждого. Они боялись и оттого держались легкомысленно и весело.

Иной раз, когда мать лежала, Пол знал, она думает о своем прошлом. Рот ее постепенно крепко сжимался в одну неумолимую линию. Исполненная решимости умереть, так и не издав вопль, что рвался из глубины ее существа, она не давала себе поблажки. Никогда не забыть сыну эту замкнутость, выражение безмерного одиночества в ее неделями упрямо стиснутых губах. Прежде, если ей бывало легче, она говорила о

муже. Теперь он ей стал ненавистен. Она его не простила. Не выносила его присутствия. Некоторые воспоминания, самые для нее горькие, с такой силой ожили в ней, что она не сдержалась и рассказала сыну.

Пол чувствовал, его внутренний мир малопомалу разрушается. Нередко на глаза вдруг навертывались слезы. Он бежал к станции, а слезы скатывались на дорогу. Нередко он не мог продолжать работу. Перо застывало в руке. Он забывался, уставясь в одну точку. А когда приходил в себя, его мутило, руки и ноги дрожали. Он ни разу не задумывался, что же это с ним творится. Разум не пытался ни разобраться в этом, ни понять. Пол просто покорялся и закрывал на все глаза; пусть идет как идет.

Мать вела себя так же. Она думала о боли, о морфии, о завтрашнем дне; но едва ли когда-нибудь о смерти. Она знала, это приближается. Ничего тут не поделаешь. Но не станет она ни унижаться, ни мириться с этим. Как слепую, с крепко сжатыми губами и невидящим взглядом, ее толкали к дверям. Проходили дни, недели, месяцы.

Иногда, в солнечный послеполуденный час, она казалась почти счастливой.

— Я стараюсь думать о славных временах… ко-

гда мы ездили в Мейблторп, и в залив Робин Гуда, и в Шэнклин, — сказала она. — Ведь не каждому удалось побывать в этих чудесных местах. Как там чудесно! Об этом я и стараюсь думать, а не о чем другом.

А потом опять за весь вечер не вымолвит ни слова, молчит и Пол. Сидят вдвоем, непреклонные, упрямые, безмолвные. Наконец он шел в свою комнату лечь — и застывал в дверях будто парализованный, не в силах двинуться с места. Сознание выключалось. Казалось, неистовая непостижимая буря опустошает его. Он стоял покорный, не задаваясь никакими вопросами.

Наутро они опять были самими собой, хотя лицо у миссис Морел было серое от морфия, а тело, казалось ей, сожжено дотла. Но все равно и она и сын бодрились. Зачастую, особенно если дома были Артур и Энни, Пол не замечал матери. С Кларой он виделся редко. Проводил время обычно в мужской компании. Бывал при этом находчив, деятелен, оживлен; а потом вдруг бледнел, глаза на испуганном лице казались темней и лихорадочно блестели, и тогда приятели смотрели на него опасливо и недоверчиво. Иногда он шел к Кларе, но она была с ним холодна.

— Прими меня! — говорил он просто.

Изредка она соглашалась. Но ее одолевал страх. Что-то бывало тогда в их близости, отчего она отдалялась от него, что-то противоестественное. Она стала его пугаться. Он был такой тихий и, однако, такой странный. Она боялась того мужчины, который не был в эти минуты с нею, того, которого ощущала за этим мнимым возлюбленным; то был кто-то зловещий, и он вселял в нее ужас. Теперь он ужасал ее. Словно ею овладевает преступник. Он хотел ее, был с нею, а ей казалось, она попала в лапы самой смерти. И лежала в ужасе. С ней был отнюдь не возлюбленный. И она почти ненавидела его. Потом ненадолго в ней просыпалась нежность… Но жалеть его она не осмеливалась.

Доус теперь был в санатории полковника Сили неподалеку от Ноттингема. Пол навещал его там иногда, Клара очень редко. Между мужчинами завязалась своеобразная дружба. Доус поправлялся очень медленно, казалось, он очень слаб, казалось, окончательно вверился Морелу.

В начале ноября Клара напомнила Полу, что сегодня день ее рождения.

— Я чуть не забыл, — сказал он.

— По-моему, совсем забыл, — отозвалась она.

— Нет. Может, поедем на субботу-воскресенье

к морю?

Поехали. Было холодно и довольно уныло. Клара ждала от него тепла и нежности, а Пол едва помнил, что она рядом. В вагоне он смотрел в окно и, когда Клара с ним заговорила, вздрогнул. Ни о чем определенном он не думал. Просто казалось, ничто для него не существует.

Она попыталась пробиться к нему.

— Что с тобой, милый? — спросила она.

— Ничего! — сказал Пол. — Правда, эти крылья ветряных мельниц какие-то однообразные?

Он сидел и держал ее за руку. Не мог он ни разговаривать, ни думать. Однако сидеть вот так, держа ее за руку, все же утешение. Клара была недовольна и несчастна. Пол не с нею, она для него ничто.

Позже, вечером, они сидели в песчаных дюнах и смотрели на черное мрачное море.

— Она ни за что не сдастся, — спокойно сказал он.

У Клары упало сердце.

— Да, — согласилась она.

— Умирать можно по-разному. Отцовская родня пугается, и их приходится гнать из жизни на смерть, точно скот на бойню, тащить за шиворот. А материнскую родню подталкивают сзади шаг за

шагом. Они упрямое племя и не хотят умирать.

— Да, верно, — сказала Клара.

— И она не хочет умирать. Не может. На днях приходил мистер Рэншо, священник. «Подумайте! — сказал он ей. — В ином мире с вами будут ваши родители, и сестры, и сын». А она говорит: «Я давно живу без них и могу без них обойтись. Мне живые нужны, не мертвые». Она даже и теперь хочет жить.

— Вот ужас! — сказала Клара, слишком испуганная, чтобы найти еще какие-то слова.

— Она смотрит на меня и хочет со мной остаться, — безо всякого выражения продолжал Пол. — Такая сильная у нее воля, и кажется, она никогда не уйдет… никогда!

— Не думай об этом! — вырвалось у Клары.

— А ведь она была верующая… она и сейчас верующая… но что толку. Она просто не хочет сдаваться. И знаешь, в четверг я сказал: «Если бы мне суждено было умереть, мама, я бы умер. Я бы тогда захотел умереть». А она резко так говорит: «А я, думаешь, не хочу? Думаешь, когда захочешь, тогда и умрешь?»

Голос ему изменил. Но он не заплакал, опять заговорил, только теперь уже совсем без выражения. Кларе хотелось убежать. Она огляделась.

Увидела черный, отзывающийся на удары волн берег, и темное небо придавило ее. В ужасе она вскочила. Хотелось туда, где свет, где люди. Хотелось быть подальше от Пола. Он сидел, понурясь, застыл неподвижно.

— И я не хочу, чтоб она ела, — сказал Пол. — И она это знает. Когда я ее спрашиваю: «Тебе поесть дать?», она прямо боится сказать «да». «Я бы выпила чашечку молока с пилюлей», — говорит она. «Но ведь это только придаст тебе сил», — говорю. «Да, — чуть не кричит в ответ. — Но когда я ничего не ем, меня гложет боль. Это невыносимо». И я иду и готовлю ей какую-нибудь еду. Это ее гложет рак. Хоть бы она умерла.

— Пойдем! — грубо прервала Клара. — Я ухожу.

Он пошел за ней в песчаной тьме. Он не владел ею в тот вечер. Казалось, она для него и не существует. И Клара боялась его, и он был ей неприятен.

В том же болезненном оцепенении вернулись они в Ноттингем. Пол был постоянно занят, постоянно что-то делал либо ходил по приятелям.

В понедельник он отправился проведать Бакстера Доуса. Вялый, бледный, тот поднялся навстречу и, протянув руку, поздоровался, другою ухватился за стул.

— Напрасно вы встали, — сказал Пол.

Доус тяжело опустился на кровать, почти подозрительно уставился на Пола.

— Чего зря тратить на меня время, — сказал он. — Делать тебе, что ли, больше нечего.

— Мне хотелось прийти, — сказал Пол. — Натека! Я принес вам конфет.

Больной отодвинул их.

— Суббота-воскресенье были не самые удачные, — сказал Морел.

— А мамаша как? — спросил Доус.

— Да все так же.

— Я подумал, может, ей хуже, в воскресенье-то ты не пришел.

— Я в Скегнессе был, — сказал Пол. — Хотел немного отвлечься.

Темные глаза посмотрели на него испытующе. Казалось, Доус ждет, не решается спросить, в надежде, что ему скажут.

— Я ездил с Кларой, — сказал Пол.

— Так я и знал, — спокойно отозвался Доус.

— Я ей давно обещал, — сказал Пол.

— Живите как хотите, — сказал Доус.

Это впервые между ними было открыто названо имя Клары.

— Нет, — медленно отозвался Морел, — я ей

надоел.

Доус опять на него посмотрел.

— С августа чувствую, она стала от меня уставать, — повторил Морел.

Теперь обоим стало очень покойно друг с другом. Пол предложил сыграть в шашки. Играли молча.

— Когда мать умрет, я поеду за границу, — сказал Пол.

— За границу! — повторил Доус.

— Да. Мне моя работа не по душе.

Игра продолжалась. Доус выигрывал.

— В каком-то смысле мне надо будет начать сначала, — сказал Пол. — И вам, по-моему, тоже.

Он съел одну из шашек Доуса.

— Не знаю, где начинать, — сказал Доус.

— Все само образуется, — сказал Морел. — Делать ничего не надо… во всяком случае… нет, не знаю. Дайте-ка мне тянучку.

Мужчины сосали тянучки и начали вторую партию в шашки.

— Отчего у тебя шрам на губе? — спросил Доус.

Пол поспешно прикрыл губы ладонью, посмотрел в сад.

— Свалился с велосипеда, — ответил он.

Трясущейся рукой Доус передвинул шашку.

— Не надо тебе было надо мной насмехаться, — сказал он совсем тихо.

— Когда?

— Тогда ночью на Вудбороуской дороге, когда вы с ней мимо прошли… ты еще обнимал ее за плечи.

— Я вовсе над вами не смеялся, — сказал Пол.

Доус не отрывал пальцев от шашки.

— До той минуты, пока вы не прошли, я понятия не имел, что вы там, — сказал Морел.

— На этом я и завелся, — очень тихо сказал Доус.

Пол взял еще конфету.

— Вовсе я не насмехался, — сказал он. — Разве что просто смеялся.

Они кончили партию.

В тот вечер Морел возвращался из Ноттингема пешком, просто чтоб убить время. Над Булуэллом ярко-красными неровными пятнами обозначались горящие печи; черные тучи нависали, словно низкий потолок. Десять миль он шагал по шоссе, меж двух темных плоскостей — неба и земли, и ему казалось, он уходит из жизни. Но в конце пути ждала лишь комната больной. Сколько бы он ни шел, хоть вечность, все равно только туда он и придет.

Подходя к дому, он не чувствовал усталости, или не понял, что устал. Через луг он увидел в окне ее спальни пляшущий красный свет камина.

Когда она умрет, сказал он себе, этот камин погаснет.

Он тихонько снял башмаки и прокрался наверх. Дверь в комнату матери была открыта настежь, на ночь мать все еще оставалась одна. Пламя камина отбрасывало красные отблески на лестничную площадку. Неслышно, как тень. Пол заглянул в дверной проем.

— Пол! — прошептала мать.

Казалось, опять у него оборвалось сердце. Он вошел, подсел к постели.

— Как ты поздно! — прошептала она.

— Не очень, — сказал Пол.

— Что ты, который час? — голос ее прозвучал печально, беспомощно.

— Еще только начало одиннадцатого.

Он солгал, было около часу.

— Ох! — сказала мать. — Я думала, позднее.

И он понял невысказанное мученье ее нескончаемых ночей.

— Не можешь уснуть, голубка? — спросил он.

— Нет, никак, — простонала она.

— Ничего, малышка! — нежно пробормотал он. — Ничего, моя хорошая. Я полчасика побуду с тобой, голубка. Может, тебе полегчает.

И он сидел у ее постели, медленно, размеренно кончиками пальцев поглаживал ее лоб, закрытые глаза, утешал ее, в свободной руке держал ее пальцы. Им слышно было дыхание тех, кто спал в соседних комнатах.

— Теперь иди спать, — прошептала мать, успокоенная его руками, его любовью.

— Уснешь? — спросил он.

— Да, наверно.

— Тебе полегче, малышка, правда?

— Да, — ответила она, словно капризный, уже почти успокоенный ребенок.

И опять тянулись дни, недели. С Кларой Пол теперь виделся совсем редко. Но беспокойно искал помощи то у одного, то у другого и не находил. Мириам написала ему нежное письмо. Он пошел с ней повидаться. Когда она увидела его, бледного, исхудавшего, с растерянными темными глазами, ей стало бесконечно больно за него. Пронзила острая, нестерпимая жалость.

— Как она? — спросила Мириам.

— Все так же… так же! — ответил Пол. — Доктор говорит, она долго не протянет, а я знаю, протя-

нет. Она и до Рождества доживет.

Мириам вздрогнула. Притянула его к себе, прижала к груди и целовала, целовала. Пол подчинился, но это была пытка. Не могла Мириам зацеловать его боль. Боль оставалась сама по себе, в одиночестве. Мириам целовала его лицо, и кровь в нем забурлила, но душа оставалась сама по себе, корчилась в муках надвигающейся на мать смерти. А Мириам целовала его, и ласкала, и наконец невмоготу ему стало, он оторвался от нее. Не это ему сейчас было нужно… совсем не это. А она подумала, что утешила его, помогла.

Наступил декабрь, выпал снежок. Пол теперь все время был дома. Сиделка была им не по средствам. Ухаживать за матерью приехала Энни. Здешняя сестра милосердия, которую все они любили, бывала по утрам и по вечерам. Пол делил с Энни все заботы по уходу за матерью. Часто вечерами, когда в кухне с ними сидели друзья, они все вместе начинали хохотать. То была реакция. Пол был такой смешной. Энни — такая забавная. Все смеялись до слез и при этом старались приглушить смех. А миссис Морел, одиноко лежа в темноте, слышала их, и горечь перебивалась чувством облегчения.

Потом, бывало, Пол робко, виновато поднимет-

ся к ней, хочет понять, слышала ли она.

— Дать тебе молока? — спросит он.

— Чуточку, — жалобно ответит мать.

И он подбавит в стакан воды, чтоб питье не придавало ей сил. И однако, он любил ее больше жизни.

На ночь больной давали морфий, и в сердце начинались перебои. Энни спала с ней рядом. Пол заходил ранним утром, когда сестра уже встала. Из-за морфия мать по утрам бывала изнуренная, мертвенно-бледная. От мучительной боли все сильней темнели глаза — так расширялись зрачки. Утром боль и усталость были нестерпимы… Но не могла она и не хотела плакать, и даже не очень жаловалась.

— Ты сегодня спала чуть подольше, малышка, — говорил ей сын.

— Разве? — беспокойно и устало отзывалась она.

— Да, уже почти восемь.

Он постоит, глядя в окно. Под снегом все такое унылое, бесцветное. Потом он нащупает у матери пульс. Сильный удар, за ним — слабый, точно звук и отзвук. Как известно, это предвестье конца. Мать позволяла ему считать пульс, знала, чего он хочет.

Иной раз их взгляды встречались. И тогда казалось, будто они сговорились. Словно он тоже соглашался умереть. Зато она умереть не соглашалась, не хотела. Тело ее сгорело чуть не дотла. Глаза темные, невыразимо страдальческие.

— Дайте же ей что-нибудь, чтоб положить этому конец, — сказал наконец Пол доктору.

Но доктор покачал головой.

— Ей теперь осталось недолго, мистер Морел, — сказал он.

Пол вошел в дом.

— Я больше не могу, мы все сойдем с ума, — сказала Энни.

Они сидели с Полом за завтраком.

— Пойди посиди с ней, Минни, пока мы завтракаем, — распорядилась Энни. Но девчонка боялась.

Пол пошел по снегу, через луга, через леса. На белом снегу он видел заячьи следы и птичьи. Он брел и брел, миля за милей. Медленно, болезненно, нехотя в красном мареве садилось солнце. Наверно, она умрет сегодня, думалось Полу. У опушки леса к нему по снегу подошел ослик, и ткнулся в него мордой, и пошел рядом. Пол обхватил его за шею и гладил его щеки от носа к ушам.

Мать все еще жила, безмолвная, с горько сжатым ртом, жили только полные темной муки глаза.

Близилось Рождество; больше стало снегу. И Энни и Пол чувствовали, у них больше нет сил это выносить. Темные глаза матери все жили. Морел, безгласный, испуганный, стал совсем незаметным. Зайдет иногда в комнату больной, глянет на нее. Потом, растерянный, попятится вон.

Она все цепко держалась за жизнь. Углекопы долго бастовали, и недели за две до Рождества вернулись на работу. Минни поднялась к миссис Морел с едой. Это было два дня спустя после конца забастовки.

— Минни, мужчины говорят, что у них руки болят? — спросила больная ворчливо, слабым голосом, который не желал сдаваться. Минни удивилась.

— Нет, миссис Морел, по крайности, я такого не слыхала, — ответила она.

— А вот поспорим, болят руки, — сказала умирающая, с усталым вздохом повернув голову. — Но по крайней мере на этой неделе можно будет кое-что купить.

Ничто от нее не ускользало.

— Одежду, в которой отец ходит в шахту, надо

проветрить, Энни, — сказала она, когда углекопы собрались возвратиться на работу.

— Да ты не беспокойся об этом, родная, — сказала Энни.

Как-то вечером Пол и Энни сидели одни. Сестра милосердия была наверху.

— Она и Рождество переживет, — сказала Энни. Обоих охватил ужас.

— Не переживет, — угрюмо отозвался Пол. — Я дам ей морфий.

— Откуда? — спросила Энни.

— Возьму все, что мы привезли из Шеффилда, — сказал Пол.

— А-а… дай! — сказала Энни.

На другой день Пол рисовал в спальне матери. Она, казалось, уснула. Он тихонько ходил взад-вперед перед мольбертом. Вдруг прозвучал еле слышный, жалобный голос:

— Не ходи по комнате, Пол.

Он оглянулся. Глаза матери, точно темные пузырьки на лице, были устремлены на него.

— Не буду, родная, — ласково сказал он. И в сердце, казалось, оборвалась еще одна струна.

В тот вечер он взял с собой вниз все оставшиеся таблетки морфия. Тщательно растер их в порошок.

— Ты что делаешь? — спросила Энни.

— Я их всыплю в молоко, которое она пьет на ночь.

И оба засмеялись, словно двое сговорившихся нашкодить ребятишек. Среди этого ужаса замерцал проблеск здравомыслия.

В тот вечер сестра милосердия не пришла подготовить миссис Морел ко сну. Пол поднялся к матери с горячим молоком в поильнике. Было девять часов.

Пол приподнял ее на постели и вставил носик поильника между губами, которые ценой собственной жизни рад был бы уберечь от всякой боли. Мать глотнула, отодвинула носик поильника и удивленно посмотрела на сына темными глазами. Он не отвел глаз.

— До чего же горько, Пол! — чуть сморщившись, сказала она.

— Это новое снотворное, мне дал для тебя доктор, — сказал сын. — Он надеется, при этом питье тебе утром не будет так плохо.

— Хорошо бы, — как ребенок сказала она.

Она отпила еще немного молока.

— Но до чего же противное! — сказала она.

Пол смотрел на ее хрупкие пальчики, держащие чашку, на чуть движущиеся губы.

— Знаю… я попробовал, — сказал Пол. — Но я потом дам тебе запить просто молоком.

— Вот и ладно, — сказала она и опять стала пить. Она слушалась сына как малое дитя. Понимает ли она, думал Пол. Он видел, как вздрагивает ее истощенное горло при каждом трудном глотке. Потом сбежал вниз за молоком. На дне поильника не осталось ни крупицы порошка.

— Она выпила? — прошептала Энни.

— Да… и говорила, горько.

— Ну! — засмеялась Энни и прикусила нижнюю губу.

— А я сказал, это новое снотворное. Давай молоко.

Вдвоем они поднялись в комнату матери.

— Не понимаю, почему сестра не пришла уложить меня, — задумчиво, по-детски пожаловалась мать.

— Она говорила, она идет на концерт, родная, — ответила Энни.

— Вот как?

Помолчали. Потом миссис Морел залпом выпила молоко.

— То питье было такое противное, Энни! — посетовала она.

— Правда, родная? Ну, ничего, потерпи.

Мать снова устало вздохнула. Пульс был неровный.

— Давай мы сами тебя уложим, — сказала Энни. — Сестра, наверное, придет поздно.

— Что ж, — сказала мать, — попробуйте.

Они откинули одеяло. Пол увидел, мать, как девочка, свернулась калачиком в своей фланелевой ночной рубашке. Они быстро разгладили одну сторону постели, потом другую, натянули ночную рубашку поверх маленьких ножек и закрыли ее одеялом.

— Ну вот, — сказал Пол, нежно поглаживая ее. — Ну вот!.. теперь уснешь.

— Да, — согласилась она. — Я не думала, что вы так ловко сумеете привести в порядок постель, — почти весело прибавила она. Потом свернулась калачиком, подложила руку под щеку, голову уютно втянула в плечи. Пол уложил ее длинную, тоненькую косичку на плечо и поцеловал мать.

— Ты уснешь, моя хорошая, — сказал он.

— Да, — доверчиво согласилась она. — Покойной ночи.

Они погасили свет, стало тихо.

Отец уже лег. Сестра не пришла. Около одиннадцати Пол и Энни поднялись по лестнице посмотреть на мать. Казалось, как обычно после

питья, она спит. Рот был чуть приоткрыт.

— Посидим? — предложил Пол.

— Я лягу с ней, как всегда, — сказала Энни. — Она ведь может проснуться.

— Ладно. И если что не так, позови меня.

— Хорошо.

Они медлили у горящего камина, они чувствовали, какая огромная, снежная ночь за стенами дома и как одиноки в этом мире они. Наконец Пол ушел в соседнюю комнату и лег.

Он мгновенно уснул, но то и дело просыпался. Потом крепко уснул. И вдруг проснулся, услыхав шепот Энни: «Пол, Пол!» Подле него в темноте стояла сестра в ночной рубашке, коса перекинута на спину.

— Да? — прошептал он и сел.

— Поди взгляни на нее.

Пол выскользнул из-под одеяла. В комнате больной слабо теплился газовый свет. Мать лежала свернувшись калачиком, подложив ладонь под щеку, в той же позе, в какой уснула. Но рот был открыт, и дыхание тяжелое, хриплое, словно храп, и с долгими перерывами.

— Она кончается! — прошептал Пол.

— Да, — сказала Энни.

— Давно она так?

— Я только проснулась.

Энни съежилась в халате. Пол набросил на себя одеяло. Было три часа. Он разворошил огонь. Брат и сестра сидели и ждали. Мать глубоко, с хрипом вдохнула воздух… долгая тишина… и выдох. Время шло… тянулось. Но вот они вздрогнули. Опять глубокий, с хрипом вдох. Пол наклонился, всмотрелся.

— Это еще может продолжаться, — сказал он.

Оба молчали. Пол выглянул в окно, с трудом различил снег, покрывавший сад.

— Иди ложись в мою постель, — сказал он сестре. — А я посижу.

— Нет, — сказала она. — Я останусь с тобой.

— Лучше не надо, — сказал он.

Наконец Энни на цыпочках вышла из комнаты, и Пол остался один. Он плотней укутался в коричневое одеяло, скорчился перед матерью и не спускал с нее глаз. Нижняя челюсть у нее отвалилась, страшно смотреть. Он не спускал с нее глаз. Иногда ему казалось, она больше не вдохнет. Ждать было невыносимо. И вдруг опять пугающий громкий хрип. Пол снова поворошил угли в камине. Ее нельзя беспокоить. Шли минуты.

Ночь проходила. Вздох за вздохом. И каждый хрип терзал его, но наконец он вовсе перестал

что-либо чувствовать.

Встал отец. Пол слышал, как отец зевает, натягивая носки. И вот он вошел в одних носках и в рубашке.

— Тише! — предостерег Пол.

Морел стоял и смотрел на жену. Потом взглянул на сына — беспомощно, с ужасом.

— Может, мне остаться дома? — прошептал он.

— Нет. Иди на работу. Она проживет до завтра.

— Навряд ли.

— Проживет. Иди на работу.

Муж в страхе опять на нее посмотрел и послушно пошел из комнаты. Пол заметил, подвязки у него болтаются.

Еще через полчаса Пол спустился в кухню, выпил чашку чая и опять вернулся. Уолтер Морел, уже в рабочей одежде, снова поднялся в комнату жены.

— Мне идти? — спросил он.

— Иди.

И через несколько минут Пол услышал удаляющиеся тяжелые шаги отца, приглушенные снегом. На улице перекликались углекопы, группками шагавшие на работу. Ужасные, долгие вздохи продолжались… грудь поднималась… поднималась… поднималась; потом долгая тишина…

потом ах… ах… х… х! — выдох. Издалека донеслись гудки чугунолитейного завода. Гуденье и рокот разносились над снегами, то далекие и едва слышные, то близкие, — голоса угольных копей и литеен. Потом все стихло. Пол поворошил уголь в камине. Глубокие вздохи нарушали тишину — выглядела мать все так же. Пол приподнял штору, посмотрел в окно. Было еще темно. Пожалуй, тьма уже не такая густая. Пожалуй, снег стал синей. Он совсем поднял штору и оделся. Потом, вздрагивая, отпил коньяку прямо из бутылки, стоявшей на умывальнике. Снег и правда синел. С улицы донеслось дребезжанье повозки. Да, уже семь утра, становится светлей. На улице перекликались. Мир просыпался. Над снегом занимался серый, мертвенно-бледный рассвет. Да, уже видны дома. Он погасил лампу. Казалось, стало очень темно. Хриплое дыхание все длилось, но Пол почти привык к нему. В сумраке он видел мать. Она была все в том же состоянии. Он подумал, может, навалить на нее тяжелую одежу, тогда и дышать станет тяжелей, и невыносимое дыхание остановится. Он посмотрел на нее. Не она это… совсем не она. Если навалить одеяло и тяжелые пальто…

Вдруг отворилась дверь, и вошла Энни. Она

вопросительно посмотрела на брата.

— Без перемен, — спокойно сказал Пол.

С минуту они пошептались, потом он спустился в кухню позавтракать. Было без двадцати восемь. Скоро пришла Энни.

— Какой ужас! Как ужасно она выглядит! — в страхе, ошеломленно прошептала она.

Пол кивнул.

— Вдруг она так и будет выглядеть! — сказала Энни.

— Выпей чаю, — сказал он.

Они опять поднялись по лестнице. Скоро пришли соседки, испуганно спрашивали:

— Как она?

Все продолжалось. Она лежала щекой на ладони, нижняя челюсть отвисла, и она редко, громко и страшно всхрапывала.

В десять пришла сестра. Она была сама не своя и явно удручена.

— Сестра, — воскликнул Пол, — неужто она еще долго протянет?

— Невозможно, мистер Морел, — сказала сестра. — Невозможно.

Стало тихо.

— Страх-то какой! — посетовала сестра милосердия. — Кто бы мог подумать, что она такое

вынесет? Идите вниз, мистер Морел, идите вниз.

Наконец, около одиннадцати, Пол спустился и пошел посидеть у соседей. Энни тоже ушла вниз. Наверху были сестра милосердия и Артур. Пол сидел, сжав голову руками. Вдруг через двор, как безумная, с криком прибежала Энни:

— Пол… Пол… она скончалась!

Мигом он очутился дома и взлетел наверх. Мать лежала тихая, свернувшись калачиком, щека на ладони, и сестра утирала ей губы. Все отступили. А он упал на колени, прижался лицом к ее лицу, обнял ее.

— Любимая… любимая… любимая! — шептал он снова и снова. — Любимая… любимая!

Потом услышал, как за спиной у него сестра говорит сквозь слезы:

— Ей теперь лучше, мистер Морел, ей теперь лучше.

Оторвавшись от еще теплой мертвой матери, он сразу сошел вниз и принялся ваксить башмаки.

Дел предстояло много, надо было написать письма и прочее. Пришел доктор, посмотрел на покойницу и вздохнул.

— Эх… бедняжка! — сказал он и отвернулся. — Зайдите ко мне в кабинет часов в шесть за

свидетельством о смерти.

К четырем вернулся с работы отец. Молча, еле волоча ноги, вошел в дом и сел. Минни захлопотала, подавая ему обед. Он устало выложил на стол черные от въевшегося угля руки. На обед была его любимая репа. Знает ли он, подумал Пол. Время шло, и никто не заговаривал. Наконец сын спросил:

— Ты заметил, что шторы спущены?

Морел поднял глаза.

— Нет, — сказал он. — А что… она скончалась?

— Да.

— Когда это?

— Около двенадцати.

— Гм!

Углекоп посидел с минуту неподвижно — и принялся за обед. Будто ничего и не случилось. Молча съел он репу. Потом умылся и пошел наверх переодеваться. Дверь жениной комнаты была закрыта.

— Ты ее видел? — спросила Энни, когда отец опять сошел вниз.

— Нет, — ответил Морел.

Немного погодя он вышел из дому. Энни ушла, а Пол отправился к гробовщику, к священнику, к доктору, в магистратуру. Все эти дела требовали

времени. Вернулся он уже около восьми вечера. Скоро должен был прийти гробовщик снять мерку для гроба. Дом был пуст, она оставалась одна. Пол взял свечу и пошел наверх.

В комнате, где так долго было тепло, стоял холод. Цветы, аптечные пузырьки, тарелки, все разбросанные по комнате больной мелочи уже убрали; здесь было сейчас строго, сурово. Мать лежала приподнятая на кровати, и так был тих пологий изгиб простыни от приподнятых ступней, точно волна свежевыпавшего снега. Она лежала, будто спящая девушка, которой снится возлюбленный. Рот чуть приоткрыт, словно дивится страданию, но лицо молодое, лоб чистый и белый, словно жизнь еще не наложила на него свою печать. Пол опять посмотрел на ее брови, на чуть неправильный носик. Она опять стала молодой. Только в красиво зачесанных от висков вверх волосах поблескивало серебро, и две лежащие на плечах незатейливые косички походили на коричнево-серебристую филигрань. Она еще проснется. Она поднимет веки. Она все еще с ним. Он нагнулся и страстно ее поцеловал. Но рот был ледяной. Пол в ужасе закусил губу. Он смотрел на мать и чувствовал: никогда, никогда он с ней не расстанется. Нет! Пол гладил ее по голове от

висков вверх. Голова тоже холодная. Так молчалив рот и дивится боли. И сын скорчился на полу подле кровати, зашептал:

— Мама, мама!

Он все еще оставался с матерью, когда пришли гробовщики, молодые люди, былые его одноклассники. Они касались покойницы почтительно, спокойно и деловито. Они не смотрели на нее. Пол ревниво за ними следил. Энни и он свирепо охраняли мать. Никого не пускали посмотреть на нее, и соседи обижались.

Немного погодя Пол ушел из дому и у одного из приятелей сел за карты. Вернулся он в полночь. Едва он вошел, поднялся с дивана отец и жалобно сказал:

— Я уж думал, ты вовсе не вернешься, сынок.

— Я не думал, что ты станешь ждать, — сказал Пол.

Таким заброшенным казался отец. Прежде Морел был человек, не знающий страха, — решительно ничто его не пугало. И Пол вдруг понял, что отец боялся лечь, когда он в доме один на один с покойницей. И пожалел старика.

— Я забыл, что ты будешь тут один, отец, — сказал он.

— Тебе поесть охота? — спросил Морел.

— Нет.

— Сядь-ка… я молока тебе вскипятил. Сейчас принесу, как раз малость остыло.

Пол выпил молоко.

— Завтра мне надо в Ноттингем, — сказал он.

Немного погодя Морел пошел спать. Он поспешно миновал закрытую дверь, а свою оставил открытой. Скоро сын тоже поднялся наверх. Он, как всегда, зашел поцеловать мать, пожелать спокойной ночи. В комнате было темно и холодно. Жаль, нельзя было оставить здесь гореть камин. Ей все снился ее молодой сон. Но она все равно была бы холодная.

— Родная моя! — прошептал он. — Родная моя!

И он ее не поцеловал, побоялся ощутить, что она холодная, незнакомая. Спала она так красиво, и оттого ему полегчало. Он бесшумно притворил дверь, чтобы не разбудить ее, и пошел спать.

Утром Морел услышал, что Энни внизу, а Пол покашливает у себя в комнате через лестничную площадку, и это помогло ему собраться с духом. Он отворил дверь жениной спальни и вошел в затемненную комнату. В полутьме он увидел белую приподнятую на кровати фигуру, но посмотреть на лицо не решился. Смущенный, испуганный до того, что совсем себя потерял, он выбрался из ком-

наты и покинул жену. Больше он ни разу на нее не взглянул. Он не видел ее уже многие месяцы, потому что не решался на нее взглянуть. А ведь сейчас она опять походила на его молодую жену.

— Ты ее видел? — резко спросила Энни после завтрака.

— Да, — ответил он.

— Правда, она славно выглядит?

— Да.

Скоро он ушел из дому. И, казалось, все время старался держаться подальше от родного крова.

Пол взял на себя все заботы, делал все, чего требовала смерть. В Ноттингеме он встретился с Кларой, и они выпили чаю в кафе и совсем развеселились. Ей несказанно полегчало, когда она поняла, что случившееся для него не трагедия.

Позднее начала съезжаться родня, похороны стали публичным действом, а дети покойной — представителями семьи. Сами они отошли в тень. Похоронили миссис Морел в бурный дождливый и ветреный день. Мокрая глина блестела, белые цветы намокли, хоть выжми. Энни ухватилась за руки Пола и наклонилась над могилой. Глубоко внизу она увидела темный угол Уильямова гроба. Дубовый гроб неотвратимо опускался. Вот и нету матери. В могилу лил дождь. Черная процессия

с поблескивающими зонтами двинулась прочь. Под холодным проливным дождем кладбище опустело.

Пол вернулся домой и стал обносить гостей напитками. Отец сидел в кухне с родней миссис Морел, с именитой публикой, и плакал, и говорил, какой же хорошей была его лапушка, и как он старался угодить ей чем только мог… чем только мог. Всю жизнь он старался ей угодить, чем только мог, и не в чем ему себя упрекнуть. Ее не стало, но он сделал для нее все, что было в его силах. Он утирал глаза белым носовым платком. Не в чем ему себя упрекнуть, повторял он. Всю жизнь он старался ей угодить чем только мог.

Так он пытался избавиться от мыслей о ней. Никогда он по-настоящему о ней не думал. Никогда не признавал в себе глубинных движений души. Полу ненавистно было, что отец сидит и распускает нюни. Он знал, отец и в пивных будет так же хныкать. Потому что, хотел Морел того или нет, смерть жены была для него подлинной трагедией. Некоторое время спустя он иной раз вставал после дневного сна бледный, поникший.

— Я мать нынче во сне видал, — говорил он вполголоса.

— Правда, отец? Я вижу ее во сне всегда здо-

ровую. Она мне часто снится, и это так славно, естественно, будто ничего не изменилось.

Но Морел, сжавшись, в ужасе садился перед камином.

Проходили недели, какие-то призрачные, не приносящие ни особой боли, ни иных каких-то чувств, разве что некоторое облегчение, по большей части nuit blanche.[25] Пол не находил себе места. Несколько месяцев, с тех пор, как матери стало хуже, он не был близок с Кларой. Она как бы утратила для него притягательность, стала слишком далека. Изредка она виделась с Доусом, но пропасть, разделявшая их, ничуть не стала меньше. Все трое отдались на волю судьбы.

Доус поправлялся, хоть и очень медленно. На Рождество, в санатории в Скегнессе, он был уже почти здоров. Пол на несколько дней уехал к морю. Отец гостил у Энни в Шеффилде. Доус приехал к Полу. Время пребывания в Скегнессе кончилось. Казалось, эти двое, кое о чем так упорно умалчивая, были, однако, преданы друг другу. Доус теперь полагался на Морела. Он знал, Пол и Клара, в сущности, расстались.

Через два дня после Рождества Пол вернулся

---

[25] Примечания: 25
бессонная ночь *(фр.)*.

в Ноттингем. Накануне вечером они сидели с Доусом у камина и курили.

— Ты ведь знаешь, завтра на денек приезжает Клара? — сказал Пол.

Доус глянул на него.

— Да, ты говорил, — отозвался он.

Пол допил оставшиеся у него в стакане виски.

— Я сказал хозяйке, приезжает твоя жена, — сказал он.

— Вон как? — отозвался Доус несколько подавленно, но, можно сказать, покорно. Неуклюже, с трудом поднялся и потянулся за стаканом Пола.

— Давай налью, — сказал он.

Пол вскочил.

— Сиди, сиди, — сказал он.

Но Доус неверной рукой продолжал смешивать напитки.

— Скажи, когда хватит подливать содовую, — спросил он.

— Спасибо! — отозвался Пол. — Но зря ты вставал.

— Мне это на пользу, парень, — ответил Доус. — Мне тогда кажется, вроде я опять в порядке.

— А ты и правда почти в порядке.

— Правда, ясно, правда, — покивал Доус.

— И Лен говорит, он может взять тебя на работу

в Шеффилде.

Доус опять глянул на него своими темными глазами, в них было согласие со всем, что ни скажет приятель, которому он, пожалуй, даже слегка подчинялся.

— Странно все начинать сначала, — сказал Пол. — У меня, думаю, все куда запутанней, чем у тебя.

— В чем это, парень?

— Не знаю. Не знаю. Будто запутался я в каком-то темном и мрачном лабиринте — и нет никакого выхода.

— Это я знаю… это мне понятно, — кивал Доус. — Только сам увидишь, все уладится.

Он говорил ласково.

— Надеюсь, — сказал Пол.

Доус сник, постучал трубкой, выбивая пепел.

— Тебе не пришлось обходиться самому, как мне, — сказал он.

Морел смотрел на его руку, очень белая, она стиснула трубку, из которой он выбивал пепел так, будто цеплялся, утопая, за последнюю соломинку.

— Тебе сколько лет? — спросил Пол.

— Тридцать девять, — глянув на него, ответил Доус.

Пола тревожили эти карие глаза, глаза отчаявшегося неудачника, они умоляли — поддержи, помоги снова стать человеком, согрей, дай снова стать на ноги.

— У тебя еще все впереди, — сказал Морел. — Не похоже, что в тебе так уж не осталось жизни.

Карие глаза неожиданно сверкнули.

— Осталось, — сказал он. — Есть еще порох в пороховницах.

Пол посмотрел на него и засмеялся.

— Мы оба еще можем горы своротить.

Глаза мужчин встретились. Они обменялись взглядом. И, увидав друг в друге жаркую силу, выпили виски.

— Вот ей-ей! — задохнувшись, сказал Доус.

Помолчали.

— И я не понимаю, почему бы вам не продолжить с того места, где вы остановились, — сказал Пол.

— Ты хочешь сказать… — поторапливая его мысль, предложил Доус.

— Да… вместе зажить вашим прежним домом.

Доус спрятал лицо, помотал головой.

— Этому не бывать, — сказал он и, иронически улыбаясь, глянул на Пола.

— Почему? Потому что ты не хочешь?

— Может, и так.

Они молча курили. Закусив черенок трубки, Доус оскалил зубы.

— Ты хочешь сказать, она тебе не нужна? — спросил Пол.

Доус с язвительной усмешкой вгляделся в эту перспективу будущего.

— Сам не знаю, — сказал он.

Дым медленно плыл вверх.

— Мне кажется, ты ей нужен, — сказал Пол.

— Тебе так кажется? — мягко, усмешливо, отрешенно отозвался Доус.

— Да. Она так по-настоящему и не предалась мне… на заднем плане всегда маячил ты. Оттого она и разводиться с тобой не стала.

Доус все насмешливо смотрел на картинку будущего, что рисовалась ему где-то в пространстве над каминной полкой.

— Так они и ведут себя со мной, женщины, — сказал Пол. — Я им нужен до безумия, но по-настоящему принадлежать мне они не желают. И все это время она принадлежала тебе. Я же знал.

В Доусе вдруг взыграл торжествующий самец. Он еще больше оскалил зубы.

— Может, дурак я был, — сказал он.

— Еще какой дурак, — сказал Морел.

— А ты, даже тогда, может, был еще дурей, — сказал Доус. В его словах был привкус торжества и злости.

— Думаешь? — спросил Пол.

Они помолчали.

— Так или иначе, я завтра укачу, — сказал Морел.

— Понятно, — сказал Доус.

Разговор оборвался. Вновь родилось бессознательное желание изувечить друг друга. Теперь они как могли избегали друг друга.

Спальня у них была общая. Когда собрались ложиться, Доус казался отрешенным, о чем-то задумался. Сидел на краю кровати в одной рубашке, уставясь на ноги.

— Не замерзаешь? — спросил Морел.

— Вот гляжу на ноги, — ответил Доус.

— А что ноги? С виду вроде в порядке, — отозвался со своей кровати Пол.

— На вид-то в порядке, а еще вода в них.

— Что за вода?

— А вот поди погляди.

Пол нехотя вылез из-под одеяла, посмотрел на складные, поросшие темно-золотистым волосом ноги.

— Погляди-ка, — сказал Доус, показывая на

свою голень. — Вот она вода.

— Где? — спросил Пол.

Тот нажал кончиками пальцев. От них остались вмятинки и исчезли не сразу.

— Подумаешь, — сказал Пол.

— А ты потрогай, — предложил Доус.

Пол нажал пальцами. Остались вмятинки.

Он хмыкнул.

— Погано, а? — сказал Доус.

— Да почему? Ничего особенного.

— Хорош мужик, коли у него вода в ногах.

— По-моему, это дела не меняет, — сказал Морел. — У меня вот грудь слабая.

Он опять лег.

— Сдается мне, все остальное у меня в порядке, — сказал Доус и погасил свет.

Утром зарядил дождь. Морел уложил чемодан. Море было серое, неспокойное, унылое. Казалось, он все больше и больше отключается от жизни. И это рождало в нем злое удовольствие.

Мужчины вдвоем ждали на станции. Клара сошла с поезда и шла по перрону очень прямая, холодно спокойная. На ней был длинный жакет и шляпа из твида. Обоим встречающим эта ее сдержанность была ненавистна. У контрольного барьера Пол пожал ей руку. Доус смотрел на них,

прислонясь к книжному киоску. Из-за дождя его черное пальто было застегнуто до подбородка. Он был бледен, и в его спокойствии был даже оттенок благородства. Чуть прихрамывая, он пошел навстречу Кларе.

— Надо бы тебе выглядеть получше, — сказала она.

— Ну, я сейчас в порядке.

Все трое растерянно остановились. Мужчины не знали, как с нею держаться.

— Пойдем прямо на квартиру или куда-нибудь еще? — спросил Пол.

— По мне, можно и домой, — сказал Доус.

Пол шел с краю тротуара, рядом с ним Доус, рядом с Доусом — Клара. Они шли и вели благовоспитанный разговор. Окно небольшой гостиной выходило на море, за ним неподалеку беспокойные серые воды с шипеньем накатывались на берег.

Морел подвинул большое кресло.

— Садись, Джек, — сказал он.

— Не хочу, — сказал Доус.

— Садись, — повторил Пол.

Клара разделась, положила жакет и шляпу на диван. Заметно было, она чем-то недовольна. Она поправила, чуть приподняла пальцами волосы,

села, сдержанная и какая-то отрешенная. Пол поспешил вниз поговорить с хозяйкой.

— Тебе вроде холодно, — сказал жене Доус. — Сядь поближе к камину.

— Спасибо, мне вполне тепло, — отозвалась Клара.

Она смотрела в окно на дождь, на море.

— Когда ты возвращаешься? — спросила она.

— Ну, комнаты сняты до завтра, и он хочет, чтоб я остался. А сам уезжает нынче вечером.

— И ты собираешься в Шеффилд?

— Да.

— Уже в силах работать?

— Хочу начать.

— У тебя есть место?

— Да… с понедельника.

— Не похоже, что ты в силах работать.

— Почему это?

Клара не ответила, опять посмотрела в окно. Спросила:

— А жилье у тебя в Шеффилде есть?

— Да.

Опять она посмотрела в окно. По стеклам струился дождь.

— И ты там справишься? — спросила она.

— Наверно. Надо будет справиться!

Когда вернулся Морел, они молчали.

— Я уеду поездом в четыре двадцать, — сказал он.

Никто не отозвался.

— Лучше тебе снять башмачки, — сказал он Кларе. — Тут есть мои тапки.

— Спасибо, — сказала она. — Они не промокли.

Пол поставил тапки к ее ногам. Она чувствовала их ступнями.

Морел сел. Мужчины сейчас казались беззащитными. Но Доус держался спокойно, похоже, он решил — будь что будет, а вот Пол словно весь внутренне сжался. Никогда еще Клара не видела его таким маленьким, жалким. Он будто старался стать как можно незаметней. И пока собирался, пока сидел, разговаривал, какой-то он был неестественный и явно не в своей тарелке. Исподволь за ним наблюдая, она подумала, нет в нем сейчас устойчивости, а ведь он по-своему такой славный, пылкий, способен под настроением напоить ее из чистого источника жизни. Но сейчас он приниженный, незначительный. Все в нем неустойчиво. В ее муже куда больше мужского достоинства. Он-то, во всяком случае, не клонится под любым ветром. Каким-то ускользающим, неестественным, изменчивым казался

ей Морел. Не может он стать надежной опорой женщине. Она, пожалуй, даже презирала его за то, что он так сдал, стал неприметней. Ее муж по крайней мере настоящий мужчина, и когда над ним взяли верх, он это признал. А этот, другой, нипочем такое не признает. Будет ходить вокруг да около, метаться, терять свое достоинство. Клара презирала его. И однако, смотрела не столько на Доуса, сколько на него, и ей казалось, судьба всех троих у него в руках. И ненавидела его за это.

Похоже, она теперь лучше понимает, что такое мужчины и чего от них можно ждать. Меньше их боится, больше уверена в себе. Оттого, что они не мелкие эгоисты, как она раньше воображала, ей стало спокойнее. Она многое узнала, и хватит с нее. Довольно она настрадалась. Ей еще и сейчас несладко. В общем, если Пол уедет, туда ему и дорога.

Они пообедали и теперь сидели у камина, грызли орехи и потягивали виски. Ни о чем всерьез они так и не поговорили. Однако Клара понимала, что Пол устраняется, дает ей возможность остаться с мужем. И злилась. В конце концов, это низость — взять, что ему требовалось, а потом вернуть ее обратно. Она не помнила, что и сама получила, что ей требовалось, и в глубине души

хотела, чтобы Пол вернул ее мужу.

Пол чувствовал себя подавленным и одиноким. Мать — вот кто был ему настоящей опорой. Он ее любил; и, в сущности, вдвоем они смело смотрели в лицо жизни. Теперь ее нет, и навсегда в его жизни осталась брешь, прорван покров, что его защищал, и через разрыв медленно утекает его жизнь, словно его тянет к смерти. Хорошо бы кто-нибудь сам взялся ему помочь. В страхе перед все определяющим движением к смерти вслед за своей любимой он уже не держался за все прочее, куда менее важное. Клара не может быть ему поддержкой. Она желала его, но не понимала. Пол чувствовал, ей нужен мужчина, которому можно покориться, а не он, Пол, которому сейчас плохо. Он слишком обременил бы ее, не может он себе это позволить. Ей с ним не справиться. До чего же ему стыдно. И вот, втайне стыдясь, что попал в такой переплет и так нетвердо чувствует себя в жизни, и нет никого, кто бы стал ему опорой, ощущая какую-то нереальность, призрачность своего существования, словно в этом реальном мире он вообще не в счет, он все глубже уходил в себя. Нет, умирать он не хочет, он не сдастся. Но смерти он не боится. Если никто не протянет ему руку помощи, он пойдет дальше один.

Доус одно время был доведен до крайности, пока, наконец, не испугался. Он готов был умереть, чуть не скатился в пропасть, даже заглянул в нее. Потом, устрашенный, испуганный, вынужден был податься назад и, словно нищий, взять, что дают. Было в этом своего рода благородство. Клара понимала, он считает себя побежденным и хочет, чтобы так ли, эдак ли она его приняла. Это она могла для него сделать.

Было три часа.

— Я уезжаю в четыре двадцать, — еще раз сказал Пол Кларе. — Ты тоже поедешь этим поездом или позднее?

— Не знаю, — ответила она.

— В Ноттингеме я в четверть восьмого встречаюсь с отцом, — сказал Пол.

— Тогда я поеду позднее, — сказала она.

Доус вдруг дернулся, будто его потянули за веревочку. Он смотрел в окно, на море, но ничего не видел.

— Там в углу две-три книги, — сказал Морел. — Мне они уже не нужны.

Около четырех он собрался уходить.

— Мы еще все увидимся, — сказал он, пожимая руку Доусу.

— Да уж наверно, — сказал Доус. — И, может…

когда-никогда… я смогу отдать тебе деньги, как…

— Я сам за ними пожалую, вот увидишь, — засмеялся Пол. — Мне ведь не миновать скоро оказаться на мели.

— Ну уж… — сказал Доус.

— До свиданья, — сказал Пол Кларе.

— До свиданья, — сказала она, протягивая ему руку. Потом в последний раз молча, смиренно на него глянула.

И вот он ушел. Доус и его жена опять сели.

— Поганый день для поездки, — сказал Доус.

— Да, — отозвалась Клара.

Они вели какой-то несвязный разговор, пока не стало темнеть. Хозяйка дома принесла чай. Доус, как и положено мужу, без приглашения придвинулся к столу. Смиренно ждал, когда Клара ему нальет. Она, как и положено жене, не спрашивая его, налила.

После чая, уже около шести, Доус подошел к окну. За окном была тьма. Море ревело.

— Еще дождь, — сказал он.

— Да ну? — отозвалась Клара.

— Ты ведь не поедешь сегодня? — неуверенно спросил он.

Клара не ответила. Он ждал.

— Я б в такой дождь не поехал, — сказал он.

— Ты вправду хочешь, чтоб я осталась? — спросила она.

Рука Доуса, придерживающая темную занавесь, дрожала.

— Да, — сказал он.

Он все стоял к ней спиной. Клара встала и медленно пошла к нему. Он отпустил занавесь, неуверенно повернулся к жене. Она стояла, заложив руки за спину, устремив на него тяжелый непроницаемый взгляд.

— Ты хочешь, чтоб я вернулась, Бакстер? — спросила она.

— Ты хочешь ко мне вернуться? — охрипшим от волнения голосом отозвался он.

Подавленный стон вырвался из груди Клары, она подняла руки, обвила его шею, притянула мужа к себе. Он крепко ее обнял, уткнулся лицом ей в плечо.

— Прими меня! — исступленно прошептала Клара. — Прими, прими! — И, будто в полузабытьи, запустила пальцы в его красивые, тонкие темные волосы. Он обхватил ее крепче.

— Я опять тебе нужен? — сдаваясь, бормотал доус.

15. Брошенный

Клара уехала с мужем в Шеффилд, и Пол больше почти ее не видел. Уолтера Морела утрата, казалось, всерьез не задела, но все равно он теперь влачил жалкое существование. С Полом его мало что связывало, каждый только старался, чтобы другой не испытывал настоящей нужды. Вести хозяйство было некому, жить в опустелом доме ни тот, ни другой были не в силах, и Пол переехал в Ноттингем, а Морел поселился в одном добром семействе в Бествуде.

У Пола все пошло прахом. Заниматься живописью он больше не мог. Картина, которую он закончил в день смерти матери и которой был доволен, оказалась его последней работой. На фабрике теперь не было Клары. Дома он не в силах был взяться за кисти. Ничего у него не осталось.

И он все время шатался по городу и пил со знакомыми, то в одно место зайдет, то в другое. От такой жизни он изрядно устал. Он заговаривал с официантками, чуть ли не со всеми женщинами без разбору, но взгляд у него был тяжелый, напряженный, будто он что-то выискивал.

Все вокруг казалось неузнаваемым, призрачным, бесплотным, непонятно было, почему люди ходят по улицам, почему при дневном свете громоздятся дома. Непонятно, почему они занимают пространство вместо того, чтобы оставить его свободным. Приятели заговаривали с Полом; он слышал голоса и отвечал. Но для чего они, эти звуки, не мог взять в толк.

По-настоящему самим собой он был лишь когда оставался один или когда усердно, машинально делал свое дело на фабрике. Тогда он забывался, действовал бессознательно. Но так не могло продолжаться без конца. Слишком мучительно было, что все стало призрачным, потусторонним. Появились первые подснежники. Среди всепоглощающей серости засияли крохотные жемчужины. Прежде они, вызвали бы в нем живейший отклик. Теперь он их видит, да только ничего они для него не значат. Через несколько мгновений они исчезнут, и на их месте останется пустота. Вечерами по улицам спешат высокие сверкающие трамваи. Непостижимо, что они дают себе труд с шумом скользить взад и вперед. «Ну чего ради вы покачиваетесь, скользите по мостам через Трент?» — спрашивал он большие трамваи. Ведь с таким же успехом их могло не

быть.

Самым подлинным был непроглядный ночной мрак. Он казался Полу естественным, понятным и отдохновенным. Можно было ему отдаться. Вдруг у ног шевельнулся листок бумаги и полетел по тротуару. Пол остановился, замер, сжал кулаки, его ожгло болью. И опять он увидел комнату больной, увидел мать, ее глаза. Сам того не сознавая, Пол все время был с нею. Быстро взлетевший листок напомнил ему, что ее не стало. Но он все время был с нею. Пусть все замрет, чтобы опять можно было быть с нею.

Проходили дни, недели. Но, казалось, они все сплавились в какой-то сплошной ком. Пол не мог отличать один день от другого, неделю от недели, едва отличал одно место от другого. Все стало смутно, неотчетливо. Нередко он на целый час куда-то проваливался, не мог вспомнить, что же он делал.

Однажды вечером он пришел домой позднее обычного. Огонь в камине еле теплится; все уже легли. Он подбросил угля, глянул на стол и решил, ужинать он не будет. Сел в кресло. Тишина была полная. Он ничего не сознавал, однако видел, как колышется слабый дымок, исчезая в трубе. Вскоре появились две мыши, стали осторожно грызть

упавшие на пол крохи. Пол смотрел на них, будто были они далеко-далеко. Церковные часы пробили два. Издали, с железной дороги, доносился лязг поездов. Нет, вовсе они не далеко. Они там, где им и положено быть. А вот где он сам?

Время шло. Мыши вовсю носились по комнате, нахально перебирались через его шлепанцы. Он не двигался. Не хотелось ему двигаться. И ни о чем не думал. Так легче. Он и не стремился ничего осознать. Потом время от времени стало само собой включаться иное сознание, вспыхивали тревожные фразы.

— Что я творю?

И из полузабытья пришел ответ:

— Гублю себя.

Но приглушенное живое чувство вмиг исчезло, сказав ему, что это неверно. Немного погодя вдруг возник вопрос:

— Почему неверно?

Опять нет ответа, но вдруг он ощутил в груди удар яростного упрямства, это все его существо воспротивилось самоуничтожению.

С дороги донесся грохот тяжелой повозки. Внезапно погасло электричество; глухо постукивал электрический счетчик. Пол не шевельнулся, сидел, тупо уставясь перед собой. Только поспешно

кинулись прочь мыши, да во тьме рдел уголь в камине.

Потом сам собою в душе опять начался разговор, на этот раз гораздо отчетливей:

— Она умерла. Тогда чего ради она боролась?

Это, охваченный отчаянием, он хотел уйти за ней следом.

— Ты жив.

— А ее нет.

— Она — в тебе.

Он вдруг ощутил тяжесть этого бремени.

— Ради нее ты должен жить, — то был голос его воли.

Что-то помрачнело в душе, словно не желая пробуждаться.

— Ты должен продолжить то, что она сделала, продлить ее существование.

Но не хотел он этого. Он хотел сдаться.

— Но ведь ты можешь опять заняться живописью, — то был голос его воли. — Или стать отцом. И то и другое будет ее продолжением.

— Заниматься живописью не значит жить.

— Тогда живи.

— А на ком жениться? — раздался мрачный вопрос.

— Женись как можно лучше.

— На Мириам?

Нет, не верил он в это.

Вдруг он поднялся и отправился спать. Вошел в свою комнату, закрыл дверь и стоял, сжав кулаки.

— Мама, дорогая моя… — начал он, вложив в свои слова всю силу души. И замолчал. Не скажет он. Не откроет, что хотел умереть, со всем покончить. Не признается, что жизнь победила его, или что его победила смерть.

Он тотчас лег и сразу уснул, отдался сну.

Так проходили недели. В полном одиночестве — он то упрямо склонялся душою к смерти, то снова к жизни. Сильней всего терзало, что ему некуда пойти, нечего делать, нечего сказать и сам он ничто. Иногда он как безумный носился по улицам, иногда и вправду сходил с ума — все вдруг исчезало, потом появлялось вновь. У него перехватывало дыхание. Случалось, он стоял у стойки в трактире, куда зашел выпить. И вдруг все отступало. Словно издали он видел лицо буфетчицы, шумных выпивох, свой стакан на залитой пивом стойке красного дерева. Что-то разделяло его с ними. Терялась всякая связь. Не нужны они ему, и выпивка не нужна. Круто повернувшись, он уходил. На пороге останавли-

вался, смотрел на освещенную улицу. Но не был он к ней причастен, не сливался с ней. Что-то его отделяло. Все происходящее под теми фонарями было от него отгорожено. Он не мог к ним пробиться. Даже дотянись он до них, он чувствовал, ему их не коснуться. Куда идти? Некуда ему идти, ни назад, к стойке, ни куда-нибудь еще. Он задыхался… Нет ему нигде места. В душе росло напряжение; вот сейчас его разнесет на куски.

— Нельзя себе это позволить, — говорил он, слепо брел обратно и опрокидывал в себя спиртное. Иногда это помогало, а иногда становилось еще хуже. Он бежал по дороге. Не находил себе места, кидался туда, сюда, куда попало. Наконец решал взяться за работу. Но стоило сделать несколько штрихов, и карандаш осточертевал, Пол поднимался, выходил из дому и спешил в какой-нибудь клуб, где можно сыграть в карты или на бильярде, или куда-то еще, где можно полюбезничать с буфетчицей, которая значила для него не больше какой-нибудь медяшки на стойке.

Он очень отощал, длинное лицо с впалыми щеками заострилось. Он не решался встретиться с собой взглядом в зеркале, никогда на себя не смотрел. Хотелось сбежать от самого себя, но ведь не за что ему ухватиться. В отчаянии он вспом-

нил о Мириам. Быть может… быть может?..

И вот однажды воскресным вечером он зашел в унитарианскую церковь и, когда все встали и запели второй гимн, увидел ее. Мириам пела, нижняя губа блеснула в луче света. По лицу казалось, что-то она обрела, — черпает какую-то надежду, если уж не на земле, то в небесах. Будто нашла покой и жизнь в потустороннем мире. Горячее, сильное чувство к ней всколыхнулось в груди Пола. Она пела, словно взыскуя таинства и покоя. Пол почувствовал, в ней его надежда. Скорей бы кончилась проповедь, чтоб можно было с нею заговорить.

Толпа вынесла Мириам как раз перед ним. Он даже не успел ее коснуться. Она не знала, что он здесь. Пол увидел сзади ее смиренно склоненную голову, загорелую шею под темными кудрями. Он вручит себя ей. Она лучше, значительней его. На нее можно положиться.

Она шла в небольшой толпе, по своему обыкновению ничего не замечая вокруг. Среди людей она всегда казалась потерянной, неуместной. Пол прошел вперед, взял ее за руку повыше локтя. Мириам вздрогнула. Большие карие глаза расширились от страха; потом она увидела Пола, и страх сменился вопросом. Он чуть отступил.

— Я не знала… — запинаясь, произнесла Мириам.

— Я тоже, — сказал Пол.

И отвел глаза. Внезапно вспыхнувшая надежда угасла.

— Что ты делаешь в городе? — спросил Пол.

— Гощу у кузины Энни.

— Ха! Долго пробудешь?

— Нет, только до завтра.

— Тебе сразу надо домой?

Мириам глянула на него и наклонила голову под полями шляпы, он не видел ее лица.

— Нет, — ответила она, — нет, не обязательно.

Пол повернул в другую сторону, и Мириам пошла с ним. Они прошли через толпу прихожан. Из церкви святой Марии еще доносились звуки органа. Из освещенных дверей выходили темные фигуры, люди спускались по ступеням. Большие окна с разноцветными стеклами светились во тьме. Церковь была точно огромный висячий фонарь. Они прошли по Холлоу-стоун и сели в трамвай, идущий к Бриджесу.

— Ты со мной поужинаешь, — сказал Пол, — а потом я доставлю тебя обратно.

— Хорошо, — негромко, сразу севшим голосом ответила Мириам.

В трамвае они почти не разговаривали. Под мостом катил свои воды темный полноводный Трент. Дальше, в сторону Колуика, была сплошная тьма. Пол квартировал на Холм-роуд, на голой окраине, обращенной к заречным лугам, к снейнтонскому приюту и к крутому откосу, поросшему Колуикским лесом. На заливных лугах стояла вода. Слева простирались тихие речные воды, укрытые тьмой. Не без страха Пол и Мириам поспешно шли подле домов.

Их ждал ужин. Пол задернул занавеску на окне. В кувшине на столе стояли фрезии и алые анемоны. Мириам наклонилась над ними. Все еще касаясь их кончиками пальцев, посмотрела на Пола.

— Какие красивые, правда? — сказала она.

— Да, — согласился Пол. — Что будешь пить… кофе?

— С удовольствием, — ответила Мириам.

— Тогда извини, я на минутку выйду.

Он пошел в кухню.

Мириам сняла пальто и шляпу, огляделась. Комната была голая, суровая. На стене фотографии — ее, Клары, Энни. Она посмотрела на чертежную доску — хотела знать, над чем он работает. Но увидела лишь несколько беспоря-

дочных линий. Глянула, что он читает. Какой-то заурядный роман. На полке письма от Энни, от Артура, от каких-то незнакомых мужчин. Она медленно разглядывала, впитывала все, что его окружало, все, что хоть в малой степени его касалось. Так давно он от нее ушел, ей хотелось вновь открыть его для себя, узнать, как он живет, каков он теперь. Но в этой комнате мало что могло ей помочь. Ей только грустно стало — слишком тут жестко, неуютно.

Она с любопытством рассматривала альбом набросков, и тут вернулся Пол, принес кофе.

— Там ничего нового, — сказал он, — и ничего особенно интересного.

Он поставил поднос и подошел к Мириам, стал смотреть из-за плеча. Она медленно переворачивала страницы, внимательно все рассматривала.

Она задержала взгляд на одном наброске, и Пол хмыкнул, сказал:

— Я совсем забыл про него. А ведь неплохо, правда?

— Нет, — сказала она. — Я что-то не совсем понимаю.

Пол взял у нее альбом, пролистал. И опять удивленно и с удовольствием хмыкнул.

— Кое-что здесь неплохо, — сказал он.

— Совсем неплохо, — серьезно откликнулась Мириам.

Он опять почувствовал, ее занимает его работа. Или, может, он сам? Почему ей всего интересней, как он проявляется в своей работе?

— Кстати, я что-то слышал, будто ты теперь сама зарабатываешь на жизнь? — сказал он.

— Да, — ответила Мириам, склонив над чашкой темноволосую голову.

— И как же это?

— Да вот решила три месяца поучиться в земледельческом колледже в Бротоне, а потом, возможно, меня оставят там преподавать.

— Послушай… да это для тебя очень подходяще! Ты ведь всегда хотела ни от кого не зависеть.

— Да.

— Что ж ничего мне не сказала?

— Я узнала только на прошлой неделе.

— А я слышал об этом еще месяц назад, — сказал Пол.

— Да, но тогда еще ничего не было договорено.

— Я думал, ты должна была бы мне сказать об этой попытке, — сказал Пол.

Она ела неохотно, скованно, словно ей не очень-то приятно было делать что-то так на виду. Пол хорошо знал эту ее манеру.

— Ты, наверно, довольна, — сказал он.

— Очень.

— Да… это уж будет кое-что.

Он был немного разочарован.

— По-моему, это будет замечательно, — сказала Мириам с обидой, почти свысока.

Пол отрывисто засмеялся.

— А ты почему не согласен? — спросила она.

— Да нет, согласен, будет замечательно. Просто сама увидишь, самой зарабатывать на жизнь это еще не все.

— А я так и не думаю, — сказала Мириам, трудно глотнув.

— По-моему, работа может заполнить всю жизнь мужчины, хотя для меня это не так, — сказал Пол. — А женщина не вся отдается работе. Самая ее суть, жизненно важная сторона ее существа остается незатронутой.

— Значит, мужчина может посвятить работе всего себя? — спросила она.

— Практически да.

— А женщина — лишь несущественную часть себя?

— Вот именно.

Мириам посмотрела на Пола, ее глаза гневно расширились.

— Если так, это постыдно, — сказала она.

— Ты права. Но, может, я и не все знаю, — отозвался Пол.

После ужина они подошли к камину. Пол повернул для нее кресло, и они сели друг против друга. На Мириам было темно-бордовое платье, оно шло к ее смуглой коже и крупным чертам. Волосы были все так же хороши, все так же свободно вились, но лицо заметно постарело, и шея, уже не девичья, сильно похудела. Она показалась ему старой, старше Клары. Цветущая юность быстро миновала. Теперь в ней ощущалась какая-то жесткость, деревянность. Мириам сидела, задумавшись, потом посмотрела на Пола.

— Как тебе живется? — спросила она.

— Да вроде бы все в порядке, — был ответ.

Мириам смотрела на него, ждала.

— Нет, — едва слышно сказала она.

Она сидела, обхватив колено смуглыми нервными руками. В руках по-прежнему не чувствовалось ни покоя, ни уверенности, что-то в них было чуть ли не истерическое. Увидев их. Пол поморщился. Потом невесело засмеялся. Мириам прикусила палец.

Его стройное, измученное тело в темном костюме вяло привалилось к спинке стула. Вдруг она

вынула палец изо рта, глянула на Пола.

— И ты порвал с Кларой?

— Да.

Он обмяк в кресле, словно брошенная, никому не нужная вещь.

— Знаешь, — сказала Мириам, — по-моему, нам надо пожениться.

Впервые за много месяцев Пол по-настоящему раскрыл глаза, с уважением он поглядел на Мириам.

— Почему? — спросил он.

— Ну посмотри, до чего ты себя довел! — сказала она. — Ты можешь заболеть, умереть, а я даже не узнаю… будто мы вовсе и не были знакомы.

— Ну а если мы поженимся?

— Я хотя бы не дам тебе изводить себя, становиться добычей других женщин… вроде… вроде Клары.

— Добычей? — с улыбкой повторил Пол.

Мириам молча понурилась. Пол почувствовал, его опять охватывает отчаяние.

— Не уверен, что от брака будет много толку, — медленно проговорил Пол.

— Я хочу этого только ради тебя, — отозвалась Мириам.

— Знаю, что ради меня. Но… ты так меня

любишь, ты хотела бы держать меня у себя в кармане. А я там задохнусь и умру.

Она опустила голову, прикусила палец, а в сердце взмыла горечь.

— А что ж ты станешь делать? — спросила она.

— Не знаю… буду, наверно, продолжать в том же духе. Возможно, скоро уеду за границу.

Упрямое отчаяние в его голосе заставило ее опуститься на колени перед камином, совсем рядом с Полом. Там она скорчилась, будто что-то ее сокрушило, и не могла поднять головы. Руки Пола безвольно покоились на ручках кресла. Мириам ощущала их близость. Чувствовала, он в ее власти. Если б можно было подняться, обнять его, сказать «ты мой», он предался бы ей. Но разве она осмелится! Она с легкостью пожертвовала бы собой. Но разве она осмелится отстаивать свое право на него? Она ощущала совсем рядом его стройное тело в темном костюме, такое живое, откинувшееся на спинку кресла. Но нет, не смеет она обнять его, притянуть к себе, сказать: «Оно мое, это тело. Отдай его мне». А так хотелось. Само ее женское естество взывало об этом. Но она скорчилась подле его кресла и не смела шевельнуться. Вдруг он воспротивится. Вдруг она хочет слишком многого. Вот оно, его тело, никому не

нужное. Мириам понимала, надо им завладеть, заявить на него права, все свои права. Но… способна ли она на это? Она бессильна перед ним, перед чем-то неведомым в нем, что им движет, и этого ей не одолеть. Руки Мириам трепетали, она чуть приподняла голову. Ее взгляд, испуганный, молящий, почти безумный, вдруг потряс Пола. Сердце его содрогнулось от жалости. Он взял ее за руки, привлек к себе, утешая, как ребенка.

— Хочешь, чтоб я был твоим, хочешь стать моей женой? — еле слышно спросил он.

Почему же он не берет ее? Ведь она принадлежит ему вся, до глубины души. Почему он не берет то, что ему принадлежит? Так долго она терпела эту жестокость — принадлежала ему, а он не предъявлял на нее свои права. И вот опять он ее мучает. Это уже чересчур. Она запрокинула голову, потом обхватила его лицо ладонями, посмотрела ему прямо в глаза. Нет, безжалостный он. Что-то иное ему требуется. Всей силой любви взмолилась она не перекладывать этот выбор на нее. Не может она справиться с этим, — и с ним, Полом, и еще невесть с чем. Какая мука, не выдержать.

— Ты этого хочешь? — очень серьезно спросила она.

— Не очень, — с болью ответил Пол.

Мириам отвернулась, потом с достоинством поднялась, прижала его голову к груди, стала тихонько укачивать. Значит, не владеть ей им! Что ж, можно его утешить. Она запустила пальцы в его волосы. Ей — мучительная сладость самопожертвования. Ему — отвращенье и страдание еще одной неудачи. Не мог он вынести, что эта теплая грудь баюкает его, но не снимает с него бремя. Так хотел он, чтобы Мириам приняла его, дала ему отдохновение, что эта видимость отдохновения только терзала. Он оторвался от нее.

— А без брака нам делать нечего? — спросил он.

Он оскалил зубы в болезненной гримасе. Мириам прикусила палец.

— Нет, — ответила она глухо, как удар колокола. — Думаю, что нет.

Значит, все между ними кончено. Не может она его принять, освободить от ответственности за самого себя. Может только пожертвовать собой ради него… с радостью жертвовать собой каждый день. А он не этого хочет. Он хочет, чтобы она взяла его в руки и сказала радостно и властно: «Довольно тебе метаться, воевать со смертью. Ты мой супруг». Нет у нее на это сил. В какой ипоста-

си он ей нужен — супруга? или, может, Христа?

Пол чувствовал, что, покидая Мириам, отнимает у нее жизнь. Но знал, что, оставшись с Мириам, подавив в себе «я», доведенное до отчаяния, он отрекся бы от собственной жизни. И он вовсе не надеялся, отрекшись от собственной жизни, дать жизнь Мириам.

Она сидела притихшая. Пол закурил. Дым сигареты поднимался, покачиваясь. Пол думал о матери и забыл о Мириам. Вдруг она посмотрела на него. И в душе поднялась горечь. Значит, ее жертва напрасна. Вот он сидит, отчужденный, и ему нет до нее дела. Она вдруг опять увидела в нем и недостаток веры, и мятущуюся неустойчивость. Он погубит себя, точно балованное дитя. Что ж, значит, так тому и быть!

— Мне, пожалуй, пора, — мягко сказала она.

По ее тону он понял, она его презирает. Он спокойно поднялся, сказал:

— Я выйду с тобой.

Она стояла перед зеркалом, закалывая шляпу. Как горько, как невыразимо горько, что он отверг ее жертву! Предстоящая жизнь казалась пустой, лишенной тепла и света. Мириам наклонилась к цветам — фрезии такие нежные, весенние, и гордо красуются на столе алые анемоны. Как это

на него похоже — поставить у себя эти цветы.

Пол двигался по комнате с присущей ему своеобразной уверенностью, быстрый, безжалостный, спокойный. Нет, его не удержать. Он с ловкостью хорька вывернулся у нее из рук. Но ведь без него она будет влачить жалкое существованье. Погруженная в свои мысли, она коснулась цветов.

— Возьми их! — сказал Пол; вынул цветы из кувшина и как есть — с них капала вода — быстро понес в кухню. Мириам подождала его, взяла цветы, и они вместе вышли, он что-то говорил, она же ничего не видела и не слышала.

В душе она с ним прощалась. Глубоко несчастная, она, сидя в трамвае, прислонилась к нему. Он не отозвался.

Куда он пойдет? Чем кончит? Невыносимо это ощущение пустоты там, где должен бы быть он. Какой же он дурной, расточительный, вечно в разладе с самим собой. Ну куда он теперь пойдет? И не все ли ему равно, что ее он погубил? В нем нет веры, он дорожит лишь минутным увлечением и не знает ничего иного, ничего более глубокого. Что ж, она подождет, посмотрит, как у него все обернется. А когда он будет сыт по горло своей свободой, он сдастся, придет к ней.

Он проводил Мириам до дверей ее кузины и на

прощанье пожал ей руку. Повернулся уходить и почувствовал — вот и выпустил из рук последнее, за что можно было ухватиться. Он сел в трамвай, и город, ровный поток огней потянулся прочь от железнодорожных путей. А дальше, за городом, тлели угольками поселки… а за ними море… ночь… дальше и дальше! И нет ему места во всей этой шири! Где ни окажись, всюду он один. У его груди, у самых губ начинается пустыня без конца и края, она позади него, повсюду. По улицам спешат люди, но он все равно останется в пустоте. То лишь малые призраки, можно услышать их шаги, их голоса, но в каждом все та же ночь, все то же молчание. Пол сошел с трамвая. За городом стояла мертвая тишина. Высоко в небе горели крохотные звезды, расплывались вдали в вышедших из берегов водах Трента — опрокинутая небесная твердь. Повсюду огромность и ужас необъятной ночи, лишь на короткий миг днем она пробудится, дрогнет, но непременно вернется снова и наконец воцарится навек, поглотит все в своем молчании, в своем живом мраке. Времени нет, есть только Пространство. Кто скажет, что его мать жила, а теперь не живет? Просто она была в одном месте, а теперь в другом, вот и все. И где бы она ни была, его душа ее не покинет.

Сейчас она ушла в ночь, но и там он с нею. Они вместе. И однако, вот оно, его тело, его грудь, они опираются о живую изгородь, и его руки — на деревянной перекладине. Это ведь уже что-то. Где же он — крохотная, поднявшаяся на ноги частица плоти, меньше колоска пшеницы, затерянного в полях? Невыносимо. Со всех сторон на него — крохотную искорку — наступает огромное темное молчание, стремится погасить, но напрасно, его не угасишь. Ночь, в которую кануло все, простерлась по ту сторону солнца и звезд. Звезды и солнце, несколько ярких крупиц, в ужасе кружат и держатся друг за друга там, во тьме, что объемлет их, крохотные, пугливые. Так и он сам, бесконечно малая величина, по сути своей ничто и, однако, что-то.

— Мама! — прошептал он. — Мама!

Среди всего этого она одна поддерживала его, такого, какой он есть. И она ушла, слилась со всем этим. Если б только она его коснулась, если б идти с ней рядом.

Но нет, он не сдастся. Круто повернувшись, он зашагал к золотому свечению города. Кулаки сжаты, губы стиснуты. Во тьму, вслед за матерью, он не пойдет. И вот он стремительно шагает к городу, откуда доносится слабый гул, где встает

зарево огней.